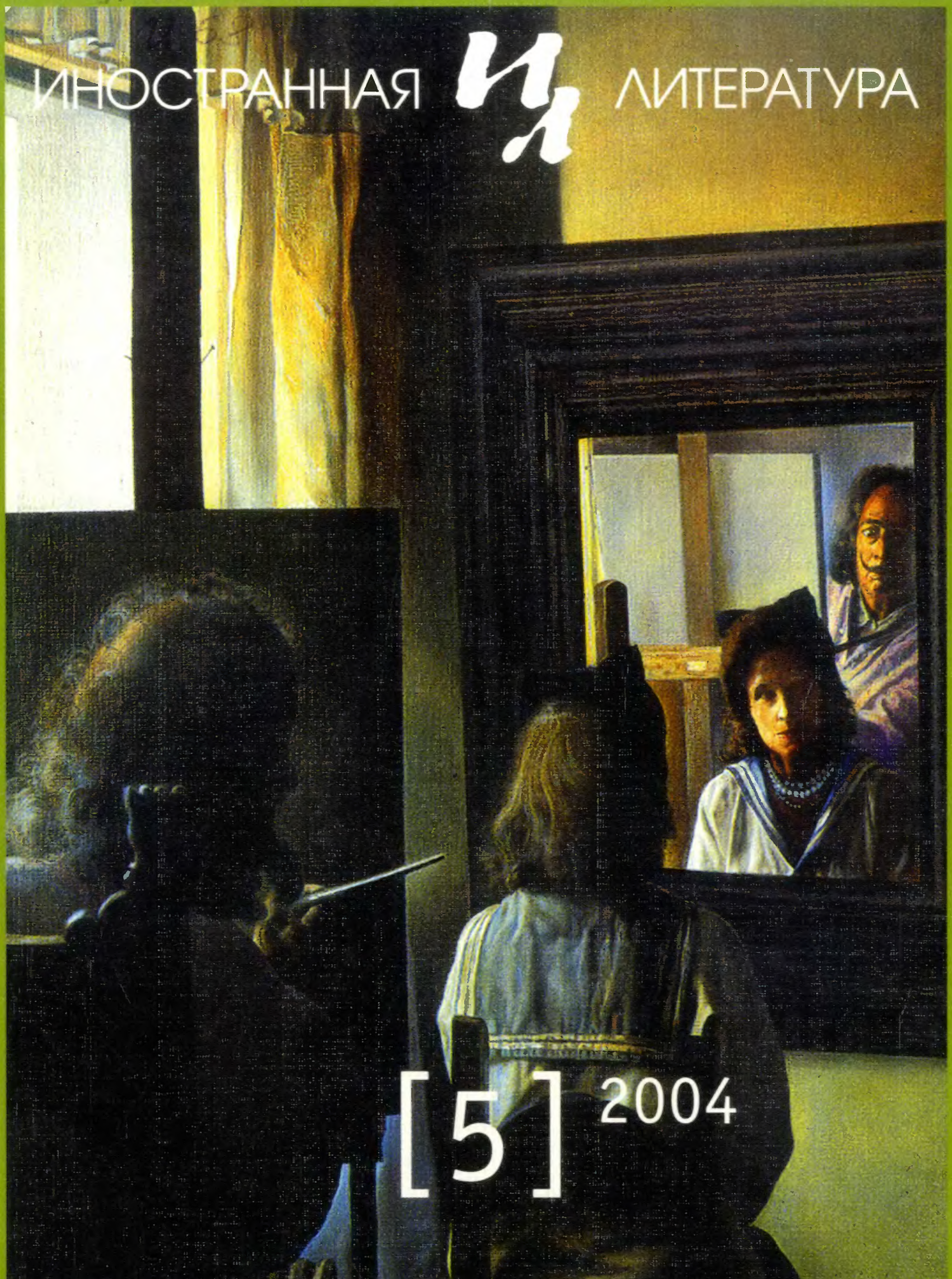
95+83

ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



[5] 2004

ПОВЕСТЬ ВАН МЭНА "МЕРТВЕЮЩИЕ КОРНИ САМШИТА" / СТИХИ ДЕТЕЙ ИЗ ТЕРЕЗИНА / ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ АМАНДЫ ЛИР "ДАЛИ ГЛАЗАМИ АМАНДЫ" / СТИХИ АТТИЛЫ ЙОЖЕФА В РУБРИКЕ "ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА" / НОБЕЛЕВСКАЯ ЛЕКЦИЯ ДЖ. М. КУТЗЕЕ "ОН И ЕГО СЛУГА" / ЭССЕ ЛЬВА АННИНСКОГО "ПЕРЕОБРЕТЕНИЕ СВОЙСТВ" В РУБРИКЕ "ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ"

Основан в 1891 году

[5]

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

2004

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

3 Ван Мэн. *Мертвеющие корни самшита.* Повесть.
Перевод с китайского С. Торопцева

26 *Стихи детей из Терезина.* Перевод с чешского Инны Лиснянской. Составление и вступительная статья Елены Макаровой

38 Филип Рот. *Людское клеймо.* Роман. [Окончание.]
Перевод с английского Л. Мотылева

Из классики XX века

174 Аттила Йожеф. *Стихи.* Переводы с венгерского. Вступление В. Середы

Документальная проза

184 Аманда Лир. *Дали глазами Аманды.* Главы из книги. Перевод с французского О. Захаровой

Статьи, эссе

242 Дж. М. Кутзее. *Он и его слуга.* Нобелевская лекция.
Перевод с английского Сергея Ильина

Возвращаясь
к напечатанному

248 Лев Аннинский. *Переобретение свойств.* О книгах Петера Эстерхази “Harmonia cælestis” и “Исправленное издание”. Приложение к роману “Harmonia cælestis”

Среди книг

257 Николай Мельников. *Жестокий реализм Марио Варгоса Льосы.* Ирина Попова. *Семь веков спустя*

БиблиофИЛ

264 *У книжной витрины* с Константином Мильчиным

Курьер “ИЛ”

266

Авторы номера

269

© “Иностранная литература”, 2004

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. Н. Словесный

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

А. Я. Ливергант
заместитель главного редактора

Общественный
редакционный совет:

В. П. Аксенов
С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Е. А. Бунимович
П. Л. Вайль
М. Л. Гаспаров
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
Д. В. Затонский
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
П. М. Топер
Н. Л. Трауберг
М. А. Федотов
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Международный
совет:

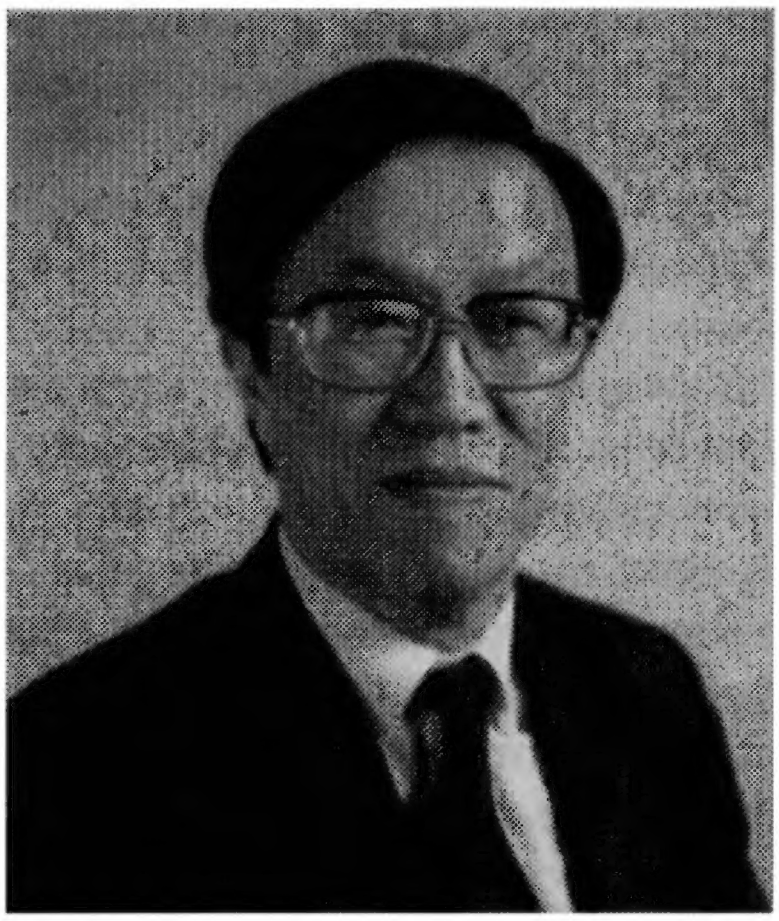
Чингиз Айтматов
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Артур Миллер
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Т. Я. Казавчинская
И. В. Кивель
И. И. Кузнецова
А. Е. Соколинская
К. Я. Старосельская
Л. Г. Харлап

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры Российской Федерации.

Ван Мэн



Мертвеющие корни самшита

Повесть

Перевод с китайского С. Торопцева

1

В этот день, четырнадцатого июля тысяча девятьсот семьдесят восьмого года, Ма Вэньхэну стукнуло тридцать пять. В приподнятом настроении он взял рукопись своего шесть раз правленного и дважды перебеленного рассказа, над которым сидел четыре месяца, и понес в одно неприметное серое здание, где с трепещущим сердцем постучался в дверь отдела прозы редакции "Литературного ежемесячника".

Сердце билось так угрожающе, будто рвалось из груди, ноги подкашивались.

День был знойный, во рту пересохло, ему чудилось, что изо всех семи отверстий головы валит дым и плазма в клетках загустела. Газетный прогноз грозил тридцатью градусами.

Когда он приблизился к зданию, ему показалось, будто на него направлены десятки мощнейших юпитеров, высветивших все его скрытые изъяны — тела и духа, внешние и внутренние, врожденные и благоприобретенные.

Череп нестандартный, кособокий, волосенки редкие: что называется, баклажан — не баклажан, тыква — не тыква, из его башки нормальной головы и не сделаешь. Левый глаз больше правого, и оба припухшие. Скулы вздернуты, подбородок слишком тяжел. Трех зубов недостает, так

© С. Торопцев. Перевод, 2004

что губы проваливаются, и рушится линия челюсти. Туловище непропорционально, как ни меряй: шея вытянута, ножки коротковаты, руки велики, а ступни малы, тридцать восьмой размер – разве это обувь для настоящего мужчины? Входя в серое здание авторитетнейшего литературного журнала, о котором мечтал четверть века, он почти ненавидел родителей, не удосужившихся тщательно отшлифовать каждую клеточку его тела. Этакое вторсырье из мусорной корзины!

Эх, обратно бы на переплавку...

Сдал рукопись и на месяц погрузился в ожидание. И весь месяц его, как бывало только в детстве, посещали сны. Он злился на себя – тридцатипятилетний мужик, женатый, имеет сына, зарплату в прошлом году повысили, причем основательно! Вышел он уже из возраста сновидений, видеть теперь сны – все равно что старухе греховоднице разгуливать по городу, расфуфырившись, словно девица, срам да и только.

Но он продолжал видеть сны – о том, как опубликовали рассказ и седовласый главный редактор пригласил его на обед, о том, как он вышел на литературную арену и запросто чокается с мэтрами литературы, а на прилавках книжных магазинов стопками лежат его книги – "Ма Вэньхэн. Избранное". Во сне он посещал мемориалы Бальзака, Гёте, Толстого, во сне ему являлся усопший Чехов и жаловался: "Тоскливо..." Во сне приходили к нему смоченные слезами, благоухающие ароматами письма восторженных читательниц, во сне он выступал на литературных симпозиумах и нанизывал изящные, как жемчуг, словеса, весь такой из себя талантливый, такой раскрепощенный, что даже его коротенькие ножки подросли на семь с половиной сантиметров. Во сне он шествовал по какому-то городу, и розы дождем сыпались на него, и стремительно взмывал в небо самолет, и открывали бронзовый бюст, перерезав цветную ленту, и ревели клаксоны, волновалось людское море... Жизнь – скоростной хайвэй, и в этой гонке весь мир он оставил далеко позади.

Пробуждаясь, места себе найти не мог, лицо горело, уши пылали. Подумывал было позвонить той редакторше с невыразительным лицом и кустистыми бровями, что принимала у него рукопись, и заявить, что забирает ее назад – не смею, дескать, утруждать вас чтением, но не решился. Ну, откажут, может, еще и оскорбят при этом, что ж теперь делать. Давно, еще когда был неженатым, бездетным двадцатилетним парнем, он твердо усвоил: началась "кампания" – жди критики. Слава Небу, Великая Пролетарская Культурная Революция, доселе невиданная историей и крайне своевременная (для него даже чуть припозднившаяся), излечила его от такого недуга, как любовь к литературе, подхваченного, вероятно, еще в материнской утробе... И он бросил в огонь свои самые любимые книги "Семья", "Рикша"[1], и туда же полетели "Дворянское гнездо" и "Вишневый сад". Ему казалось, что он действительно обретает великое очищение, великое раскрепощение духа. О, ураган могучий все тучи разогнал, великий огнь спалил все книги, о, я свободен, я ничем не связан, долой все ваши тухлые книжонки... Трам-тарарам!

Да только – ах! – в нем старое зашебуршилось вновь и в суету мирскую потянуло, сгоревший прах восстал, и слезы хлынули потоком, и вот тогда-то – о! – он настрочил рассказ, назвав его "Весенний дождь", в смущении заколотилось сердце, и он понес его в редакцию... Теперь

1. Романы классиков современной китайской литературы Ба Цзиня и Лао Шэ. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

за днем уходит день, неделя за неделей, а трубный глас фанфар — о, где же ты?!

Ма Вэньхэн раскинул пасьянс, задумав: если сверху лягут черви — рассказ опубликуют и все будут потрясены; если бубны расположатся в центре — рассказ опубликуют, но никто и ухом не поведет; если трефы уйдут влево — рукопись вернут, но слегка обнадежат; ну, а уж коли в самом низу окажутся пики — от рассказа камня на камне не оставят, его обсмеют, может, еще и осложнения какие будут.

Он прыгнул на велосипед и дунул к перекрестку, загадав: успеет подъехать еще на зеленый свет — рассказ будет иметь успех; на красный — ситуация хуже некуда! Но тут светофор замигал, зеленый сменился желтым, и его литературная судьба так и не прояснилась!

Что же это я стал таким мелким обывателем! Литература — святое и великое деяние, и когда я пишу, меня переполняют высокие поэтические чувства, философичные мысли о добром и прекрасном... А тут терзаюсь из-за нескольких страничек корявых иероглифов, будто в них — вся моя судьба!

Неужели судьба человека зависит от каких-то листочков, весом в пару *лянов*[1], не больше?!

Так чему удивляться, когда у Чехова персонажи жалуются: "Тоскливо..."

2

Прошло три месяца, и ветра золотой осени принесли удачу, тучи рассеялись, высоко поднялся купол неба.

"Весенний дождь", в доработке которого принял участие лично сам уважаемый товарищ редактор, был опубликован и снискал доброжелательные отзывы критиков.

Благодарю вас, товарищ редактор, позвольте облобызать обложку "Литературного ежемесячника", источающего близкий и родной аромат типографской краски. Благодарю вас, критики и читатели, за внимание, что вы уделили мне, представителю безвестного младшего поколения, не поскупились на мудрые слова одобрения — да еще какие! "Скорбная элегия и торжествующий гимн жизни", "завораживающие свежесть и глубина", "радующее новое явление, радующий новый плод" — и даже так, что впору смутиться: "Воистину талант, заслуживающий пристального внимания..."

О Небо! В тридцать пять лет! С десяти обожал литературу и тайком делал наброски в маленьком блокнотике, а когда, не поступив в университет, стал кассиром, — все свободное время и накопленные деньги отдавал литературе, погрузившись по уши в это занятие, исполненный страха, страха, страха (что не получится, что засмеют, что не примут...), и вот наконец признали: Он — талант!

"Не видно ль вам, как воды Хуанхэ сверзаются с небес"[2], "вздымает кисть и дождь и ветер, и духи плачут над стихом"[3], "волнующа строка, когда ты смотришь на родные реки, горы"[4], но ведь до тридцати пяти,

1. Лян — мера веса, 50 г.
2. Строка из стихотворения Ли Бо (VIII в.).
3. Строка из стихотворения Ду Фу (VIII в.).
4. Строка из стихотворения Мао Цзэдуна (1893–1976).

точно бобыль какой, впустую мыкался — ох и тяжела была жизнь, воистину тяжела!

Благодарю тебя, жизнь, благодарю тебя, эпоха! После тридцати пяти лет мечтаний и разочарований, уже совсем отчаявшись, — вновь обрести надежду! Наконец-то людям позволили заниматься тем, что им интересно, что они любят, знают, к чему тянутся их души! Жестоко растоптанные и униженные, люди духовно воспряли, ощутили тепло и заботу, о, как мы благодарны тебе, солнце родины!

В конце октября Ма Вэньхэну пришло извещение из местного отделения Союза писателей — его приглашали на беседу прозаиков за чайным столом. От этих двух слов — Союз писателей — в три ручья хлынули слезы. Это событие оказалось реальнее детских фантазий, юношеских грез, наваждений зрелых лет... Все они остались в исчезнувшем прошлом, он давно уже не витийствовал о прекрасном в языке, литературе, искусстве, как бывало в двадцать лет; ему расхотелось, как тому, двадцатилетнему, раствориться в литературе, отдать ей всего себя, сгореть в ней. Он перестал преклоняться перед литературой, веровать в нее так беззаветно, как прежде, даже пожалел было о том, что не устоял перед соблазном написать этот рассказик "Весенний дождь", — он опасался разрушить не приносящую удовлетворения, не баловавшую покоем, но все же такую привычную жизнь... Но когда он, казалось, уже смирился с серой пылью мирской — бам, трах, — пришел, сам пришел к нему Союз писателей, постучался в дверь Ма Вэньхэна.

Ворвался, как песня, как танец, как хмель, как безумство, ведь многое из того, что прежде существовало лишь в снах, в дневнике, в именах, в названиях книг и журналов, — все это теперь становится частью его жизни. "Слишком туманно", — сказал замглавного с пепельной головой, этим изысканным определением, пусть даже и произнесенным с провинциальным шаньсийским выговором[1], возбудив мечтательные грезы Ма Вэньхэна. Он не сказал "невнятно" или "занудливо", он сказал "туманно" — и так изящно, так благозвучно! А еще Ма Вэньхэн встретил там того самого писателя, уже в годах, перед которым благоговел, тот обрел известность в пятидесятые, потом пострадал из-за несправедливых обвинений, но вновь вернулся в литературу и опубликовал одно за одним три великолепных, тончайших произведения... Легенды о таких людях слагать надо.

И вот они сидят рядом, за тем же самым чайным столом, беседуют. Все подходят к Ма Вэньхэну, жмут руку, и он вскакивает, поднимает кружку, чокается, выплескивая чай им на одежду. А те и бровью не ведут, крепко стискивают ему руку, долго не отпускают и с руладами, ну, точно Лю Биньи[2], напевают: "Прочитал 'Весенний дождь', неплохо, даже замечательно". Одна знаменитость даже оставила ему свой домашний адрес — заходите, говорит, запросто, посидим... Ма Вэньхэн долго не мог уразуметь смысла этой фразы, тупо всматривался в строчку: такая-то улица, такой-то дом, и мысли в голове совсем перестали вращаться. Это не сон? Он может теперь прийти в гости к известному литератору?

Руководил местным отделением Союза писателей один почтенный эссеист, совмещая эту должность с постом заместителя начальника от-

1. Диалект китайского языка в провинции Шаньси.
2. Известный современный тенор.

дела пропаганды горкома партии, ведающего вопросами литературы и искусства. Высокий, широколицый, погруженный в себя, но порой сдержанно улыбающийся или вдруг обнаруживающий суровую торжественность чувств, он имел внушительный вид и благородные манеры даже тогда, когда направлялся в уборную. Во всем — как он вставал, расправлял плечи, поворачивался, передвигал ноги, поднимал голову, шевелил бровями — сколько во всем этом было элегантности, уверенности в себе, многозначительности...

Ма Вэньхэн присел было подальше, в неприметный уголок, но замнач тут же углядел его.

— Кто такой?

Вопрос прозвучал так резко и прямо, что Ма Вэньхэн лишь со второго раза сумел ответить внятно.

— А, так это ты, товарищ Ма Вэньхэн! Садись-ка сюда.

Замнач ткнул пальцем, и Ма Вэньхэну не оставалось ничего другого, как робко приблизиться.

— Где работаешь? — зычно поинтересовался замнач.

Ма Вэньхэн совсем стушевался:

— На заводе каустической соды.

— Каком-каком?

Замнач, похоже, о таком и не слыхивал и не понял, даже когда Ма Вэньхэн повторил.

— Чем занимаешься? — продолжил расспросы замнач.

Ма Вэньхэну было неловко беседовать с высоким руководителем, почтенным писателем на глазах у всех, но не обрывать же его на полуслове.

— Так чем ты там занимаешься? — снова спросил замнач.

Работник, сидевший рядом, пояснил:

— Вас спрашивают, какую работу там выполняете.

— Кассир, — ответил он.

— Кассир? — сдвинул брови замнач. — Так это... это... это... а в свободное время пишешь?

В троекратном начальственном "это" слышался значительный подтекст, словно Ма Вэньхэна спрашивали, удовлетворен ли он работой, выпытывали, не подыскать ли ему что-то более подходящее, с литературным уклоном. Тепло такого участия в его судьбе согрело Ма Вэньхэна, и он ответил:

— Времени хватает, никаких проблем, руководство ко мне внимательно, поддерживает...

Небольшая беседа за чайным столом указывала на то, что конь (а именно это и означает его фамилия Ма) получил стойло в литературной конюшне. "Весенний дождь" он еще писал с ощущением, будто пытается "оживить дохлую клячу" — ведь с того дня, как пятнадцатилетним он впервые послал рукопись в "Литературный ежемесячник", минуло двадцать лет, и те скакуны его вдохновения, его творческой мысли давно уже сдохли, разодранные сомнениями. Кто бы мог подумать, что на рубеже лета и осени семьдесят восьмого кобылка воспрянет, взбрыкнет, заржет, цокнет копытом, помашет хвостом... Ну что за волшебный тысячеверстый скакун!

За этим чайным столом Ма Вэньхэн словно не душистого чая хлебнул, не вяленых фруктов отведал, а припал к живительному небесному источнику, вкусил эликсир бессмертия, пропитался сиянием солнца и луны. Придя туда, он поначалу чувствовал себя как бы не на своем месте,

тушевался, а после беседы ощутил такую легкость, что готов был воспарить. "Широкий путь стремится вдаль"[1], "одежды вольный ветер раздувает"[2], и в радости большой взметнулись брови, заколотилось бурно сердце...

3

Тридцать, сорок, а то и все пятьдесят процентов своей мощности реактивный самолет внутренних авиалиний расходует на взлете, на взлете тратятся все основные усилия, и все осложнения возникают на взлете, но зато, поднявшись в небо километров на десять, он летит ровно и спокойно, и это для него так же легко, как нам хлопнуть в ладоши.

Таков же и спринтер — он концентрирует все свои силы в миг резкого спурта, начиная бег, потом увеличивает скорость, и лишь к середине дистанции движения его ног и рук обретают легкость и естественность.

То же самое происходит и с семенем, выпускающим росток: тут главное — вытолкнуть его на поверхность земли, раздвинув слои почвы, приподняв придавливающий сверху камешек или комок глины. Ох, эти трудности выхода на поверхность! Потом уже легче.

Непросто отыскать в снегу так нужный людям уголек, не то что парчу цветочками украсить, так всегда было, уж не взыщите!

Октябрь 1978 года — октябрь 1980 года.

Ма Вэньхэн избрал себе псевдоним Вэнь Хан (созвучно с его именем, но гораздо приятней — "Теплый путь"), и за два года в самых разных периодических изданиях страны вышло у него более десятка рассказов и эссе: "Весенний дождь", "Свет звезды", "Подлинные чувства", "Новая прохлада", "Лунное сияние", "Текучие потоки", "Теплый ветерок", "Горное плато", "Ночной кошмар", "Утреннее светило", "За ушедшим", "Сбор чая". Два из них — "Весенний дождь" и "Теплый ветерок" — были отмечены наградами.

Рецензии на произведения Вэнь Хана цвели пьянящими, дурманящими фразами:

"Высоко взлетел, незаурядно начал, свежим дыханием повеяло на литературной арене..."

"Эпоха взывает к писателям, а писатели вызывают новую эпоху: вот таким образом и появился Вэнь Хан. Он сам нашел себя, сформировал свой собственный стиль прозы с двусловными названиями и мудрым взглядом, он открывает людям то, чего они раньше не замечали..."

"Читая произведения Вэнь Хана, я не мог не вспомнить лусиневскую глубину, чеховскую тоску, тургеневскую изысканность, хемингуэевский лаконизм. Но нет, Вэнь Хан не Лу Синь, не Чехов, не Тургенев и не Хемингуэй, Вэнь Хан — это Вэнь Хан, и только Вэнь Хан, Вэнь Хан остается самим собой..."

"Когда мы читаем новые произведения Вэнь Хана, вырвавшиеся к жизни, как чистый ручей на поверхность земли, мы с трудом верим, что они принадлежат перу молодого литератора, которому едва за тридцать.

1. Строка из стихотворения Цюй Юаня (IV в. до н. э.).
2. Строка из стихотворения Тао Юаньмина (IV—V вв.).

Они слишком искусны, и в этом величавом духе, сочетающемся с отточенным мастерством, – поразительная зрелость...”

“Особенность произведений Вэнь Хана можно выразить в трех словах: новизна, глубина, правдивость. У него – новые замыслы, новые темы, новые средства; глубокие чувства, глубокие мысли, глубокие решения; правдивые герои, правдивая среда, правдивые детали. Способность к новому порождает способность к глубокому и правдивому; способность к глубокому порождает способность к правдивому и новому; способность к правдивому порождает способность к новому и глубокому. Новизна без глубины и правдивости – это бродячий фокусник-трюкач, глубина без новизны и правдивости – туманные мистификации, правдивость без новизны и глубины – презренное регистраторство. Не это нам нужно. А Вэнь Хан с самого начала добился равновесия и гармонии нового, глубокого и правдивого...”

Каждая такая рецензия лишала сна Вэнь Хана и его жену (читатель, внимание: не станем больше именовать его Ма Вэньхэном, эти три слога так вульгарны – какая-то “лошадь”, обладающая “постоянством в литературе”, нет, писателю такие три слога вряд ли подходят). Обычно они с женой, оживленно поболтав о чем-нибудь, вскоре принимались зевать, глаза слезились, рот переполнялся слюной, и их начинало клонить ко сну. Но не раз случалось и так, что жена уже почти погрузится в сон, как Ма Вэньхэн... – ах, чтоб тебе! – Вэнь Хан, то ли выдохнув, то ли выкрикнув, то ли со слезой, то ли с улыбкой начинает: “Юйлин (так ее звали), вот уж и подумать не мог, что такое время и в самом деле наступит. Помнишь тот осенний денек два года назад? Смеркалось, я сидел дома, в уголочке за книжной полкой, работал, а ты вдруг ворвалась ко мне с воплем, я было подумал, что наш малыш Дабао под машину попал, небо обрушилось, беда пришла! Сердце затрепетало, ведь я работал, с головой ушел в свои писания, а тут ты врываешься, уж так меня перепугала... А оказывается, “Литературный ежемесячник” пришел, первая публикация, этот мой “Весенний дождь”, цветок раскрылся, хотя и чуть припозднившись. Всю ночь меня лихорадило, бросало в пот, душа замерла, как парализованная, в голове все смешалось...”

Ну и что еще оставалось делать жене, как ни выслушивать в двадцать пятый раз эту не столь давнюю историю? Сна уже ни в одном глазу. Так случалось у них не единожды, и даже выработался условный рефлекс: как в очередном журнале появляется рецензия, Юйлин в этот вечер и не помышляет о сне. Вэнь Хан даже особенно и не разглагольствует, только еще задумчиво вздыхает, а Юйлин уже и не думает о сне и до глубокой ночи, дрожа и покрываясь потом, рассеянно вслушивается в охи да вздохи, смешки да всхлипы мужа, бормочущего: “Вот уж и подумать не мог, что такое время и в самом деле наступит!”

Потом, однако, восторгами он пресытился, стал относиться к ним спокойно, и у него появилось чувство, что так оно и должно быть, что он заслужил все эти рецензии, ведь он хорошо пишет – и не по чьему-то там распоряжению! Он же не выпрашивает эти отзывы. Просмотрел еще несколько – скукота, все одно и то же, все похожи друг на друга, ах, он такой, ах, он сякой, вот и все, а вы гляньте-ка, как пишут там, за границей, – там тебя так расцветят, так живописуют, такое про тебя напридумают! Полистал еще – и досада лишь обострилась, а уж когда какой-то рецензент нашел в одном его новом произведении три достоинства, он горько усмехнулся – в остальных-то пяти тридцать достоинств прогля-

дел, нет, не хватает им зоркости. Так что же это означает в конце концов — хвалят его или унижают? Вот таким размышлениям предавался теперь Вэнь Хан.

Весной семьдесят девятого, как раз после того, как "Весенний дождь" был отмечен премией, один его школьный товарищ, работавший в редакции, вызвался помочь ему выйти из профсоюза работников финансовых органов и перейти редактором в детский литературный журнал. Детской прозы Вэнь Хан не писал, но работа с текстами привлекала его гораздо больше, чем бухучет да накладные. Вэнь Хан... — ох, опять я оплошал, в то время он еще звался Ма Вэньхэном — был так взволнован, что отстегнул пятнадцать процентов от премии за "Весенний дождь" и пригласил соученика вместе с несколькими другими старыми приятелями на обед в известный ресторан "Пекинская утка", выразив этим свою благодарность.

Через три месяца, когда еще три его произведения получили одобрение критики и Ма Вэньхэн уже официально отказался от всех трех иероглифов своего имени "ма", "вэнь", "хэн", — некий замдиректора по административной части местного драмтеатра нанес ему два визита и предложил войти в штат драматургом.

— Когда я говорю "драматург", я имею в виду творчество как профессию, вы будете сам себе хозяин, захотите написать пьесу — пишите, не захотите — создавайте свои эссе, рассказы, я все понимаю и не буду вмешиваться. Из хорошего рассказа, обмозговав, всегда можно сделать пьесу, и если получится, это всем радость, так что приходите, увидите, какой замечательный у нас театр...

Так убеждал Вэнь Хана замдиректора театра.

И в это же самое время прибежал в возбуждении тот старый школьный приятель, что некогда вкушал — тогда еще с Ма Вэньхэном — пекинскую утку:

— Все сделано, полный порядок, завтра придут документы на твой переход, завершай поскорее дела. С твоим начальством все обговорено, в следующем месяце зарплату получишь уже в литжурнале, ну как, Ма Вэньхэн, а?

Вэнь Хан поморгал, очень недовольный этим "Ма Вэньхэном" — ну что за грубые звуки, совсем не соответствуют его нынешним успехам и должностным переменам...

— Извини, я туда не пойду, не собираюсь быть редактором, да и детской литературой заниматься не намерен.

Он ответил так холодно и жестко, что старый приятель едва не изверг обратно три месяца назад откушанную утку.

Переход в театр оформили быстро, хватило месяца, все бумаги подписали, и Вэнь Хана пригласили в отдел кадров, куда он и направился. Счастливец, скажете вы! На полпути туда, однако, он столкнулся с незнакомкой, весьма в себе уверенной, что сразу бросалось в глаза.

— Извините, где можно найти товарища Вэнь Хана?

Голос у нее был четкий, приятного тембра.

— Это я, — поспешил ответить он.

Женщина работала в сценарно-режиссерской группе киностудии, а в прошлом была актрисой, так что понятно, почему она выделялась среди прочих. Приехала заключить с Вэнь Ханом договор на создание киносценария. Большая говорунья, она расспросила Вэнь Хана обо всем. Узнав, что тот поступает на работу в театр, категорично заявила:

— Нет-нет, никакого театра, приходите к нам.

Властным голосом всезнающего и всемогущего человека она изложила двенадцать резонов, почему киностудия предпочтительней театра.

...В результате не пошел он ни в театр, ни на студию, все колебался, выбирая, решая, передумывая и снова выбирая, решая, передумывая, и так тянулось до весны восьмидесятого, когда после очередной премии — за "Теплый ветерок" — он полгода проучился на литературных курсах и той же осенью вошел в немногочисленные в их городе ряды профессиональных писателей.

И когда он стал писателем-профессионалом, прошедшее десятилетие, проведенное в кассе с приходно-расходными книгами, влажными губками, счетами да накладными, бюджетами да отчетами, двух-, пяти-, десятиюаневыми купюрами, более мелкими — по паре *цзяо*, монетками в два, пять *фэней*... — все это показалось ему каким-то абсурдом. Как же позабавилась со мной судьба! Замечательного писателя на десять с лишним лет забросить в кассу! Это не только абсурдно, это глупо, оскорбительно, дико, преступно, это непостижимо...

Свою былую работу в кассе он не любил вспоминать еще больше, чем имя Ма Вэньхэн, и как чумы страшился, что в литературно-художественных кругах прознают о его прежней профессии — считать купюры. На одном мероприятии в литкругах какой-то парень лет двадцати, неведомо откуда узнавший об этом, выпалил:

— Мы с вами коллеги, уважаемый Вэнь Хан.

Писатель не понял и поморгал глазами.

— Вы ведь когда-то работали в кассе, да? И я кассир!

Это совпадение привело парня в восторг. А Вэнь Хан нахмурился, хмыкнул и зло пронзил его взглядом...

К счастью, паренек оказался не из слабонервных, а будь он похлипче, кто знает, не решился бы он, вернувшись домой, несколько укоротить свою жизнь?

4

Два следующих дня Вэнь Хан пребывал в дурном настроении. Позавтракав, принялся неторопливо потягивать чаек, заваренный в большой кружке, что всегда доставляло ему удовольствие, но сейчас вдруг показалось, что чайные листочки чем-то отдают, будто в кружку плюхнули сладковатую бобовую пасту вместе с душистым перцем и куском мыла. Поворчав, побурчав, попенял жене, что держит-де на кухне чай без плотной крышки. Жена возразила, что, во-первых, крышка завинчена плотно, еще чуть повернешь — и сорвешь резьбу, какой тогда прок от банки, а во-вторых, все годы их супружеской жизни чай неизменно стоял на кухне, а не в спальне и не в уборной, ведь термос и кружки находятся там же, на кухне. Десять лет никаких проблем не возникало, что ж сейчас-то на пустом месте их выискивать?

Он отмахнулся, не желая затевать ссору с женой и еще больше ухудшать свое и без того дурное настроение. После обеда сходил за гонораром, получил шестьдесят *юаней*, дело, в общем-то, приятное, но и оно его не обрадовало: ведь писал, правил, сверял, публиковал, и на тебе гонорарчик — всего-то шестьдесят *юаней*!

Вечером взял свежий журнал, проглядел несколько страниц, как в дверь постучали. Открыл, там двое, один повыше, другой пониже, один

толстый, другой тонкий, издалека приехали заказать ему материал для их журнала. Два года назад, когда к нему впервые пришли из редакции брать интервью, он перепугался до полусмерти, услышав слово "редакция", разволновался, затрепетал в ужасе и благоговении. А сейчас эти незнакомцы, невесть откуда взявшиеся, лишь навеяли на него скуку. Нет покоя в Поднебесной! Когда-то, относя рукопись, он дрожал, а отдавая ее, готов был преклонить колени перед редактором, но прошло время, и теперь он спокойно принимает редакторов у себя дома, и только тогда, когда сам того хочет и к этому расположен. Кого-то с почтительным вниманием, кого-то — увы и ах! — не заботясь о манерах.

Эта парочка — высокий-низкий, толстый-тощий — произнесла несколько льстивых слов в адрес его произведений, так что он немного смягчился и дал принципиальное согласие вскорости черкнуть им что-нибудь.

Они ушли, а сна не было. Бессонными ночами ему думалось лучше всего. Нельзя сказать, что Вэнь Хан не был способен к самоконтролю, к бесстрастному самоанализу, не умел слышать собственный голос. Вспомнил, как оживился, услышав о себе льстивые слова, хотя и не подал виду, вспомнил о скандальном инциденте с тем парнем, который заговорил про кассу и которого он осадил, вспомнил о старом приятеле, предложившем ему перейти в детский литжурнал и канувшем куда-то... И вот уже друзья перестали к нему захаживать.

Как же это так все произошло? Он вздрогнул, грудь стеснило, живот вспучило и даже затошнило немного, видно, рыба за ужином оказалась не слишком свежей, да и почищена была плохо, и жарили на прогорклом масле... Эх!

С детства он любил литературу и упоенно погружался в домашнее чтение. "Стремление" Чжу Цзыцина[1] прочитал, кажется, в третьем классе и в десять декламировал его стихи "прилетела ласточка, но вернется вновь, / пусть цветы опали, зацветут опять". Он ощущал смутное беспокойство, ночами уставясь в раскинувшийся над ним небосклон, чувствуя, как все в мире к чему-то стремится, и он обязан хоть что-то выхватить из этого стремительного потока. И тогда он купил блокнот и начал "упражняться". В одиннадцать впервые ощутил прилив божественного волнения, прочитав "Девочку со спичками" Андерсена: она чиркает спичку за спичкой, и вот уже ни одной не осталось, но пока горит огонь, девочке грезится жареный гусь, очаг, бабушка, и она, замерзая, продолжает улыбаться.

Я тоже напишу так! Ребенком он уже понимал, что литература несет несчастным людям свет и тепло. Его душа смягчалась от чтения. Когда в шестьдесят восьмом "культурная революция" слегка поутихла, он принялся тайком разыскивать и почитывать "реакционные книжонки" — всю эту "феодальную" и "буржуазную", "ревизионистскую" и "заморскую", "древнюю" и "крупномасштабную"[2] нечисть, с которой сражались бравые молодцы-*хунвэйбины*. Он, правда, уже отбросил мечты о литературе, о писательстве, а все же порой ронял на страницу слезинки. Не только Мин Фэн из бацзиневской "Семьи" исторгала у него слезы, но

1. Чжу Цзыцин (1898—1948) — китайский поэт.
2. Суть этих ярлыков достаточно прозрачна, кроме последнего: тут речь идет о том, что Мао Цзэдун утверждал, что развитие Китая должно опираться на мелкое крестьянское хозяйство, а не на крупную индустрию, и потому хунвэйбины выступали против всего "крупного", "чрезмерного", "избыточного".

душа трепетала над "Оводом". А потом вновь перелистал "Сон в красном тереме"[1], и сердце вдруг сжалось от сочувствия ко всем этим барчукам, барышням, служанкам.

Долгие годы он взращивал в себе эту чувствительность, и не только чтением. Зимой подолгу смотрел на курящиеся трубы над бедными хижинами. Слабые, чуть заметные дымки казались такими одинокими и беззащитными, что вряд ли могли бороться за существование, сохранять свою форму, очертания, у них не было возможности показать себя, поддержать свой жар. Эти бессильные дымки из жестяных труб, так же вившиеся и до того, как он появился на свет, наводили его на мысль о собственной жизни — такой беспросветной, заурядной, ограниченной.

Весной, в самые первые ее дни, когда все мерзнут и клянут эту раннюю весну, еще более холодную, чем зима, когда даже сводки погоды не ошибаются, предсказывая понижение температуры, — в эту пору Ма Вэньхэн, наоборот, в пронизывающем ветре начинал ощущать нежность, весеннее томление, обнаруживая первые травинки в углу стены и первую завязь на ветках. И жаждал до всех донести эту весть, и страдал, не в силах всколыхнуть обывателей.

Кино или театр он не слишком любил, особенно в те годы, когда там только и знали, что "штурмовать" — не "облака", так "небеса", но ему нравилось замедлить шаг перед каким-нибудь кинотеатром или театром, когда толпы текли в них или из них: ну до чего яркая, свежая мизансцена! Всякий раз он разглядывал людей с новым чувством. Как-то театр представился ему водохранилищем, а людской поток — заполняющей его рекой, перехлестывающей через плотину и затапливающей песчаные берега. Вода очищает, но отчего же люди, покидающие театр, так суетливы и грубы? Ему становилось больно.

Писательство сможет доставить ему немало удовлетворения, он понесет людям тепло, свет, весть о весне, очистит от всего наносного, утешит тех презираемых людишек, о чьей незаметной, как дымок, жизни когда-то глубоко задумывался. Он верил, что сожжет немало спичек, светя и другим, и самому себе. В реальной жизни столько ни за что не сожжешь, хотя и стоит коробок всего два *фэня*. В свете горящей спички виделись ему теплый дом, жареный гусь, бабушка, и люди казались близкими друг другу, любящими, они выходили из дверей кинотеатра умытыми, вычищенными, выбеленными, культурными, теплыми, улыбчивыми, внимательными, каждый становился хоть чуть-чуть лучше, а ведь если все станут хоть чуть-чуть лучше, жизнь преобразится...

Но у него ничего не получалось. Чиркая спичками, одной за другой, чиркая, чиркая, чиркая без устали, не переводя дыхания, освещая крохотный уголок мира — в себе он ощущал мрак. Все свои младенческие поползновения, детские грезы, юношеские увлечения и сменившие их опрощение, стойкость, терпение, необходимость подавлять свои порывы — все он описывал в своих произведениях, надеясь таким путем достичь давно ожидаемого им нового мира, новой жизни. И все-таки понял, что не в состоянии выдернуть самого себя за волосы из этой среды, и чем дальше, тем больше отчаивался.

Его мысли уходили ко временам первой премии, первой хорошей рецензии. Вот он обедает с одним превозносившим его критиком, седовласым, тощим, костлявым коротышкой, весьма к нему расположен-

1. Классический семейный роман Цао Сюэциня (ок. 1715–1762 или 1724–1763).

ным, и критик поднимает тост за него как за новую звезду на небосклоне, открытую астрономами, и говорит о том волнении, какое испытывал, читая его произведения. Горячие слезы выступают на глазах Ма Вэньхэна, впервые познавшего себя, вернувшегося к себе и признанного людьми. Тогда ему показалось, что он действительно стал самим собой — настоящим, весомым, прекрасным, возвышенным.

Вот в этот-то момент девчушка-официантка с косичками и подала ему душистую курицу со специями.

Он защипнул палочками кусочек куриного мяса, обмакнул в молотый перец, отправил в рот и почувствовал, что вкус какой-то не такой. Из мяса, которое должно быть хорошо прожаренным, вытекало что-то липкое.

— Товарищ! — окликнул он официантку.

А эта, с косичками, облокотясь о стойку бара, болтала с парой других косичек и не услышала его зова.

— Товарищ! — возвысил он голос и сделал знак рукой.

Официантка повернулась, взглянула на него, но не пошевельнулась. И трех секунд не прошло, как она вновь показала ему свои косички и продолжила веселую болтовню.

— Товарищ! — выкрикнул он в третий раз и хлопнул по столу.

— Эй, чего кричишь? — бросили ему "косички", оторвавшись от стойки, но так и не выказывая желания подойти.

"Кричишь"! "Эй"! И это к нему, пишущему человеку, только что узнавшему себе цену, ощутившему уважение к себе, так обращаются — "эй", "кричишь"? И ведь даже не пошевелится...

Вот так, походя, унизить человека! Возможно ли большее оскорбление?! В "Весеннем дожде" он показал прекрасную душу официантки. А эта девица ничтоже сумняшеся нагло унизила его, это им привычно — не замечать людей, унижать их, это их натура...

Стукнув по столу так, что фарфоровые ложки полетели на пол и разбились, он заорал:

— Подойди сюда!

Седовласый критик испуганно вздрогнул.

Разразился невероятный скандал. Как какой-нибудь обыватель, невоспитанный грубиян, опустившийся бродяга, нарывающийся на драку, он ругался с работниками ресторана, а критик все пытался остановить его и не мог. Из своего словарного запаса Вэнь Хан вытащил все злое, ранящее, убийственное и атаковал эти "косички", однако вовсе и не устыдил девицу, она ловко парировала его нападки. А потом эта ловкачка повернулась к тощему критику:

— Бред какой-то, он что, больной? Вы лучше вызовите такси и отвезите его в психушку!

В самую точку! Ма Вэньхэну в эту минуту казалось, будто он и в самом деле сходит с ума, ему хотелось кого-нибудь ударить, сломать стул, все порушить, а еще лучше облить это заведение бензином и поджечь...

И вдруг на самом пике своего бешенства он остановился, взглянул на критика, на себя, на официантку, на окружающих — и прикусил язык. Заплатил двадцать четыре *фэня* за разбитые ложки и, опустив голову, не издав ни звука, вышел из ресторана, слабым, чуть слышным голосом простился с критиком — и посреди улицы разрыдался. Соленые слезы покатились по губам...

Это был печальный знак! Успех, смутно почувствовал он, воистину есть начало крушения.

5

Неделю Вэнь Хан, выполняя обещание, данное тем двум редакторам, высокому и низкому, толстому и тощему, писал воспоминания о детстве. У них в журнале как раз из номера в номер публиковались "Воспоминания писателей", и "мемуары" Вэнь Хана должны были засвидетельствовать его вхождение в категорию "непререкаемых авторитетов", "старых писателей". Не по возрасту, разумеется, в этом году ему исполнилось лишь тридцать семь, но по достижениям и статусу он уже сравнялся с писателями старшего поколения.

И он принялся вспоминать и фиксировать свои детские годы. Родная деревушка среди груш и фиников, водяные змейки на насыпях арыков, из норы выползает крыса-полевка, оставляя за собой тонкую струйку... Когда они переехали в город, он долго продолжал подтираться не бумагой, а только высохшим листом гаоляна или комком земли... Что за бред! Можно ли вообразить себе писателя, известного уже всей провинции, подтирающим задницу каким-то отбросом со свалки?

Поначалу в городе речь выдавала в нем деревенщину, и школьники, эти дети города, звали его "лапотком" и даже сложили дразнилку:

Лапоток,
Лапоток
Вытянул свой коготок,
Твой собачий коготок
Черной грязью покрыт,
Года три уже не мыт...

Дикая жизнь, и эти сверстники, смеявшиеся над ним, считая посредственностью... Узнали бы они о его сегодняшних успехах!

Упорно и настойчиво занимаясь, он в итоге завоевал авторитет среди товарищей по школе, и больше уже никто не смеялся над ним, а после уроков все те, кто получал "неуды" на экзаменах, бросались разыскивать его, чтобы списать задание. В третьем классе Вэнь Хан стал членом учсовета, а это уже была номенклатура, пусть даже только на уровне класса и только на один учебный год! Но во втором полугодии четвертого класса случилось то, что можно назвать стихийным бедствием или великим переломом: он влюбился в литературу.

Читальня и книжная лавка, тусклый огонек, старые книги, от которых несло ветхостью, новые книги, пахнущие типографской краской, все более длинные сочинения и все более постылые математика, физика, химия, хотя и там он удостаивался похвал... В старших классах любовь к литературе стала неизлечимым недугом. Товарищи по ячейке, староста — все смотрели на него с подозрением: что же это за ученик? Живет в эпоху Великого Скачка[1] и классовой борьбы, которую ну никак нельзя забывать[2], а голова забита какими-то Жан-Кристофом, Жюльеном, госпожой Бовари...

Все были настроены против него, и в результате он не получил разрешения подавать документы в институт[3]! Не оказалось в шестьдесят

1. Политическая кампания 1958 г.
2. "Никогда не забывать о классовой борьбе" — слова Мао Цзэдуна, распространявшиеся по стране как руководящий лозунг.
3. В тот период нельзя было поступать в вуз без официальной характеристики.

втором института, который захотел бы принять Вэнь Хана... Что это, позор девятнадцатилетнего Ма Вэньхэна? Или тогдашней вузовской системы?

"Вузы, — писал он в "Воспоминаниях о былом", — захлопнули передо мной суровые, бездушные, так мне и не поддавшиеся двери..."

Вот невезуха, черт подери, любить литературу, потеть над стихами, каждую клеточку полнить искусством, каждым нервом биться в творческом ритме — и стать кассиром на заводе, общаться с пошлыми, грязными, однообразными купюрами, оскорбляющими поэтический вкус и не дающими вздохнуть душе художника, и вот так — шестнадцать лет!

До чего же мучительна жизнь! В конце восьмидесятого уже обретший известность Вэнь Хан негодовал и страдал, вспоминая шестнадцать лет, проведенные в кассе, но ему не удавалось выразить свои чувства с такой силой, как Андерсену в "Гадком утенке". Он ведь теперь — лебедь, а не гадкий утенок, презираемый не только людьми, но и паршивой собачонкой. А проживи он эти шестнадцать лет в литературной среде, имей возможность творить, развивать свой талант, как это и произошло после свержения "банды четырех", имей он благоприятную почву, солнечный свет, тепло, своевременный полив и подкормку, он, быть может, вырос бы в могучее литературное древо, поднимающееся к небесам! Уже, наверное, сборников десять издал бы! Множество международных премий получил! Сумел бы, непременно сумел, ведь в молодости был полон чувств, порывов, энергии!

Но мало того что шестнадцать лет изо дня в день он имел дело с маловдохновлявшими его купюрами — в жизни этих самых купюр ему явно недоставало. Одежда ветшала, летом приходилось выдерживать мучительную борьбу с самим собой, прежде чем решиться на покупку мороженого... В шестьдесят девятом у них с Юйлин родился сын, и в семидесятом, когда малышу исполнился годик, он хотел купить ему трехколесный велосипед, так тридцати *юаней* не нашлось... Ну разве не бред?! Больно и грустно!

Как раз в этот вечер, когда он выплескивал в воспоминания о былом свой гнев и свою печаль, заглянул к нему старый приятель и давний сосед Чжао. Их знакомству было уже больше десяти лет, и, живя рядом, схожей жизнью, они частенько делились друг с другом своими мыслями да заботами, утешали друг друга. Чжао не прочь был поиграть в *вэйци*[1], и в пустоте тех невиданных историей лет Ма Вэньхэн тоже пристрастился к игре, с азартом постигая премудрости "пушки позади коня", "двух повозок" и других комбинаций, ведущих к победе. После нескольких партий они опрокидывали по рюмочке крепенькой, закусывали чем придется, затем снова выпивали и закусывали, болтали о том о сем, ворчали, жаловались на жен, и на душе становилось легче.

Последние год-два Чжао заходил редко. Видя, что Ма Вэньхэн, став Вэнь Ханом, переменился, он не решался беспокоить его. Но в этот раз вэньхановой жене Юйлин надо было расспросить соседа об элитной школе, куда они решили определить сына и где тот заведовал столовой. Вот Чжао и явился рассказать, что ему удалось выяснить.

1. "Облавные шашки" — китайская национальная игра, ее фигуры имеют свои наименования ("пушка", "конь" и т. д.).

По такому случаю Вэнь Хан с женой вскочили, едва Чжао вошел, и весьма радушно приветствовали его восклицаниями вроде "совсем нас забыл, а мы частенько вспоминаем тебя", и на сердце у Чжао потеплело. Значит, остается все-таки дружба между людьми, хоть и меняется их положение, не так уж много чудес в мире человеческом, и тем больше надо дорожить дружескими чувствами! Чжао принялся весело болтать, выложил всю информацию про школу, куда, он надеется, сын Вэнь Хана поступит, а потом принялся расписывать, как кормят в их столовой: морепродукты, птица — свежая, не мороженая, вареное мясо, рассказал о новых способах приготовления лапши, об отношениях между поварами, администраторами и снабженцами, не забыл упомянуть про масло, соль, соевый соус, уксус, соленую редьку и маринады, а также разъяснил преимущества и недостатки разовых и многоразовых продталонов.

Вэнь Хан слушал без всякого интереса, но, поскольку Чжао был им нужен, приходилось изображать на лице улыбку и делать вид, будто все это весьма любопытно. Юйлин же слушала очень внимательно: еда — тема вечная, интересная всем, вне зависимости от классовой принадлежности, национальности и сексуальной ориентации. Время от времени она вставляла какие-то словечки, подхихикивала, еще более возбуждая словоохотливость Чжао, у которого к воодушевлению имелся тайный важный стимул: он считал, что дружеские беседы в доме Вэнь Хана придадут ему больший вес в глазах соседей.

Вэнь Хан начал ерзать на стуле — уже сорок минут он почтительно выслушивает абсолютно неинтересную ему болтовню. Он сейчас пишет о былом, весь погружен в воспоминания, наполнен прошлым, сострадает, любит, пылает гневом — это другой мир, вызывающий сочувствие и воздыхания. Его записи обретут изящество Тургенева, тоску Чехова, искренность Чжу Цзыцина, поэтичность Ян Шо[1]. Когда человек уходит в воспоминания, лирику, творчество, его душа размягчается, взор заволакивается туманом, и все вокруг словно бы окутывается дымкой... В это время рассказывать ему о преимуществах чжэньцзянского душистого уксуса или хорошо выдержанного шаньсийского уксуса, достоинствах и недостатках тушеного мяса с красной подливкой или мяса, сваренного в уйгурском котле, — дикость, зверство, равносильное убийству. Прошедшая жизнь безжалостно погубила его весну, а теперь еще топчет его творческую душу, вынуждая смотреть, как из зубастого рта Чжао вылетает слюна, как отвисает его подбородок, оттопыриваются уши, раздувается шея, как беспрерывно мелькают перед глазами руки и пальцы, в особенности этот, указательный левой руки, которым Чжао все время тычет в него. Да еще слушать все эти глупые словечки "подсчитать", "энергично", "поменьше жара", "масло", "поесть", "практично", "чрезмерно", "тараща̀ться"... Все так пошло, бессмысленно, тупо, глупо, безмозгло... Воистину незакрывающийся рот этого фигляра Чжао потешался над ним, и это в тот момент, когда Ма Вэньхэн стал Вэнь Ханом и в собственном доме своим судьбоносным пером устремлен к правдивому, доброму и прекрасному!

Да, конечно, когда-то они были друзьями, но ведь все в прошлом, и это — лишь доказательство глупости былого существования, это шрамы от тех мук, что причиняла ему несправедливая жизнь, рубцы душевных

1. Современный эссеист, был одним из руководителей Союза китайских писателей.

травм, которые леваки[1] нанесли отвергнутым талантам... Но теперь-то он, наконец, воспрял, он признан, принят в рай правды, добра, красоты, поэзии, искусства, и что, он все так же должен мириться с тем, что его душу топчут и оскорбляют? Зачем заставлять себя терпеть все это? Опускаться до вульгарного уровня всех этих Чжао? Почему не выбирать то, что он любит, и избегать того, что ему претит? Почему...

А Чжао был в ударе и уже переходил от пищевых тем к шашкам, казалось, он намеревался, возрождая старую дружбу, сыграть с ним пару партий.

И тогда Вэнь Хан выпрямился, нахмурился и, не издав ни звука, с окаменевшим лицом вышел прочь.

Чжао не обратил на это никакого внимания, решив, что Вэнь Хана живот подвел. Подождал немного, и еще немного, и еще подождал и недоуменно взглянул на Юйлин, не понимая, в чем дело.

Та отправилась за мужем в другую комнату.

— Я не могу так транжирить драгоценное время! — объяснил он ей. — Уже и так двадцать лет растратил впустую, и что же, позволить всем кому не лень разворовывать мое время и мою жизнь?

Такие перемены в Вэнь Хане испугали Юйлин. Она тоже любила литературу, не прочь была почитать книжку и всегда с пониманием относилась к мужниным увлечениям, поддерживала его. Два с лишним года она разделяла с ним радость от его успехов и еще больше пристрастилась к чтению, к литературе, к разговорам о ней. Для нее он оставался все тем же живым, подлинным — что Ма Вэньхэн, что Вэнь Хан, что кассир, что писатель, которого успехи вовсе не изменили, не заставили отстраниться от прошлого. Да, муж все больше загружает себя работой, все больше дорожит своим временем, и все меньше внимания уделяет дому, обсуждению хозяйственных мелочей, она все понимает и полностью принимает. Новые условия, созданные в стране, каждому предоставили все возможности развить то, на что он способен, заняться настоящим делом, самосовершенствоваться, заполнить свою жизнь — разве это плохо? Ну, а если муж иногда и выйдет из себя, так это в порядке вещей. Легко ли быть писателем? Свою душу, свой ум расходует, и лучше его не отвлекать...

Но последняя выходка Вэнь Хана испугала ее. Она даже предположить не могла, что у него так вытянется лицо и опустятся уголки рта, верхняя губа вздернется, а нижняя опустится на *полцуня*[2], ну совок, да и только, и он утробно загундосит, и каждое слово зазвучит у него так торжественно, почти театрально! Что произошло? Или передо мной разыгрывается спектакль под названием "Творческая личность"?

Юйлин переменилась в лице:

— Ты...

Что-то почувствовав или услышав, хотя Вэнь Хан и старался приглушить голос, Чжао встал и ушел, не попрощавшись.

А потом была ссора между супругами, первая их бурная распря за последние два года. В один миг Юйлин припомнила все, чем пожертвовала ради мужа и его занятий. Начала с того, что многие друзья отговари-

1. Этим термином в современном Китае обозначаются адепты "левацких извращений" коммунистических идей как в годы "культурной революции", так и в предшествующие периоды китайской истории.
2. Цунь — 2,5 см.

вали ее выходить за Ма Вэньхэна. Человек, влюбленный в литературу, говорили они, во-первых, изгой общества, которого не минует ни одна политическая кампания, на него навесят ярлыки, отправят на трудовое перевоспитание, и он всегда будет хоть на шаг, но в отдалении от тебя; во-вторых, ему не до дома, по хозяйству он тебе не помощник — ни о ребенке позаботиться, ни печь растопить, ни овощи потушить, ни мебель починить или подремонтировать что-нибудь; в-третьих, проснувшись однажды знаменитым, пустится во все тяжкие и бросит тебя... Но ее это не поколебало, и свою молодость и красоту она подарила этому невзрачному маленькому молчуну кассиру. И теперь целыми днями тот разглагольствует о Бо Лэ[1] да тысячеверстых скакунах, а кто тут Бо Лэ, если откровенно? Редактор "Литературного ежемесячника"? Руководитель Союза писателей? Нет, это она, Юйлин, настоящий Бо Лэ, это она, Юйлин, вышла за Ма Вэньхэна, когда тот загибался в своей кассе, ухаживала за ним, согревала, подбадривала... Ах, не ту, видите ли, ложку подали. А каких только блюд она ему не готовила! Теперь он уже вылупился из яйца, стал писателем, две премии получил! И что же? Даже от меня отворачиваешься, губы сжал, слова цедишь сквозь зубы, будто они все разом заболели...

— Что с тобой происходит? — с отчаянием воскликнула Юйлин.

Вэнь Хан и не предполагал, что этот его поступок сможет так взволновать Юйлин, он давно привык к тому, что она понимает его, заботится о нем. Перемены в жене привели его в недоумение, и он парировал:

— А с тобой-то что?

В уголках глаз Юйлин выступили слезинки, горло перехватило, и она не смогла выдавить из себя ни слова. Вэнь Хан опешил. Может, что-то с нервами?

— Да ничего со мной не случилось!

— Взгляни на себя — прямо собачья морда...

— Ты... зачем ругаешься? В чем дело?

— Совсем взбесился... Чжао ведь наш старый друг, сосед, и мы попросили его кое-что сделать для нас... А ты, как ты мог вот так просто повернуться и уйти, бросить гостя!

— А, так вот оно что, — Вэнь Хан немного успокоился или решил сделать вид, что успокоился. — Ты же знаешь, я сейчас как раз пишу, — примирительно принялся он объяснять, — навязали мне работу, а когда я весь ухожу в это, мне трудно вынести любое вторжение. Вот так выдернуть меня из мира творчества, заставить два часа выслушивать разглагольствования о продталонах да мясе в уйгурском котле — это же негуманно, это просто... насилие над моей свободной волей!

С пафосом закончив, он встал и зашагал по комнате взад-вперед.

— Да, ты пишешь, оправдание у тебя есть, всем известно, что ты человек творческий. Но разве к тебе не внимательны, не поддерживают тебя? Не терроризируй людей! Разве нужен какой-то талант, чтобы после еды чуть расслабиться, с приятелем поболтать? Человек может творить, но он также должен и жить! Кто заставлял тебя заводить семью, ребенка? А есть еще соседи, друзья, множество самых разных занятий... Сегодня творят не в уединении горных монастырей, как древние поэты! Понормальнее надо быть...

1. Легендарный знаток лошадей.

Голос у Юйлин упал, но это заключительное “понормальнее” уязвило Вэнь Хана, в носу засвербило, губы скривились, и голос у него задрожал:

– Понормальнее? Нормальные люди писателями не становятся, писатель – это тот, кому среди бела дня духи являются. Да, он живет, как говорится, в этом мире. И в то же время все двадцать четыре часа в сутки, даже во сне, глубинами своей души он пребывает в другом мире...

– О! Так ты из другого мира! Писатель, писатель... С другими еще можешь играть в писателя, но со мной...

– Писатель не писатель, но это профессия, это занятие. Не всем это, конечно, видно, не все признают, не все понимают, что это – нелегкий труд! Я писатель, и без всяких скидок! Я не такой, как обычные люди! И не лезь ко мне, не лезь...

– Вот так так! И как это ты живешь со мной, обычным человеком, ничего не видящим, не понимающим, не признающим? Ты не такой, как обычные люди? А я – такая, как все, из плоти и крови... Так что же нам теперь делать?

И оба уставились друг на друга, будто чужие.

– Ну что ты так взвилась, может, какая-то причина есть? – поспешил он отступить.

– Я... – и Юйлин разрыдалась.

– Ну вот! – Вэнь Хан вздохнул, застегнулся и направился к выходу. – Вот дуреха! Ну беда!..

Он вышел на берег рассекающей город реки, спрятанной в зеленой листве, прошагал с юга на север и обратно, несчетное количество раз поднимался на бетонный мост и спускался с него и все бормотал, бормотал: “Ну беда...”, поглядывая на разрезающие ночную тьму полосы света от редких фонарей на мосту, пока не почувствовал, что вокруг него – беспросветный мрак.

6

Озлобление Вэнь Хана против пошлого мира и его известность в литературных сферах стимулировали друг друга, провоцировали друг друга и соответственно раздувались, как пузыри. В очередном своем произведении устами одного персонажа он объявил: “Трагедия Китая в том, что девяносто девять процентов бездельников, неизвестно чем поддерживающих свое существование, совместно грабят один процент тех, кто вкалывает с утра до вечера, не только грабят, но и крадут их время”. Это произведение он назвал “Ползучий гад” – в кафкианском духе. Предостережения писателя вызвали восторг, но в звуках одобрения ему послышались десятка два резких и даже колких фраз.

После публикации этого набатного произведения его перепечатали два альманаха, и он получил три гонорара. Юйлин предложила купить трехстворчатый чешский шкаф, но он отказался. Довольно этого нестерпимо пошлого транжирства! Вот так, в один миг обменять вознаграждение, полученное за вдохновение, за полет души, – на домашнюю утварь, на курицу или рыбу... Нет, увольте! Когда-то, еще во времена своего кассирства, он завидовал тем, кто питался не доступной ему пищей или обставил дом мебелью, какой у него не было. Но теперь эти раковые клетки пошлости ужасали и отвращали его.

Он твердо решил покончить с руководящей ролью Юйлин, обрести самостоятельность и на гонорар за "Ползучего гада" приобрести нечто высокохудожественное, что по-настоящему могло бы ассоциироваться с "я" возрожденного Вэнь Хана. Он давно уже подумывал купить музыкальный инструмент — саксофон, бас, фагот или же литавры, — а потом узнал, что духовые вредны для легких, а ударные требуют хоть какого-то умения, пусть даже на любительском уровне. Да и разум трезво подсказывал, что, если купишь и начнешь на них упражняться — жди проблем с соседями. Жилищные условия в Китае не приспособлены для домашних концертов. По совету одного побывавшего за границей художника, который всем рассказывал, что из Гамбурга привез надувную резиновую лодку, Вэнь Хан решил купить такую же. "Великолепно! Отправляешься с ней к морю, к озеру — и стряхиваешь пыль мирской суеты!" Но лодку он не купил, прежде всего потому, что они с Юйлин не умели плавать, боялись воды и не представляли себе, как смогут втиснуться в крохотную лодчонку и пуститься в безбрежные водные просторы или даже в озерцо, вовсе не безбрежное. Он все-таки заглянул в несколько универмагов и спортивных магазинов, но не нашел там такой игрушки. И его осенило, что рассказывали-то ему о покупке в Гамбурге, а Гамбург — это север Западной Германии.

В итоге в парке у реки, скрытой зеленой листвой, он купил *бонсай*[1] — самшит в вазоне, решительно выложив за него триста пятьдесят *юаней*. Когда доставал деньги, лицо его запылало, забилось сердце, задрожали руки, и ему пришло в голову, что этот психологический опыт поможет написать рассказ о безногом юноше, попавшемся на краже.

Будто выдавленные какой-то силой из земли пепельно-желтые корни самшита, испещренные извилистыми трещинами и черными наростами, напоминали камень причудливой формы. Или композицию, сотворенную неким модернистом, отражающую его своеобразный, изломанный, подавленный внутренний конфликт и силу фантазии. Из черных наростов выбивались жалкие веточки, похожие на больные конечности маразмирующих паралитиков и усеянные редкими желтоватыми листочками с белыми прожилками. Так-то оно так, но в этом болезненном деревце заключалась какая-то непостижимая эстетическая ценность, напоминавшая Вэнь Хану о сакральных вершинах и горных склонах. Неприметное, в сущности, деревце, не более двух *чи*[2] высотой, но раскидистое, живучее, крепкое, оно вызывало у Вэнь Хана ассоциации, которые вдохновляли и одновременно терзали его.

Сам вазон тоже был примечателен: цветная, землистого оттенка исинская керамика[3] в старинном духе. Квадратный горшок заужен книзу, как мерный сосуд для риса, и на каждой из сторон — по два слова: "высокие горы", "текучие воды", "свежий ветер", "ясная луна": восемь иероглифов, покрытых зеленым лаком, придавали вазону еще больше мрачного изящества.

1. Карликовый пейзаж (дерево, камни) в керамическом вазоне, особый вид китайского декоративного искусства, возникший более 1300 лет назад. В оригинале — китайское слово "паньцзин", в переводе оно передано близким ему по значению японским словом, более знакомым в России.
2. Чи — 32 см.
3. Производство керамики в уезде Исин провинции Цзянсу существует в Китае с рубежа XVI–XVII вв.

С того момента, как самшит поселился в доме Вэнь Хана, у Юйлин и вовсе пропала радость, а соседи и коллеги, узнав его цену, принимались покачивать головой, кое-кто даже неодобрительно изрекал: "Не стоит он того". Но это еще больше притягивало Вэнь Хана к самшиту, и он, бывало, сядет к столу, уставится на свой *бонсай* и тупо просидит час, не испытывая ни радости, ни печали. *Бонсай* стоял у него на письменном столе, соседствуя с чайником, термосом, кружкой, рюмкой, настольной лампой, спичками, пепельницей, будильником, коробкой с печеньем, кружкой-термосом, тушью, а также коробочкой с присыпкой и кремом для лица, демонстрируя беспорядок, непродуманность, душевный разлад.

Когда Вэнь Хан осознал это, он решил, что одного самшита ему мало, к нему требуется еще и живописный свиток с каллиграфической надписью, изящные кисти, тушечница, тушь и бумага (так называемые "четыре сокровища" литератора), мебель из твердых пород с резным узором по черному дереву и вазы, вазы повсюду, так что и комната нужна посветлей, не с одним окном. Самшит-то он достал, но, оказывается, тому еще нужен фон. Ну не скучно ли все это?

Одиночество и молчание корней самшита рвали Вэнь Хану сердце. Из гнева выходит поэт, боль взращивает писателя, и так родилось новое произведение "Молчание самшита", опубликованное весной восемьдесят первого. "Странный призыв, скрытый в подтексте", "пробуждение человеческой мысли", "исторгает слезы"... Восторженные письма лишь усилили одиночество Вэнь Хана.

А вскоре в одном влиятельном издании появилась статья с осторожной критикой в адрес "Молчания самшита", где отмечалось, что "Молчание...", написанное как будто бы своеобразно, на самом деле пусто и бледно. Внешне мягкий, критический текст прорывался яростным напором, больно ранив Вэнь Хана. А потом вышла еще одна статья с обобщениями относительно "стиля и творческого пути" Вэнь Хана, и там подчеркивалась такая особенность Вэнь Хана, как приверженность своему пути, отказ от тех требований, которыми руководствуются рядовые люди. Был в статье даже такой намек: указующий перст годится людям заурядным, но не подходит для тех, кто, как Вэнь Хан, уже нашел собственный путь, свои краски, свою точку зрения и свой облик. Заканчивалась рецензия словами о том, что только среди людей, подобных Вэнь Хану, и может появиться большой писатель.

"Большой писатель" — эти два слова бросили Вэнь Хана в дрожь и жар, будто у него началась лихорадка, и он на несколько дней углубился в себя, места не находил, поглощал пищу, не чувствуя вкуса, страдал икотой, отрыжкой, голова тяжелела, в ушах звенело, спина болела, поясницу ломило. Сходил в госпиталь, врач сказал, с вегетатикой не в порядке, а еще у него синдром Меньера, выписал ему таблетки с бромом, киноварь и смесь из пяти ингредиентов.

"Вегетативная нервная система, с вегетатикой не в порядке" — все эти словечки еще больше травмировали Вэнь Хана. Вегетатика — это же растения, так что же, и у них есть нервы? Оказывается, у него существуют нервы вегетативного типа! Получается, что у него с самшитом общая печаль, общее одиночество, общие ощущения! Мысли его путались, на глаза наворачивались слезинки всякий раз, когда он просто смотрел на эти искривленные и "отчужденные" корни!

Он уже подумывал объявить: "Корни самшита – это я!" Как тот француз, Флобер, заявивший когда-то: "Госпожа Бовари – это я!"

Еще одним следствием приобретения самшитового *бонсая* стало углубление трещины в их семье. "Это никак не подходит, совсем не подходит к духу нашей семьи!"; "Не нарочитая ли тут вычурность?"; "Ну, не переживай ты так, ладно?" – говорила ему Юйлин. Он недоумевал, почему, когда никто в мире о нем слыхом не слыхивал, жена любила его, понимала, поддерживала, а теперь, когда он пошел вверх, она его больше не понимает и они постепенно утрачивают общий язык.

И он стал временами уходить в сновидения или грезить наяву. Както получил письмо с фотографией от одной экзальтированной читательницы, Китай велик, разные в нем встречаются люди. Вслед за письмом пришла посылочка с кунжутными конфетами. Коробка была обернута красной бумагой с одним только словом – "Подношу". Фотография неважная, а конфеты вкусные, но в сопроводительном письме среди многословных и корявых фраз он обнаружил стихи, вычитал в них восхищение и преклонение, и это больше часа забавляло его. За последние годы он выслушал немало дифирамбов и уже привык к ним, как к глотку чая. Даже дешевенького, четверть *юаня* за *лян*[1] заварки (кипяточку добавишь, он совсем побледнеет, потеряет всякий вкус, появится горечь, солоноватость, кислота, терпкость – и не проглотишь). После дифирамбов наступают дни без них, и это тоже нестерпимо. Ведь чем больше похвал, тем больше их не хватает, это как наркотик, как нестихающий зуд. В последние дни уже не раздавалось никаких восхвалений, так что сладкие дифирамбы читательницы на какой-то миг послужили ему утешением.

Он было решил ответить горячим письмом, но подумал, что это будет хлопотно, и не ответил.

Такой психологический опыт подвиг его на рассказ, названный "Безответное письмо", опубликованный в иллюстрированном журнале со снимками сцен из балета "Лебединое озеро" на обеих сторонах обложки. После этого он получил шесть писем с фотографиями. Они, конечно, тоже остались "безответными". Тем не менее одна густобровая и большеглазая читательница лет двадцати отыскала его дом, и ему ничего другого не оставалось, как пригласить ее войти.

– Мне кажется, вы очень страдаете... – произнесла густобровая и большеглазая.

Он промолчал.

– Мне кажется, вы чего-то опасаетесь.

Он опять промолчал.

Говорить было не о чем, но читательница уходить не собиралась, принялась листать его рукописи, поднесенные ему журналы и книги, налила себе чаю, взяла конфетку из коробки "Сладких наложниц" и готова была обсуждать все подряд – журналы, книги, качество конфет, форму чайного стакана и даже посадку на луне американского космического корабля.

К обеденному часу вернулась Юйлин, и Вэнь Хан, не зная, как поступить, пробормотал вежливую фразу:

– Пообедаете с нами...

1. Мера веса – 50 г.

Читательница первая весело уселась за стол и не только сама уплетала, но и Вэнь Хану подкладывала, будто хозяйка дома...

Потом, разумеется, разразилась ссора с Юйлин.

7

Тесная квартирка, беспрерывные вторжения визитеров, нескончаемые распри с женой, то мелкие, то крупные, — все это привело к тому, что дом показался Вэнь Хану узилищем, а жизнь — приготовлением к казни.

Его первые произведения трогали читателя теплой поэтичностью, смутными надеждами, пульсирующим чувством, добротой маленького человека.

Минуло три года, и ничего похожего уже не выходило из-под его пера, сердце огрубело, нервы, отполированные, превратились в какие-то острые заточки. Он поражался, перечитывая свои старые, такие теплые и нежные, работы. Как это он умудрялся писать столь простенькие, жалостливые вещи? Или это обман самообмана? Ведь совершенно очевидно, что жизнь — податливый свинец, а вокруг-то, похоже, одни враги.

На литературных совещаниях он вылезал на трибуну и говорил, что его прежние произведения "окрашены ложью и надувательством", и отказался от них. Признал лишь одно — "Молчание самшита", посчитав его неким "прорывом", поднявшимся над заурядностью и вошедшим в высшие сферы. Это суждение у одних вызвало недоумение, у других — овацию.

После чего он за несколько месяцев не написал ни слова, потом вернулся к столу, но рвал страницы одну за другой, даже не дописав, а одна начиналась у него с такой фразы:

"В полночь пробудился, на постели, на стенах, во всей комнате было полно тараканов и клопов, давил, давил, но очистить от них комнату не смог и так захотелось взять в руки гранату и уйти в ничто вместе со всеми этими клопами и тараканами..."

Эти строчки, конечно, тоже были разодраны в клочья.

К началу восемьдесят второго года он наконец написал небольшой рассказик "В клочья" на полторы тысячи иероглифов и опубликовал его как некий знак.

Похоже, до людей дошло, и дифирамбы не появились, только рецензии в периодике, подписные и анонимные. Новые и старые друзья, включая некогда столь почитаемого им старого редактора и писателя, о котором он позже презрительно отозвался: "Ничего особенного", осознанно или нет принялись убеждать его слиться с народом, с его жизнью, повернуться лицом к огромному миру. Он слышал, не слыша, воспринимал, не воспринимая. За три-четыре года с семьдесят восьмого он прошел такой длинный путь, что сам себе поражался, и уже устал. Начало принесло ему столько волшебных устремлений, а потом — разочарования, безнадежность и, наконец, тревожное беспокойство. Когда-то он был преисполнен прекрасных желаний, а затем омертвел, отравил свою душу, все ненавидя, надо всем издеваясь. Сначала он нес в себе любовь, теплоту, заботу, сменившиеся досадой, грубостью, холодом, и вот он пробуждается среди ночи и осознает, как трудно людям выносить его.

Успех страшен, он страшнее поражения, счастлив может быть лишь тот, кого собственный успех не привел к "отчуждению". Вот так начал он размышлять, слушая критические отзывы.

А корни самшита — уж не знаю, то ли от избыточного полива, то ли от недостаточного, то ли от запаха масла при тушении лука, а может, от никотина, которого в сигаретах "Да Цяньмэнь" слишком много, — стали сжиматься. И чем больше он любовно возился с ними, тем быстрее они скукоживались. Он проконсультировался со специалистом по *бонсаю*, заказал какие-то импортные удобрения, чего только не делал, но корни умерли, сгнили.

И в тот момент, когда он выбрасывал самшит на свалку, его душа вдруг распрямилась. Не отправиться ли в горы, подумал он, там, говорят, много раскидистых самшитовых деревьев, а еще есть плакучие ивы, плодовые дички, струящиеся воды. Он почувствовал, что следует по-другому и жить, и мыслить, иначе у него никогда уже не будет в жизни таких безмятежных дней, какие были во времена его кассирства.

Стихи детей из Терезина

Перевод с чешского Инны Лиснянской

Составление и вступительная статья Елены Макаровой

Это первая публикация стихов детей из концлагеря Терезин на русском языке. Она предваряет выход издания второго из четырех томов под общим названием "Крепость над бездной". Первый вышел в 2003 году в издательстве "Мосты культуры" и был посвящен дневникам узников Терезина, второй, "Я — блуждающий ребенок", освещает жизнь и творчество детей.

Терезин

Военный городок Терезиенштадт (по-чешски Терезин) был построен в конце XVIII века. Он был назван в честь императрицы Марии Терезии и предназначался для защиты габсбургской империи от нападений с запада. Фортификационные сооружения, опоясывающие Терезин, имели форму восьмиконечной звезды, по границам которой протекали реки Эльба и Эгер. Перед Второй мировой войной в городе располагался небольшой гарнизон, гражданское население было малочисленным: 7181 человек, по переписи 1930 года.

В марте 1939 года этот тихий бастион был захвачен немецкой армией, наступавшей на Прагу. Было решено превратить город в еврейское гетто. Историки и по сей день спорят, как называть Терезин: гетто, пересыльный лагерь или концлагерь.

"Наш лагерь был рассчитан на смерть, — вспоминает бывший заключенный Йозеф Мануэль, — и при этом организован для жизни. Этакий мутант с головой убийцы и телом жертвы".

С лета 1942 года при "очистке" городов и областей по особому распоряжению оберштурмбанфюрера СС Эйхмана в Терезин направлялись евреи: государственные деятели, военные и артисты, а также пациенты еврейских больниц из Берлина и Вены — калеки, слепые, глухонемые, душевнобольные, те, кого не успели уничтожить по программе эвтаназии.

Практически сразу нацисты задействовали и другой маршрут: из Терезина — в лагеря уничтожения. Терезин превратился в своего рода узловую станцию: те, кому повезло, пережидали там какое-то время, иногда больше двух лет, но многих депортировали через несколько дней или недель. В 1942 году тысячные транспорты ушли в Треблинку, Ригу, Тростинец, Минск, Замощь, Раасику, а с конца октября 1942 года еще и в Освенцим-Биркенау.

Адольф Эйхман назвал Терезин "маленьким сионистским экспериментом для будущего еврейского государства". Для проведения эксперимента Эйхман учредил в городе, "подаренном" евреям самим фюрером, еврейское самоуправление. Этот "подарок" был на самом деле огромной мистификацией, скрывающей массовые убийства. В Терезине в 1943—1945 годах побывало несколько комиссий Международного Красного Креста. Перед каждой комиссией заключенные по

© И. Лиснянская. Перевод, 2004
© Е. Макарова. Составление и вступительная статья, 2004

приказу эсэсовской комендатуры проводили "приукрашивание": снималась колючая проволока, воздвигались "кафе" и "магазины", детям раздавали бутерброды, красивые девушки с песнями шли на работу. Делегаты МКК уезжали в полном восторге, так и не узнав страшной истины о голоде, эпидемиях, депортациях. Впоследствии ободренные успехом фашисты запечатлели эту "потемкинскую деревню" на пленку, создав фильм о счастливой жизни евреев под Гитлером.

Город управлялся Советом старейшин, в нем действовали правоохранительная служба (суд и тюрьма), медицинская служба (больницы, амбулатории и изоляторы), отделение связи, банк, общепит (столовые и кухни), в нем проводились иудейские и христианские богослужения, было и своего рода "министерство культуры и спорта" (так называемый "Отдел досуга"), которое проводило множество мероприятий — от театральных постановок до футбольных матчей. Однако все эти институты, во главе с Советом старейшин, подчинялись "голове" — немецкому командованию, ни одно мероприятие не могло быть проведено без визы комендатуры.

Сентябрь—октябрь 1944 года — пик терезинской трагедии. 11 транспортов увезли в Освенцим-Биркенау почти 20 тысяч человек.

Знали ли заключенные об уготованной им судьбе? Несомненно одно: даже если они и догадывались о массовом убийстве, то все равно старались уговорить себя: "со мной этого не случится".

В ноябре 1944 года газовые камеры Освенцима были взорваны. Депортация из Терезина прекратилась.

8 мая 1945 года Терезин был освобожден войсками Третьей танковой дивизии под командованием генерала Рыбалко.

Дети

Всего в Терезине было более 10 500 детей младше 15 лет и около 2000 от 15 до 18 лет. Из 12 500 детей выжило около 1000.

Детские дома располагались в тринадцати зданиях. В каждом здании размещалось от 200 до 300 человек, на одну комнату приходилось от пятнадцати до сорока детей. При каждом детском доме был изолятор, врач, медсестры и другой вспомогательный персонал. Каждая комната (иногда две) считалась самостоятельным "детдомом" со своими воспитателями и вожатыми. Учить детей было запрещено.

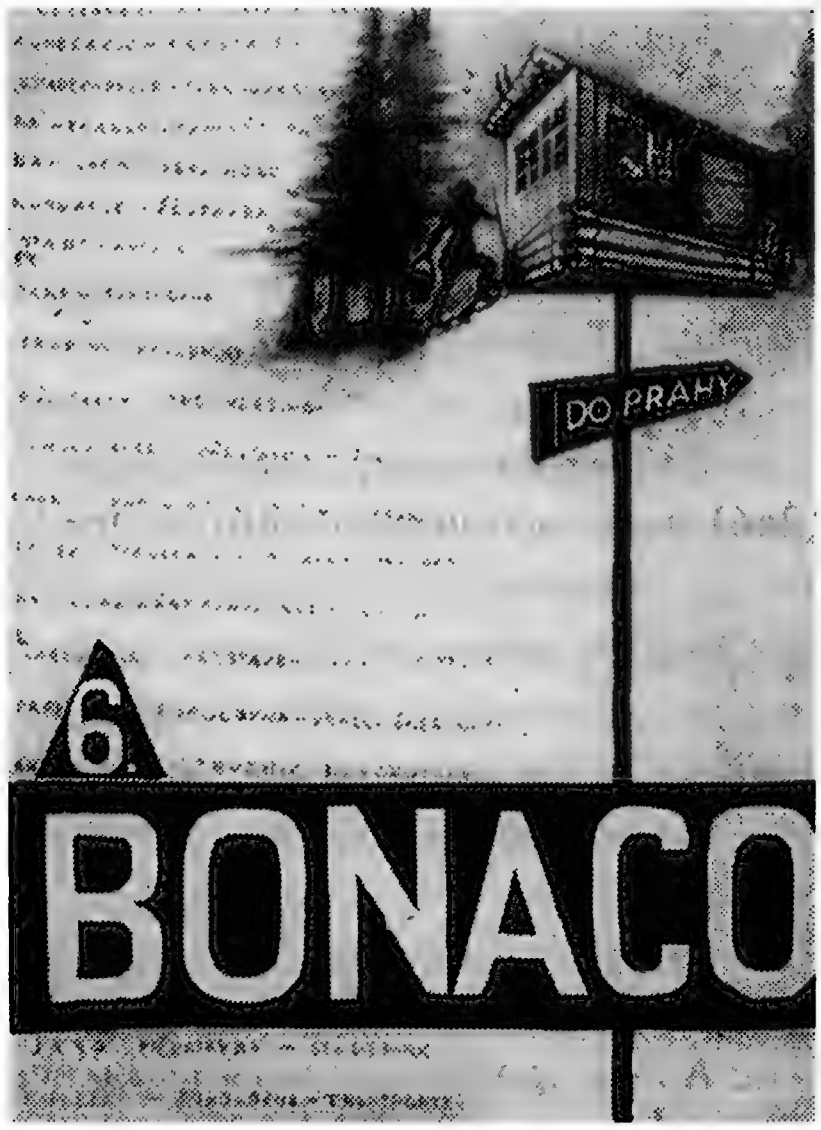
Три года оккупации и время, проведенное в Терезине, сделали детей философами. Неотступная мысль о смерти, даже если она не допускалась сознанием, терзала исподволь, и дети задавались вопросами, на решение которых обычно уходит вся жизнь.

Подпольные журналы

Практически все журналы, выпускавшиеся в детских домах, сохранились. Наиболее известные — "Ведем" (Мы ведем), 700 с., "Камарад" (Товарищ), 350 с., "Новости" (L 417, комната № 10), "Рим Рим Рим" (Мир Мир Мир), 332 с., "Нешарим" (Орлы), 120 с., "БОНАКО" (Бордель на Колесах), 112 с., "Отчизна", 62 с., "Голос чердака" (Q 306), 48 с.

Оказавшись в транспортных списках, люди забирали с собой только личные вещи, много документов пропало. Но журнал — дело общественное, он передавался из рук в руки. Например, "Ведем" был спрятан в кузнице, где работал отец одного из авторов, "БОНАКО" сберегла воспитательница Гертруда Секанинова.

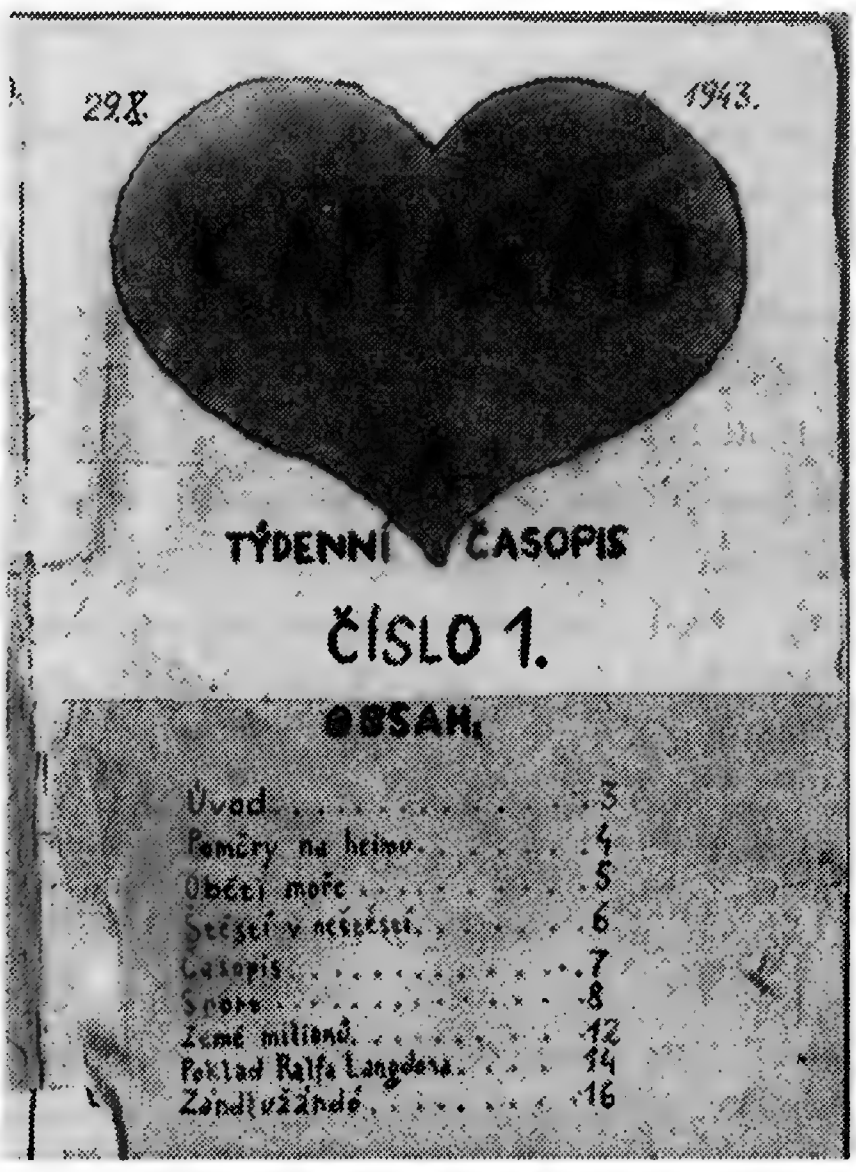
Журналы делались по примеру "настоящих", с тематическими рубриками, романами с продолжением, статьями на злобу дня, кроссвордами, иллюстрациями — словом, это были полноценные издания, разве что в единственном экземпляре. Из номера в номер публиковались захватывающие приключенческие романы, их герои совершали путешествия в Индию и Гренландию, в Аргентину и Африку. Они защищали обиженных, боролись за справедливость и из жертв становились победителями.



Обложка журнала БОНАКО (№ 6). Журнал издавался шестнадцатилетними девушками детдома L 414

В подготовке журнала принимала участие вся комната. Но душой всего был, разумеется, главный редактор. Один из них, Иван Полак (1929—1944), подробно описал свою работу, выделяя в ней три этапа: 1) поиски бумаги и пишущих средств, 2) поиски материала и 3) переписывание в номер. "'Камарад' рождается на моих нарах? — писал И. Полак. — Дома мы извели бы уйму бумаги и красок, нам понадобилась бы пишущая машинка и т. д., а мне для 'Камарада' нужно два листа бумаги, чернила, ручка, перо и акварельные краски".

А один из авторов этого журнала Миша Краус вспоминает: "Камарад" был гигантским предприятием, которое всех вовлекало в работу, возбуждало творческую энергию и помогало выплескивать на бумагу все эмоции, преодолевать раздражение, которое в нас накапливалось".

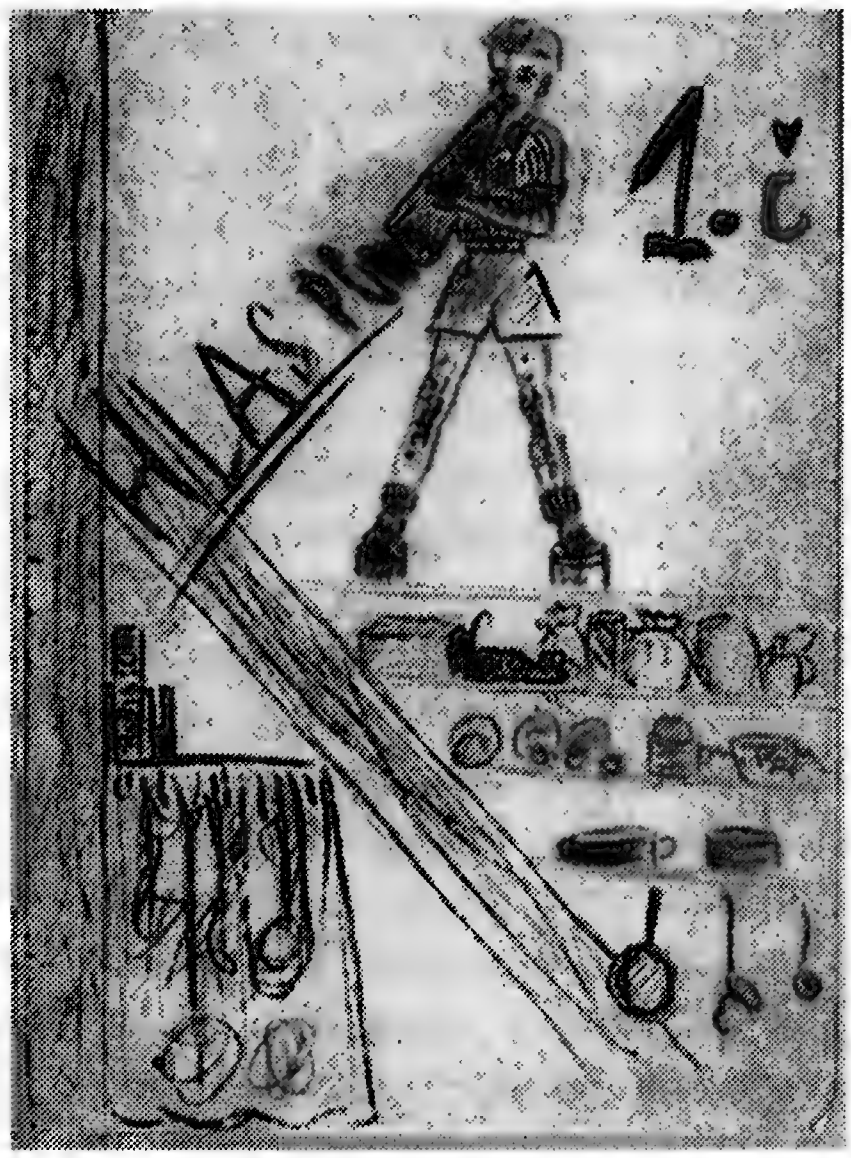


Обложка первого номера еженедельного журнала "Камарад" (29.10.1943 г.). Журнал издавался подростками детского дома "А" в здании Q 609, всего вышло 22 номера. Из двадцати шести авторов журнала выжило двое

В 90-х годах были наконец изданы избранные произведения авторов "Ведема" на языке оригинала (чешском), а также на французском, немецком и английском. "Камарад" был издан лишь на иврите.

Стихи и их авторы

Не все детские стихи "публиковались" в журналах. Некоторые стихи дети дарили воспитательницам. Так, у Ирмы Лаушеровой образовалась коллекция стихов, одно из них, "Сарой праматерь звали...", приводится в данной подборке. Увы, И. Лаушерова не написала настоящее имя девочки, известно лишь, что ей было 12 лет и она не выжила.



"Голос чердака" (№ 1) еженедельный журнал, издавался десятилетними детьми в блоке CII дома Q 306

"Бабочку" и другие стихи Павла Фридмана (1926—1944) сохранил его друг по нарам Ш. Шмидт, который ныне живет в Иерусалиме.

Стихотворение "Садик" Франтишка Басса (1930—1944) хранится в архиве Еврейского музея в Праге.

"Q 306" Зденека Грюнхута (1934—1944) взято из подпольного журнала "Голос чердака", стихотворение названо по номеру детского дома.

"Что со мной будет?" написано Яном Стребингером по кличке Горилла на конкурс журнала "Рим Рим Рим". После Освенцима и рабочих лагерей Ян остался сиротой, вернулся в Прагу, в 1969 году эмигрировал в Буэнос-Айрес, где стал крупным бизнесменом.

Стихи Петра Гинца (1928—1944), Гануша Гахенбурга (1929—1944) и пережившего катастрофу Зденека Орнеста (1929—1990) взяты из журнала "Ведем".

Петр Гинц стал главным редактором "Ведема" в четырнадцать лет, а в шестнадцать был убит. После него осталось обширное наследство: романы, рассказы, стихи, философские эссе, рисунки, литографии...

В Терезине Петр изучал латынь, эсперанто, географию, зоологию, социологию, философию и религию. Сохранился 44-страничный конспект книги о буддизме ("Брахманизм, или Переселение душ").

Петр подходил к смерти вплотную, заглядывал в ее котел — бездну небытия. Время сокращалось неумолимо, и он спешил.

"Июнь 1944. Работаю в литографском цеху, сделал физическую карту Азии и принялся за карту мира, для проекции.

Изучал: античность (египтяне, вавилоняне, индийцы, финикийцы, израильтяне, греки, персы и пр.), географию Аравии, Голландии и Луны.

Нарисовал: овчарню, за ней Верхлабские казармы.

Начертал в голове и на бумаге обзор по зоологии, хожу на вечерние лекции о Рембрандте, алхимиках и пр.".

Большая часть написанного им в Терезине опубликована в "Ведеме".

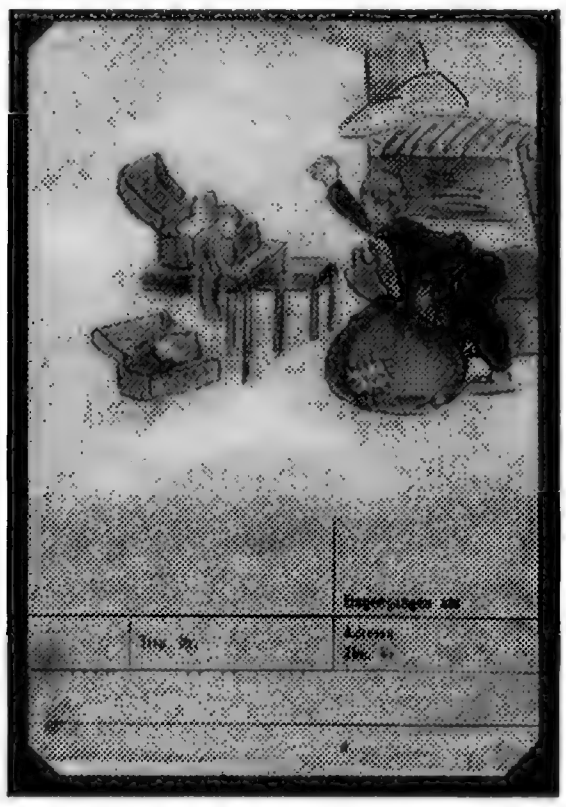
Петр много писал о кораблях. Они штурмуют моря и океаны в рассказах "Безумный Август", "Путь капитана Камаро" и "Капитан Аарон"... Даже сочинение о происхождении ругательств завершается плаваньем на корабле: "...я поплыл бы домой на корабле "Пацифик" и уснул бы там, убаюканный гулом гребного винта. Я бы уснул, всем на свете довольный, и в сонной голове крутили бы свои винты гекзаметры Гомера:

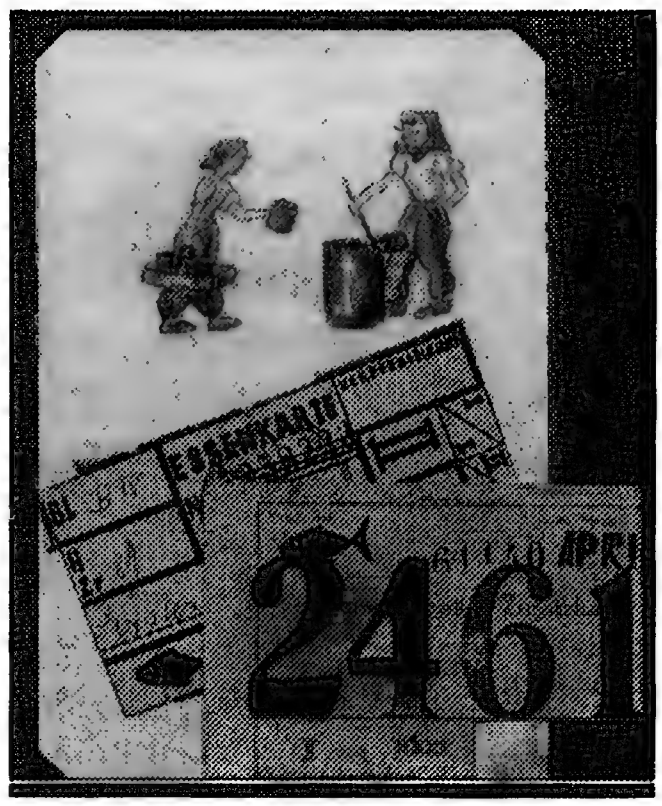
"И проспал он так целую ночь, в сладкие грезы видений укутан".

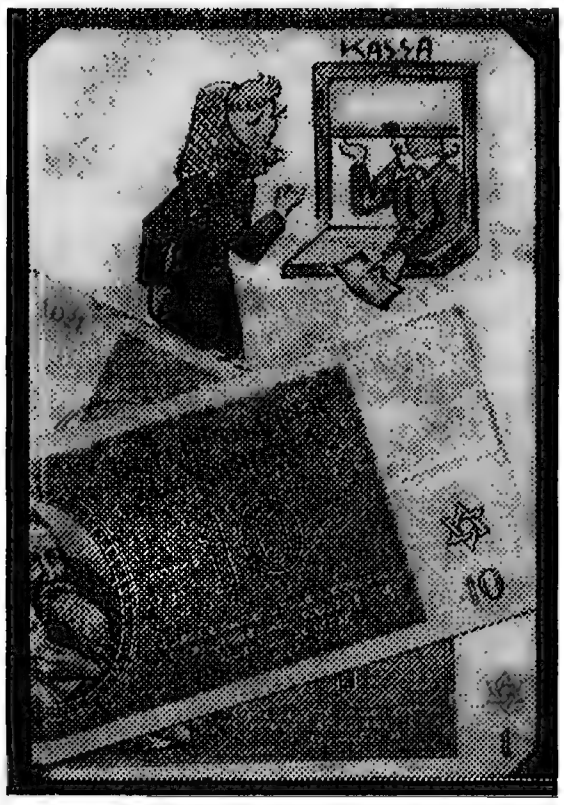
О Гануше Гахенбурге известно мало. Главное, что сохранилось, — рассказ о встрече с ним бывшей заключенной Ханы Поссельтовой-Ледереровой. Книга Х. Поссельтовой-Ледереровой (1919—1997), педагога, переводчика, "Мама и я" (Терезинский дневник) была опубликована в Праге в 1997 году. Еще известно, что Гануш продержался в Освенциме полгода и одно его стихотворение передавалось из уст в уста.

Со Зденеком Орнестом (Орнштейном) меня связывала тесная дружба. После войны, пройдя Терезин, Освенцим, Бухенвальд и Дахау, он вернулся в Прагу. Начав свою артистическую карьеру в Терезине, где он пел в детской опере, Зденек стал известным актером театра и кино.

Стихов он больше не писал. Его жизнью стала сцена, где он скрывался от одиночества, а любимой книгой — "Софи делает выбор" Стайрона. Как жить ценой чужой гибели? — вопрос, сформулированный Стайроном, не давал Зденеку покоя. Незадолго до самоубийства он рассказал мне вот эту историю: "От нашего барака в Биркенау до станции было около пяти километров. Или меньше? Это была страшная ночь стенаний и молитв. В нашем бараке остались одни доходяги. И два брата-близнеца моего возраста. Я не любил их за пронырливость. Уведут цыган в газ — они тут как тут, подбирают вещички... Тогда у меня еще было представление о том, что дозволено, а что нет... Тех, кто не мог идти, застрелили. Стреляли в любого, кто поскользнулся или замешкался... Не помню, как я оказался в открытом вагоне, нас навалили друг на друга, три-четыре дохляка в одной упаковке... Я не мог дышать, я пытался спихнуть того, кто лежал на мне, кусал и щипал его, пока он не свалился. И тогда я увидел — это был молодой человек. Он прохрипел и стих. Мне было тошно смотреть на труп, и я попросил близнецов оттащить его в сторону, те согласились, за хлеб. Хлеба у меня не было. Видишь, я не только сравнялся с близнецами, я превзошел их. Они-то никого не убивали. Зато теперь я знал, что выживу, любой ценой".







Страницы из альбома семнадцатилетней Марты Фрёлих, 1945 г., Терезин. Альбом был сделан в подарок пожилой узнице Берте Пферер весной 1945 г. Это рассказ о жизни в Терезине в рисунках и коллажах из лагерных документов

Павел Фридман

* * *

Бабочка
та последняя бабочка та последняя самая,
полная солнечного золотого цвета
как желтого солнца слеза о белый звякнула камень
и тут же легко взлетела
словно хотела успеть
расцеловать мой последний свет.

В гетто живу уже седьмую неделю
подругой мне стала каштана белая ветвь
друзьями в саду — желтые одуванчики
Но бабочки здесь больше я не встречал

та была самой последней бабочкой в гетто
бабочки здесь не живут.

Терка

* * *

Сарой[1] праматерь звали. А Сарой-Теркой
Я называюсь — узница Терезина.
Жил-был на свете домик, стоял под горкой,
В доме — квартирка в четыре светлых окна.
Всех приглашаю там побывать, как в сказке:
Кухня чистым-чиста и глядится в сад,
Розы алеют, блестят анютины глазки,
Меж голубых незабудок фиалки горят.
Выглядит сад на удивленье пестро.
Всех я сейчас приглашаю войти туда,
Рядышком дружно стоят, как родные сестры,
Острые астры и скромная резеда.

Вот и диван — подушка и покрывало —
С ножками столика вровень. Там у окна
Милая бабушка сиживала, бывало.
Теперь не сидит, в могиле лежит она.

Мускат за окном розовый и бордовый,
Как поживаешь? Кто холит тебя сейчас?
Звонкие колокольца петуньи бедовой,
Кто слушает песни ваши? Кто поливает вас?

1. По предписанию рейха, все еврейские имена должны были начинаться с “Сары” и “Израиля”. (*Прим. перев.*)

Столик на четверых, кто тебя накрывает?
Кто здесь хлебает суп? Кто разливает бутыль?
Родительская постель, кто ее расстилает?
Кто в ней сегодня спит? Кто вытирает пыль?

Как расписная шкатулка, у Терки светелка.
В ней собралось не ценимое прежде добро:
Куклы, картины на стенах, книги на полках,
А на столе — кисть, карандаш и перо.

Тут обрывается сказка. Как все, по приказу,
Как велено, из дому вышла. Надела пальто.
Все, что любила да не ценила, сразу,
Вдруг превратилось в одно большое НИЧТО.
Мы на заре взвалили на плечи котомки.
Двери закрыли — в скважине хрустнул ключ.
Прочь мы уходим, уходим в такие потемки,
Где ничего-ничего...
Только памяти луч.

Франтишек Басс

Садик

Вот он, садик аленький.
Пахнут розы робко.
Ходит мальчик маленький
Узенькою тропкой.

И похож мальчоночка
На бутончик ранний.
Лишь бутон раскроется —
Мальчика не станет.

Зденек Грюнхут

Q 306

Здесь их убежище, здесь их жилище.
На чердаке ветер воет и свищет.
На верхотуре живут двадцать детей,
Ходит чердак ходуном от разных затей.
Мало здесь места, но много для них не нужно —
На столе и диване играют дружно
Марианка, Томи, Анитка, Ивонка.
Здесь Ивонка все время щебечет звонко,

А вот Томи, несчастный, все время плачет.
Томи Брандейс конвертики собирает,
А Маженка все время стихи сочиняет.
Ветер врывается к ним на чердак,
Двадцать детей проживают вот так:
На чердаке под самой крышей
Темною ночью пугают их мыши.
Серые мыши шуршат и пищат,
Дети от страха все ночи кричат.

Петр Гинц

Воспоминание о Праге

Как же давно
над Петжином я видел закат
и целовал уходящую в сумерки Прагу
я напоследок — горючей слезою был взгляд.
Как же давно не слышу Влтавы волнистую влагу,
ухо давно не слышит шума родимых вод,
Вацлавской площади людное оживленье.
Кажется, вечную вечность тянулся год —
все норовит исчезнуть и кануть в забвенье.

Вы, потайные места в уличной толкотне,
в тени скотобоен, в слепых тупиках, мне милых,
Как вам живется? Небось не скорбите по мне,
так, как по вас я скорблю. Год уже целый минул.

В жуткой торчу дыре вот уже триста дней,
Будто бы в клетке зверь, и вырваться как, не знаю.
Две улицы здесь вместо каменных площадей.
Прага, как сказку из камня, тебя вспоминаю.

Гануш Гахенбург

* * *

Кто я такой?
Какого племени, роду?
К какому я принадлежу народу?
Кто я — блуждающий в мире ребенок?
Что есть отечество — гетто, застенок
Или прелестный маленький певчий край —
Вольная Чехия, бывший рай?

Вопросительные знаки и ответы

К чему человечеству точность прекрасной науки?
К чему ему женщин красивых губы и руки?
К чему этот мир, если миром бесправье правит?
К чему ему солнце, коль день никак не настанет?
Зачем ему Бог? Чтоб только карать и мучить?
Иль чтоб человечество стало немного лучше?

Может быть, мы и не люди вовсе, а звери,
Рожденные для страданья, чтоб сгнить в пещере?
К чему эта жизнь, где все живое так жалко?
Зачем превратился мир в огромную свалку?
Верь мне, сынок, все так обернулось страшно,
Чтоб стал ты мужчиной! Чтоб воевал отважно!

Вера в ничто

Я одинок
мне снятся обманные сны
я одинок
все кровли вдали снесены
я одинок
мчатся ужасов черные тучи
я одинок
мы обломки на волнах кипучих
я одинок
полыхают воды огнем
я одинок
я упал на пороге чужом
я одинок
кости в лохмотьях кожи
я одинок
нет дыханья на бездорожье
я одинок
расцветают розы в саду
я одинок
я молчком рядом с Тобой иду
я одинок
и потому способен
обнять Тебя кому я подобен
поскольку я одинок

Я одинок
и сказать мне хочется
все рождается из одиночества
чтобы напиться света

я одинок
мне нет никакого ответа
в пепле после огромного пламени
нет ничего

Жизнь и смерть

Весь мир — это жизнь и смерть:
солнечный луч обжигающий твердь,
дикая буря в морях,
заливающая острова,
вечна любовь — кровью земля жива.

Когда в зеленую жизнь одеваются дерева
и понедельник следует за воскресеньем
когда ветерок повторяет слова
книги, заполненной сердцебиеньем,
когда юный моряк, силы недюжинной полн,
насмерть сражается в море с гробами волн...

Кровь, вечно алая, вечно живая кровь
пока не устанет в стенах холодных биться
из праха народ восставать будет вновь и вновь
чтобы жить —
и жизни учиться.

Сердцевина черна. И это ничто — есть круг
это ничто есть пространство Бог и закон
белые облака к правосудью плывут пыля
острым градом насмешек.
А там, где Право, коричневая земля
а потом, а потом — красного цвета любовь и розовый сон!

Цвет — это всё. Серенькая река,
зеленая заводь дядюшки-Века
желтой скалы тоска
чернильного круга тьма —
во Вселенной тюрьма
синее небо лучистая вязь
черно-алая казнь.
Шло время глядя само на себя и видя
как вьется оно спиральною черной нитью
на миг застывает и над руинами виснет
и начинает петь свою песню жизни,
покуда не примется снова душить спиральною круговертью.
И тут раздастся печальная песня смерти.

Из лона Земли жизнь рождена
и с умением редким
отдается плодится себя пожирает она
себе расставляя сети.
Так задумано биоклеткой —
время для жизни и — время для смерти.

Жизнь с удивительным постоянством
шла по своим дорогам,
чтоб овладеть пространством
и сделаться Богом.

А это и есть человек. И стал он
хозяином смерти и жизни, плеч и боков,
Время идет неустанно и странно
все по тому же кругу, по той же спирали веков.

Смерть занесла грязную руку над нашей
юдолью и над душою моей
переполняется черепа чаша
высохнет мозг и всей массой костей
крови мускул и жил
плоть закричит:
“Жизнь! Жизнь! Жизнь?!”

Время себе спиралью путь пробивает
люди рождают людей и умирают,
происходят события или они только сон
на последнем витке обрывается цепь времен
освобождая от денег и прочих пут
а нити любви в бесконечность спиралью идут.

Зденек Орнест

Кроха тепла

Как я завидую крохе тепла, друзья!
Когда весь замерзший смотрю я в сторону окон,
И одеяло сбросив, не чувствую холода я,
Ибо в туманные сны о тепле завернут, как в кокон.
Трудно заставить себя умываться в такой мороз.
И я обрастаю бесстыдно грязью и ленью.
Ах, дорогое тепло, о тебе я мечтаю до слез —
Вот бы сейчас притулиться к твоим коленям!

Но стоит очнуться полностью мне от снов
И почувствовать страшный голод, как я опять
Отказаться от всех мечтаний своих готов,
Под одеяло залезть бы — и спать, спать, спать...

Ян Стребингер

Что со мной будет

Ребенок, прощаясь с детством, с собой расстается грустно,
С самим собой расставаясь, спрашивает себя:
“Что со мной будет, если своим же несносным грузом
В жизнь мне закроет дорогу собственная судьба?”
Станет судьба запрудой, станет судьба баррикадой —
И жизнь пройдет моя мимо, будто бы так и надо.

Но вот человек, он молод, он любит свою работу,
И, что бы судьба ни чинила, ей не поддастся он —
Измученный и голодный, он до предсмертной икоты,
Он до последнего вздоха будет в природу влюблен.
Ну а судьба-злодейка будет всегда загадкой,
Ибо дорога жизни нигде не бывает гладкой.

Человек с судьбой своей в тяжбе, покуда живет на свете,
В горестные минуты себе задает вопрос:
“На что мне все это надо, на что мне несчастья эти,
Для этого ли родился, для этого ли я рос,
Почему не остался ребенком малым и неумелым,
Которого мама держала на ручках и песни пела?”

Чудесно синее небо и дивно лоно земное.
Земля прекрасна, так что же так тяжко на ней житье?
И человек вопрошает: “Что же будет со мною?”
А властная музыка жизни трубит и трубит свое:
“Человек, оставайся там, где ты есть, где живешь доселе,
И помни: работай, работай — и так ты достигнешь цели”.

Филип Рот

Людское клеймо

Роман

Перевод с английского Л. Мотылева

3
Что делать с нечитающим ребенком?

– Если бы Клинтон поставил ей пистон в заднее место, она бы держала язык за зубами. Хочешь быть мужчиной, так уж будь. Если бы он в Овальном кабинете повернул ее и поимел в задницу, ничего этого не было бы.

– Ну что ты, он над ней не господствовал. Он у нас осторожненький.

– Он перестал господствовать, как только попал в Белый дом. Не получается, кишка тонка. Он и над Уилли[1] не господствовал. Вот почему она на него обозлилась. Едва он попал в Белый дом, как потерял свою арканзасскую способность господствовать над женщинами. Пока был генеральным прокурором и губернатором третьестепенного штата – все было в ажуре.

– Твоя правда. Дженнифер Флауэрс[2].

– В Арканзасе ведь как? Если даже ты там свалился, то свалился с умеренной высоты.

– Верно. И от тебя ждут, что будешь лапать баб. Традиция.

– Но как только попал в Белый дом – все, уже не может господствовать. А раз так, на него и мисс Уилли поперла, и мисс Моника. Ее лояльность можно было получить с помощью пистона в заднее место. Это был бы пакт. Это бы ее связало. А так – никакого пакта.

– Ну, все-таки не сказать чтобы она не боялась. И хотела говорить, и не хотела. Это Старр[3] ее расколол. Одиннадцать лбов с ней в номере гостиницы! И все напирают. Форменная групповуха. Старр устроил ей там групповое изнасилование.

– Согласен. Но ведь она проболталась Линде Трипп.

– Было дело.

– Да кому она не проболталась? Всем и каждому. Плоть от плоти этой безмозглой культуры. Лишь бы ля-ля. Плоть от плоти поколения, гордого своей поверхностностью. Искренность – всё, видите ли. Искренность и пустейшая пустота. Искренность, которой без разницы, куда податься.

Окончание. Начало см. "ИЛ" № 4, 2004.

1. Кэтлин Уилли – бывшая сотрудница Белого дома, обвинившая президента Клинтона в сексуальных домогательствах, которые якобы имели место в 1993 году. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

2. Дженнифер Флауэрс – знакомая Клинтона в бытность его губернатором штата Арканзас. В начале 1992 года, когда Клинтон выдвинул свою кандидатуру на пост президента, заявила, что находилась с ним в длительной любовной связи.

3. Кеннет Старр – юрист, сыгравший важную роль в скандале "Клинтон – Левински".

Искренность, которая хуже любого вранья, и невинность, которая хуже любой испорченности. Под этой искренностью — великое желание хапнуть. И под этим жаргончиком. Удивительный язык у них у всех — и ведь полное впечатление, что сами себе верят — насчет ихней якобы "низкой самооценки", а на самом-то деле считают, что на все имеют право. Бесстыдство свое называют любовной открытостью, безжалостность — стремлением восстановить "утраченное самоуважение". Гитлер вон тоже решал эту проблему. Восстанавливал свое самоуважение. На этом они все сейчас играют. Сверхдраматизация самых ничтожных переживаний. Взаимоотношения. Мои взаимоотношения. Прояснить мои взаимоотношения. Откроет рот — и на стенку хочется лезть. Собрать в одну кучу весь идиотизм последних сорока лет, и получится как раз их язык. "Поставить точку". Ну еще бы! Я по своим студентам вижу: у них сил нет находиться там, где нельзя поставить точку, где надо помозговать. Всё, точка. Ничего не хотят к себе в голову пускать, кроме традиционных сюжетов, с началом, серединой и концом. Любой человеческий опыт, как угодно двусмысленный, как угодно запутанный, загадочный, должен подчиниться стандартному, резонерскому клише. Я валю на экзамене всякого, от кого слышу: "Поставить точку". Все, ставим точку. Проваливай.

— Я думаю, кто бы она ни была — хоть абсолютная нарциссистка, хоть махонькая сучка-сообщница, хоть самая большая эксгибиционистка из всех еврейских девиц в истории Беверли-Хиллз[1], напрочь избалованная привилегиями, — он видел все с самого начала. Он ее понимал. Если человек не может раскусить Монику, как он раскусит Саддама Хусейна? Если он не может раскусить и перехитрить Монику, он не должен быть президентом. Тогда налицо *реальные* основания для импичмента. Нет, он видел. Все он видел. Не думаю, что он долго был под впечатлением ее глянцевого фасада. Разумеется, он видел, что она совершенно испорчена и совершенно невинна. Крайняя невинность и была ее испорченностью — и не только испорченностью, но еще и безумием, еще и хитростью. В этом ее сила, в сочетании. А глубины ровно никакой — это-то его и привлекало под конец дня на посту главнокомандующего. Очарование — в интенсивности пустоты. Или, если угодно, в пустоте интенсивности. Весь этот треп про детство. Похвальба насчет восхитительного своенравия: "В три года я уже была личностью". Я уверен — он понимал: любое его действие, идущее вразрез с ее иллюзиями, будет еще одним свирепым ударом по ее самооценке. Он одного не понимал — что надо поиметь ее в задницу. Зачем? Чтобы молчала. Странно, странно повел себя наш президент. Это же было первое, что она ему показала. В лицо, можно сказать, сунула. Предложила. А он ничего. О чем он думал? Поставил бы ей пистон в задницу, вряд ли она стала бы откровенничать с Линдой Трипп. Потому что не захотела бы про это говорить.

— Про сигару же захотела.

— Это другое. Сигара — это детский сад. Нет, ему надо было регулярно делать с ней такое, о чем она не стала бы болтать. Такое, чего ему хочется, а ей нет. Ошибка.

— Верность вводят через задние ворота.

— А я не убежден, что это помешало бы ей болтать. Не убежден, что в человеческих силах было этому помешать. Тут ведь не Глаза и Уши. Тут Трепливый Язык.

1. Беверли-Хиллз — фешенебельный район Лос-Анджелеса.

— Но согласись, что эта девица больше нам всего открыла про Америку, чем кто угодно после Дос Пассоса. Свою задницу уберегла, а стране прямо туда пихнула градусничек. Вот вам ее "США"[1], извольте получить.

— Беда была в том, что Клинтон дал ей ровно то же самое, что все предыдущие. А она хотела чего-то другого. Он президент, она любовная террористка. Хотела, чтобы он отличался от учителя, с которым у нее был роман.

— Да, щепетильность его сгубила. Занятно, правда? Не грубость, а щепетильность. То, что он играл не по своим правилам, а по ее. Она им управляла, потому что он хотел от нее того-то и того-то. Не мог без этого. Так нельзя. Знаешь, что Кеннеди бы ей сказал, приди она к нему и попросись на работу? Что Никсон бы ей сказал? И Гарри Трумэн, и даже Эйзенхауэр. Генерал, который вел Вторую мировую войну, умел не быть щепетильным. Они бы сказали ей, что не только не дадут ей работы, но что она вообще теперь ни от кого не получит никакой работы до конца дней своих. Что ей даже не позволят водить такси в Хорс-Спрингс, штат Нью-Мексико. *Ничегошеньки.* Что ее отца забойкотируют к чертям со всей его практикой и он тоже останется без работы. Что ее мать останется без работы, что ее брат останется без работы, что никто в ее семье не заработает больше ни цента, если она посмеет заикнуться про одиннадцать отсосов. Надо же, всего одиннадцать. Даже не дюжина. Меньше дюжины за два с лишним года — нет, на первый приз по распутству это не тянет.

— Осторожность, осторожность его сгубила. Совершенно точно. Он как юрист себя вел.

— Не хотел улик оставлять. Поэтому не кончал.

— Тут он был прав. Стоило ему кончить, как с ним самим было бы кончено. Вещественное доказательство. Горячая, дымящаяся сперма. Вот поставил бы ей задний пистон, и нация была бы спасена от жестокой травмы.

Они засмеялись. Их было трое.

— Он ни разу по-настоящему не отдался этому делу. Все время косил глаза на дверь. Играл по своей системе. А она пыталась повысить ставку.

— Разве не так поступает мафия? Навязываешь человеку то, о чем он не может говорить. И все, он у тебя в руках.

— Вовлекаешь в совместное нарушение норм и тем самым развращаешь. Классика.

— А его беда в том, что он *недостаточно* развращен.

— Вот именно. Конечно. И недостаточно искушен.

— Повинен не в безнравственном поведении, а в чересчур нравственном.

— Точно. Если уж начал, зачем было проводить черту там, где он провел? Искусственно как-то.

— Проводишь черту, и ясно, что ты испугался. А испугался — все, ты готов. Твой крах не дальше, чем сотовый телефон Моники.

— Он не хотел терять контроль над собой. Помните его слова, как она их передала: не хочу к тебе пристраститься, не хочу, чтобы ты стала моим наркотиком? Это показалось мне правдой.

— Я подумал, что это лесть.

1. "США" — название трилогии американского писателя Джона Дос Пассоса (1896—1970).

— Вряд ли. Так, как она это запомнила, действительно звучит как лесть, но... Нет, он не хотел попадать в сексуальную зависимость. С Моникой хорошо, но она заменима.

— Все заменимы.

— Откуда мы знаем, какой у него опыт? Скорее всего, он не имел дела со шлюхами.

— Кеннеди имел.

— О да. Там другое дело. А Клинтон — это детский сад.

— Когда он губернаторствовал в Арканзасе, он не казался мальчиком из детского сада.

— Да, в Арканзасе костюм был по мерке. А тут все у него разладилось. И это его страшно нервировало. Президент Соединенных Штатов, ко всему вроде бы имеет доступ — и не может ни к чему притронуться. Сущий ад. Особенно когда у тебя жена такая святоша.

— По-твоему, она святоша?

— Кто же еще.

— А как же Винс Фостер[1]?

— Ну, влюбиться она еще могла, но отколоть что-нибудь сумасшедшее — как можно, ведь он *женат*. Она даже в адюльтер способна внести занудство. Настоящий антитрансгрессор.

— Думаешь, она спала с Фостером?

— А как же. Конечно.

— Похоже, весь мир влюбился в святош. Точно вам говорю.

— Дать Винсу Фостеру работу в Вашингтоне было гениальным ходом Клинтона. К себе его, в администрацию, чтобы за какой-нибудь там участочек отвечал. Гениально. Тут Клинтон повел себя как настоящий мафиозный дон и получил против нее оружие.

— Да. Что здорово, то здорово. Но с Моникой вышло по-другому. Он ведь только с Верноном Джорданом[2] мог про нее говорить. Да, это, наверно, был самый подходящий человек, с кем обсуждать такие дела. Но они просчитались. Думали, она болтает только со своими глупенькими калифорнийскими подружками. Ну и пусть болтает. Кому какое дело? Но нашлась Линда Трипп, этот Яго в юбке, этот подпольный Яго, которого Старр внедрил в Белый дом...

В этот момент Коулмен встал со скамейки и двинулся дальше в сторону кампуса. Пока он сидел и раздумывал, как теперь быть, эти голоса звучали неким подобием античного хора. Голоса были незнакомые, и, поскольку люди сидели к нему спиной и к тому же их заслоняло дерево, лиц он не видел. Судя по всему, это были три молодых преподавателя, поступившие в колледж уже после его ухода, — посиживали, попивали водичку или кофе без кофеина, отдыхали после тенниса на городских кортах и обсуждали новости дня, прежде чем вернуться к своим женам и детишкам. Их рассуждениям на сексуальные темы были, на его слух, присущи самоуверенность и знание предмета, с какими он редко встречался у молодых ассистентов, особенно в Афине. Для преподавательской болтовни чересчур грубо, чересчур смачно. Жаль, что он не дождался этих ребят. Может, помогли бы дать отпор... Да нет. Там, в кампусе, где человека окружают отнюдь не только теннисные дружки,

1. Винсент Фостер — партнер Хиллари Клинтон по юридической практике в арканзасский период, впоследствии — сотрудник Белого дома. В 1993 году покончил с собой.
2. Вернон Юлион Джордан (р. 1935) — американский негритянский общественный деятель, юрист и друг Клинтона.

сопротивление в лучшем случае свелось бы к шуточкам, а то и вовсе рот на замок — скорее всего, дошло бы до дела, они проявили бы не больше отваги, чем все остальные. Так или иначе, он их не знал и знать не хотел. Как, впрочем, и других. Начав сочинять "Духов", он полностью отрезал себя от прежних многолетних коллег и приятелей, и сегодня (дело было незадолго до полудня, после встречи с Нельсоном Праймусом, которая кончилась даже не скверно, а потрясающе скверно и в завершение которой Коулмен бранью своей ошеломил прежде всего себя) он впервые за два года был близок к тому, чтобы сойти с главной улицы, пересечь южную часть города и, достигнув монумента в память о Гражданской войне, подняться на холм к кампусу. Вероятность столкнуться со знакомыми была мала — разве что с кем-нибудь из тех, кто обучал пенсионеров по двухнедельной июльской программе "Элдерхостел", включавшей в себя поездки на танглвудские концерты[1], в картинные галереи Стокбриджа[2] и в музей Нормана Рокуэлла[3].

Эти-то летние студенты и были первым, что он увидел, добравшись до вершины холма, обогнув старый астрономический корпус и выйдя на усеянную солнечными пятнами четырехугольную главную площадку колледжа, выглядевшую в тот момент еще более красивенькой и типовой, чем на обложке афинского буклета. Разбившись по двое, пожилые люди не спеша тянулись на ланч в столовую колледжа по одной из обсаженных деревьями перекрестных дорожек. Процессия пар: супружеские пары, пары мужей, пары жен, пары вдов, пары вдовцов, новообразованные пары вдов и вдовцов — так, по крайней мере, казалось Коулмену, — познакомившихся здесь, на этих занятиях. Все были опрятно, по-летнему одеты — сплошь рубашки и блузки светлых пастельных тонов, белые или светло-коричневые брюки, летняя клетчатая ткань от фирмы "Брукс бразерс". На большинстве мужчин были всевозможных цветов бейсболки, многие с вышитыми эмблемами спортивных команд. Никаких инвалидных кресел, ходунков, костылей, тростей. Бодрые люди его возраста, на вид не в худшей форме, чем он, иные чуть помоложе, другие явно старше, но с удовольствием пользующиеся свободой, которую дает человеку пенсия, если он, по счастью, более или менее легко дышит, более или менее безболезненно ходит, более или менее ясно мыслит. Вот где ему, Коулмену, полагалось быть. В составе разумно подобранной пары. Чтобы все было благопристойно.

Благопристойность. Вот нынешнее заклятие против всякого отклонения от "здоровой" линии, волшебное слово, помогающее поддерживать всеобщий "комфорт". Заставляющее делать не то, что он, Коулмен, как считается, делает, а то, что одобряют наши авторитеты в области этики, — кстати, кто они? Барбара Уолтерс? Джойс Бразерс? Уильям Беннет? "Дейтлайн Эн-би-си"[4]? Был бы он и теперь здешним профессором, мог бы прочесть курс "Благопристойное поведение в древнегреческой драматургии" — курс, который кончился бы не начавшись.

1. Речь идет о ежегодных музыкальных фестивалях в бывшем поместье Танглвуд неподалеку от г. Ленокс, штат Массачусетс.
2. Стокбридж — город в западной части штата Массачусетс.
3. Норман Рокуэлл (1894—1978) — американский художник.
4. Барбара Уолтерс (р. 1931) — американская тележурналистка. Джойс Диана Бразерс — американский психолог, феминистка. Уильям Джон Беннет (р. 1943) — американский педагог, юрист, публицист и общественный деятель консервативного направления. "Дейтлайн Эн-би-си" — популярная американская телепрограмма.

Двигаясь на ланч, пенсионеры могли видеть Норт-холл — оплетенное плющом, красиво состарившееся колониальное кирпичное здание, где Коулмен Силк, будучи деканом, десятилетие с лишним занимал кабинет напротив ректорского. Когда часы на шестигранной, увенчанной флагом башне Норт-холла, служившей архитектурной доминантой колледжа, — на башне, которая из собственно Афины смотрелась, как смотрятся с дорог, ведущих к европейским городам, могучие соборы, — пробили полдень, он сидел на скамье под самым знаменитым старым дубом площадки и старался по возможности спокойно оценить давление благопристойности. Ее *тиранию.* В середине 1998 года даже ему стойкость и мощь американских понятий о благопристойности казались невероятными, и ведь не кто иной, как он сам, стал одной из жертв этой тирании! По-прежнему тут и узда на публичной риторике, и неисчерпаемый кладезь вдохновения для личного позерства, и то повсеместное, феминизирующее всех и вся засилье торговли добродетелями с трибуны, которое Г. Л. Менкен назвал "бубизмом"[1], а Филип Уайли — "мамизмом"[2], которое европейцы исторически неверно называют американским пуританизмом, которое Рональд Рейган и ему подобные называют основными ценностями Америки и которое сохраняет широчайшую юрисдикцию благодаря тому, что маскируется под нечто другое — и даже не под нечто, а подо *все.* Как общественная сила благопристойность чрезвычайно изменчива — это поистине тысячеликая госпожа, прикидывающаяся, если нужно, гражданской ответственностью, бело-англосаксонско-протестантским достоинством, борьбой за права женщин, негритянской гордостью, ощущением этнической принадлежности, эмоционально перенасыщенной еврейской этической чувствительностью. Словно не было ни Маркса, ни Фрейда, ни Дарвина, ни Сталина, ни Гитлера, ни Мао — да что там, словно не было даже Синклера Льюиса! Да, думал он, словно "Бэббит" не был написан. Словно творческой мысли даже на этом простейшем уровне запрещен вход в их сознание, дабы не нарушить их покоя. Человечеству выпало столетие беспримерных бедствий, ужасающих катастроф — десятки миллионов терпели лишение за лишением, зверство за зверством, мерзость за мерзостью, полмира, если не больше, испытало власть патологического садизма с его "социальной политикой", обширнейшие общества строились на сковывающем страхе перед репрессиями, деградация индивидуальной жизни по вине властей приняла беспрецедентный масштаб, народы разделялись и порабощались идеологическими преступниками, лишавшими их всего, целые нации оказывались настолько деморализованы, что, просыпаясь утром, люди не испытывали ни малейшего желания встретить новый день... Сколько их, этих жутких образцов, подарил нам уходящий век — а им не дает покоя Фауни Фарли! Она и Моника Левински — вот две заботы Америки. Безмятежный покой их жизней нарушен непристойным поведением Клинтона и Силка! Вот, значит, где оно — зло, обрушившееся на них в 1998 году. Вот откуда она сегодня исходит — мука, пытка, духовная смерть. Вот где источник величайшего нравственного отчаяния — в том, чем мы с Фауни занимаемся в постели. Я не только потому негодяй, что произнес слово "духи"

1. Генри Луис Менкен (1880—1956) — американский журналист, лингвист и критик. Бубизм — производное от boob — простак.
2. Филип Уайли (1902—1971) — американский романист и критик. Слово "мамизм" было впервые употреблено им в книге "Порождения ехиднины" (1943) и означает культ матери как источник современного "матриархата".

перед группой белых студентов — произнес, заметьте, не в ходе рассуждений о наследии рабства, об инвективах "Черных пантер", о метаморфозах Малколма Икс, о риторике Джеймса Болдуина, о популярности среди радиослушателей "Эймоса и Энди"[1], а во время рутинной переклички. Я не только потому...

И это всего за какие-нибудь пять минут, пока он сидел на скамейке и смотрел на симпатичное здание, где когда-то деканствовал.

Но ошибка уже совершена. Он пришел. Вернулся. Снова оказался на холме, откуда его согнали, и опять тут как тут презрение к бывшим друзьям, которые не защитили его, к коллегам, не посчитавшим нужным его поддержать, к врагам, которые так легко отмахнулись от значения его долгой профессиональной работы. В нем поднялось гневное, бьющее через край желание разоблачить их прихотливо-жестокий праведный идиотизм. Он взошел на холм по велению гнева и чувствовал его силу, сминающую сопротивление рассудка и требующую немедленных действий.

Дельфина Ру.

Он встал и направился к зданию, где был ее кабинет. В этом возрасте, думал он, не полезно для здоровья делать то, что я собираюсь. В этом возрасте человеку к лицу умеренность, смирение, а то и полная капитуляция. В этом возрасте лучше пореже возвращаться к обидам прошлого и не лезть на рожон в настоящем, бросая вызов добродетелям, какие там у них имеются. Но ограничиться назначенной тебе ролью, в данном случае ролью респектабельного пенсионера — на этом, разумеется, настаивает благопристойность, и следовательно, как Коулмен Силк давно уже со всей необходимой безжалостностью доказал собственной матери, этот выбор для него неприемлем.

Он не был озлобленным анархистом — таким, как Гительман, сумасшедший отец Айрис. Не был подстрекателем или агитатором какого бы то ни было толка. Не был безумцем. Не был ни радикалом, ни революционером даже в чисто интеллектуальном, философском смысле, если только не считать революционной убежденность в том, что, отказываясь признавать проведенные обществом строгие границы, отказываясь поступаться свободой личного выбора в рамках закона, мы всего лишь пользуемся одним из основных прав человека. Если только не считать революционным нежелание взрослого автоматически подписывать контракт, составленный при его рождении.

Он тем временем уже обошел Норт-холл и направился к длинной, похожей на площадку для игры в шары лужайке, ведущей к Бартон-холлу, где располагался кабинет Дельфины Ру. Что именно он ей скажет, если вдруг застанет ее на рабочем месте в такой роскошный летний день за полтора месяца до начала осеннего семестра, он не знал и не узнал, потому что, не дойдя еще до мощенной кирпичом широкой дорожки, окружающей Бартон-холл, увидел с задней стороны Норт-холла на затененном травянистом клочке земли у подвальной лестницы пятерых уборщиков колледжа в рабочих униформах — рубашках и брюках цвета

1. "Черные пантеры" — леворадикальная негритянская организация 1960—1970-х годов. Малколм Икс (1925—1965) — негритянский лидер, вначале принявший мусульманство, затем порвавший с "Черными мусульманами" и создавший Организацию афроамериканского единства. Джеймс Болдуин (1924—1987) — американский негритянский писатель. "Эймос и Энди" — многосерийный радиоспектакль 1920—1940-х годов, где негритянская тема, как многие считали, преподносилась в расистском ключе.

почтовой бумаги, — утоляющих голод пиццей из коробки и от души хохочущих над какой-то шуткой. Единственной женщиной в этой пятерке и предметом внимания всех остальных — именно она отпустила шутку или ехидно подколола кого-то из мужчин, именно она громче всех смеялась — была Фауни Фарли.

Мужчинам было лет по тридцати или чуть больше. Двое бородатые, и один из этой пары, к тому же щеголявший длинным конским хвостом, был изрядно широк и быкоподобен. Стоял из всех он один — казалось, для того, чтобы получше нависнуть над Фауни, сидевшей на земле, вытянувшей длинные ноги и запрокинувшей голову в приступе веселья. Коулмена удивили ее волосы. Они были распущены. До сих пор, сколько раз он ее видел, они всегда были в тугом пучке, стянутые эластичным кольцом, распускала она их только в постели, где они ложились на ее голые плечи.

Она и мужчины. "Парни" — так она о них говорила. Один недавно развелся, был раньше автомехаником, но не преуспел, копался, когда надо, в ее "шевроле" и возил ее на работу и с работы в те дни, когда сволочной мотор, хоть ты тресни, не хотел заводиться; другой, когда его жена работала в вечернюю смену на Блэкуэллской фабрике картонной тары, несколько раз предлагал сводить ее на порнофильм; еще один, невинный юнец, не знал даже, что такое гермафродит. Когда она заговаривала про "парней", Коулмен слушал, помалкивал и нисколько не нервничал на их счет, хотя, судя по направленности разговоров с ней, как Фауни их передавала, тут было о чем задуматься. Не сказать, однако, что она бесконечно о них распространялась, и на Коулмена, не задававшего ей о них никаких вопросов, их наличие не производило такого впечатления, какое произвело бы, скажем, на Лестера Фарли. Конечно, она могла бы вести себя с ними чуть поаккуратней и давать им меньше пищи для всяких фантазий, но, захотев однажды сказать ей об этом, Коулмен без труда подавил это желание. Пусть разговаривает с кем хочет и как хочет, пусть, каковы бы ни были последствия, сама за них отвечает. Она же не его дочь. И даже не его "девушка". Она — то, что она есть.

Но теперь, отпрянув к самой стене Норт-холла и глядя на них из импровизированного укрытия, он не мог с такой же легкостью настроить себя на отстраненно-великодушный лад. Потому что теперь он видел больше обычного — видел, не только что сделала с ней ничтожность достигнутого в жизни, но, пожалуй, и почему так ничтожно мало было достигнуто. С наблюдательной позиции шагах в пятнадцати-двадцати ему с почти микроскопической точностью видно было, как в его отсутствие она равняется на грубейшее и простейшее, что есть рядом, на того, кто меньше всех ожидает от окружающих и чье самосознание — самое примитивное. Ибо, умен ты или глуп, образован или нет, Волюптас почти все, что ты вздумаешь, может заставить сбыться, ее возможности не то что ясно не выражены, но даже смутно не очерчены, и верно оценить свойства твоей Волюптас ты совершенно не способен... пока, стоя в тени, не увидишь, как она в приступе неудержимого хохота (над чем — над гермафродитизмом?) валится спиной на траву, ноги согнуты в коленях и слегка раздвинуты, по одной руке стекает сыр с куска пиццы, в другой банка кока-колы, а над ней в облике работяги-неудачника нависает все, что прямо противоположно твоему образу жизни. Очередной Фарли? Возможно, ничего настолько зловещего — но скорей замена Лесу Фарли, чем ему, Коулмену.

Сцена в кампусе, которая в былые деканские годы показалась бы Коулмену, наверняка много раз такое видавшему, малозначительной, не просто безобидной, но даже и приятной, выражающей радость трапезы на свежем воздухе в чудесный летний день, сегодня была для него исполнена значения. Ни поучения Нельсона Праймуса, ни холодность Лизы, ни даже анонимное обвинение Дельфины Ру ни в чем его не убедили — а эта пустяковая сцена на лужайке позади Норт-холла показала ему наконец всю глубину его бесчестья.

Лиза. Лиза и ее ученики. Малютка Кармен. Вот кто вспышкой высветился в его сознании — шестилетняя Кармен, по словам Лизы, изрядно отставшая в развитии. "Прелесть, — сказала Лиза, — но до сих пор младенец". Что Кармен прелесть, он сам увидел: кожа светлого-светлого коричневатого оттенка, две тугие смоляные косички, глаза — таких он не встречал еще у людей, два угля, светящихся изнутри горячим голубым огнем, детское быстрое и гибкое тельце в опрятных джинсиках и кроссовочках, в ярких носочках и белой узенькой маечке — живая бойкая девочка, на вид ко всему внимательная, особенно к нему лично. "Это мой друг Коулмен", — сказала Лиза, когда Кармен вошла в класс небрежной походочкой с улыбкой легкого самодовольства и приятного удивления на свежем утреннем личике. "Здравствуй, Кармен", — сказал Коулмен. "Он просто захотел посмотреть, чем мы тут занимаемся", — объяснила Лиза. "Хорошо", — сказала Кармен вполне приветливо, но при этом изучала его не менее внимательно, чем он ее, — казалось, прощупывала улыбкой. "А мы просто будем делать, что обычно делаем", — сказала Лиза. "Хорошо", — повторила Кармен, теперь уже всерьез пуская улыбку в ход. А когда ей пришлось повернуться к маленькой магнитной доске с пластмассовыми буквами, на которой Лиза попросила ее прочесть слова "стол", "сыр", "суп" и "свет" ("Помнишь, я тебя учила, — говорила Лиза, — что всегда надо начинать с первой буквы. Прочти первые буквы. Прочти с пальцем"), Кармен то и дело поворачивала голову, а потом и все туловище, чтобы стрельнуть глазами в Коулмена и сохранить с ним контакт. "Чтобы отвлечься, любой повод годится", — мягко сказала Лиза отцу. "Ну что, мисс Кармен? Будем работать? Коулмен — невидимка". — "Как это?" — "Невидимка, — повторила Лиза. — Его не видно". Кармен засмеялась. "Но я же его вижу". — "Ну ладно. Слушай меня. Первые буквы. Правильно. Умница. А теперь читаем все слово. Хорошо? Первую букву — и сразу слово. Молодец. Суп. А это? Ты его знаешь. Уже читала. Свет. Очень хорошо". До этого урока Кармен уже полгода занималась по программе "Чтение для отстающих" и хоть и продвинулась, но не очень. Коулмену вспомнилось теперь, как она сражалась со словом "твой" в иллюстрированной учебной книжке, откуда ей надо было что-то прочесть вслух. Как она терла пальцами глаза, крутила и комкала майку, ерзала, заплетала ноги вокруг перекладины детского стульчика, медленно, но верно с него сползая, — и все-таки не могла ни распознать, ни произнести "твой". "А ведь уже март, папа. Полгода занятий. "Твой" должно быть пройденным этапом. И пора уже не путать слова "комната" и "конфета", но на худой конец я бы согласилась и на "твой". Вообще-то программа — двадцать недель, а она занимается уже двадцать пять. В детский сад ведь ходила, некоторые простые слова должна была бы освоить. Но в сентябре, когда она пришла в первый класс, я показала ей список слов, а она спрашивает: "Что это такое?" Даже не знала, что такое слова. С буквами тоже было худо: одни не знала, другие путала между собой. Понятно по-

чему, из-за зрительного сходства, но в какой-то мере трудность остается и полгода спустя. До сих пор проблема. Для нее все проблема". — "Ты, я вижу, сильно из-за нее удручена". — "Каждый день по полчаса — это ведь много. Это масса работы. По идее она должна читать дома, но там ее шестнадцатилетняя сестра только что родила и родителям некогда или начхать. Родители — иммигранты, им трудно читать детям по-английски, хотя по-испански Кармен тоже, конечно, никто читать не учит. И так ежедневно. Просто чтобы увидеть, как ребенок обращается с книжкой, я даю ему эту или похожую, с большой цветной картинкой на обложке, и прошу: "Покажи мне, где у этой книги начало". Некоторые показывают, но большинство нет. Текст ничего для них не значит. И пойми такую вещь, — Лиза устало улыбнулась, далеко не так соблазнительно, как Кармен, — мои дети не считаются умственно отсталыми. Когда я сама ей читаю, Кармен не смотрит на слова. Ей все равно. Вот почему под конец дня я выжата как лимон. Другим учителям, конечно, тоже нелегко, но когда подряд идут такие Кармен, домой возвращаешься совершенно опустошенной. К вечеру уже и я разучиваюсь читать. Даже по телефону разговаривать не могу. Сую что-нибудь в рот и валюсь в постель. Я сердечно привязана к этим детям. Я люблю их. Но это хуже чем опустошает — это убивает".

Фауни уже сидела на траве прямо и допивала свою кока-колу, тогда как один из парней — младший, самый худой, самый юный на вид, с нелепой бороденкой на кончике подбородка, носивший в дополнение к коричневой униформе бандану в красную клетку и подобие ковбойских сапог на высоких каблуках, — собирал в мусорный мешок остатки ланча, а остальные трое стояли чуть поодаль и курили в теньке по последней сигарете перед второй половиной рабочего дня.

Фауни осталась одна. Не смеялась уже. Сидела с серьезным видом, держа в руке пустую банку из-под колы, и о чем думала? О двух годах работы официанткой во Флориде, когда ей было шестнадцать-семнадцать, о пожилых ушедших на покой бизнесменах, приходивших на ланч без жен и спрашивавших ее, не хочет ли она жить в милой квартирке, носить классную одежду, ездить на отличном новеньком "пинто", иметь счета во всех модных магазинах Бал-Харбора, в ювелирном магазине и салоне красоты, а взамен всего-навсего ублажать его пару-тройку вечеров в неделю и в некоторые уик-энды? Не одно, не два, а целых четыре таких предложения за первый год. А потом предложение от кубинца. По сотне с клиента без всяких вычетов. За стройную блондинку с большими буферами, высокую, красивую, да с таким огоньком, да с таким нахальством, да если еще ее одеть в мини-юбочку, топик и сапожки, и тысячу выложить не жалко. Год-два, и если она захочет, можно выйти из игры — жить будет на что. "И ты не согласилась?" — спросил Коулмен. "Нет. Но не воображай, что не задумалась, — сказала она. — Мерзкий ресторан, поганые клиенты, чокнутые повара, меню прочесть не могу, заказ записать не могу, все надо держать в голове — не сахар жизнь. Но считать-то я умею, хоть и неграмотная. Прибавлять, отнимать. Слов не могу читать, но кто такой Шекспир — знаю. Кто такой Эйнштейн — знаю. Кто выиграл Гражданскую войну — знаю. Я не дура. Я просто неграмотная. Какая-никакая, а разница. С цифрами особое дело. В них, будь уверен, я разбираюсь хорошо. Не воображай, что в этой идее я не увидела ничего завлекательного". Но Коулмен и так не обольщался. Он не только предполагал, что в семнадцать лет ее могла завлекать идея

стать проституткой, но и думал, что эта идея претворялась в реальный опыт.

"Что делать с нечитающим ребенком? — в отчаянии спросила его тогда Лиза. — Чтение — ключ ко всему, поэтому *что-то* надо делать, но вот я делаю — и это меня гробит. Говорили, на второй год будет легче, на третий — еще легче. У меня пошел четвертый". — "И не легче?" — "Тяжело. Страшно тяжело. Год от года только хуже. И если уроки один на один ничего не дают, то *что делать?*" Что ж, его ответ на этот вопрос — превратить нечитающую девочку в свою любовницу. Фарли дал свой ответ — превратил ее в боксерскую грушу. Кубинец дал свой — превратил ее в свою подстилку, в одну из, так Коулмен предполагал. И как долго она была его подстилкой? Не об этом ли Фауни думала, прежде чем встала и вернулась в Норт-холл домывать коридоры? Или о том, как долго длилось все вообще? Мать, отчим, бегство от отчима, разные места на юге, разные места на севере, мужчины, побои, заработки, замужество, ферма, стадо, банкротство, дети, мертвые дети. Неудивительно, что полчаса на солнышке с парнями и куском пиццы — сущий рай для нее.

— Это мой друг Коулмен, Фауни. Он просто захотел посмотреть.

— Хорошо, — отвечает Фауни. На ней зеленый вельветовый сарафанчик, чистые беленькие носочки и блестящие черные туфельки. Она далеко не такая бойкая, как Кармен, — спокойная, воспитанная, все время чуточку скованная, миловидная белокожая девочка из среднего класса с длинными светлыми волосами в заколках-бабочках справа и слева, не проявляющая, в отличие от Кармен, никакого интереса к нему.

— Здравствуйте, — кротко произносит она и послушно возвращается к магнитным буковкам — двигает их, группирует, с одной стороны собирает все согласные, с другой все гласные.

— Двумя руками, — говорит Лиза, и Фауни делает как велено.

— Назови буквы, — просит Лиза.

Фауни называет. Все буквы читает правильно.

— Начнем с того, что она знает, — говорит Лиза отцу. — Составь "дом", Фауни.

Фауни составляет слово "дом".

— Очень хорошо. Теперь то, чего она не знает. Составь "сом".

Долго и напряженно глядит на буквы — и только. Ничего не составляет. Бездействует. Выжидает. Ждет, что случится. И так всю жизнь — что случится? Всегда что-нибудь да случалось.

— Измени начало, мисс Фауни. Ну же, давай. Ты умеешь. С чего начинается слово "сом"?

— С "сэ". — Фауни убирает "д" и ставит в начале слова "с".

— Отлично. Теперь сделай "ком".

Она делает. "Ком".

— Хорошо. Теперь прочти с пальцем.

Фауни двигает палец от буквы к букве и отчетливо произносит звуки:

— Ка — о — эм.

— Она быстрая, — говорит Коулмен.

— Да, но это и должно происходить быстро.

Класс большой, и в нем параллельно проходят четыре урока чтения для отстающих, так что со всех сторон до Коулмена доносятся голоски, читающие вслух, по-детски идущие то вверх, то вниз безотносительно к смыслу, и он слышит других учительниц: "Ты ведь знаешь это — ю, как в слове "юла", — ю, ю... Ты ведь знаешь это — "жук", ты знаешь "юла"...

Очень хорошо, молодчина", и, оглядевшись, он видит, что три другие ученицы — это тоже Фауни. Повсюду висят плакатики с алфавитом, с картинками на каждую букву, повсюду пластмассовые шрифты с магнитами, разноцветные, чтобы легче было собирать слово букву за буквой, повсюду стопки простеньких книжек с незамысловатыми историями: "В пятницу мы были на пляже. В субботу мы поехали в аэропорт"; "— Папа Медведь, Медвежонок с тобой? — Нет, — ответил Папа Медведь"; "Утром на Сару залаяла собака. Сара испугалась. — Будь храброй девочкой, Сара, — сказала мама". Помимо этих книжек, историй, собак, медведей и пляжей в классе четыре учительницы — все трудятся над одной Фауни и никак не научат ее читать на нужном уровне.

— Она в первом классе, — говорит Лиза отцу. — Мы надеемся, что если каждый день будем работать с ней вчетвером на всех уроках, то к концу года она нагонит сверстников. Но очень трудно развить в ней внутреннюю мотивацию.

— Какая милая девочка, — говорит Коулмен.

— Ты находишь? Тебе нравится этот тип? Вот он, значит, какой, твой любимый тип: милая, плохо читающая блондинка с длинными волосами, сломленной волей и заколками-бабочками.

— Я этого не говорил.

— И не надо было. Я видела, как ты на нее смотрел. — Лиза обводит рукой комнату, где все четыре Фауни тихо сидят перед магнитными досками, составляя из цветных пластмассовых буковок слова "дом", "сом" и "ком". — Когда она в первый раз читала "ком" по буквам, ты глаз от нее не мог оторвать. Раз это на тебя так действует, тебе надо было здесь быть в сентябре. Тогда она не знала, как пишутся ее имя и фамилия. После детского сада единственным словом в списке, которое она узнала, было "дом". Она не понимала, что текст содержит сообщение. Не знала, что смотрят сначала на левую страницу, потом на правую. Не знала "Златовласку и трех медведей". Непонятно, что она делала в детском саду, ведь это им там дают — сказки, детские стишки. Теперь она уже знает "Красную Шапочку", а тогда понятия о ней не имела. Если бы ты увидел Фауни в сентябре, после детского сада, из которого она вышла ни с чем, она с ума бы тебя свела.

Что делать с нечитающим ребенком? С той, которая сосет чей-то член в пикапе, когда наверху, в крохотной квартирке над гаражом, где работает керосиновый обогреватель, ее двое заброшенных детей должны по идее спать. С той, которая с четырнадцати лет все время в бегах от своей необъяснимой жизни. С той, что ради стабильности и безопасности выходит замуж за свихнувшегося от войны ветерана, который, стоит тебе повернуться во сне, хватает тебя за горло. С той, которая скрытничает и врет, с нечитающей, которая *умеет* читать, только *притворяется*, что не умеет, нарочно приписывает себе этот изъян, чтобы получше изображать особь из подвида, к которому она не принадлежит и не должна, хотя хочет — и в этом ее ошибка — уверить и себя и тебя, что принадлежит. С той, чье существование в семь лет стало галлюцинацией, в четырнадцать катастрофой, а после четырнадцати бедствием, кому на роду написано быть не официанткой, не проституткой, не фермершей и не уборщицей, а на веки вечные падчерицей похотливого отчима и незащищенной дочкой самовлюбленной матери, с той, кто никому не доверяет, в каждом видит обманщика и вместе с тем ни от чего не застрахована, чья способность держаться и не сдаваться колоссальна и

чья опора в жизни при этом ничтожна, с ершистой любимицей несчастья, способной навлечь на себя и уже навлекшей все мыслимые невзгоды, с той, чья несчастливая звезда и не думает меркнуть и кто, однако, как ни одна женщина, кроме Стины, возбуждает его и распаляет, — не наиболее, а в нравственном смысле *наименее* отталкивающая личность из всех, кого он знает, с той, кто влечет его к себе именно потому, что он так долго целился в противоположную сторону, влечет из-за всего, что́ он *потерял*, целясь в противоположную сторону, влечет, потому что скрытое чувство правоты, владевшее им прежде, движет им и теперь, с немыслимой подругой, одинаково близкой ему физически и духовно, с той, кто для него менее всего игрушка, с помощью которой он дважды в неделю ублажает свое животное естество, кто в большей мере, чем какой-либо другой человек на земле, является для него товарищем по оружию.

Ну и что делать с таким ребенком? Найти телефон-автомат и как можно скорей исправить свою идиотскую ошибку.

Ему кажется, она думает, как долго все это длилось — мать, отчим, бегство от отчима, разные места на юге, разные места на севере, мужчины, побои, заработки, замужество, ферма, стадо, банкротство, дети, мертвые дети... и, возможно, так оно и есть. Возможно, пусть даже, пока она сидит на траве, а парни курят и убирают остатки ланча, ей кажется, что она думает про ворон. Она вообще очень много про них думает. Они всюду. Она спит, а они сидят на ветках в лесу совсем недалеко от ее кровати. Она выпускает коров на пастбище, а они сидят там на земле. Сегодня они раскаркались по всему кампусу, поэтому она думает, о чем думает, не так, как кажется Коулмену, а думает про самца вороны, который крутился около магазина в Сили-Фолс, когда после пожара, но до переезда на ферму она снимала там комнату, пытаясь спрятаться от Фарли. Про самца вороны, который крутился около стоянки машин между почтой и магазином. Птенцом его кто-то из жителей взял в дом, потому что ворона-мать то ли его бросила, то ли погибла — Фауни не знала, что его осиротило. А теперь его бросили во второй раз, и он взял моду ошиваться около стоянки, где за день иной раз перебывает почти все население Сили-Фолс. Самец вороны создавал массу проблем — начал пикировать на головы людям, идущим на почту, выдергивать заколки из волос у девочек и тому подобное, ведь вороны неравнодушны к стекляшкам и всему блестящему. Поэтому почтовая начальница, посоветовавшись кое с кем из заинтересованных горожан, решила сдать бедолагу в Одюбоновское общество[1], где его заперли в клетку и лишь изредка выпускали полетать; на волю его нельзя было отпустить, потому что птица, которая любит ошиваться около автостоянки, с волей явно не в ладах. Его карканье Фауни помнит во все часы — днем, ночью, бодрствуешь ты, спишь или ворочаешься без сна. Странный голос, непохожий на другие, — наверно, потому, что этот самец вороны рос у людей. Первое время после пожара я часто ездила его навещать в Одюбоновское общество, и когда я уходила, он звал меня обратно этим своим голосом. Да, в клетке, но, раз уж так вышло, лучше в клетке, чем по-другому. Там у них в клетках и другие птицы, которых им приносят, потому что они

1. Общество защиты диких птиц и животных, названное в честь американского орнитолога и художника Джона Джеймса Одюбона (1785—1851).

больше не могут жить на свободе. Там были две маленькие совы — пятнистые и точно игрушечные. К ним я тоже всегда подходила. И ястреб-дербник с его пронзительным криком. Славные пташки. А потом я перебралась сюда и с этим одиночеством моим, в котором жила и живу, узнала ворон так, как никогда раньше. И они меня. Их чувство юмора. Можно это так назвать? Может, это и не чувство юмора. Но мне кажется, что оно. Как расхаживают. Как голову прячут. Как орут на меня, если я им не вынесла хлеба: а ну тащи! Ходят важные-преважные. Всеми птицами хотят командовать. В субботу я потолковала около Нортамберленда с ямайским канюком, потом приезжаю домой и вдруг слышу — две вороны на задах. Что-то не так, сразу ясно. Воронья тревога. Ну и, конечно, я не двух птиц увидела, а трех — две вороны каркают на канюка, гонят прочь. Может быть, на того самого, с которым я несколько минут назад говорила. Атакуют. Само собой, канюк не подарки дарить прилетел. Но лезть к нему? Умно ли — к ястребу-то? Перед другими воронами это, ясное дело, им очко, но не уверена, что поступила бы так на их месте. Даже вдвоем — что они могут против ястреба? Задиристые твари. Злые. Что ж, оно и лучше для них. Однажды видела фотографию: ворона подлетела к орлу и лается. Орлу плевать. Он даже ее не видит. Но ворона — нет, это не какая-нибудь дрянь. Как она летит! Да, они не такие красивые, как во́роны с их воздушной чудо-акробатикой. У них большой корпус, взлететь не так просто, но все равно они могут почти с места. Нескольких шагов хватает. Я наблюдала. Тут важно усилие, огромное усилие. Делаешь его — и ты в воздухе. Видела, когда возила детей ужинать во "Френдлис". Четыре года назад. Их там были миллионы. У "Френдлис" на Ист-Мейн-стрит в Блэкуэлле. Под вечер, когда темнело уже. Миллионы на автостоянке. Вороний сбор у "Френдлис". Что они в них такого находят, в автостоянках? Какой тут смысл? Нам никогда смысла не доискаться, ни с воронами, ни со всем остальным. Другие пернатые как-то скучней. У голубых соек, конечно, замечательный подскок. Как на батуте. Да, здорово. Но у ворон, кроме подскока, еще и выпад грудью вперед. Есть на что посмотреть. Как они крутят головой, чтобы вправить сустав. Нет, вороны — это сила. Классные подлюги. Чего стоит одно их карканье. Послушайте. Только послушайте. Страшно мне нравится. Так они сообщаются друг с другом. Этот бешеный крик об опасности. Очень люблю. Как услышу — сразу из дому. Хоть в пять утра, не важно. Бешеный крик — значит, беги из дому, спектакль уже начинается. Другие крики — не скажу, что их понимаю. Может, и ничего не значат. Иногда коротенький звук. Иногда гортанный. Не путать с криком во́рона. Воро́ны с воро́нами, во́роны с во́ронами. Удивительно, что они никогда не ошибаются — насколько я знаю. Каждый, кто говорит, что они поганые охотницы до всякой мерзости, — а так почти все говорят, — ни черта не смыслит. По-моему, они прекрасны. Да-да, прекрасны. Гладкость их оперения. Оттенки цвета. Такая чернота, что даже отдает фиолетовым. Головы. Откуда клюв растет, у них из перьев, как усы, топорщится волосяная поросль. Как-то, наверно, называется, но название не имеет значения. Никогда не имеет. Важно одно — что это есть. А почему, никто не знает. Как и все остальное на свете — *есть*, и точка. Глаза черные. Других не бывает. Когти тоже черные. Каково это, интересно, — летать? Во́роны, те парят, а воро́ны просто летят напрямик, куда им надо. Я не видела, чтобы они кружили без толку. Пусть во́роны парят себе на здоровье. Пусть накручивают мили, бьют рекорды и получа-

ют призы. Вороны перемещаются из точки в точку. Прошел слух, что я кидаю хлеб, — они здесь. Пройдет слух, что кто-то в двух милях отсюда кидает хлеб, — они будут там. Когда я крошу им хлеб, одна всегда стоит на стреме, а другая каркает вдалеке, так они обмениваются сигналами, чтобы все знали, что происходит. С трудом верится, что все заботятся обо всех, но похоже, это так. Мне чудесную историю в детстве подруга рассказала, а ей рассказала мать, я забыть это не могу. Жили на свете такие умные вороны, что додумались носить орехи, которых не могли расколоть, на мостовую. Там они смотрели на светофор и понимали сигналы, понимали, когда поедут машины, настолько были сообразительные. Они клали орехи прямо перед колесами и, как только на светофоре менялся свет, отскакивали. Я тогда этому верила. Я всему тогда верила. А теперь, когда я, кроме них, никого знать не знаю, я опять этому верю. Я и вороны. Самое оно. Держись ворон, и все будет в ажуре. Я слыхала, они чистят друг другу перья. Никогда сама не замечала. Увижу их вплотную друг к другу и думаю: чем они там занимаются? Но ни разу отчетливо не видела, чтобы они это делали. Даже себе, не то что друг другу. Правда, я хоть и рядом со стаей, но не в ней. А хочется быть в ней. Лучше бы я была вороной. Точно говорю. Намного лучше. Никаких тебе мыслей по поводу расставания с кем-либо или чем-либо. Просто улетаешь, и все. Никаких пожитков не собирать. Чем-то ее стукнуло — все, кранты. Порвано крыло — кранты. Сломана лапа — кранты. Гораздо лучше, чем как у нас. Может быть, я вернусь вороной. Кем я была, пока не вернулась этой вот? Вороной! Да! Именно! И я сказала: "Господи, мне хочется вон там быть, внизу, вон той девкой с большими сиськами", и желание мое исполнилось, а теперь, Боженька, я хочу обратно мой вороний статус. Статус. Хорошее имечко для вороны. Хорошее имечко для всего большого, черного. Важно так выступает. Статус. В детстве я все примечала. Птиц очень любила. Особенно ворон, ястребов, сов. Я и сейчас, когда еду поздно вечером от Коулмена, вижу сов. Непременно тогда должна выйти из машины и поговорить с ними. А не надо бы. Лучше ехать прямо домой, пока этот псих меня не угробил. Когда ворона слышит щебет других птиц, что она думает? Думает: дуры вы. И права. Каркать, больше ничего. Птице, которая так расхаживает, не пристало распевать милые песенки. Нет, каркать до одури. Самое-пресамое оно — каркать до одури, ничего не бояться и жрать всю дохлятину подряд. Если тебе не слабó летать сколько они летают, ты всегда найдешь себе массу шоссейной убоины. Даже не оттаскивают — клюют прямо на полотне. Машина катит — отлетают только в последний момент и недалеко, потом сразу обратно и за дело. Трапеза посреди дороги. Что с тухлым мясом происходит — не знаю. Может, у тех, кто питается падалью, нет такого понятия. Такая уж работа у них — у ворон и грифов-индеек. Подчищают в лесах и на дорогах всякое разное, с чем мы брезгуем возиться. Ворона в этом мире с голоду не подохнет. Пища всегда найдется. Где какая тухлятина — ворона не обходит ее сторонкой. Где случилась смерть — она тут как тут. Мертвечина? Вот мы с ней сейчас разберемся. Мне такое нравится. Очень даже. Сожрать этого енота, в каком бы виде он ни был. Обождать, пока грузовик расплющит ему позвоночник, потом вернуться и высосать все добро, сколько его нужно, чтобы этот красивый черный фюзеляж мог оторваться от земли. Конечно, у них всякое поведение бывает, бывает и странное. Иной раз соберутся там наверху, на деревьях, и орут все наперебой — что-то у

них явно происходит. Но что — я никогда не узнаю. Какое-то грандиозное разбирательство. Но я не возьмусь сказать, понимают они что-нибудь в этом сами или нет. Может быть, такая же бессмысленная чушь, как у нас. Хотя нет, уверена, что нет, в миллион раз у них больше смысла, чем во всем тут внизу вместе взятом. Или я ошибаюсь? Может, это одно, а выглядит чем-то еще? Может, это генетический тик? Или так? Интересно, что было бы, если бы вороны, а не мы были у руля. Неужели такое же дерьмо? Практичность — вот главное, что у них есть. Когда летят. Когда перекрикиваются. Даже в расцветке. Вся эта чернота. Ничего кроме черноты. Не знаю, была я вороной или не была. Мне кажется, я иногда верю, что уже опять ею стала. Месяцы как это тянется — то верю, то не верю. Почему нет? Если бывают мужчины, запертые в женских телах, и женщины, запертые в мужских, то почему я не могу быть запертой в этом вот теле вороной? И где такой врач, который сделает, что они там делают, и выпустит меня наружу? Где такая хирургия, что позволит мне быть мной? С кем идти говорить? Куда обратиться, что сделать, как, черт подери, выбраться?

Я ворона. Я знаю это. Знаю!

У здания студенческого союза, на полпути вниз по холму от Норт-холла, Коулмен нашел телефон-автомат. Напротив в кафетерии участники программы "Элдерхостел" расселись на ланч. Сквозь двустворчатую стеклянную дверь он видел длинные столы, за которыми радостно соединились для общей трапезы пожилые пары.

Джеффа дома уже не было. В Лос-Анджелесе было около десяти утра, и Коулмену ответил автоответчик, поэтому он достал записную книжку и стал искать номер его университетского кабинета, молясь, чтобы Джефф еще не ушел на занятия. То, что отец должен был сказать старшему сыну, он должен был сказать немедленно. В похожем состоянии он звонил Джеффу, когда умерла Айрис. "Они убили ее. Метили в меня, а попали в нее". Он всем это говорил, и не только в те первые сутки. Это было начало его распада — ярость реквизировала все без остатка. Но теперь распаду конец. Конец — именно эту новость он хотел сообщить сыну. И себе самому. Конец изгнанию из прежней жизни. Довольствоваться чем-то менее грандиозным, чем самоизоляция с ее непосильной нагрузкой. Перетерпеть крах со скромным достоинством, вновь собрать себя воедино как разумное существо, покончить с ядовитым негодованием. Будь неподатлив, если хочешь, но по-тихому. Живи мирно. Горделивая самоуглубленность. Самое оно, как любит говорить Фауни. Жить так, чтобы не походить на Филоктета[1]. Не уподобляться трагическому персонажу на его роковом пути. Что выходом кажется обращение к первичному — никакая не новость. Так было всегда. Желание преображает все вокруг. Ответ на все потери и разрушения. Но зачем продлевать скандал, увековечивая протест? Моя всегдашняя глупость. Мое всегдашнее безрассудство. И махровая сентиментальность. Пустился, идиот, в меланхолические воспоминания о Стине. Пустился, идиот, в шутовской танец с Натаном Цукерманом. Стал с ним откровенничать. Рассказывать о прошлом. Завлекать. Дразнить писательское восприя-

1. Филоктет — персонаж "Илиады" и герой одноименной трагедии Софокла. Он долго жил в полном одиночестве на острове Лемнос, потому что рана от укуса змеи издавала нестерпимое зловоние.

тие жизни. Подкармливать ум романиста — эту ненасытную всеядную утробу. Любую катастрофу, какая ни случись, готовы пустить на словеса. Для них катастрофы — хлеб насущный. Но я-то на что это пущу? Заклинило меня со всем этим. С таким, какое оно есть. Ни языка, ни формы, ни структуры, ни смысла. Ни драматических единств, ни катарсиса, ничего. Сырая, необработанная непредвиденность. И почему, спрашивается, человеку должно ее хотеться? Но женщина по имени Фауни — она и есть непредвиденность. Переплетена с непредвиденностью в оргазме, всякая норма для нее непереносима. Четкие принципы непереносимы. Единственный принцип — телесный контакт. Важней ничего нет. Он же — корень ее язвительности. Чужая до мозга костей. Контакт — *с чем?* Обязательство подчинить свою жизнь всем завихрениям ее жизни. Бродяжничеству. Отлыниванию. Странности. Наслаждение этим стихийным эросом. Разбей молотом-Фауни все отслужившее свой срок, все высокоумные оправдания и проложи себе путь к свободе. К свободе от чего? От идиотской гордости собственной правотой. От смехотворного стремления стать величиной. От нескончаемой войны за легитимизацию. Набег свободы в семьдесят один год — свободы ради того, чтобы отрешиться от былой жизни. Ашенбаховское безумие — так еще это называют. "И в тот же самый день, — гласит финальная фраза "Смерти в Венеции", — потрясенный мир с благоговением принял весть о его смерти". Нет, не следует ему уподобляться трагическому персонажу на каком бы то ни было пути.

— Джефф! Это папа. Твой отец.

— Здравствуй. Как дела?

— Джефф, я знаю, почему вы с Майком мне не звоните. От Марка я ничего и не ждал — а Лиза, когда я в последний раз позвонил, бросила трубку.

— Я с ней говорил. Она мне сказала.

— Джефф, мой роман с этой женщиной окончен.

— Да ну! Как так?

Потому что она безнадежна, думает он. Потому что мужчины сделали из нее отбивную котлету. Потому что ее дети задохнулись в дыму. Потому что она уборщица. Потому что у нее нет образования и она говорит, что не умеет читать. Потому что она с четырнадцати лет в бегах. Потому что она даже не спросила меня: "Что вы со мной делаете?" Потому что она прекрасно знает, что с ней делают все мужчины. Потому что она пережила это тысячу раз и надежды нет никакой.

Но сыну он говорит всего-навсего вот что:

— Потому что я не хочу терять своих детей.

С мягчайшим смешком Джефф ответил:

— Ну, этого ты при всем желании не сумел бы. Меня уж точно. Майка и Лизу ты, я думаю, тоже никак не можешь потерять. Марк — другое дело. Ему нужно что-то такое, чего никто из нас не в состоянии дать. Не только ты — никто. Марк — это грустная история. Но если кто-то кого-то теряет, то скорее уж мы тебя. Еще с тех пор, как умерла мама и ты ушел из колледжа. С этим нам всем пришлось столкнуться. Никто не знал, как быть. С тех пор как ты объявил войну колледжу, до тебя поди достучись.

— Да, это так, — сказал Коулмен. — Я понимаю. — Но разговор, хотя он длился всего минуту-другую, уже был для него невыносим. Терпеть непринужденную рассудительность сверхкомпетентного Джеффа, старшего и самого хладнокровного из детей, спокойно излагающего свой

взгляд на семейную проблему отцу, который *и есть* эта проблема, было не легче, чем иррациональную злость Марка, чокнутого младшего. Выходит, он чрезмерного сочувствия от них хочет — от своих собственных детей!

— Я понимаю, — повторил Коулмен, думая, что лучше бы он не понимал.

— Надеюсь, с ней ничего ужасного не случилось? — спросил Джефф.

— С ней? Нет. Я просто решил, что хватит.

Он боялся продолжать — боялся, что начнет говорить совсем другое.

— Это хорошо, — сказал Джефф. — Это для меня колоссальное облегчение — то, что не было последствий, если я правильно тебя понял. Просто замечательно.

Последствий?

— О чем ты говоришь? — спросил Коулмен. — Каких последствий?

— Ты вольная пташка, да? Опять стал самим собой? Судя по голосу, ты сейчас похож на себя как никогда за последние годы. Сам позвонил — вот что важно. Я ждал, надеялся — и теперь этот звонок. Больше и сказать нечего. Ты с нами. Вот о чем мы беспокоились — только об этом.

— Я что-то не понимаю, Джефф. Объясни мне. О чем мы говорим? Последствий чего?

Джефф ответил не сразу и неохотно.

— Аборта. Попытки самоубийства.

— Ты Фауни имеешь в виду?

— Да.

— Сделала аборт? Пыталась покончить с собой? Когда?

— Папа, это всем в Афине стало известно. А потом и нам.

— Всем? Кому — всем?

— Папа, раз не было последствий...

— Последствий не было, потому что событий не было. Ни аборта, ни попытки самоубийства, насколько я знаю. И насколько знает она сама. И все-таки, кому это — всем? Черт тебя побери, ты слышишь такие байки, такие глупые сплетни — и почему не взял телефонную трубку, почему не приехал?

— Приезжать — не мое дело. К человеку твоего возраста...

— Не твое дело? Понятно. Твое дело — верить всему, что говорят о человеке моего возраста, любой злобной, нелепой лжи.

— Да, это была моя ошибка, я о ней сожалею. Ты прав. Ты конечно прав. Но пойми: каждому из нас было до тебя ох как неблизко. До тебя уже давно нелегко было...

— Кто тебе это сказал?

— Лиза. Она первая узнала.

— От кого?

— Из нескольких источников. От знакомых.

— Мне нужны фамилии. Я хочу знать, кому это — всем. От каких знакомых?

— От старых знакомых. От ее подруг в Афине.

— А, от милых подруг детства. От потомства моих коллег. Им-то кто сказал, интересно.

— Так, значит, не было попытки самоубийства?

— Нет, Джеффри, не было. И аборта не было, насколько мне известно.

— Что ж, отлично.

— А если бы было? Если бы эта женщина забеременела от меня и сделала аборт, а потом попыталась покончить с собой — что тогда? Предположим даже, попытка бы удалась — что тогда, Джефф? Любовница твоего отца кончает с собой — что тогда? Ополчаться на отца? На преступника отца? Постой, постой, давай вернемся на шаг — к *попытке* самоубийства. Нет слов, просто блеск! Интересно, кто выдумал эту попытку. Из-за аборта она накладывает на себя руки — так? Мне хочется разобраться, что за мелодраму изобразили Лизе афинские подружки. Наверно, она не хотела этого аборта? Ее *заставили* его сделать? Понятно. Экая жестокость! Мать, потерявшая двоих детей во время пожара, забеременела от любовника. Восторг. Шанс. Возрождение. Новый ребенок в утешение за утрату тех. Но любовник говорит — нет, и думать не моги, и тащит ее за волосы в клинику, а потом, разумеется полностью сломив ее волю, берет ее голое кровоточащее тело...

Джефф к этому времени уже повесил трубку.

Но к этому времени Коулмену и не нужен был Джефф. Достаточно было видеть пожилые пары в кафетерии, попивающие кофе перед возвращением в классы, достаточно было слышать их довольные, непринужденные голоса — благопристойная старость, на вид и на слух точно такая, какой ей полагается быть, — чтобы прийти к мысли, что даже те его дела, которые соответствовали общепринятым стандартам, не создали ему никакого запаса. Не только профессор, не только декан, не только муж, сохранивший, несмотря ни на что, верность своей трудно-переносимой жене, но и отец четырех умных детей — и все это не дало ему ничего. Если чьи-то дети способны понять отца, то почему его не способны? Столько дошкольных занятий. Столько книжек им читали. Столько покупали детских энциклопедий. Подготовка к контрольным. Беседы за столом. Бесчисленные разговоры о многообразии бытия, которые вели с ними и Айрис, и он. Критический разбор языковых клише. И после всего этого такой склад ума? После всей подготовки, всех книг, всех слов, всех высших оценок за вступительные тесты? Невероятно. После всего серьезного к ним отношения. Какую глупость ни скажет, взрослые ответят всерьез. Столько внимания развитию ума, воображения, сочувствия. И скептицизма — скептицизма во всеоружии знаний. Думай сам, ничего не принимай на веру. И после всего этого ухватиться за первую же сплетню? Столько сил на обучение — и все без толку. Никакой защиты от мышления на самом низком уровне. Даже не спросили себя: "Похоже это на отца или не похоже?" Осудили бездумно. Все детство им не позволяли смотреть телевизор — и пожалуйста, мыльнооперная ментальность во всей красе. Тебе дают читать только греков или что-то на их уровне — а ты превращаешь жизнь в викторианскую мыльную оперу. На все их вопросы было отвечено. На все. Чтобы отмахнуться — ни разу такого не было. Ты спрашиваешь, кто были твои дед и бабка? Очень хорошо, я отвечу. Они умерли, когда я был совсем еще юным. Дедушка — когда я кончал школу, бабушка — когда я служил во флоте. К тому времени, как я вернулся с войны, домохозяин давно уже выкинул все пожитки на улицу. Ничего не осталось. Он мне говорит, мол, я не могу миндальничать, мне квартплата нужна, и я был готов убить сукина сына. Фотоальбомы. Письма. Памятки моего детства, их детства — все пропало, все. "Где они родились? Где они жили?" Родились в Нью-Джерси. Были первыми в их семьях, кто появился на свет в Америке. Дед был содержателем бара. Насколько я знаю, его отец — твой прадед — занимался в Рос-

сии тем же делом. Поил русских спиртным. "А дяди, тети у нас есть?" У моего отца был старший брат — он уехал в Калифорнию, когда я был совсем маленьким, а мать была, как я, единственным ребенком. После меня она не могла иметь детей — не знаю почему. Старший брат отца остался Зильберцвейгом — не менял фамилию, насколько мне известно. Джек Зильберцвейг. Родился еще там, в Европе, вот и сохранил фамилию. Когда я поступил во флот, перед отплытием из Сан-Франциско я искал его во всех калифорнийских телефонных книгах. С моим отцом он был в плохих отношениях, отец считал его лентяем и не хотел иметь с ним дела, поэтому никто не знал наверняка, в каком городе живет дядя Джек. Я все телефонные справочники перерыл. Хотел ему сказать, что его брат умер. Хотел с ним встретиться. Мой единственный оставшийся в живых родственник с этой стороны. Что с того, что он лентяй? Я хотел познакомиться с его детьми, если они у него были, — моими двоюродными братьями и сестрами. Смотрел на "Зильберцвейг", на "Силк", на "Зильбер". Может быть, в Калифорнии он стал Зильбером. Я как тогда не знал, так и сейчас не знаю. Понятия не имею. Ну а потом перестал искать. Люди ищут такую родню, когда у них нет своей семьи. Потом появились вы, и меня уже не так заботили дядя и двоюродные... Каждый из детей слышал одну и ту же историю. И единственным, кого она не устроила, был Марк. Старшие не так дотошно расспрашивали, а вот близнецы напирали. "А раньше в семье бывали близнецы?" Насколько я помню — кажется, мне говорили в детстве, — у одного моего прадеда или прапрадеда был близнец. Эту же историю слышала от Коулмена Айрис. Для нее она и была сочинена. Коулмен рассказал ей все это на Салливан-стрит, когда они только познакомились, и потом не отступал от первоначального клише. Не удовлетворен остался только Марк. "Где жили наши прадеды и прабабки?" В России. "В каком городе?" Я спрашивал родителей, но они не знали точно. То одно место называли, то другое. У евреев целое поколение такое выросло. Ничего толком не знали. Старики не любили говорить о прошлом, а дети, родившиеся в Америке, не слишком любопытствовали, главное для них было — стать американцами, поэтому в моей семье, как и во многих других, царила еврейская географическая амнезия. На все мои вопросы, говорил Коулмен своим детям, они отвечали только: "Россия". Но Марк не унимался: "Россия — огромная страна. *Где* в России?" Что хочешь с ним делай. И почему? *Почему?* Неизвестно. Марк непременно хотел знать, кто они были и где жили, — хотел получить то, чего Коулмен не мог ему дать. Выходит, поэтому он стал ортодоксальным евреем? Поэтому сочиняет поэмы протеста на библейские сюжеты? Поэтому так ненавидит отца? Невероятно. Ведь были же Гительманы. Дед и бабка. Дяди и тети. Двоюродные Гительманы по всему Нью-Джерси. Неужели мало? Сколько родни ему нужно было? Вынь да положь ему Силков и Зильберцвейгов! Глупейшая причина для обиды, просто немыслимая! Как бы то ни было, Коулмена посещало иррациональное подозрение — не связана ли мрачная злость Марка с его, Коулмена, секретом? С тех самых пор, как Марк начал против него восставать, он то и дело невольно возвращался к этой мысли, и самым болезненным образом она явилась теперь, когда Джефф, не дослушав, повесил трубку. Если дети, которые в генах своих несут его происхождение и передадут дальше, внукам, так легко заподозрили его в крайней жестокости по отношению к Фауни, то какое этому может быть объяснение? Потому что он не рассказал им о предках — так, что ли? Потому что

не исполнил этой родительской обязанности? Потому что нельзя было лишать их такого знания? Чушь какая-то. Не настолько слепым было воздаяние, не настолько бессознательным. Не было такой "услуги за услугу". *Быть не могло.* И все же после разговора с сыном — пока выходил из здания, покидал кампус, ехал со слезами на глазах домой, на свой холм, — ощущение было именно такое.

И всю дорогу Коулмен вспоминал момент, когда он едва не признался Айрис. Это было после рождения близнецов. Семья составилась полностью. Все в порядке — близнецы не подкачали. Ни следа его тайны ни на одном из детей, и ему казалось, что теперь он словно бы *избавлен* от тайны. На радостях от успеха ему захотелось во всем открыться. Да, он преподнесет жене самый большой подарок, какой только может преподнести: расскажет матери своих четверых детей, кто в действительности их отец. Он скажет Айрис правду. Вот как взволнован он был, вот какое испытал облегчение, вот как тверда была земля у него под ногами после рождения замечательных близнецов. Он взял Джеффа и Майка с собой в больницу посмотреть на братика и сестричку, и самое большое из опасений исчезло из его жизни.

Но Айрис так и не получила этого подарка. Спасительной — или губительной — стала для Коулмена беда, постигшая ее близкую подругу и коллегу по совету художественной ассоциации, миловидную и рафинированную акварелистку-любительницу по имени Клодия Макчесни. У ее мужа, владельца самой крупной строительной фирмы здешних мест, был, как выяснилось, свой ошеломляющий секрет — вторая семья. Около восьми лет Харви Макчесни состоял в связи с женщиной гораздо моложе Клодии, бухгалтером мебельной фабрики близ гор Таконик, родившей от него двоих детей, которым уже исполнилось шесть и четыре. Они жили в маленьком городке в штате Нью-Йорк у самой массачусетской границы, и он приезжал к ним каждую неделю, поддерживал их материально и, похоже, любил, причем никто в первой семье Макчесни ничего не знал, пока анонимный телефонный звонок, исходивший, вероятно, от какого-то конкурента Харви, не открыл Клодии и трем их детям-подросткам глаза на то, чем Макчесни занимается в свободное от работы время. Клодия в тот вечер пришла в полное отчаяние и попыталась вскрыть себе вены, и не кто иной, как Айрис, в три часа ночи с помощью знакомого психиатра начала спасательную операцию, в результате которой Клодия еще до рассвета оказалась в Стокбриджской психиатрической больнице в Остин-Риггс. Не кто иной, как Айрис, нянчившая в то время новорожденных близнецов и пестовавшая двоих старших дошкольников, каждый божий день навещала Клодию в больнице, утешала, подбадривала, привозила цветы в горшках и книги по искусству, чтобы Клодии было чем заняться, даже расчесывала и заплетала ей волосы, пока пять недель спустя, в равной мере благодаря психиатрической помощи и самоотверженности Айрис, она не смогла вернуться домой и начать необходимые процедуры для того, чтобы избавиться от человека, причинившего ей все это зло.

Спустя считанные дни Айрис нашла для Клодии адвоката по делам о разводе, чья контора находилась в Питсфилде, и со всеми маленькими Силками, включая грудничков, притянутых ремнями к заднему сиденью большого автомобиля, сама отвезла подругу к юристу, чтобы наверняка положить начало освобождению Клодии от Макчесни. На обратном пути Айрис потратила массу усилий, чтобы вселить в подругу реши-

мость, — что-что, а это она делать умела, и она на славу потрудилась, чтобы желание Клодии очистить свою жизнь от этого негодяя не ослабло под воздействием остаточных страхов.

— Такую подлость сделать человеку, — сказала Айрис Коулмену. — Дело даже не в любовнице. Скверно, но случается. И даже не в побочных детях, как бы ни было ей больно про них узнать. Секрет — вот что ее подкосило. Вот почему Клодия жить больше не хочет. "Разве это близость?" Повторяет и повторяет, и всякий раз в слезы. "Разве это близость, если такой секрет?" То, что он мог это от нее прятать, что продолжал бы прятать, если бы не звонок, — вот против чего Клодия совершенно беззащитна, вот из-за чего она до сих пор хочет руки на себя наложить. Она мне говорит: "Все равно что обнаружить труп. Три трупа. Три человеческих тела под нашим полом".

— Да, — сказал Коулмен. — Тут даже что-то греческое. Что-то из "Вакханок".

— Хуже, — сказала Айрис, — потому что это не из "Вакханок". Это из жизни нашей Клодии.

Когда, по прошествии почти года амбулаторной терапии, Клодия помирилась с мужем, когда Харви снова въехал в их дом в Афине, восстановил целостность семьи и согласился порвать с другой женщиной, продолжая, однако, исполнять свои обязательства по отношению к внебрачным детям, Клодия проявила не больше желания, чем Айрис, поддерживать былую дружбу, и после того как Клодия ушла из художественной ассоциации, женщины перестали видеться даже на собраниях, где Айрис, как правило, верховодила.

И Коулмен, хотя триумфальное чувство после рождения близнецов побуждало его открыть жене *свой* ошеломляющий секрет, не сделал этого. Был спасен, думалось ему, от самого сентиментально-детского поступка в своей жизни. Вдруг начал смотреть на окружающее так, как смотрят дураки, вдруг во всем и во всех начал видеть самое хорошее, вдруг полностью отбросил осторожность и недоверие, в том числе к самому себе, вдруг решил, что всем трудностям пришел конец, что все осложнения позади, вдруг забыл не только о своем выборе, но и о том, каким способом его осуществил, вдруг захотел изменить своему прилежанию, дисциплине, трезвой оценке любой ситуации... Как будто можно отказаться от битвы, которую каждая личность ведет в одиночку, как будто можно по собственному хотению быть или не быть самим собой, тем неповторимым и неизменным "я", ради которого, собственно, и ведется битва. Тот факт, что последние из его детей родились идеально белыми, едва не заставил его взять самое сильное и умное в себе и выбросить на свалку. Что его спасло? Мудрое правило: "Ничего не делай".

Но он и раньше, после рождения первенца, едва не совершил что-то почти настолько же глупое и сентиментальное. Будучи молодым преподавателем античной словесности в Аделфи-колледже, он ездил в Пенсильванский университет на трехдневную конференцию по "Илиаде". Он сделал доклад и завел полезные знакомства, один известный специалист даже тихонько посоветовал ему подать заявление на открывающуюся в Принстоне вакансию, и по дороге домой, ощущая себя на вершине бытия, он вместо того, чтобы отправиться к себе на Лонг-Айленд по Джерсийскому шоссе, чуть было не повернул на юг и не поехал по малым дорогам округов Сейлем и Камберленд в Гулдтаун, где жили предки его матери и куда в детстве его каждый год брали на традиционный об-

щесемейный сбор. Да, он и тогда, молодой отец, вдруг потянулся было к легкому удовольствию, связанному с одним из тех многозначительных ощущений, каких люди начинают искать, стоит им перестать думать. Но рождение сына было не более веской причиной для посещения Гулдтауна, чем немного погодя, когда он добрался до северной части Нью-Джерси, оно было для поворота на Ньюарк и поездки в Ист-Ориндж. Это побуждение ему, как и первое, пришлось подавить — побуждение повидать мать, сообщить ей новость и привезти к ней мальчика. Через два года после того, как он жестоко отделался от нее, и вопреки запрету Уолтера — показать матери *себя*. Нет. Совершенно исключено. И он, никуда не сворачивая, поехал домой, к белой жене и белому ребенку.

Теперь, четыре с лишним десятилетия спустя, по пути домой из колледжа, осаждаемый упреками и ответными упреками, вспоминая иные из лучших моментов своей жизни — рождение детей, радость, невинный восторг, сумасшедшую слабину в своей решимости, облегчение настолько великое, что он едва с этой решимостью не покончил, — он вспоминал и худшую ночь в своей жизни, случившуюся в Норфолке во время флотской службы, ночь, когда его выбросили из знаменитого белого борделя "У Орис". "Да ты, сдается мне, черномазый" — и секунды спустя вышибалы выволокли его через открытую входную дверь и швырнули так, что, пролетев ступеньки крыльца и тротуар, он грохнулся на мостовую. К Лулу, крикнули они ему вслед, к Лулу на Уорик-авеню, там тебе самое место, черная скотина. Он сильно стукнулся лбом, но все-таки встал и пустился бежать, пока не увидел проулок. Юркнул туда, спасаясь от береговых патрулей, которых по субботам разгуливала тьма-тьмущая, и под конец оказался в сортире единственного бара, куда он посмел вваливаться в таком расшибленном виде, бара для цветных в десятке кварталов от "Орис" и всего в сотне-другой шагов от Хэмптон-роудз и парома, возившего матросов к Лулу. В барах для цветных он не бывал со школьных времен, когда они с приятелем участвовали в футбольном тотализаторе в "Вечернем клубе Билли". В первые два года старшей школьной ступени он, помимо тайных занятий боксом, всю осень регулярно бывал в "Вечернем клубе" и там-то нахватался знаний, которые, как потом утверждал, якобы получил в таверне своего еврея-отца.

Он вспоминал теперь, как старался остановить кровь, текшую из разбитого лица, как тщетно пытался оттереть белую матросскую рубашку, как кровь шла и шла, пачкая все на свете. Унитаз без сиденья был весь завален дерьмом, склизкий дощатый пол был залит мочой, умывальник был не умывальник, а поганое заплеванное и заблеванное корыто, и когда из-за боли в запястье его затошнило, он не стал нагибаться ко всей этой мерзости, а пустил фонтан прямо на стену, у которой стоял.

Заведение было сквернейшее, наихудшего пошиба, он в жизни не видал ничего подобного и даже вообразить не мог, но спрятаться где-то надо было, и поэтому, сев как можно дальше от болтавшегося здесь отребья, мучимый всеми своими страхами разом, он понемногу глотал пиво и пытался прийти в себя, приглушить боль и избежать излишнего внимания к себе. Впрочем, никто в баре после того, как он взял пиво и сел у стены за пустыми столами, даже не взглянул в его сторону: как и в белом бардаке, все сочли его именно тем, кем он являлся.

Выпив стакан пива, он попросил другой, понимая, что место здесь для него совсем неподходящее, но зная, что, если его сцапает берего-

вой патруль, если им станет известно, почему его вышвырнули от Орис, он погиб: трибунал, приговор, долгий срок принудительных работ, затем увольнение из флота без прав и привилегий — и все потому, что при зачислении он солгал насчет своей расы, все потому, что сдуру сунулся туда, где неграм дозволялось только стирать постельное белье да мыть полы.

Все, хватит. Дослужить на правах белого — и довольно. Потому что я не справлюсь, думал он, мне теперь даже и не хочется. До сих пор он не знал, что такое настоящее унижение. Не знал, что такое прятаться от полиции. До сих пор его никогда не били до крови — во всех своих любительских боях он ни капли ее не пролил и не получил никаких повреждений. Но теперь его матросская рубашка походила на бинт тяжелораненого, брюки были местами пропитаны полузапекшейся кровью, на коленях порвались и испачкались из-за падения в притротуарную канаву. Рука, которую он, падая, выставил вперед, была повреждена в запястье, может быть, даже сломана — он не мог шевельнуть кистью, и к ней больно было прикасаться. Он допил стакан и взял следующий, надеясь алкоголем приглушить боль.

Вот что получается, когда нарушают верность идеалам отца, пренебрегают его наказами, предают его память. Если бы он вел себя как отец, как Уолтер, все было бы в порядке. Но вначале он нарушил закон, соврав при поступлении во флот, а теперь желание переспать с белой женщиной ввергло его в настоящую беду. "Дай мне дослужить до конца. Демобилизуюсь — и все, больше ни разу не солгу. Выйду на гражданку — и баста!" В первый раз он говорил с отцом после того, как отец свалился и умер в вагоне-ресторане.

Жить так и дальше — значит свести свою жизнь к нулю. Откуда Коулмену это стало известно? От отца, который отвечал ему в полный голос, отвечал со знакомой наставительной властностью, со всегдашней определенностью, свойственной речам честного, убежденного, знающего себе цену человека. Будешь продолжать в том же духе — кончишь в канаве с перерезанным горлом. Посмотри, где ты сейчас! Где тебе приходится прятаться! И почему? Почему? Из-за твоего наглого, заносчивого кредо: "Я не такой, как вы, я вас не выношу, я не принадлежу к вашему негритянскому 'мы'!" Великая героическая борьба против нашего 'мы' — и посмотри, на что ты стал похож! Страстная борьба за драгоценную неповторимость, одиночный мятеж против негритянской судьбы — и где он, этот дерзновенный бунтарь, оказался? Куда завели его поиски глубинного смысла бытия? Целый мир любви был тебе открыт, а ты променял его вот на это! Безрассудство, трагическое безрассудство! Ты не только себе самому, ты всем нам нанес удар. Эрнестине. Уолту. Матери. Мне. Мне в моей могиле, моему отцу в его. Что еще грандиозное собираешься совершить, Коулмен Брут? Кого теперь обманешь, кого предашь?

И все же он не мог выйти на улицу — боялся берегового патруля, трибунала, корабельной кутузки и бесславного увольнения, которое навсегда легло бы на него позорным пятном. Внутренний разлад парализовал его — он сидел и сидел, пил и пил, пока к нему, разумеется, не подсела проститутка, очевидным образом принадлежавшая к его расе.

Найдя его утром, береговой патруль счел кровавые ушибы, сломанное запястье и перепачканную форму результатом ночных похождений в негритянском квартале — еще одного белого блядуна потянуло на чер-

ненькое мясцо. Его пропесочили, пропарили, почистили, татуировали напоследок – и оставили на усеянной битым стеклом площадке у паромного причала.

"U. S. Navy" – гласила флотская наколка. Голубые буковки всего в четверть дюйма вышиной между лапами двухдюймового голубого якорька. По-военному непритязательный рисунок, скромно помещенный на правой руке чуть пониже плеча. Очень легко спрятать. Но едва он вспоминал, как им обзавелся, в памяти возникало не только смятение наихудшей из его ночей, но и все, что стояло за этим смятением. То был символ всей его жизни, где геройство и бесчестье были неразделимы. Голубенькая татуировочка заключала в себе верный и полный образ его самого. Здесь, в этих нестираемых буквах – неустранимость человеческой биографии. Здесь и мощный размах предпринятого. Здесь и натиск внешних сил. Вся цепь непредвиденностей, вся опасность разоблачения, вся опасность сокрытия, даже бессмысленность жизни как таковой – все было здесь, в этой дурацкой маленькой наколке.

Трения с Дельфиной Ру начались у него с первого же семестра после возвращения к преподавательской работе, когда одна студентка, любимица профессора Ру, пожаловалась ей как заведующей кафедрой на содержание пьес Еврипида в читаемом Коулменом курсе древнегреческой трагедии. Речь шла об "Ипполите" и "Алкестиде"; студентка, которую звали Елена Митник, нашла эти пьесы "принижающими женщин".

– Ну и как же мне удовлетворить мисс Митник? Убрать Еврипида из программы?

– Отнюдь нет. Все очевидным образом зависит от того, как вы подаете Еврипида.

– И какая же, – спросил он, – в наши дни предписана метода?

Спросил, сознавая, что для подобного спора ему не достанет ни терпения, ни вежливости. Чтобы одержать верх над Дельфиной Ру, самое правильное было вообще не вступать с ней в спор. Как ни переполняло ее интеллектуальное самомнение, ей было всего двадцать девять лет, она почти не имела жизненного опыта вне учебных заведений, должность свою заняла недавно и не так уж много времени провела как в Афина-колледже, так и вообще в Америке. Он знал по опыту общения с ней, что наилучший отпор ее попыткам не просто поставить себя выше его, но и унизить: "Все очевидным образом зависит..." и тому подобное – это полное безразличие к ее суждениям. В бывшем декане ей, помимо прочего, было невыносимо то, что, в отличие от других ее афинских коллег, он не был ни потрясен, ни обезоружен ее академическими достижениями. Как-то он лишал ее уверенности в себе – человек, который пять лет назад не слишком охотно взял ее на работу сразу после йельской аспирантуры и впоследствии не скрывал, что сожалеет об этом, особенно когда кафедральная бестолочь выдвинула молодую женщину с такой путаницей в мозгах в заведующие.

Личность Коулмена Силка неизменно беспокоила ее и смущала, и теперь она в отместку хотела вывести его из равновесия. Его присутствие всегда возвращало ее в детство, к страхам не по годам развитого ребенка: один страх – что тебя видят насквозь, другой – что тебя не видят вовсе. Не дай бог заметят, не дай бог пренебрегут. Дилемма! Что-то в нем даже заставляло ее сомневаться в своем английском, которым вообще-то она владела совершенно свободно. Всякий раз, когда они встречались

лицом к лицу, ей казалось, что он хочет связать ей руки за спиной — ни больше ни меньше.

Что же это такое было? Его мужской оценивающий взгляд, когда, устраиваясь на работу в Афина-колледж, она пришла к нему в кабинет на собеседование? Или, наоборот, отсутствие мужского оценивающего взгляда? Чтó он в ней видит, по нему увидеть никак не удавалось — и это в такое утро, когда она пустила в ход свои возможности по максимуму. Хотела сногсшибательно выглядеть и выглядела, хотела не лезть за словом в карман и не лезла, хотела говорить языком интеллектуала и говорила, в этом она была уверена. И тем не менее он смотрел на нее как на школьницу, как на ничтожное дитя мистера и миссис Нуль.

Может быть, все дело в юбке из шотландки? Короткая юбочка в складку могла навести его на мысль о школьной форме, тем более что надета она была на опрятную миниатюрную молодую брюнетку с маленьким личиком почти из одних глаз, которая весила во всей одежде каких-нибудь сто фунтов. Юбка, черный кашемировый свитер с высоким воротом, черные колготки и высокие черные сапожки — все было выбрано с тем расчетом, чтобы не выглядеть бесполой (женщины, которых она до сих пор встречала в американских университетах, казалось, рьяно преследовали именно эту цель), но и не создавать впечатления соблазнительницы. Ему, она знала, было далеко за шестьдесят, но на вид он был не старше ее пятидесятилетнего отца; он напомнил ей младшего партнера в отцовской инженерной фирме — одного из мужчин, которые заглядывались на нее с тех пор, как ей исполнилось двенадцать. Когда, сев напротив декана, Дельфина положила ногу на ногу и пола юбки завернулась, она, прежде чем поправить, подождала минуту-другую, а когда поправила, сделала это небрежно, как закрывают бумажник, — ведь какой бы юной она ни выглядела, она не была школьницей со школьными страхами и школьной чопорностью, неспособной отрешиться от школьных правил. Не желая производить такого впечатления, она не желала производить и обратного, оставляя полу завернутой и наводя тем самым на мысль, что она хочет в течение всего разговора демонстрировать ему свои стройные ноги в черных колготках. И одеждой, и поведением она как могла старалась показать ему сложную игру *всех* сил, которые сошлись в одну точку, чтобы создать столь интересное двадцатичетырехлетнее существо.

Даже единственная драгоценность на ней, единственное украшение — большое кольцо на среднем пальце левой руки — было выбрано ради полноты образа интеллектуальной личности, которой присуще открытое, беззащитное наслаждение эстетической поверхностью жизни, некое даже гурманство, некое смакование, подчиненное, однако, пожизненному служению научной истине как более крупной задаче. Кольцо, рассчитанное на мужской палец и до нее носившееся мужчиной, было изготовленной в восемнадцатом веке копией древнеримского перстня с печаткой. На овальном агате, расположенном вдоль ободка, что придавало кольцу подлинно мужскую массивность, была вырезана Даная, принимающая Зевса, который явился в виде золотого дождя. Это был любовный подарок, преподнесенный двадцатилетней Дельфине в Париже четыре года назад одним преподавателем — единственным преподавателем, перед которым она не устояла и с которым у нее был страстный роман. Специальностью его, по совпадению, тоже была античность. Во время первого разговора у него в кабинете он казался таким строгим, та-

ким отчужденным, что она сидела парализованная страхом, пока не поняла, что так он ее соблазняет — "от противного". А декан Силк?

Как ни бросалось в глаза большое кольцо, декан не попросил показать ему поближе золотой дождь, вырезанный на агате, — и к лучшему, решила она. Хотя история получения кольца говорила, если уж разбираться, о ее взрослой отваге, он, скорее всего, счел бы все это фривольным легкомыслием, признаком как раз *не*зрелости. В целом, если исключить проблески надежды, она была уверена, что он с первой же минуты думает о ней именно так, — и не ошибалась. У Коулмена создалось впечатление, что она еще молода для этой работы, что в ней много не нашедших пока разрешения противоречий, что ее самовосприятие несколько завышено и в то же время страдает инфантилизмом, что в ней есть нечто от ранимого, плохо владеющего собой ребенка, который остро реагирует на малейший признак неодобрения, что ей, с ее детско-женской хрупкой самоуверенностью, нужны, чтобы держаться на ногах, достижение за достижением, поклонник за поклонником, победа за победой. Смышленая для своего возраста, даже чересчур смышленая, но явный непорядок по эмоциональной части и всерьез недоразвита во многих других отношениях.

Картина была ему ясна уже из краткой стандартной автобиографии, дополненной жизнеописанием на пятнадцати страницах, где путь интеллектуального развития личности был обрисован начиная с шестилетнего возраста. С формальной точки зрения достигнутые Дельфиной Ру результаты были великолепны, но все в ней, включая эти результаты, казалось ему совершенно не тем, в чем нуждается скромный Афина-колледж. Детство на улице де Лоншан в элитарном Шестнадцатом округе Парижа. Месье Ру — инженер, владелец фирмы, под началом у него сорок человек; мадам Ру, в девичестве де Валенкур, родилась в известной старинной провинциально-аристократической семье, жена, мать троих детей, знаток средневековой французской литературы, клавесинистка, знаток клавесинной литературы, историк папства и т. д. Сколько многозначительности в одном этом "и. т. д."! Второй ребенок и единственная дочь, Дельфина окончила лицей Жансон де Сайи, где изучала философию и литературу — английскую, немецкую, латинскую, французскую: "...вполне каноническим образом прочла всю французскую классику". Затем — лицей Генриха IV: "...изнурительно-подробное изучение французской литературы и философии, английского языка, истории английской литературы". В двадцать, после лицея Генриха IV, — Высшая нормальная школа в Фонтене-о-Роз: "...элита французского интеллектуального сообщества... принимается только тридцать человек в год". Тема дипломной работы — "Самоотречение у Жоржа Батая". Опять Батай? Только не это! Каждый самый-ультрасамый йельский аспирант сейчас занимается либо Малларме, либо Батаем. То, что она хотела ему всем этим внушить, понять было нетрудно, тем более что Коулмен знал Париж не понаслышке — молодым профессором год провел там с семьей по Фулбрайтовской стипендии и видел этих честолюбивых молодых французов, выпускников элитарных лицеев. Великолепно подготовленные, с широким интеллектуальным кругозором, очень смышленые и очень незрелые юноши и девушки, получившие самое что ни на есть снобистское французское образование и полные решимости быть до конца дней своих предметами зависти, они каждый субботний вечер собирались в дешевом вьетнамском ресторанчике на улице Сен-Жак, где

разговаривали на важные темы, никакого пустячного трепа — идеи, политика, философия, ничего больше. Даже в свободное время наедине с собой они способны думать только о восприятии Гегеля французским мышлением двадцатого века. Интеллектуалу не подобает быть легкомысленным. Жизнь должна быть замешена на идеях. При любой идеологической установке — агрессивно-марксистской или агрессивно-антимарксистской — они испытывают органическое отвращение ко всему американскому. От всего этого и многого другого Дельфина уехала в Йель преподавать студентам французский и защищать диссертацию, и, как она написала в подробной автобиографии, из всей Франции, кроме нее, взяли только одного человека. "Я пришла в Йель очень картезиански настроенной, а там все оказалось намного плюралистичней и полифоничней". Йельские студенты ее позабавили. Где их интеллектуальная составляющая? Была поражена тем, как они развлекаются. Надо же, какой хаотический, антиидеологический способ мышления — способ жизни! Не видели ни одного фильма Куросавы — до того невежественны. В их возрасте она уже пересмотрела всего Куросаву, всего Тарковского, всего Феллини, всего Фасбиндера, всего Вертмюллера, всего Сатьяджита Рея, всего Рене Клера, всего Вима Вендерса, всего Трюффо, всего Годара, всего Шаброля, всего Рене, всего Ромера, всего Ренуара. А эти младенцы только и видели что "Звездные войны". В Йеле Дельфина продолжает свои серьезные интеллектуальные занятия, слушает лекции наимоднейших светил. Несколько растеряна, однако. Многое обескураживает — особенно другие аспиранты. Она привыкла иметь дело с людьми, говорящими на одном с ней интеллектуальном языке, а эти американцы... И не все находят ее жутко интересной. Она ожидала, что в Америке будут сплошные ахи и охи: "Боже ты мой, она normalienne!"[1] Но здесь никто не в состоянии оценить по заслугам особый и чрезвычайно престижный путь, который она прошла во Франции. Она не получала признания, которое привыкла получать как молодое пополнение французской интеллектуальной элиты. Не вызывала и возмущения, к которому тоже привыкла. Находит руководителя и пишет диссертацию. Защищает. Становится доктором — необычайно быстро, потому что многое уже сделано во Франции. Колоссальная выучка, колоссальный труд, и теперь она готова занять должность в каком-нибудь из знаменитейших университетов — Принстонском, Колумбийском, Корнеллском, Чикагском. Не получив таких предложений, потрясена. Временная должность в Афина-колледже? Где это и что это? Она воротит нос. Наконец руководитель говорит ей: "Дельфина, на этом рынке труда одно служит ступенькой к другому. Временная должность в Афина-колледже? Вы, может быть, и не слышали про это место, но мы слышали. Очень приличное учебное заведение. Очень приличная работа для начинающего". Другие аспиранты-иностранцы говорят ей, что она слишком хороша для Афина-колледжа, это не ее уровень, но аспиранты-американцы, готовые удушить за право преподавания в подсобке супермаркета, думают, что такая заносчивость — это Дельфина и только Дельфина. Неохотно подает заявление — и теперь сидит в короткой юбочке и сапожках напротив декана Силка. Чтобы получить следующую работу, престижную, ей нужна эта должность в Афина-колледже, но почти час декан Силк слушает такое, из-за чего ему не хочется ее брать. Повество-

1. Выпускница "Эколь Нормаль".

вательная структура и временны́е соотношения. Внутренняя противоречивость произведения. Руссо прячется, но риторика его выдает (как ее в подробной автобиографии, думает декан). В голосе критика есть судейское начало, как в голосе Геродота. Нарратология. Диегесис. Различие между диегесисом и мимесисом. Сгруппированный опыт. Пролептические качества текста. Коулмену не надо спрашивать, что это означает. Он понимает, исходя из оригинальных греческих значений, смысл всех йельских словечек и всех словечек, принятых в Высшей нормальной школе. А она? Он больше тридцати лет во всем этом варится, и ему неохота тратить время на новомодный треп. Он думает: зачем ей, такой красивой, нужно прятаться за всеми этими словесами от человеческой части своего опыта? Может быть, как раз из-за этой красоты? Он думает: надо же — такая развернутая самооценка и такая пелена заблуждений.

Формально, разумеется, у нее все было в лучшем виде. Но для Коулмена она воплощала в себе то престижно-академическое пустословие, что афинским студентам нужно как собаке пятая нога, но преподавателей-середнячков сразит наповал.

Ему казалось тогда, что он берет ее из-за широты мышления. Но скорее он взял ее потому, что она была потрясающе мила, женственна, привлекательна — и возбуждала сильные отцовские чувства.

Ложно истолковав его взгляд, Дельфина Ру подумала — подумала с долей мелодраматизма, склонность к которому была одной из помех ее гладкому скольжению, не только подталкивая ее к скороспелым выводам, но и отдавая порой во власть неких эротически-мелодраматических чар, — что он хочет одного: связать ей за спиной руки. Что, бог знает по какой причине, он не желает, чтобы она гуляла на свободе. И поэтому взял ее на работу. Взять взял, но отношения у них всерьез не заладились.

А теперь уже она вызвала его к себе на разговор. К 1995 году, когда Коулмен ушел с должности декана и вернулся к преподаванию, обаяние миниатюрной Дельфины, ее всесторонний шик, ее живость парижского гамена, заставляющая подозревать подспудную чувственность, — все это, наряду с выпестованной в Высшей нормальной школе утонченно-гладкой говорливостью (которую Коулмен называл "безостановочным спектаклем самораздувания"), неотразимо подействовало, казалось ему, на всех дуралеев-профессоров, за исключением разве что самых непрошибаемых, и она, хотя ей не было еще и тридцати, возможно, с дальним прицелом на ту самую деканскую должность, которую раньше занимал Коулмен, сделалась заведующей небольшой кафедрой, десять с чем-то лет назад поглотившей, наряду с другими языковыми кафедрами, ту старую кафедру античности, где Коулмен начинал. На новой кафедре языков и литературы работало одиннадцать человек: один профессор-русист, один итальянист, один испанист, один германист, Дельфина преподавала французский, Коулмен Силк — латынь и греческий; кроме них, пятеро перегруженных работой адъюнкт-профессоров, молодых инструкторов и местных иностранцев вели начальные курсы.

— Неверное прочтение Еленой Митник этих пьес, — сказал он ей, — настолько укоренено в ограниченных, провинциальных идеологических установках, что тут ничего не исправишь.

— Этим вы подтверждаете ее слова — что вы не пытались ей помочь.

— Студентке, которая обвиняет меня в том, что я "давлю на нее гендерно", я помочь не в силах.

— Значит, — произнесла Дельфина легким тоном, — у нас проблема, не так ли?

Он рассмеялся — и спонтанно, и намеренно.

— И в чем же она? В том, что мой английский недостаточно деликатен для столь разборчивого ума, как ум мисс Митник?

— Коулмен, вы слишком долго не работали в учебных аудиториях.

— А вы никогда из них не выходили. Видите ли, дорогуша, — сказал он с умыслом, с нарочито раздражающей улыбкой, — я читал эти пьесы и думал о них всю жизнь.

— Но не с феминистской точки зрения Елены Митник.

— И не с еврейской точки зрения Моисея. И не с модной ницшеанской точки зрения на многообразие точек зрения.

— Коулмен Силк, один на всей планете, не имеет иной точки зрения, кроме абсолютно объективной литературной точки зрения.

— Почти все наши студенты, дорогуша (Опять? А что. Почему бы и нет?), вопиюще невежественны. Образование у них сквернейшее. Их жизнь — интеллектуальная пустыня. Поступают, не зная ничего, и в большинстве своем так и кончают. И уж совсем не имеют понятия, когда приходят ко мне в класс, о том, как читать античные пьесы. Преподавать в Афине, особенно сейчас, в девяностые годы, когда выросло самое тупое поколение в американской истории, — все равно что идти по нью-йоркскому Бродвею и разговаривать с самим собой, разница только в том, где будут восемнадцать человек, которые тебя слышат, — на улице или в помещении. Не знают, типа, ни бельмеса. Прозанимавшись с такими студентами почти сорок лет — а мисс Митник, надо сказать, всего-навсего рядовой экземпляр, — могу утверждать, что феминистская точка зрения на Еврипида им нужна меньше всего на свете. Обеспечить наивнейшую из читательниц феминистской точкой зрения на Еврипида — лучший способ обрубить ее мышление еще до того, как оно получило шанс начать отделываться хотя бы от одного из безмозглых речений типа "типа". Как-то даже не верится, что образованная женщина, прошедшая во Франции такую школу, может предполагать существование феминистской точки зрения на Еврипида, не являющейся откровенной глупостью. Быстро они вас обработали — или это старый добрый карьеризм, основанный в данном случае на страхах ваших коллег-феминисток? Потому что если это только карьеризм, то я спокоен. Это человеческая слабость, которую я могу понять. Но если это интеллектуальная капитуляция перед идиотизмом, то я в недоумении, потому что вы не идиотка. Потому что вы знаете, что к чему. Потому что никому в вашей французской Высшей нормальной школе и не приснится, что такое можно принять всерьез. Или я ошибаюсь? Прочесть такие пьесы, как "Ипполит" и "Алкестида", потом по неделе слушать обсуждение каждой в классе — и после всего только и сказать, что они "принижают женщин"? Это, я извиняюсь, не точка зрения, а сотрясение воздуха. Сотрясение воздуха на наш новый лад.

— Елена — студентка. Ей двадцать лет. Она учится.

— Сентиментальное отношение к студентам вам не к лицу, дорогуша. Относитесь к ним серьезно. Елена не учится, а поет с чужого голоса. К вам она побежала потому, что, скорее всего, с вашего-то голоса она и поет.

— Неправда, хотя, если вам хочется клеить культурные ярлыки, клейте на здоровье, это очень даже предсказуемо. Если, налепив мне ду-

рацкий ярлык, вы чувствуете успокаивающее превосходство — что ж, на здоровье, дорогуша, — вставила она со смаком, возвращая ему улыбку. — Вы недружелюбно вели себя по отношению к Елене. Вот почему она ко мне побежала. Вы испугали ее. Она расстроилась.

— М-да, сталкиваясь с последствиями моего решения взять вас на работу, я приобретаю неприятные речевые особенности.

— А наши студенты, — парировала она, — приобретают неприятные речевые особенности, сталкиваясь с закостенелой педагогикой. Если вы и дальше будете преподавать литературу привычным для вас нудным образом, если и дальше будете настаивать на так называемом гуманистическом подходе к греческой трагедии, который взяли на вооружение еще в пятидесятые годы, такие конфликты будут возникать постоянно.

— Что ж, — сказал он, — пусть возникают.

И вышел. Поэтому в следующем семестре, когда к профессору Ру чуть ли не в слезах прибежала Трейси Каммингз, едва способная говорить, ошеломленная тем, что профессор Силк, характеризуя ее перед однокурсниками в ее отсутствие, использовал уничижительное расистское слово, Дельфина решила, что приглашать Коулмена к себе в кабинет для обсуждения претензий к нему будет потерей времени. Она была уверена, что он поведет себя не более благородно, чем в прошлый раз, когда на него тоже пожаловалась девушка, и знала по опыту, что, вызови она его, он опять будет говорить с ней свысока, покровительственным тоном. Еще одна невесть откуда взявшаяся особа смеет ставить под вопрос правильность его поведения! Еще одна девица, чьи проблемы он наверняка тривиализует, если вообще снизойдет до разговора о них. Поэтому Дельфина сразу переадресовала дело легкодоступному декану, преемнику Коулмена. После этого она смогла сосредоточиться на Трейси, которую утешала, успокаивала, над которой, можно сказать, взяла шефство. Эта чернокожая сирота была так деморализована, что на первые недели после случившегося, когда она порывалась бежать без оглядки, бежать в никуда, Дельфина выхлопотала разрешение забрать ее из общежития и поселить в другой комнате своей квартиры — сделать на время своей подопечной. Хотя в конце учебного года Коулмен Силк добровольным уходом из колледжа, по существу, признал свою вину в этом конфликте, вред, нанесенный Трейси, оказался слишком серьезным для личности и без того очень неустойчивой; неспособная из-за расследования сосредоточиться на учебе, боясь, что профессор Силк настроит против нее других преподавателей, она завалила все предметы до единого. После этого Трейси покинула не только колледж, но и Афину, где Дельфина хотела найти ей работу, организовать для нее частные уроки и приглядывать за ней, пока она не сможет вернуться к учебе. В один прекрасный день Трейси села на автобус и отправилась вроде бы в Оклахому, где в Талсе у нее жила сестра, но все попытки Дельфины связаться с девушкой оказались тщетными.

А потом Дельфина узнала об отношениях Коулмена Силка с Фауни Фарли, которые он всячески скрывал. Она ушам своим не поверила: семьдесят один год человеку, два из них как на пенсии, а все продолжает. Нет возможности приструнивать студенток, дерзающих оспаривать его предубеждения, нет возможности высмеивать чернокожих девушек, нуждающихся в его преподавательской заботе, нет возможности запугивать и оскорблять молодых профессоров женского пола, внушающих ему опасения за его гегемонию, — так он ухитрился выудить из нижай-

ших низов колледжа объект для господства, который можно назвать подлинным символом женской беспомощности. Жертву самого настоящего зверства со стороны бывшего мужа. Зайдя в отдел кадров выведать побольше о прошлом Фауни, прочтя о Лестере и ужасной смерти двоих детей во время таинственного пожара, устроенного, подозревали некоторые, самим Лестером, узнав о неграмотности, из-за которой Фауни могла исполнять только самые простые обязанности уборщицы, Дельфина поняла, что Коулмену Силку удалось осуществить заветную мечту женоненавистника. Фауни Фарли еще более беззащитна, чем даже Елена и Трейси, — вот кого проще простого растоптать. Он сделает Фауни ответчицей за всех в Афине, кто посмел поднять голос против его извращенного понятия о мужских прерогативах.

И некому, думала Дельфина, его остановить. Некому преградить ему путь.

Понимая, что он не подлежит юрисдикции колледжа и поэтому ничем не ограничен в своем отмщении ей — да, именно ей, Дельфине, за все, что она сделала для защиты студенток от его психологического террора, за сознательно и усердно сыгранную ею роль в лишении его власти и выдворении из учебных аудиторий, — она не могла сдержать гнева. Фауни Фарли — ее заместительница. Через Фауни Фарли он наносит ей ответный удар. На кого, как не на меня, она намекает тебе лицом, именем, фигурой — зеркальное мое отражение? Заманив в ловушку женщину, которая работает, как я, в Афина-колледже, которая, как я, в два с лишним раза тебя моложе, но во всех иных отношениях полную мою противоположность, ты хитроумно маскируешь и в то же время возмутительным образом показываешь, кого в конечном счете жаждешь уничтожить. Ты не настолько глуп, чтобы этого не понимать, и в почтенном твоем положении достаточно безжалостен, чтобы этому радоваться. Но и я не такая тупица, чтобы не увидеть простой вещи: ты затеял символическую расправу со мной.

Понимание пришло так стремительно и в таких спонтанно-взрывчатых выражениях, что, проставляя свое имя на второй странице письма и надписывая конверт, который собиралась отправить ему до востребования, она по-прежнему кипела от мысли об изощренной, своевольной зловредности, с которой он превратил эту бесконечно несчастную женщину, и без того потерявшую все, в игрушку, превратил только ради того, чтобы поквитаться с ней, с Дельфиной. Как он мог — даже такой, какой он есть, — это сделать? Нет, она не изменит в написанном ни слова и не потрудится перепечатать. Она не желала лишать послание силы — пусть он увидит рвущийся вперед, неудержимый наклон рукописных букв. Пусть оценит ее решимость: для нее нет сейчас ничего более важного, чем разоблачить Коулмена Силка.

Но через двадцать минут она разорвала письмо. И правильно сделала. Да, правильно. Когда на нее накатывала идеалистическая волна, ей порой изменяла трезвость мысли. Хищный негодяй безусловно заслуживает порицания. Но вообразить, что она может спасти женщину, так далеко зашедшую, как Фауни Фарли, если она даже Трейси не смогла спасти? Вообразить, что она одолеет злобного старика, свободного теперь не только от служебных ограничений, но и, при всем своем "гуманизме", от любых понятий о человечности? Глупейшая иллюзия — поверить, что она сможет что-то противопоставить коварству Коулмена Силка. Даже это письмо, столь ясно выражающее ее крайнее негодование, недву-

смысленно указывающее ему на то, что его секрет раскрыт, что маска сорвана, что он выслежен и разоблачен, в его руках каким-нибудь образом превратится в компрометирующую ее улику, с помощью которой он, если представится возможность, погубит ее.

Он — безжалостный параноик, и, нравится ей это или нет, надо принимать во внимание практическую сторону, о которой можно было не задумываться, когда она была марксистски настроенной лицеисткой, чья неспособность мириться с несправедливостью иной раз, надо признать, брала верх над здравым смыслом. Но теперь она профессор колледжа, очень рано зачислена на постоянную должность, уже назначена заведующей кафедрой, и ей отсюда прямая дорога в Принстонский, Колумбийский, Корнеллский или Чикагский, а может быть, даже с триумфом обратно в Йель. Подобное письмо, подписанное ею и отправленное непосредственно Коулмену Силку, наверняка в конце концов попадет к тем, кто из зависти, из неприязни, из-за того, что она такая из молодых, да ранняя, захочет подложить ей свинью... Да, такое письмо с его дерзостью, с его ничем не смягченной яростью поможет ему принизить ее, заявить, что ей недостает зрелости руководить кем бы то ни было. У него есть связи, он по-прежнему кое-кого знает — он может это сделать. И непременно сделает, непременно извратит ее намерения...

Она быстро-быстро разорвала письмо на мелкие клочки и посреди чистого листа бумаги красной шариковой ручкой, какой никогда не писала писем, большими печатными буквами, в которых никто не узнает ее руку, вывела:

ВСЕМ ИЗВЕСТНО

И больше ничего. Здесь остановилась. Три вечера спустя, через несколько минут после того, как погасила свет и легла, она, одумавшись, встала и подошла к письменному столу с намерением смять, выбросить и забыть навсегда листок со словами "Всем известно", но вместо этого, наклонившись над столом, даже не садясь — опасаясь, что, пока будет садиться, вновь потеряет решимость, — торопливо написала еще десять слов, которых ему хватит, чтобы понять неизбежность своего разоблачения. Конверт с анонимным посланием был надписан, заклеен и снабжен маркой, настольная лампа выключена, и Дельфина, удовлетворенная тем, что решилась на самое сильное действие, не нарушающее диктуемых ситуацией практических ограничений, вернулась в постель в полной нравственной готовности уснуть спокойным сном.

Но прежде ей надо было подавить в себе позыв снова встать, вскрыть конверт и перечитать написанное — не слишком ли мало сказано, не слишком ли робко? И наоборот, не пережато ли? Разумеется, это не ее стиль. Не ее риторика. Поэтому она и прибегла к ней — эта вульгарная, лозунговая крикливость может ассоциироваться с кем угодно, только не с ней. Но вдруг письмо по этой же причине окажется неубедительным? Надо встать и посмотреть, не забылась ли она под влиянием минуты — изменила ли почерк, не подписалась ли ненароком, да еще с этаким злым росчерком? Надо убедиться, что нет никаких случайных указаний на ее авторство. Хотя — пусть они даже и есть. Ей *следовало* проставить свое имя. Вся ее жизнь — борьба с такими вот Коулменами Силками, стремящимися навязать ей и всем остальным свою волю и делать что им заблагорассудится. Она умеет говорить с мужчинами. Говорить с

ними в полный голос. Даже с намного старшими. Умеет не бояться их напускного авторитета и претензий на премудрость. Умеет показать, что и ее ум кое-что значит. Умеет вести себя с ними на равных. Умеет, если выдвинула довод и он не работает, преодолеть побуждение к капитуляции, призвать на помощь логику, уверенность, хладнокровие и продолжить спор, как бы они ни старались заткнуть ей рот. Умеет после первого шага сделать второй, выдержать напряжение, не сломаться. Умеет, не отступаясь, гнуть свою линию. Нечего ей идти перед ним на попятный — и перед кем бы то ни было. Он теперь даже не декан, взявший ее на работу. И кафедрой заведует не он, а она. Декан Силк теперь сведен к нулю. И правда — надо открыть конверт и подписаться. Сведен к нулю. Звучало как успокаивающее заклинание.

Этот заклеенный конверт она носила в сумочке не одну неделю, перебирая в уме доводы за то, чтобы не просто отправить, но еще и подписаться. Он выискал сломленную женщину, которая не в состоянии дать ему сдачи. У которой нет никакой возможности ему противостоять. Которая интеллектуально просто не существует. Выискал женщину, которая не может и никогда не могла себя защитить, слабейшую на свете, стоящую на много ступеней ниже его во всех отношениях, — выискал, чтобы властвовать, выискал по двум противоположным и вместе с тем наипрозрачнейшим причинам: потому что считает женщин низшими существами и потому что мыслящая женщина внушает ему страх. Потому что я не стесняюсь высказывать свое мнение, потому что меня не запугать, потому что я добиваюсь успехов, потому что я привлекательна, потому что я независимо мыслю, потому что у меня первоклассное образование, первоклассная диссертация...

А потом, приехав в Нью-Йорк на выставку Джексона Поллока, она вынула письмо из сумочки и едва не бросила его, как оно было, неподписанное, в почтовый ящик автобусной станции — в первый почтовый ящик, какой увидела, сойдя с автобуса. Оно все еще было у нее в руке, когда она спускалась в метро, но, едва поезд тронулся, она о нем забыла, машинально сунула обратно в сумочку и отдалась смысловому богатству подземки. Нью-йоркское метро по-прежнему поражало и волновало ее — в парижском она не ощущала ничего подобного. Меланхолические, страдальческие лица нью-йоркских пассажиров всякий раз говорили ей о том, что она правильно сделала, приехав в Америку. Нью-йоркское метро было символом того, почему она приехала, — ее нежелания прятаться от действительности.

Выставка Поллока эмоционально настолько ее захватила, что, переходя от одной ошеломляющей картины к другой, она испытывала подобие того вздувающегося, властного ощущения, какое рождает мания сладострастия. Когда у одной посетительницы внезапно заверещал сотовый телефон — заверещал в то самое время, когда мощный хаос картины "Номер 1А, 1948" бурно устремлялся в ту часть пространства, что весь предыдущий день — и весь предыдущий год — была всего-навсего ее телом, она пришла в такую ярость, что повернулась и воскликнула: "Мадам, я бы с удовольствием вас задушила!"

А потом она отправилась на Сорок вторую улицу в Нью-Йоркскую публичную библиотеку. Она бывала там в каждый приезд. Посещала музеи, картинные галереи, концерты, смотрела фильмы, которые никогда не доберутся до единственного скверного кинотеатрика в заштатной Афине, но под конец, какие бы специфические интересы ни привели ее

в Нью-Йорк, непременно проводила хотя бы час в главном читальном зале библиотеки за чтением той или иной принесенной с собой книги.

Она читает. Временами оглядывает зал. Наблюдает. Ее чуточку волнуют здешние мужчины. В Париже на одном из фестивалей она видела фильм "Марафонец" (никто не знает, что в кинозалах она страшно сентиментальна и частенько плачет). В фильме девушка, притворяющаяся студенткой, проводит время в Нью-Йоркской публичной библиотеке, и там с ней знакомится Дастин Хоффман. В подобном романтическом ключе Дельфина всегда думала об этом месте. Пока с ней никто здесь не познакомился, если не считать студента-медика, слишком молодого и зеленого, который с ходу брякнул не то. Что-то про ее акцент — и сразу стал для нее невыносим. Он совсем еще не жил, этот мальчик. Она чувствовала себя его бабушкой. В его возрасте она уже столько любовей пережила, столько передумала и перестрадала... В двадцать, будучи куда моложе его, она уже перенесла не одну, а две любовные драмы. В какой-то мере сам ее приезд в Америку был бегством от любовной драмы (а еще уходом со сцены, где она играла второстепенную роль в затянувшемся спектакле под названием "И т. д." — в спектакле, которым была почти криминально успешная жизнь ее матери). Но теперь она одна-одинешенька и никак не найдет мужчину, пригодного для знакомства.

Другие, кто с ней заговаривал, произносили, случалось, что-то приемлемое, что-то достаточно ироническое или озорное, чтобы ее заинтересовать, но потом — из-за того, что вблизи она оказывалась красивей, чем они думали, а в разговоре слишком заносчивой для такой миниатюрной особы, — смущались и тушевались. Те, кто пытается с ней переглядываться, отпадают по определению. А вот погруженные в чтение, чудесно рассеянные и восхитительно желанные... они погружены в чтение. Кого, спрашивается, она ищет? Человека, который ее *узнает*. Великого Узнавателя.

Сегодня она читает по-французски Юлию Кристеву — совершенно замечательный трактат о меланхолии, — а за соседним столом сидит мужчина и читает, тоже по-французски, книгу, написанную кем бы вы думали? Филиппом Соллерсом, мужем Кристевой. Игривость Соллерса она не может больше принимать всерьез, как принимала на более ранней стадии своего интеллектуального развития; игривые французские авторы, в отличие от игривых восточноевропейских — таких, как Кундера, — ее уже не удовлетворяют. Но тут, в читальном зале, важно не это. Важно совпадение — совпадение почти зловещее. В своем беспокойном, жаждущем состоянии она пускается в тысячи предположений о том, кто этот человек, читающий Соллерса, пока она читает Кристеву, и ощущает неизбежность не только знакомства, но и романа. В этом темноволосом мужчине лет сорока-сорока двух она видит ту весомую серьезность, какой нет ни в ком в Афине. Все, что она может о нем предположить, глядя на то, как он сидит и читает, подпитывает ее расправляющую крылья надежду: вот-вот случится событие.

И событие случается: к нему приближается девушка — да, именно девушка, моложе даже, чем она, — и они уходят вдвоем, после чего она собирает вещи, покидает библиотеку и у первого же почтового ящика вынимает из сумочки письмо, которое носила с собой больше месяца, и кидает в ящик с такой же примерно яростью, с какой сказала женщине на выставке Поллока, что хочет ее задушить. Вот! Отправлено! Я это сделала! Ну и отлично!

Целых пять секунд проходит, прежде чем на нее наваливается вся грандиозность ошибки, и она чувствует, что у нее подгибаются колени. "О господи!" Даже оставив письмо неподписанным, даже использовав чужую, вульгарную риторику, она не может рассчитывать, что авторство послания будет тайной для такого сфокусированного на ней человека, как Коулмен Силк.

Теперь он никогда не оставит ее в покое.

4
Что за маньяк это придумал?

Только однажды после того июля я увидел Коулмена живым. Сам он никогда не рассказывал мне про посещение колледжа и звонок сыну Джеффу из студенческого союза. Я узнал, что он заходил в кампус, от его бывшего коллеги Херба Кибла, который случайно заметил его из окна кабинета и позднее, в конце своей речи на похоронах, намекнул, что видел Коулмена, стоящего в тени у стены Норт-холла и по неизвестной Киблу причине словно бы затаившегося. О звонке мне стало известно от Джеффа Силка, упомянувшего о нем после похорон и давшего понять, что Коулмена в ходе разговора, как говорится, понесло. О визите Коулмена к Нельсону Праймусу незадолго до звонка Джеффу, кончившемся, как и телефонный разговор, всплеском возмущения со стороны Коулмена, я узнал от самого адвоката. После этого ни Праймус, ни Джефф Силк больше с Коулменом не говорили. Коулмен не отвечал ни на их, ни на мои звонки — как впоследствии выяснилось, вообще ни на какие, — а затем, судя по всему, выключил автоответчик: когда я набирал его номер, шли гудки, длившиеся без конца.

Но он был дома, он никуда не уехал. Это я знал точно, потому что в одну субботу в начале августа после двух недель безуспешных попыток дозвониться подъехал к его жилищу вечером, когда уже стемнело. В доме горело лишь несколько ламп, и, когда я поравнялся с осенявшими его древними ветвистыми кленами, заглушил мотор и, неподвижно сидя в машине на асфальтовой дороге у подножья волнистого пригорка, стал присматриваться и прислушиваться, до меня из открытых окон белого с черными ставнями, обшитого доской дома явственно донеслась танцевальная музыка — та самая УКВ-программа на весь субботний вечер, что рождала в нем воспоминания о Стине Палссон и полуподвальной комнате на Салливан-стрит в послевоенные годы. Он тут, и не один, а с Фауни — защищают друг друга от всех остальных, *заключают в себе* друг для друга всех остальных. Танцуют — очень может быть, что обнаженные, — по ту сторону выпавших им на долю испытаний, в неземном раю земного вожделения, где претворяют в драму плотского союза все злое разочарование своих жизней. Мне вспомнились слова Фауни, как он мне их передал, произнесенные в догорающем колеблющемся свечении одного из их вечеров, когда они чувствовали, что обмениваются столь многим. Он сказал ей: "Это больше чем секс", на что она решительно возразила: "Нет. Ты просто забыл, что такое секс. Это он и есть. Будешь вмешивать сюда другое — все испоганишь".

Кем стали они сейчас? Собой — но в наипростейшем варианте. Квинтэссенция единичности. Все болезненное переплавлено в страсть.

Возможно, им даже не жаль больше, что все вышло так, а не иначе. Слишком глубоко для этого их отвращение. Они сбросили весь груз, что на них давил. Ничто на свете не прельщает и не волнует их, кроме этой близости, ничто так не укрощает их ненависть к жизни. Кто они – эти резко отличные друг от друга люди, так несообразно соединившиеся в семьдесят один и тридцать четыре? Они – само то несчастье, к которому присуждены. Танцуя в чем мать родила под оркестр Томми Дорси и мягкие напевы молодого Синатры, движутся прямиком к гибели. Каждый из нас разыгрывает свой финал по-своему; эти двое – вот так. О том, чтобы вовремя остановиться, и речи не может быть. Дело сделано.

Я не один на дороге слушаю эту музыку.

Не получая ответа на звонки, я решил, что Коулмен больше не хочет иметь со мной дело. Что-то оказалось не так, и, как часто бывает при резком обрыве дружеских отношений – особенно если они возникли недавно, – я обвинил себя, решив, что либо неосторожным словом или поступком, либо просто тем, что собой представляю, глубоко уязвил или раздосадовал его. Коулмен, как мы помним, пришел ко мне, безосновательно рассчитывая склонить меня к написанию книги о том, как колледж убил его жену; вряд ли при этом он хотел, чтобы писатель копался в его частной жизни. Я мог предположить лишь одно – что в сокрытии от меня подробностей своих отношений с Фауни он видел теперь гораздо больше смысла, чем в новых признаниях.

Конечно, я не знал тогда правды о его происхождении – узнал только на похоронах – и вследствие этого не догадывался, что мы потому не были с ним знакомы до смерти Айрис, что он *не хотел* знакомиться – ведь я вырос всего в нескольких милях от Ист-Оринджа и, помня места, мог проявить нежелательную дотошность и критически исследовать нью-джерсийские корни Коулмена. Вдруг я оказался бы одним из тех ньюаркских евреев, что подростками посещали боксерский класс дока Чизнера? Кстати, я действительно его посещал, правда только в сорок шестом и сорок седьмом, когда Силки уже не помогал доку учить таких, как я, стойке, перемещению и удару, а был студентом Нью-Йоркского университета.

Завязав со мной дружбу в то время, когда он сочинял своих "Духов", Коулмен и вправду пошел на довольно глупый риск разоблачения. Почти шесть десятилетий спустя в нем могли узнать того цветного парня, что был первым учеником выпускного класса ист-оринджской школы и боксером-любителем из клуба мальчиков на Мортон-стрит, участвовавшим в боях по всему Нью-Джерси; прекратить общение со мной посреди того лета было более чем разумным решением, о причинах которого я не мог и догадываться.

Теперь о нашей последней встрече. В одну августовскую субботу, устав от одиночества, я отправился в Танглвуд послушать открытую репетицию воскресной концертной программы. После поездки к дому Коулмена прошла неделя, и мне по-прежнему недоставало как его самого, так и человеческой близости вообще – вот я и решил за неимением лучшего присоединиться к той немногочисленной субботней публике, что примерно на четверть заполняет, приходя на такие репетиции, концертный зал на свежем воздухе и состоит отчасти из меломанов и заезжих консерваторских студентов, но главным образом из престарелых турис-

тов со слуховыми аппаратами и биноклями, привезенных в Беркширы на один день автобусами и листающих под звуки музыки "Нью-Йорк таймс".

Не знаю почему — то ли из-за необычности моего кратковременного превращения в общественное существо (или, скорее, притворяющееся таковым), то ли из-за мимолетного ощущения, что весь собравшийся здесь пожилой люд ждет отплытия по волнам музыки с более чем осязаемо ограниченной площадки преклонного возраста, — этот летний зал под навесом напомнил мне открытые с боков, далеко выступающие причалы прежних времен на Гудзоне с крышами на стальных стропилах: можно было подумать, один из этих просторных пирсов, сооруженных в пору, когда океанские лайнеры подходили к самому Манхэттену, во всей своей огромности выдернут из воды, перенесен за сто двадцать миль к северу и бережно опущен на обширную танглвудскую лужайку — отличное, надо сказать, место для посадки, окруженное высокими деревьями и далекими холмистыми пейзажами Новой Англии.

Продвигаясь к свободному креслу — одному из немногих в первых рядах, на которых никто не сидел и ничего не лежало, — я продолжал думать о том же: мы все куда-то вместе плывем, и не только отправились уже, но и, считай, прибыли, оставив прежнее позади... А всего-то навсего мы собирались услышать, как Бостонский симфонический репетирует Рахманинова, Прокофьева и Римского-Корсакова. Под ногами здесь утоптанная коричневая земля, яснее ясного говорящая о том, что мы находимся на суше; наверху, под навесом, усаживаются птицы, чей щебет становится слышен в полновесной тишине между частями, — ласточки и вьюрки, деловито перепархивающие сюда из леса на склоне холма и стремительно улетающие обратно, как с Ноева ковчега не посмела бы улететь ни одна птица. До Атлантики отсюда три часа езды, но я не мог отрешиться от двойственности происходящего: я был там, где был, и в то же время собирался двинуться вместе с прочими немолодыми слушателями в некое таинственное водное неведомое.

Только ли смерть была у меня на уме, когда я думал об этом отплытии? Смерть и я? Смерть и Коулмен? Или смерть и это собрание людей, все еще способных находить удовольствие в таком вот летнем автобусном туризме и вместе с тем — как человеческая масса, как совокупность чувствующей плоти и теплой красной крови — отделенных от забвения лишь тончайшей, хрупчайшей прослойкой жизни?

Когда я пришел, как раз кончалась программа, предшествовавшая репетиции. Стоя перед пустыми стульями оркестрантов, оживленный лектор в спортивной рубашке и брюках цвета хаки рассказывал о последней из вещей, которые предстояло услышать, проигрывал на магнитофоне фрагменты из Рахманинова и радостно говорил о "темной ритмичности" его "Симфонических танцев". Только когда он кончил и публика зааплодировала, из-за кулис вышли помощники расчехлять литавры и ставить на пюпитры ноты. В дальней части сцены показались двое с арфами в руках, а за ними, беседуя, потянулись музыканты, одетые, как лектор, самым будничным образом: гобоист в серой спортивной фуфайке с капюшоном, двое контрабасистов в выцветших джинсах, потом скрипачи, мужчины и женщины, представляющие, если судить по нарядам, какую-то банановую республику. Когда дирижер уже надевал очки (дирижер был приглашенный — пожилой румын Серджиу Комиссиона с копной седых волос, в рубашке с высоким воротом и в синих сан-

далиях) и по-детски почтительная публика снова захлопала, я вдруг увидел Коулмена и Фауни – они шли по проходу и искали два свободных места.

Оркестранты, готовясь превратиться из группы безмятежных отдыхающих в мощную и вместе с тем податливую музыкальную машину, расселись и начали настраивать инструменты, а тем временем пара – высокая блондинка с худощавым лицом и подтянутый, красивый седой мужчина ниже ее ростом и намного старше, но идущий легким спортивным шагом – заняла два пустых кресла на три ряда впереди меня и футов на двадцать правее.

Вещь Римского-Корсакова была мелодичной сказкой для гобоев и флейт, чья сладость неотразимо подействовала на слушателей, и когда оркестр ее доиграл, аплодисменты престарелой публики хлынули как некая волна невинности. Музыканты высветили самое юное и невинное из человеческих стремлений – неистребимую тягу к тому, чего нет и быть не может. Так, по крайней мере, я думал, глядя на моего знакомого и его возлюбленную и, вопреки представлению, возникшему у меня после прекращения встреч с Коулменом, не находя в них ничего необычного, ничего, отделяющего их от остального мира. Они казались людьми вполне воздержанными – особенно Фауни, чье скульптурное лицо типичной янки наводило на мысль об узкой комнате с окнами, но без двери. Вот уж не скажешь, что они в контрах с жизнью, – ничего атакующего, ничего оборонительного. Окажись Фауни здесь одна, она, может быть, и не вела бы себя так естественно и непринужденно, но рядом с Коулменом она производила впечатление полного соответствия как окружению, так и человеку, с которым пришла. Они выглядели отнюдь не парой отчаянных голов – скорее парой, достигшей внутреннего возвышенно-сосредоточенного спокойствия и совершенно равнодушной к тому, какие ощущения и фантазии она может рождать в людях, будь то в Беркширском округе или где бы то ни было еще.

Инструктировал ли он Фауни о том, как ей следует себя вести? Если да, то слушала ли она его? Нужен ли был вообще инструктаж? И почему он решил привезти ее в Танглвуд? Просто захотел послушать музыку? Или захотел, чтобы она послушала и увидела живых музыкантов? Под эгидой Афродиты, в облике Пигмалиона бывший профессор античной словесности привез злостную нарушительницу всех канонов в благословенный танглвудский край, чтобы оживить ее как цивилизованную, культурную Галатею? Неужели Коулмен взялся ее образовывать, влиять на нее, спасать от трагической необычности? Неужели Танглвуд – первый шаг сбившихся с пути к чему-то относительно приемлемому? Зачем так скоро? Зачем вообще? Зачем, если все, что они вместе переживали и чем вместе были, родилось от подземных, тайных, грубых начал? Надо ли превращать этот союз в нечто более или менее нормальное, надо ли даже пытаться, надо ли выходить в свет подобием "четы"? Публичность может уменьшить накал – не этого ли они хотят? Не этого ли *он* хочет? Не пришла ли для них пора усмирения – или, может быть, их пребывание здесь имеет какой-нибудь иной смысл? Может быть, это шутка, показная выходка, намеренная провокация? Улыбаются ли они сейчас про себя, эти плотские бестии, или просто слушают музыку?

В антракте, когда на сцену покатили рояль для Второго фортепьянного концерта Прокофьева, они не встали размяться и походить – соответственно, и я остался на месте. Под навесом было чуточку прохладно,

скорее по-осеннему, чем по-летнему, хотя солнце, ярко освещая громадную лужайку, от души грело тех, кто предпочитал наслаждаться музыкой, сидя снаружи, — главным образом молодые парочки, мамаш с детишками и семьи, расположившиеся на пикник и уже вынимавшие из корзин съестное. За три ряда от меня Коулмен, слегка наклонив голову к Фауни, что-то тихо и серьезно ей говорил — что именно, я, естественно, не знал.

Потому что мы вообще ни о чем не имеем понятия — разве не так? *Всем известно...* Почему происходящее происходит так, как оно происходит? Какова она, подоплека цепи событий с ее анархией, неясностью, казусами, разнобоем, поразительной беспорядочностью — со всем, что характеризует человеческие дела? *Никому* неизвестно, профессор Ру. Ваше "всем известно" — всего-навсего клише и первый шаг к банализации опыта, и невыносимей всего весомость и авторитетность, с какой люди пользуются подобными клише. Мы знаем лишь, что за пределами клише никто не знает ровно ничего. Мы *не можем* ничего знать. Что мы "знаем", того мы не знаем. Намерение? Мотив? Следствие? Смысл? Поразительно — сколько всего нам неизвестно. Еще поразительней — сколько всего нам *якобы* известно.

Слушатели начали возвращаться на места, а мне тем временем на манер мультфильма представилась некая смертельная болезнь, неведомо ни для кого делающая свое дело внутри каждого из нас без исключения: под бейсболками закупориваются мозговые сосуды, под седым перманентом растут злокачественные опухоли, органы дают осечки, атрофируются, отмирают, сотни миллионов зловредных клеток тайно тащат всех собравшихся к неминуемой катастрофе. Я не мог остановиться. Грандиозная казнь по имени Смерть, не щадящая никого. Оркестр, публика, дирижер, помощники, ласточки, вьюрки — вообразить количество в одном Танглвуде между нашим временем и, скажем, 4000 годом. Потом умножить на все мироздание. Бесконечная гибель. Что за идея! Что за маньяк это придумал? И однако же — какой чудесный сегодня день, не день, а подарок, безупречно ласковый день в массачусетском местечке, предназначенном для отдыха, в местечке, ласковей и приятней которого, кажется, не может быть на земле.

Но тут выходит Бронфман. Бронтозавр Бронфман! Мистер Фортиссимо! Выходит и начинает играть Прокофьева в таком темпе и с таким мощным задором, что все мои болезненные мысли летят с ринга кувырком. Он зримо массивен всюду, включая торс и плечи, — могучая природная сила под камуфлирующей фуфайкой, человек, явившийся сюда прямо из цирка, где выступает в качестве силача; фортепьяно для такого Гаргантюа — это просто смешно, это раз плюнуть. Ефим Бронфман похож не на того, кто собирается играть на рояле, а на того, кто должен его двигать. Я никогда раньше не видел такой атаки на инструмент. Когда этот небритый еврей из России кончил играть, создалось впечатление, что рояль теперь можно выбросить. Бронфман подминает его под себя. Не дает ему утаить ничего. Все, что там внутри есть, должно, лапки кверху, выйти наружу. И когда это произошло, когда все вплоть до последнего содрогания извлечено на свет божий, он встает и уходит, оставляя позади себя общее наше спасение. Весело махнув на прощание рукой, он скрылся из виду, и хотя он забрал с собой весь свой прометеев огонь, наши собственные жизни вдруг кажутся негасимыми. Никто не умирает, *никто* – пока Бронфману есть что сказать на эту тему!

Наступил второй антракт, и поскольку Фауни и Коулмен на этот раз встали, чтобы выйти из-под навеса, встал и я. Я подождал, пока они пройдут, не зная, как лучше обратиться к Коулмену и — поскольку я был нужен ему, казалось, не больше, чем кто-либо другой из присутствующих, — стоит ли обращаться вообще. Но я скучал по нему. Да и что я такого сделал? Эта тяга, эта потребность в друге проявилась сейчас точно так же, как в день нашего знакомства, и магнетизм Коулмена, обаяние, которое я никогда не умел вполне объяснить, вновь сделали свое дело: я не смог удержаться.

В шаркающей веренице, которая медленно двигалась вверх по слегка наклонному проходу к солнечной лужайке, меня от Коулмена и Фауни отделяло несколько человек; положив ладонь ей на спину, он опять что-то тихо ей говорил — вел ее и растолковывал что-то, чего она не знала. Выйдя из-под навеса, они пошли через лужайку — предположительно к главному входу и земляной площадке за ним, где стояли машины, — и я не сделал попытки за ними последовать. Посмотрев назад, я увидел под навесом высвеченные лампами восемь великолепных виолончелей, лежащих аккуратным рядком на боку. С какой стати и это привело мне на ум нашу неизбежную смерть? Попробуй пойми. Кладбище инструментов? А почему, скажем, не стайка веселых китов?

Я еще немного постоял на лужайке, грея на солнышке спину, затем пошел было к своему месту слушать Рахманинова — и тут увидел, как они возвращаются. Значит, всего-навсего хотели пройтись, возможно, Коулмен показывал ей красивый вид на юг, а теперь собираются отдать должное последнему номеру репетиционной программы — "Симфоническим танцам". Желая разузнать, что разузнается, я двинулся прямо к ним, хотя они по-прежнему выглядели полностью замкнутой в себе парой. Я махнул Коулмену рукой и, здороваясь, перегородил им путь.

— Мне показалось, что я видел вас в толпе, — сказал Коулмен, и я, хотя не поверил ему, отметил про себя: лучшей фразы, чтобы ни она, ни я, ни он сам не почувствовали неловкости, и придумать было нельзя. Без тени чего-либо помимо непринужденно-трезвого, истинно деканского шарма, внешне совершенно не раздосадованный моим внезапным появлением, Коулмен продолжал:

— Каков Бронфман, а? Я тут как раз говорю Фауни: он заставил этот рояль сбросить десяток лет минимум.

— Я и сам сейчас размышлял в подобном ключе.

— Это Фауни Фарли, — сказал он мне; потом ей: — Это Натан Цукерман. Вы виделись на ферме.

Рост — скорее мой, чем его. Худая, со строгими чертами. По глазам ничего не поймешь. Лицо не выражает ничего решительно. Чувственность? Нулевая. Нигде не видать. Вне доильного отсека все привлекательное втянуто внутрь. Умеет принять такой вид, что ее словно бы и нет. Повадка животного — то ли хищника, то ли потенциальной жертвы.

На ней, как и на Коулмене, были выцветшие джинсы и мокасины; в старой ковбойке, у которой она закатала рукава, я узнал предмет его гардероба.

— Мне вас недоставало, — сказал я ему. — Хотелось бы в один из вечеров пригласить вас обоих куда-нибудь поужинать.

— Хорошая мысль. Конечно. Давайте.

Внимание Фауни уже сместилось. Она смотрела в сторону — на кроны деревьев. Ветки качались на ветру, но она смотрела на них так, слов-

но они вели с ней разговор. Вдруг я понял, что она чего-то полностью лишена, причем я отнюдь не имел в виду способность поддерживать легкую беседу. Что я имел в виду, я бы назвал, если б мог. Это был не ум. И не умение держаться. Не декорум, не благопристойность — такое она могла напустить на себя запросто. Не глубина — в ней не было недостатка. Не внутренний мир — чувствовалось, что внутри у Фауни куча всего. Не душевное здоровье — она была здорова и, на свой смиренно-высокомерный манер, наделена неким превосходством пережитых страданий. Тем не менее что-то в ней напрочь отсутствовало.

На среднем пальце ее правой руки я заметил кольцо с молочно-белым опалом. Несомненно, его подарок.

В отличие от Фауни, Коулмен был весь тут и целехонек — по крайней мере, таким казался. С полным правдоподобием. Я знал, что он никоим образом не намерен везти Фауни ужинать со мной или с кем бы то ни было еще.

— "Мадамаска-инн", — сказал я. — Посидеть снаружи. А?

Я в жизни не видел Коулмена более учтивым, чем когда он лживо ответил:

— Отличное место. Непременно надо. Но давайте лучше мы вас пригласим. Натан, мы в ближайшее время это обсудим. — Он внезапно заторопился, взял Фауни за руку и кивком показал на места под навесом: — Хочу, чтобы Фауни послушала Рахманинова.

И влюбленные ушли — "исчезли в бурной мгле", как сказано у Китса.

За какие-то две минуты так много всего произошло — или так много всего почудилось, ибо фактически не случилось ничего мало-мальски важного, — что я не вернулся на свое кресло, а принялся ходить, поначалу совсем как лунатик: бесцельно двинулся через лужайку, на которой там и сям сидели отдыхающие, полуобогнул концертный навес, затем повернул обратно и направился туда, откуда открывался роскошный вид на летние Беркширы, уступающий разве что видам Скалистых гор. Из-под навеса доносились звуки рахманиновских танцев, но мыслями я был далеко-далеко, точно упрятанный в складки этих зеленых холмов. Я сел на траву, изумленный, не в состоянии разобраться в своих впечатлениях. У него есть тайна. У этого человека, созданного, казалось бы, по самым убедительным, внушающим полное доверие эмоциональным чертежам, у этой силы, имеющей в качестве силы свою историю, у этого доброжелательно-хитрого, гладко-обаятельного, совершенно цельного внешне мужчины из мужчин есть тем не менее гигантская тайна. Как я к этому пришел? Почему — тайна? Потому что она чувствуется, когда он с Фауни. И когда он один, она тоже чувствуется — тайна и есть основа его магнетизма. Отсутствующая часть — вот что обольщает, вот что все время влекло меня к нему — загадочное *нечто*, которого он не показывает, которое принадлежит ему и никому больше. Он сотворил себя наподобие Луны, видимой только наполовину. И я не могу увидеть его полностью. Есть пробел — вот и все, что я могу сказать. Два пробела на двоих. Не только в ней имеется пустота, но и в нем, вопреки его облику твердо стоящего на ногах человека, а надо — так и упрямого, целеустремленного бойца, этакого профессора-великана, гневно хлопнувшего дверью, чтобы не нюхать их дерьма; где-то в нем тоже есть пробел, полость, вымарка, хотя что это может такое быть, я понятия не имею... Не знаю даже, есть ли в этой образной догадке, фиксирующей мое неведение о другом человеке, хоть капля смысла.

Лишь спустя примерно три месяца, когда я узнал тайну и начал эту книгу — книгу, которую вообще-то попросил меня написать он, хотя пишется она, конечно, не так, как он хотел, — мне стала ясна подоплека соглашения между ними: он ей все рассказал. Фауни, единственная из всех, знала, как Коулмен Силк стал тем, чем он стал. Откуда мне это известно? Да ниоткуда. Этого, как и всего прочего, я не знаю и знать не могу. Теперь, когда они мертвы, этого никто не может знать. К худу или к добру, я могу заниматься лишь тем, чем занимается всякий, кому кажется, что он знает. Я воображаю. Я вынужден воображать — такая у меня профессия. Только это я сейчас и делаю.

После того как Лес выписался из ветеранской больницы и примкнул к группе взаимной поддержки, чтобы не сходить с катушек и не надираться, Луи Борреро поставил ему стратегическую задачу — совершить паломничество к Стене. Если не к настоящей Стене в вашингтонском Мемориале ветеранов Вьетнама, то хотя бы к Передвижной стене, которая в ноябре должна прибыть в Питсфилд. Вашингтон исключался, потому что Лес поклялся туда ни ногой, так он ненавидел и презирал федеральную власть, особенно с девяносто второго, когда в Белом доме стал жить-поживать этот уклонист от призыва. Хотя везти Леса из Массачусетса в Вашингтон так и так значило бы перенапрячь человека, который едва вышел из больницы: слишком много переживаний, помноженных на слишком много часов автобуса.

Подготовку к Передвижной стене Луи запланировал для Леса такую же, как для всех до него, — китайский ресторан в сопровождении четырех-пяти ребят, и ездить туда столько раз, сколько понадобится, — два, три, семь, двенадцать, пятнадцать, если нужно, — пока он не сможет выдержать полный обед из всех блюд, от супа до десерта, причем без мокрой от пота рубашки, без такой дрожи в руках, что ложку до рта не донести, без выбегания каждые пять минут подышать, без того, чтобы тебя под конец вытошнило в уборной и ты отказывался выходить из запертой кабинки, — ну и без того, конечно, чтобы взбеситься по-серьезному и схватить за грудки китайца-официанта.

Луи Борреро с кем только не был связан, он уже двенадцать лет как покончил с наркотиками и принимал лекарства, и помогать ветеранам — это, он говорил, была его терапия. Хотя прошло тридцать лет и больше, все равно вьетнамских ветеранов, которым плохо, пруд пруди, вот он и разъезжал с утра до вечера по всему штату в своем фургончике, руководил группами поддержки для ветеранов и их семей, находил людям врачей, возил их на собрания "анонимных алкоголиков", выслушивал все их жалобы на домашние, душевные и денежные дела, давал советы по поводу проблем с Управлением по делам ветеранов и устраивал поездки к вашингтонской Стене.

Стена была для Луи как дочка родная. Он брал на себя все: заказывал автобусы, организовывал кормежку, мягко и по-товарищески брал под личную опеку всякого, кто боялся, что начнет рыдать и не кончит, или что станет плохо с животом, или что сердце не выдержит, лопнет. Сперва все дрейфили и говорили примерно одно и то же: "Дудки. Не могу я ехать к этой Стене. Подойти и увидеть фамилию такого-то? Нет уж. Езжай сам. Не заманишь". Лес, к примеру, ответил Луи так: "Думаешь, я не знаю, как вы в тот раз съездили? Думаешь, не знаю, какая вышла дрянь? За автобус двадцать пять долларов с носа. За ланч, сказали, включено, но

все парни говорят, ланч был дерьмо — и двух долларов не стоил. И водила этот нью-йоркский ждать, видите ли, не хотел. Так ведь было, Лу? Хотел рано вернуться, чтобы смотаться в Атлантик-Сити! Да гори оно огнем! Всех бегом заставляет бежать, а под конец ему еще и на чай? Меня вычеркивай, Лу. Очень надо. Если при мне двое лбов обнимутся и начнут пускать слезы друг другу в камуфляж, я там все заблюю".

Но Луи знал, зачем нужна эта поездка. "Лес, ты не забыл, который год на дворе? Девятьсот девяносто восьмой. Конец, браток, веку двадцатому. Пора потихоньку чухаться. Понятно, что нельзя все сразу, и никто от тебя этого не требует. Но программа есть программа, дружище. Пора действовать. Стена — это потом. Мы начнем с малого. Начнем с китайского ресторана".

Но для Леса это вовсе не значило начать с малого; Лес, когда в Афине им с Фауни надо было взять что-нибудь на вынос, всегда ждал в машине, пока она покупала еду. Войти внутрь — он бы увидел там желтых и сразу захотел всех поубивать. "Но они же китайцы, — втолковывала ему Фауни, — не вьетнамцы". — "Да какая вшивая разница! Желтый гад — он и есть желтый гад! Больше знать ничего не хочу!"

Мало, можно подумать, он намучился от бессонницы за двадцать шесть лет: всю неделю перед походом в китайский ресторан не спал вообще. Раз пятьдесят, наверно, он звонил Луи, говорил, что не может идти, и чуть не половина звонков — в три ночи и позже. Но Луи слушал, который бы ни был час, давал ему выложить все, что на уме, соглашался даже, терпеливо так приговаривал: "Угу... угу... угу", но в конце всегда выруливал на свое: "У тебя, друг, одна будет задача: сесть и сидеть сколько получится. Вот и все. Что бы в тебе ни крутилось — ну, печаль там, злость, ненависть даже, ярость, — мы с тобой будем, а тебе только постараться подольше высидеть, и никуда не бежать, и ничего не делать". — "Но официант, официант, — гнул свое Лес, — как мне с ним-то, на хер, быть? Нет не могу я, Лу, — рехнусь там к чертовой матери". — "Официанта я на себя беру. Твое дело будет — сидеть". На всякое возражение Леса, вплоть до того, что он может убить официанта, Луи отвечал, что его задача будет — сидеть. Как будто есть разница, сидишь ты или не сидишь, если перед тобой твой злейший враг!

Их было пятеро у Луи в фургончике, когда они под вечер, всего через какие-то две недели после выписки Леса из больницы, отправились в Блэкуэлл. Луи Борреро, мама-папа-брат-вожак, лысый, чисто выбритый, опрятно одетый, наутюженный, в черной ветеранской кепке и с палкой, немножко похожий на пингвина из-за малого роста, покатых плеч и высоко начинающегося брюшка, а главное — из-за ходьбы вразвалку на плохо гнущихся ногах. Еще там были двое больших и неразговорчивых: Чет, маляр, разведенный по третьему разу, во Вьетнаме служил во флоте, бессловесный верзила с конским хвостиком, три жены одна за другой испугались его так, что чуть не повредились умом; и Росомаха, бывший стрелок, одна ступня оторвана миной, работает в фирме "Майдас маффлер". Четвертый — Лес, пятый — Свифт, чудной, дистрофического вида, почти беззубый дерганый астматик, фамилия Свифт у него новая, законно поменял, как уволился на гражданку, — можно подумать, если ты уже не Джо Браун, не Билл Грин или кем там тебя призывали, то дома будешь каждое утро выскакивать из постели сам не свой от счастья. После Вьетнама Свифт страдал всеми кожными, дыхательными и нервными болезнями, какие есть, а теперь вот ему не дает покоя зло-

ба на ветеранов войны в Заливе, да такая, что даже Лес ему по этой части в подметки не годится. Всю дорогу до Блэкуэлла, когда Леса начали уже мучить дрожь и тошнота, Свифт с лихвой возмещал молчание больших. Визгливый его голос не умолкал ни на минуту. "Проблема у них, оказывается, есть. На берег сойти. Песок их, видите ли, смущает. Обосраться. Вояки по выходным. Ни с того ни с сего вдруг им реальная задача. Вот в штаны и наложили — вечно в запасе, думать не думали, что призовут, и надо же — призвали. А делов-то там было раз плюнуть. Разве они знают, что такое война? Это — война? Четырехдневная наземная? Сколько они там наубивали на всех? Горе у них теперь: Саддам Хусейн живой остался. Один-единственный враг на всю ораву. Я не могу, держите меня. С этими ребятами все в полном порядке. Просто они хотят без маеты взять денежки. Сыпь у них, видите ли, — бедненькие! Знаете, сколько раз у меня была сыпь от оранжевого вещества? Я не доживу до шестидесяти, а эти беспокоятся из-за сыпи!"

Китайский ресторан стоит спиной к реке на северной окраине Блэкуэлла, на шоссе у бывшей бумажной фабрики. Приземистое длинное розовое здание из бетонных блоков с большим окном спереди, наполовину раскрашенное под кирпич — розовый кирпич. Раньше здесь играли в боулинг. В большом окне мигающие как попало неоновые буквы в китайском стиле складываются в надпись "Дворец гармонии".

Одной этой надписи Лесу хватило, чтобы заглох малейший проблеск надежды. Нет, не справиться. Ни сегодня, ни потом. Крыша съедет окончательно.

Монотонность, с какой он бубнил это про себя, — и великое усилие, какое он сделал, чтобы одолеть ужас. Кровавую реку перейти вброд — вот что значило для него миновать лыбящегося желтого гада у дверей, добраться до стола и сесть. И новый ужас — сводящий с ума ужас, от которого нет защиты, — из-за лыбящегося желтого гада с меню в руке. И прямая насмешка: желтый гад льет ему в стакан воду. Льет — ему! Ядовитым раствором всех его несчастий была для него эта вода. Бред, чистый бред — вот каково ему здесь было.

— Отлично, Лес, ты у нас молодец. Просто молодец, — сказал Луи. — Так держать. Пока очень хорошо. Теперь давай займемся меню. Больше ничего. Только меню. Открой меню, открой и, пожалуйста, посмотри на супы. От тебя сейчас требуется одно: заказать суп. Только и всего. Если трудно решить, мы сами за тебя выберем. У них тут замечательно готовят суп с пельменями.

— Сволочь официант, — сказал Лес.

— Он не официант, Лес. Его Генри зовут. Он хозяин. Лес, нам надо супом заняться. Генри тут за всем приглядывает. Следит, чтобы все шло гладко. Только этим и занят. Про остальные дела он знать ничего не знает. Не знает и не хочет. Ну, выбрал суп?

— А вы сами что будете?

Надо же — он это произнес. Лес. В самой гуще этой дикой драмы он, Лес, сумел отвлечься от бреда и спросить, что они собираются есть.

— С пельменями, — ответили все.

— Ладно. С пельменями.

— Отлично, — сказал Луи. — Теперь второе блюдо. Делимся или не делимся? Ты, Лес, целую порцию закажешь, или это будет многовато? Ну как, Лес, что выбираешь? Курицу, овощи, свинину? Может быть, ло мэйн? Ло мэйн с лапшой?

Филип Рот. Людское клеймо

Он решил проверить — получится еще раз или нет.

— Что вы будете?

— Одни свинину, другие говядину...

— Все равно!

Все равно потому, что это происходит на другой планете — этот якобы заказ китайской еды. Этого нет на самом деле.

— Двойное соте из свинины? Лесу двойное соте из свинины. Отлично. Теперь, Лес, сосредоточься: Чет нальет тебе чаю. Не против? Хорошо.

— Только чтоб сволочь официант не сунулся.

Потому что боковым зрением он уловил какое-то движение.

— Стойте, стойте! — крикнул Луи официанту. — Сэр, не подходите к нам, мы сами к вам подойдем и сделаем заказ, если вы не возражаете. Мы принесем вам заказ, а вы держитесь на расстоянии.

Но официант, похоже, не понял, и, когда он снова к ним двинулся, Луи неуклюже, но проворно вскочил на свои больные ноги.

— *Сэр!* Мы — вам — принесем — заказ. Мы — вам. Понятно? Отлично. — Луи сел на место. — Да, — кивнул он официанту. — Правильно. — Официант стоял как вкопанный в трех-четырех шагах. — Именно так, сэр. Полный порядок.

Во "Дворце гармонии" было сумрачно, стены длинного зала с рядами столов оживлялись искусственными растениями. Из столов лишь за несколькими сидели люди, причем все достаточно далеко, чтобы краткие инциденты в том конце, где обедало пятеро мужчин, не привлекали их внимания. Предосторожности ради Луи всегда просил Генри сажать его компанию отдельно. Им с Генри такое было не впервой.

— Видишь, Лес, мы это уладили. Меню тебе уже не нужно. Лес, отпусти меню. Правую руку разожми. Теперь левую. Хорошо. Чет, закрой меню.

Чет и Росомаха, двое больших, сидели за круглым столом по бокам от Леса. Луи поручил им быть сегодня военной полицией, и они знали, что делать, если Лес поведет себя как не надо. Луи расположился напротив Леса, Свифт — рядом с Луи. Ободряющим тоном отца, который учит сына кататься на велосипеде, Свифт говорил теперь Лесу:

— Помню, как я в первый раз сюда пришел. Был уверен, что в жизни не справлюсь. А у тебя здорово получается. В первый раз я даже меню не мог прочесть. Буквы плавали. Я в окно хотел сигануть. Ребятам пришлось меня вывести, потому что я не мог спокойно сидеть. А ты, Лес, просто молодцом.

Если бы Лес мог обращать внимание на что-нибудь кроме дрожи у себя в руках, он бы заметил то, чего никогда раньше не видел: Свифт не дергался. Не дергался, не скулил и не ворчал. Потому-то Луи и взял его с собой: помогать человеку справляться с китайским обедом удавалось Свифту лучше всего на свете. Здесь, во "Дворце гармонии", Свифт яснее, чем где бы то ни было, вспоминал, что к чему. Здесь в нем с трудом угадывался человек, ползущий по жизни на четвереньках. Здесь в этом озлобленном, больном существе оживал крохотный, ощипанный кусочек того, что некогда звалось отвагой.

— Молодчина, Лес. Ты справляешься. Тебе в самый раз теперь немножко чайку, — говорил Свифт. — Чет, налей ему чайку.

— Ты, главное, дыши, — сказал Луи. — Вот так, вот так. Дыши, Лес. Если после супа трудно станет, мы уйдем. Но первое, как хочешь, надо одо-

леть. Если свинину уже не осилишь, ничего страшного. Но суп ты должен. Давай назначим пароль на случай, если срочно надо будет идти отсюда. На случай, если совсем станет невмоготу. Пусть пароль будет "чайный лист". Скажешь — и мы выметаемся. "Чайный лист". Но только если *совсем* нельзя будет терпеть.

На некотором отдалении возник официант с подносом, на котором стояло пять тарелок супа. Чет и Росомаха вскочили с мест, взяли у него суп и принесли на стол.

Лесу уже очень хочется сказать "чайный лист" и делать отсюда ноги. Почему, спрашивается, он до сих пор сидит? Уматывать. Уматывать.

Повторяя про себя: "Уматывать", он ухитряется прийти в какой-то транс и даже начинает есть суп, хоть и без всякого аппетита. Понемножку глотает бульон. "Уматывать" — это нейтрализует официанта и хозяина, но не может нейтрализовать двух женщин за столом у стены, которые лущат горох и кидают горошины в кастрюлю. До них с десяток шагов, но Лес чует запах дешевой туалетной воды, какой они напрыскали за каждым из четырех своих желтых ушей, — запах для его ноздрей такой же острый, как от сырой земли. Тот же потрясающий жизнеспасательный дар, что помогал ему улавливать немытый телесный дух снайпера, бесшумно крадущегося в темени вьетнамских джунглей, позволил ему засечь запах женщин — и он начинает сатанеть. Никто ему не говорил, что будут женщины за этим делом. Надолго они тут расселись? Две молодые. Две желтые гадины. Чего они тут сидят за этим делом? Уматывать. Но он не может шевельнуться, потому что внимание приковано к двум желтым женщинам.

— Почему тут женщины сидят за этим делом? — спрашивает Лес у Луи. — Перестанут они когда-нибудь или нет? Что, будут сидеть за этим делом до опупения? Весь вечер будут сидеть? Сидеть и сидеть — так, что ли? Почему, я спрашиваю? Может кто-нибудь объяснить — почему? Разберитесь с ними. Пусть перестанут.

— Успокойся, — говорит Луи.

— Дальше некуда успокаиваться. Я просто хочу знать — они что, без конца будут сидеть за этим делом? Почему с ними никто не разберется? Пусть перестанут! Что, способа разве нет?!

Его голос поднимался до крика, и остановить этот подъем было не легче, чем заставить женщин перестать.

— Лес, мы в ресторане. Они готовят фасоль.

— Горох, — говорит Лес. — *Это у них — горох!*

— Лес, у тебя супа полная тарелка, скоро принесут второе. Суп, потом второе, больше на свете ничего нет. Соте из свинины, и ты свободен. Поешь немного соте из свинины — и вольная птица.

— Я супом уже сыт по горло.

— Сыт? — встрепенулся Росомаха. — Что, больше не будешь? Точку на этом хочешь поставить?

Со всех сторон обложенный надвигающейся бедой — нельзя же без конца превращать пытку в *обед*, — Лес вполголоса выдавливает из себя:

— Заберите.

И тут официант делает движение — якобы забрать пустые тарелки.

— А ну!.. — рявкает Лес, и Луи опять на ногах, похожий теперь на циркового укротителя львов: Лес весь напружинился, готовый отразить атаку, а Луи палкой показывает официанту, что надо оставаться на месте.

— Не подходите, — говорит Луи официанту. — Где стоите, там и стойте. Мы сами вам принесем тарелки.

Женщины перестали лущить горох — Лесу не пришлось даже вставать, идти туда и втолковывать им доходчиво.

А Генри теперь уж точно включился. Этот ногастый, тощий, улыбчивый Генри, молодой такой, в джинсах, яркой рубашке и спортивных туфлях, который тут за хозяина и воду им наливал, пялится на Леса из дверей. Улы́бается, но пялится. Источник угрозы. Загораживает выход. Его надо убрать.

— Все замечательно! — кричит Луи, обращаясь к Генри. — Еда вкуснейшая. Лучше не бывает. Почему мы сюда и ходим. — Потом официанту: — Как я говорю, так и делайте.

Опуска́ет палку и садится обратно. Чет и Росомаха собирают пустые тарелки, несут и складывают официанту на поднос.

— Кто на очереди? — спрашивает Луи. — Кто еще расскажет про свой первый здешний обед?

Чет отрицательно качает головой, а Росомаха уже занялся приятным делом — уплетает суп Леса.

На этот раз, едва официант показался из кухни с новым подносом, Чет с Росомахой, не дожидаясь, пока косоглазый дубина забудет все на свете и опять попрет к столу, вскочили и двинулись ему навстречу.

И вот она перед ним. Еда. Пытка едой. Ло мэйн — говядина с креветками. Му гу гай пан. Говядина с перцем. Соте из свинины. На ребрах. С рисом. Пытка рисом. Пытка паром. Пытка запахами. И все это для того, чтобы спасти его от гибели. Соединить Леса теперешнего с Лесом-юношей. Это его повторяющийся сон: неотравленный паренек на ферме.

— Выглядит отлично!

— На вкус еще лучше!

— Сам возьмешь, Лес, или пусть Чет тебе положит?

— Я не голодный.

— Не в этом дело, — говорит Луи. Чет уже начал наваливать Лесу на тарелку. — Пусть даже ты не голодный. Уговор-то какой был?

— Хорошенького понемножку, — говорит Лес. — Уматывать отсюда. Я серьезно, ребята. Правда надо уматывать. Все, хватит, больше не могу. А то за себя не ручаюсь. Хватит с меня. Ты сказал, можно будет уйти. Пора отсюда уматывать.

— Я пароля не слышу, Лес, — отвечает Луи. — Так что мы продолжаем.

Руки уже трясутся черт знает как. Он не может справиться с рисом. Все с вилки летит — такая дрожь.

И, Боже милосердный, откуда ни возьмись — официант с водой. Как из-под земли вырос, гад, заходит Лестеру со спины, новый уже, не тот. Полсекунды еще — и Лес с воплем "Йе-э-э!" вцепился бы ему в горло, кувшин с водой бомбой взорвался бы под ногами.

— Назад! — кричит Луи. — Не подходите!

Две желтые женщины начинают визжать.

— Не надо ему воды!

Орет прямо, вскочил на ноги и орет, палка над головой, женщины, наверно, думают, что Луи псих. Но они не знают, что такое псих, если думают, что Луи псих. Понятия не имеют.

За другими столами некоторые повставали с мест, Генри бегом к ним и тихо с ними говорит, пока все не садятся. Объясняет, что это вьетнам-

ские ветераны и, когда бы они ни явились, он патриотическим долгом своим считает оказать им гостеприимство и час-другой мириться с их проблемами.

Теперь в ресторане полная тишина. Лес несколько раз заставляет себя взять что-то в рот, а другие тем временем съедают все подчистую — еда остается только у Леса.

— Ну что, кончил? — спрашивает Росомаха. — Больше не будешь?

На сей раз он даже не может выговорить "Заберите". Одно это слово — и все, кто погребен под полом ресторана, встали бы и поперли искать отмщения. Одно слово — и если вы только пришли и не видели, на что это похоже, сейчас уж точно увидите.

На очереди печеньица с предсказаниями. Обычно им это нравится. Извлекают бумажки с предсказаниями судьбы, читают, смеются, пьют чай — кому это может не понравиться? Но Лес орет: "Чайный лист!" — и срывается с места. Луи тут же Свифту:

— Давай, Свифти, жми, догони его. Следи, глаз не спускай. Мы расплатимся и выйдем.

На обратном пути в машине тихо. Росомаха молчит, потому что наелся до отвала; Чет молчит, потому что знает по болезненному опыту многих драк, что для такого измочаленного, как он, человека молчание — единственный способ не выказывать враждебности; Свифт тоже молчит — молчит горько и сокрушенно, потому что вместе с мигающими неоновыми огнями "Дворца гармонии" отдаляется от него победная память о себе, каким он там становился. Теперь Свифт раскочегаривает боль.

Лес молчит, потому что спит. После десяти суток полновесной бессонницы наконец вырубился.

Только высадив всех, кроме Леса, и оставшись в машине с ним одним, Луи слышит, как Лес шевелится, и говорит ему:

— Лес! Слышишь меня? Ты хорошо справился, Лестер. Когда я увидел, как ты потеешь, я подумал: нет, ни шиша у него сегодня не получится. Ты бы видел, какого цвета у тебя было лицо. Ужас какого! Я уж думал — все, официанту хана.

Луи, который первые ночи после возвращения с войны провел в гараже у сестры прикованный к отопительной батарее (а то бы он убил сестрина мужа, по доброте взявшего его в дом всего через двое суток после джунглей), Луи, который так организовал все часы своего бодрствования, посвятив их нуждам других людей, что никакое дьявольское побуждение и щелки не найдет просочиться, Луи, которому двенадцать лет трезвости и чистоты, многоступенчатая восстановительная программа и неукоснительный, как религиозный ритуал, прием лекарств — от тревоги одно, от депрессии другое, от боли в щиколотках, коленях и бедрах противовоспалительное, главным образом вызывающее жжение в желудке, газы и понос, — позволили разгрести свой внутренний мусор настолько, чтобы вновь обрести способность разговаривать с людьми по-человечески, чтобы по крайней мере не чувствовать сумасшедшей злобы из-за больных ног, на которых ему теперь ковылять до конца дней, из-за необходимости стоять во весь рост на зыбучем песке, — счастливчик Луи смеется.

— Я подумал: ну нет, у этого шансы нулевые. И зря подумал. Ты не только суп высидел, ты до самого печенья дошел, черт его дери. А знаешь, на который раз я добрался до печенья? На четвертый. Только на

четвертый. В первый раз я сломя голову полетел в уборную и меня только через пятнадцать минут оттуда вытащили. Приеду — знаешь что я скажу жене? Я скажу: "Лес молодцом. Лес справился во как".

Но когда пришло время ехать опять, Лес отказался. "Я сидел уже там, чего еще от меня надо?" — "Надо, чтоб ты ел, — объяснил Луи. — Надо, чтоб ты ел и суп и второе. Ходи по земле, говори, что на уме, ешь, что на столе. Новая цель у нас теперь, Лес". — "Хватит с меня твоих целей. Я высидел. Никого не убил. Мало тебе?" Но неделю спустя они поехали-таки опять во "Дворец гармонии" — те же действующие лица, тот же стакан воды, те же меню и даже запах тот же — запах дешевой туалетной воды от азиатской кожи ресторанных женщин, сладкий, мгновенный, электризующий, по которому Лес безошибочно может засечь добычу. На второй раз он ест, на третий ест *и заказывает*, хотя они все еще не подпускают официанта к столу, а на четвертый они уже позволяют официанту их обслуживать, и Лес ест как сумасшедший, ест так, что брюхо трещит, ест, как будто год не видел жратвы.

Вышли из "Дворца гармонии" — все его обступают, все наперебой ему: "Дай пять!" Чет до того развеселился, что даже говорит, даже *кричит:* "Семпер фи!"[1]

— Чего доброго, Луи, — говорит Лес по дороге домой, точно пьяный от того, что восстал из могилы, — чего доброго, Луи, ты теперь потребуешь, чтобы мне *нравилось!*

Но теперь на очереди Стена. Он должен будет прочесть там имя Кенни. Не может он этого. Однажды он прочел имя Кенни в книге, которая лежит в ветеранском управлении. После этого ему неделю было худо. На большее он не способен. Но и думать ни о чем другом тоже не способен. Кенни, лежащий рядом с оторванной головой. День и ночь одно и то же — почему Кенни, почему Чип, почему Бадди, почему они, а не я? Иногда он думает — им повезло. Для них все уже кончено. Нет, дудки, фиг он поедет к этой Стене. Сдалась она ему. Ни в жизнь. Ни сил, ни охоты. Нет — и точка.

Станцуй для меня.

Уже около полугода они вместе, и вот однажды вечером он говорит: "А теперь станцуй для меня" и ставит у себя в спальне компакт-диск — "Тот, кого я люблю", аранжировка Арти Шоу, партия трубы — Рой Элдридж. Станцуй для меня, говорит он, разжимая туго обхватившие ее руки и показывая на пол у изножья кровати. Без малейшего замешательства она встает оттуда, где вдыхала этот запах, запах раздетого Коулмена, запах загорелой кожи, — оттуда, где она лежала, глубоко угнездившись, зарыв лицо в его голый бок, ощущая на языке вкус его спермы, положив ладонь на курчавую маслянистую заросль пониже его живота, — и, ощущая прикованный к себе острый взгляд его зеленых глаз, окаймленных длинными темными ресницами, не взгляд истощенного старика на грани обморока, а взгляд человека, прильнувшего к оконному стеклу, танцует — не кокетливо, не как Стина в 1948 году, не потому, что она юная прелесть, танцующая, чтобы доставить удовольствие ему и получить от этого удовольствие самой, юная прелесть, не шибко понимающая, что творит, говорящая себе: "Я могу для него это сделать, он этого хочет, а я могу — пожалуйста". Нет; не такая наивно-невинная картина, не распус-

1. От *лат.* semper fidelis — всегда верен. Это девиз военно-морских сил США.

кающийся бутон, не кобылка, становящаяся кобылицей. Фауни может, и еще как, но без весеннего цветения, без туманной девической идеализации себя, его, всех живых и умерших. Он говорит: "А теперь станцуй для меня", и, засмеявшись своим свободным смехом, она отзывается: "Ладно, отчего ж не станцевать. Я на такое щедрая" — и начинает двигаться, оглаживает свою кожу, как смявшееся платье, словно убеждается, что всё на месте, что всё упругое, костистое и округлое в точности там, где должно быть, мимолетно чувствует свой запах, родной многозначащий телесный дух, идущий от пальцев, когда она проводит ими от шеи к теплым ушам, а оттуда, медленно минуя щеки, к губам, затем принимается играть волосами, своими золотыми седеющими волосами, влажными и спутанными от любовных усилий, играть как водорослями, представляя себе, что это водоросли и всегда ими были, — широкий капающий взмах пучком водорослей, насыщенных морской солью, — и что, разве ей это трудно? О чем говорить. Вперед. Жарь. Раз уж он так хочет — захомутай его, опутай. Не впервой.

Она чувствует, когда это возникает — эта новая связь между ними. У изножья кровати на полу, который стал ее сценой, она движется, соблазнительно непричесанная и чуть липкая из-за предшествующего, умащенная во время того, первого представления, светловолосая, белокожая там, где не загорела на ферме, с полудюжиной шрамов на теле, с ободранной, как у ребенка, коленкой из-за того, что поскользнулась в коровнике, с полузажившими тонкими, как нити, порезами на руках и ногах от изгородей на пастбище, с загрубевшими и покрасневшими ладонями, с ранками от стекловолокна, получаемыми при повороте секций забора, с царапинами от еженедельного выдергивания и всаживания кольев, с ярко-красным кровоподтеком в форме лепестка у самого основания шеи, возникшим то ли по милости Коулмена, то ли из-за какой-то неосторожности в доильном отсеке, с еще одним кровоподтеком, черно-синим, на внутренней стороне бедра, с красными точками укусов, с прилипшим к щеке его седым изогнутым волосом, с приоткрытым ртом — приоткрытым как раз настолько, чтобы видна была линия зубов, — движется без всякой спешки, потому что весело ехать, а не приехать. Она движется, и теперь он видит ее как следует, видит ритмически колеблющееся, длинное, стройное тело, в котором куда больше силы, чем кажется, видит ее на диво массивные груди, видит, как она раз, другой, третий наклоняется к нему на длинных прямых ногах, будто черпая из него ковшом. Не противясь, он лежит на сморщенной простыне, под затылком волнистый сугроб смятых подушек, голова на уровне ее бедер, ее живота, ее подвижного живота, и он видит ее вплоть до мельчайших подробностей, видит, и она это знает. Соединены. Она знает: он хочет, чтобы она предъявила на что-то права. Он хочет, думает она, чтобы, стоя здесь и танцуя, я предъявила права на свое достояние. На что? На него. Да, на него. Он предлагает мне себя. Ладно-ладно, это штука высоковольтная, но пусть. И вот, глядя на него сверху вниз проницательным взглядом, она движется, движется, и начинается передача власти по всей форме. Ей это приятно — вот так двигаться под эту музыку и чувствовать, как перетекает власть, чувствовать, что по ее малейшему знаку, по щелчку пальцами, каким подзывают официанта, он выползет из кровати на четвереньках и примется лизать ей ступни. Танец, считай, только начался — а я уже могу очистить его и съесть, как фрукт. И не важно уже, что меня мордовали, что я уборщица, что я вычищаю в колледже за людьми

всякое дерьмо, что я и на почте вычищаю за людьми всякое дерьмо — а это ведь здорово ожесточает, уборка чужого мусора, противно, если хотите знать, и не говорите мне, что лучше нет профессии на свете, — но это у меня есть, я это делаю, три работы у меня, потому что развалюхе, на которой я езжу, осталось жить хорошо если неделю, и надо будет покупать дешевую тачку на ходу, вот вам и три работы, и не в первый раз уже, а на ферме, между прочим, вкалывать и вкалывать, звучит-то оно для вас неплохо, Фауни и коровы, и смотрится со стороны неплохо, но когда сверх всего остального, это уже называется рвать пупок... Но теперь я с ним голая в его спальне, он разлегся передо мной со своим мужским хозяйством и флотской наколкой, и все вокруг спокойно, и он спокоен, и удовольствие от моего танца не мешает ему быть совсем спокойным, а ведь ему тоже хорошо досталось. Жену потерял, работу потерял, профессор-расист — так его ославили, а что такое профессор-расист? Это ведь не то, чем вдруг становятся. Вроде как тебя разоблачили, значит, всю жизнь был расистом. Это ведь не однажды сделать что-то не то. Расист — значит, всегда был расистом. Вдруг на́ тебе — ты плохой с самого начала. Вроде как знак на тебе выжгли, и в этом даже и правды-то нет ни на грош, но теперь он спокоен. Я могу ему это устроить. Я его могу спокойным сделать, он — меня. А всего-то навсего мне надо двигаться и не останавливаться. Он мне — станцуй для меня, а я думаю — почему нет? Ну разве что он решит, будто я намерена ему подыгрывать и делать вид, что это другое. Он станет делать вид, будто весь мир наш, и я ему позволю, а потом сама примусь делать вид. И все равно — почему нет? Я могу танцевать... но пусть он помнит. Это — только это, и всё, хоть на мне и ничего нет, кроме кольца с опалом, которое он мне подарил. Это только и означает, что я при включенном свете стою голышом перед моим любовником и двигаюсь под музыку. Да, тебе немало лет, позади у тебя жизнь, я к ней не имею отношения, но я знаю, что здесь происходит. Ты берешь меня как мужчина. И я тебе отдаюсь. Это много. Но сверх этого ничего нет. Я танцую перед тобой голышом при включенном свете, и ты тоже голый, а все остальное не в счет. Это самое простое, что может быть, — *оно самое*. Будешь думать, будто здесь что-то сверх этого, — испоганишь то, что есть. Ты не будешь — тогда и я не буду. *Не должно* больше ничего быть. А знаешь, Коулмен, — я вижу тебя насквозь.

Потом она произносит это вслух:

— А знаешь, я вижу тебя насквозь.

— Правда? — спрашивает он. — Ну, сейчас начнется.

— Ты думаешь, к твоему сведению, вот что: есть Бог или нет? Ты думаешь — зачем я в этом мире? Чего ради? А вот ради этого. Ради того, что ты здесь и я делаю это для тебя. И никаких мыслей о том, что ты кто-то еще где-то еще. Скажем, ты женщина, лежишь в постели с мужем и даешь ему, но не чтобы дать, не чтобы получить удовольствие, а потому что ты в постели с мужем и так положено. Или ты мужчина, лежишь с женой и трахаешь ее, но думаешь, что лучше бы не ее, а уборщицу с почты. Ну так держи свою уборщицу.

Он смеется мягким смехом:

— И это доказывает существование Бога?

— Если не это, то ничто не доказывает.

— Танцуй дальше, — говорит он.

— Когда ты умер, — спрашивает она, — не все ли равно, что ты женился не на той?

– Все равно. И когда ты жив, тоже. Танцуй дальше.

– А что не все равно? А?

– Это.

– Молодец, – говорит она. – Учишься.

– Что же получается – ты меня учишь?

– Самое время кому-нибудь тебя поучить. Да, я учу тебя. Но не смотри на меня так, будто я гожусь для чего-нибудь другого, чем *вот это*. Для большего. Не надо. Будь здесь, будь со мной. Не уходи. Не отвлекайся. Не думай ни о чем другом. Будь со мной. Я сделаю все, что ты захочешь. Сколько раз тебе женщины искренне такое говорили? Что захочешь, то я и сделаю. Не теряй этого, Коулмен. Не перетаскивай никуда. Только для этого мы и здесь. К завтрашнему дню это не имеет отношения. Все двери захлопни, в бывшее и в будущее. Перестань думать по-общественному. Чего оно от нас хочет, это расчудесное общество? Какими оно нас делает? "Ты должен, должен, должен". К чертям. Кем положено быть, что положено делать – это все убивает. Я и дальше могу танцевать, если это, и только. Наш тайный момент – если это, и только. Твой кусочек. Твой кусочек времени. Больше ничего – надеюсь, ты понимаешь.

– Танцуй дальше.

– Это и есть самое важное, – говорит она. – Если бы я перестала думать про...

– Про что?

– Я с детства была сучка-давалка.

– С детства?

– Он всегда говорил себе, что это не он, а я.

– Отчим?

– Да. Так он себе говорил. Может, даже и прав. Но в восемь, девять и десять лет у меня уже не оставалось выбора. Жестокость – вот что было плохо.

– На что это было похоже в десять лет?

– Все равно что он заставил бы меня взвалить на спину дом и нести.

– На что это было похоже, когда он ночью входил к тебе в спальню?

– Как дети на войне. Видел в газетах фотографии детей после бомбежек? Вот, вроде того. Большое, как бомба. Но я все стояла, сколько меня ни бомбили. Она-то меня и сгубила, эта устойчивость. Потом мне исполнилось двенадцать, тринадцать, стали расти груди. Пошли месячные. Вдруг я оказалась щелкой, обросшей телом... Зря это я – танцевать, и только. Дверей не открывать, Коулмен, – ни в бывшее, ни в будущее. Я вижу тебя насквозь, дружок. Ты не закрываешь дверей. Все фантазируешь про любовь. Знаешь что? Мне нужен мужчина постарше. В ком совсем уже не осталось любовной белиберды. Ты, Коулмен, слишком для меня молодой. Вид у тебя сейчас – ну прямо мальчонка, который влюбляется в училку музыки. Ты млеешь от меня, Коулмен, но тебе еще повзрослеть надо для такой, как я. Мне нужен кто-то старше тебя. Я думаю, ему лет сто должно быть, не меньше. Нет у тебя случайно знакомого в инвалидном кресле? Каталка – это как раз то, что надо: можно танцевать и толкать. Может, у тебя есть старший брат? Вид у тебя сейчас, однако. Смотришь на меня глазами школьника. Пожалуйста, прошу тебя, позвони своему старшему другу. Я буду танцевать и танцевать, просто соедини меня с ним. Я хочу с ним побеседовать.

И, говоря это, она знает, что словами и танцем влюбляет его в себя. С легкостью. Я кучу мужчин приманила, кучу залуп, залупы меня ищут и

ко мне приходят — но не все, у кого есть залупа, не те девяносто процентов, которые ничего не смыслят, а только те мужчины и парни, у кого настоящая мужская штука, понимающие, как, например, Смоки. Можно известись из-за всего, чего у меня нет, но *это* у меня есть, пусть я даже буду закутана сверху донизу, и бывают мужчины, которые понимают. Они знают, чего им хочется, и поэтому ищут меня, приходят ко мне и берут, хотя это-то... это-то у меня взять проще простого. Как конфетку забрать у ребенка. Да — он-то помнит. Как не помнить. Раз попробуешь — не забудешь. Боже ты мой. После двухсот шестидесяти отсосов, четырехсот обычных пистонов и ста шести задних — начинается флирт. Так оно всегда и бывает. Было ли с кем-нибудь на свете такое, чтобы любить до спанья? Было ли со мной такое, чтобы я любила *после?* Или это — первая ласточка?

— Хочешь знать, каково мне сейчас? — спрашивает она его.

— Да.

— Очень хорошо.

— Подумай теперь — разве можно выйти из этого живым?

— Понятно. Да, ты прав, Коулмен. Дело попахивает бедой. В семьдесят один в такое вnутываться? В семьдесят один да с ног на голову? Лучше не надо. Лучше воротиться обратно.

— Танцуй дальше, — говорит он и нажимает кнопку прикроватного "сони". Снова "Тот, кого я люблю".

— Нет. Нет. Прошу тебя. Моя карьера уборщицы под угрозой.

— Еще и еще.

— Еще и еще, — повторяет она. — Где-то я уже это слышала.

Одним "еще" почти никогда дело не ограничивалось. По крайней мере в устах мужчин. Да и в ее собственных.

— Я всегда думала, что "еще и еще" — одно слово.

— Так оно и есть. Танцуй дальше.

— Тогда не теряй этого. Мужчина и женщина в комнате. Голые. Вот и все, что нам нужно. Не любовь. Не унижай себя, не будь сентиментальным дураком. Ты смерть как этого хочешь, но не надо. Давай не будем этого терять. Постарайся, Коулмен, постарайся это сохранить.

Он никогда еще не видел, чтобы я так танцевала, он никогда еще не слышал, чтобы я так разговаривала. Столько времени прошло — странно, что я не разучилась так разговаривать. Столько лет пряталась. *Никто* еще не слышал, чтобы я так разговаривала. Только ястребы и вороны иногда в лесу — больше никто. Мужчин я обычно развлекала по-другому. Так опрометчиво я еще себя не вела. Надо же.

— Сравни, — говорит она. — Торчать здесь каждый божий день — и вот это. Женщина, которая не хочет завладеть всем. Женщина, которая не хочет завладеть *ничем.*

Но никогда она сильней не хотела чем-то завладеть.

— По большей части женщины всем хотят завладеть, — говорит она. — И твоей почтой. И твоим будущим. И твоими фантазиями. "Как ты смеешь хотеть не меня, а кого-то еще? *Я* должна быть твоей фантазией. Почему ты смотришь порнуху, когда у тебя есть я?" Они хотят владеть тобой со всеми потрохами. Но удовольствие не в том, чтобы владеть. Удовольствие — вот в этом. В комнате он и она, два соперника. Коулмен, я вижу тебя насквозь. Я могла бы всю жизнь тебя предавать, и все равно ты был бы мой. Из-за одного танца. Разве не так? Что, я ошибаюсь? Нравится тебе, Коулмен?

— Какая удача, — говорит он, глядя во все глаза. — Какая невероятная удача. Жизнь мне это была должна.

— Даже сейчас?

— Ты чудо. Елена Троянская.

— Елена Перекатная. Елена Никакая.

— Танцуй дальше.

— Я вижу тебя, Коулмен. Насквозь. Хочешь знать, что я вижу?

— Хочу.

— Ты хочешь знать, вижу ли я старика. Ты боишься, что я увижу старика и убегу. Ты боишься, что я увижу всю разницу между тобой и молодыми, увижу, где у тебя дрябло, где неказисто, и ты меня потеряешь. Потому что старый. Но знаешь, что я вижу?

— Скажи.

— Вижу мальчонку. Ты влюбляешься как мальчонка. А не должен. Не должен. Знаешь, что еще я вижу?

— Знаю.

— Да, теперь я это вижу — вижу старика. Умирающего старика.

— Объясни мне.

— Ты все потерял.

— Ты это понимаешь?

— Да. Все потерял, кроме моего танца. Рассказать тебе, что я вижу?

— Что?

— Ты не заслужил этого, Коулмен. Вот что я вижу. Что ты в ярости. И так оно шло к концу. Разъяренный старик. А не должно такого быть. Вот что я вижу — твою ярость. Вижу злобу и стыд. Вижу, что в старости ты понял, как время идет. Этого не понимаешь почти до конца. Но теперь ты понял. И тебе страшно. Потому что нельзя переиграть. Двадцать тебе уже не будет. Назад ничего не вернется. И так оно шло. Но хуже, чем умирать, хуже даже, чем мертвым гнить, — то, что сделали с тобой эти сволочи. Забрали у тебя все. Я вижу это в тебе, Коулмен. Вижу, потому что знаю, что это такое. Сволочи, которые в одну секунду все переиграли. Взяли твою жизнь и выбросили на помойку. *Они* решили про *твою* жизнь, что ее надо выбросить. Видишь, ты ту самую танцующую бабенку нашел, какая тебе нужна. Они решают, что мусор, а что нет, вот и решили, что ты — мусор. Унизили, в порошок стерли из-за ерунды, про которую все знали, что это ерунда. Пустячное вшивенькое словечко, которое ничего для них не значило, ровно ничего. Разъяришься тут.

— Я не думал, что ты обращала на это внимание.

Она смеется своим свободным смехом. И танцует. Без идеализма, без идеализации, без малейших утопических помышлений милого юного существа, зная о действительности то, что она о ней знает, помня о тщете и бессмыслице, из которых ее жизнь состояла и будет состоять, не забывая о хаосе и жестокости — танцует! И говорит то, чего раньше никогда не говорила мужчине. Женщины, которые отдаются как она, не способны на такие разговоры — по крайней мере, так хотят думать мужчины, которые не спят с ей подобными. И женщины, которые не отдаются как она, тоже хотят так думать. Тупица Фауни — вот как все хотят обо мне думать. Что ж, пусть думают. На здоровье.

— Да, тупица Фауни обращала на это внимание, — говорит она. — Как иначе, по-твоему, тупица Фауни может хоть что-то в жизни получить? Тупица Фауни — это мое достижение, Коулмен, это самая зоркая я, самая

чуткая я. Сдается мне, это *я* сейчас смотрю на *твой* танец. Откуда я все это про тебя знаю? Да оттуда, что ты со *мной*. Отчего бы ты со мной связался, если не от ярости? Отчего бы я с тобой связалась, если не от ярости? Самое оно для роскошного траха. Ярость уравнивает. Так что не теряй этого, Коулмен.

— Танцуй дальше.

— Пока не рухну?

— Пока не рухнешь. До последнего вздоха.

— Как тебе угодно.

— Где я тебя нашел, Волюптас? — спрашивает он. — *Как* я тебя нашел? Кто ты?

Он опять нажимает кнопку, запуская "Тот, кого я люблю" с начала.

— Я могу быть кем тебе угодно.

Всего-то навсего Коулмен читал ей что-то из воскресной газеты про президента и Монику Левински — и вдруг Фауни вскочила и закричала:

— Можно обойтись без семинара, черт тебя дери? Завязывай с семинаром! Учить меня вздумал! Не собираюсь! Не могу, не хочу и не буду. Хватит меня учить — ни хрена все равно не выйдет!

И выбежала вон посреди завтрака.

Ошибкой было у него остаться. Домой не поехала — и теперь его ненавидит. Что она ненавидит больше всего? То, что он и вправду считает свои страдания невесть какими важными. И вправду считает то, что они там про него говорят в Афина-колледже, таким сокрушительным для себя. Ну не любят его тамошние уроды — подумаешь. Это что, самый большой ужас в его жизни? Чепуха это, а не ужас. Двое детей задыхаются и умирают — вот это ужас. Отчим приходит и лезет в тебя пальцами — вот это ужас. А лишиться работы, когда тебе так и так скоро на пенсию, — уж извини. Вот что она в нем ненавидит — привилегированность страдания. Он считает, что ему не повезло? Столько вокруг настоящей боли, он жалуется на невезение? Знаете, когда не повезло? Когда после утренней дойки муж берет железную трубу и бьет тебя по башке. Я даже не видела, как этот псих замахнулся, — а ему, оказывается, не повезло! Ему, оказывается, жизнь была должна!

И все это означает, что ей не надо никакой учебы за завтраком. Бедной Монике трудно будет найти в Нью-Йорке хорошую работу? Скажу тебе по секрету: мне плевать. Думаешь, Монике есть дело до того, что у меня болит спина от треклятой дойки после рабочего дня в колледже? От уборки на почте всякого дерьма, которое людям лень донести до урны? Думаешь, Монике есть до этого дело? Она продолжает названивать в Белый дом, а с ней не хотят разговаривать — какой ужас! У тебя все кончено — и это тоже ужас? У меня, дружок, ничего не начиналось. Все кончилось не начавшись. Попробовал бы на себе разок железную трубу. Вчерашний вечер? Не спорю. Хороший был вечер. Чудесный. Мне он тоже был нужен. Но у меня все равно три работы. Что изменилось? Потому все и принимаешь, что это ни черта не меняет. Ну скажу я маме, что ее муж приходит по ночам и запускает в меня пальцы, — и ни черта не изменится. Пусть даже мама теперь знает и собирается мне помочь — все равно не изменится. Эта ночь с танцами у нас была — и ни черта она не изменила. Он читает мне про вашингтонские дела — что, что, что это меняет? Читает мне про столичные похождения, про то, как у Билла Клинтона сосали член. Как это мне поможет, когда моя машина скапу-

тится? Ты и вправду думаешь, что это важные мировые новости? Не очень-то они важные. Вовсе даже не важные. У меня было двое детей. Они погибли. Так что, если у меня нет сил сочувствовать Монике и Биллу, отнеси это на счет моих детей, хорошо? Пусть это будет мой изъян — ради бога. Не осталось у меня пороху на все эти тревоги мирового значения.

Ошибкой было у него остаться. Ошибкой было так очароваться, так размякнуть. Раньше она в какую угодно бурю возвращалась домой. Даже если с ужасом думала, что Фарли пристроится в хвост и заставит ее свалиться в реку, — все равно возвращалась. Но теперь осталась. Танец во всем виноват — и утром она злится. Злится на него. Утречко приходит в дом — ну-с, газету развернем. После такой ночи ему интересно, что пишут в газетах? Может, если бы они не разговаривали, просто позавтракали бы и она уехала, в том, что она осталась на ночь, не было бы ничего страшного. Но начать этот семинар — хуже он ничего не мог придумать. Как он должен был поступить? Дать ей чего-нибудь поесть и отпустить домой. Но танец сделал свое дело. Я осталась, дура набитая. Остаться на ночь — для такой, как я, нет ничего важней. Я кучу всякого разного не знаю, но это я знаю: остаться до утра — кое-что значит. Начало всяких фантазий про Коулмена и Фауни. Начало фантазий про "навсегда" — самых пошлых на свете. Что, мне некуда было податься? Что, у меня угла своего нет? Так и езжай туда! Трахайся до какой угодно поздноты, но потом садись и езжай! В конце мая какая была гроза — все по швам лопалось, все катилось по холмам колесом, как будто война. Внезапная атака на Беркширы! Но в три ночи я встаю, одеваюсь и иду. Гром, молния, деревья трещат, ветки падают, град бьет по голове — иду. Ветер хлещет — иду. Холм взлетает на воздух — иду. Между домом и машиной меня запросто могла убить молния, превратить в головешку, но я не остаюсь — *иду*. А теперь лежать с ним в постели до утра? Луна с тарелку, по всей земле тишина, только луна и лунный свет — и я осталась. Слепой и тот в такую ночь найдет дорогу домой, а я не поехала. И спать не спала. Не могла. Глаз не сомкнула. Боялась, что во сне к нему привалюсь. Не хотела до него дотрагиваться. Даже подумать не могла о том, чтобы дотронуться до человека, чью задницу лизала месяцами. До рассвета, как прокаженная, лежала на краю кровати и смотрела, как ползут через его лужайку тени его деревьев. Он сказал мне: "Оставайся", но на самом деле этого не хотел, а я ему отвечаю: "Самое время поймать тебя на слове" — и поймала. Можно было надеяться, что хоть один из двоих не даст слабины, — но нет, куда там. Оба поддались худшему, что только бывает. А ведь помнила, что шлюхи говорили, — вот она, их великая мудрость: "Мужчина не за то платит, что ты с ним спишь, а за то, что потом уходишь".

Но, хоть она и знала, что́ ей ненавистно, она помнила и о том, что́ ей по сердцу. Его великодушие. Прямо скажем, нечасто она оказывалась рядом с чьим-то великодушием. И сила, которую чувствуешь, когда ты с человеком, который не машет над тобой железяками. Если бы он нажал на меня, я бы, пожалуй, даже призналась, что я не дура. Не говорила я ему этого ночью? Он слушает меня — вот я и не дура. Не отмахивается от меня, не предает меня, ни в чем меня не винит. Ни на какие хитрости со мной не пускается. И с этого всего я так на него взъелась? Он со мной искренен. Он серьезно ко мне относится. Об этом говорит хотя бы кольцо, которое он мне подарил. Его догола раздели, и он пришел ко мне в

чем мать родила. В самый свой смертный момент. На моих дорогах такие мужчины кучами не валялись. Он и машину бы мне купил, если бы я позволила. С ним никакой боли нет. Просто слушать его голос, как он поднимается и опускается, — уже успокаивает.

И от этого бежать? С этим — затевать детскую драку? Чистейшая случайность, что ты вообще его встретила, первая в твоей жизни счастливая случайность — первая и последняя, — а ты вспыхиваешь и убегаешь, как малый ребенок? Что, действительно хочешь скорого конца? Хочешь вернуться к тому, что было до него?

Но она выбежала из дома, вывела машину из сарая и рванула на ту сторону холма в Одюбоновское общество навестить знакомую ворону. Через пять миль — крутой поворот на узкое грунтовое ответвление, которое вилось и петляло еще с четверть мили, пока не вывело к серому крытому гонтом двухэтажному дому, уютно угнездившемуся под деревьями, — когда-то в нем жили люди, а теперь здесь, поблизости от лесов и туристских троп, расположено местное отделение общества. Усыпанная гравием подъездная дорожка кончалась бревенчатым шлагбаумом; доска, прибитая к березе, показывала дорогу к ботаническому садику. Других машин видно не было. Остановилась, едва не врезавшись в шлагбаум. Казалось, с такой же легкостью могла бы скатиться прямо по склону холма.

У входа в дом на ветру стеклянно и таинственно позвякивали колокольчики, точно какой-то религиозный орден, обожествляющий нечто малое и трогательное, без слов призывал гостя постоять, оглядеться и предаться медитации; но на флагштоке еще не был поднят флаг, и табличка на двери сообщала, что по воскресеньям допуск посетителей начинается только в час дня. Тем не менее дверь, когда она ее толкнула, открылась, и она перешла из жиденькой утренней тени безлиственного кустарника в прихожую, где ждали зимних покупателей увесистые мешки с разными видами птичьего корма, а у стены напротив до самого окна громоздились ящики со всевозможными кормушками для птиц. В сувенирном магазинчике, где, помимо этих кормушек, продавались книжки о природе, карты местности, аудиокассеты с голосами птиц и всяческие безделушки на птичье-звериные темы, свет еще не горел, но когда она повернула в другую сторону и вошла в более просторный демонстрационный зал, где размещалась небогатая коллекция чучел и обитало несколько живых экспонатов — черепах, змей, птиц в клетках, — она увидела там сотрудницу, пухленькую девушку лет восемнадцати-девятнадцати. Девушка поздоровалась и не стала высказываться на тот предмет, что у них еще закрыто. Так далеко на холмах первого ноября, когда осенняя листва уже осы́палась, посетители были редкостью, и она не захотела отправлять восвояси особу, приехавшую в девять пятнадцать утра, пусть даже одетую и не совсем подходящим образом для глубокой осени в Беркширах: поверх серых тренировочных брючек — мужская полосатая пижамная куртка, на ногах ничего, кроме домашних шлепанцев. Длинных светлых волос со вчерашнего дня явно не касалась ни расческа, ни щетка. В целом, однако, посетительница выглядела не столько беспутной, сколько просто растрепанной, поэтому девушка, которая кормила мышами лежавшую в ящике змею: брала их щипцами, протягивала змее, та делала выпад, хватала, и начинался бесконечно долгий процесс пищеварения, — поздоровалась и вернулась к своим воскресным утренним делам.

Самец вороны сидел в средней клетке размером со шкаф для одежды. По одну сторону – две новошотландские совы, по другую – ястреб-дербник. Вот он, Принц. Ей уже было лучше.

– Привет, Принц. Здорово, старина.

Она пощелкала ему языком – цок, цок, цок.

Потом повернулась к девушке, кормившей змею. В прошлые приезды ее тут не было – скорее всего, новенькая. Относительно, по крайней мере. Фауни уже несколько месяцев не навещала Принца – ни разу после того, как начала встречаться с Коулменом. С некоторых пор она уже не искала способа выйти за пределы человеческого рода. Когда погибли ее дети, она стала ездить сюда нерегулярно – а раньше в иные недели бывала по четыре-пять раз.

– Можно я его на минутку выпущу? Всего на минутку?

– Можно, – сказала девушка.

– Хочу, чтобы он посидел у меня на плече, – объяснила Фауни и, наклонившись, откинула крючок, на который была заперта стеклянная дверь клетки. – Ну здравствуй, Принц. Ох какой. Принц.

Когда она открыла клетку, Принц перепрыгнул с насеста на верхнюю кромку дверцы и, водрузившись там, стал наклонять голову то вправо, то влево. Она мягко рассмеялась.

– Понятное дело! Обследует меня, – сказала она девушке. – Гляди, что у меня есть, – обратилась она к Принцу и показала ему кольцо с опалом. Кольцо, которое Коулмен подарил ей в машине субботним августовским утром по дороге в Танглвуд. – Видишь? Иди сюда. Иди, иди, – шептала она птице, подставляя плечо.

Но Принц отверг приглашение – прыгнул обратно в клетку и опять сел на насест.

– Принц сегодня не в настроении, – сказала девушка.

– Радость моя! – ворковала Фауни. – Ну иди. Иди ко мне. Я же Фауни. Мы друзья с тобой. Будь хорошим мальчиком. Иди сюда.

Но самец вороны не двигался.

– Если видит, что его приманивают, ни за что не слетит, – объяснила девушка и, взяв щипцами с подноса одну из нескольких дохлых мышей, предложила змее – та наконец-то покончила с предыдущей, которую втягивала в себя миллиметр за миллиметром. – Видит, что хочешь его достать, и не дается, а если ты вроде как внимания не обращаешь, слетает.

Они вместе засмеялись над этим сходством с людскими повадками.

– Ладно, – сказала Фауни. – Оставлю его на минутку в покое. – Она подошла к сотруднице, занятой кормлением змеи. – Я очень люблю ворон. Это мои любимые птицы. И воронов. Я раньше жила в Сили-Фолс, поэтому я все про Принца знаю. Я еще тогда с ним познакомилась, когда он крутился около магазина Хиггинсона. Любил вытаскивать заколки из волос у девочек. Кидался на все блестящее, на все цветное. Прямо-таки прославился этим. Раньше тут были вырезки из газет про него, про людей, которые его вырастили, когда он остался без гнезда, про то, как он торчал у магазина, точно важная шишка. Здесь были приколоты. – Она показала на доску объявлений у входа в комнату. – Куда они делись?

– Он их сорвал.

Фауни разразилась смехом, на этот раз куда более громким.

– Он – сорвал?

— Клювом. Разодрал на клочки.

— Не хотел, чтобы знали о его прошлом? Стыдно было за свое прошлое? Принц! — Она опять повернулась к его клетке, которая все еще была настежь открыта. — Тебе стыдно за свое бесславное прошлое? Молодец. Настоящая ворона.

Теперь она обратила внимание на стоявшие там и сям чучела.

— Это у вас рыжая рысь?

— Да, — сказала девушка, терпеливо ожидая, пока змея перестанет ощупывать языком очередную дохлую мышь и возьмет ее в рот.

— Из здешних мест?

— Не знаю.

— Я видала их на холмах. Одна была похожа на эту. Может, она самая и есть.

И Фауни опять рассмеялась. Нет, пьяна не была — даже и кофе-то не допила, когда метнулась от Коулмена, — но смех звучал так, будто приняла маленько с утра. Просто ей хорошо было здесь со змеей, вороной и чучелом рыси, которые не порывались ничему ее учить. Не читали ей ничего из "Нью-Йорк таймс". Не просвещали ее по части истории человечества за последние три тысячи лет. Про эту историю она и так знала все, что надо было знать: безжалостные и беззащитные. Даты и имена не имели значения. Безжалостные и беззащитные. Всё. Остальное лабуда. Здесь никто не собирался побуждать ее к чтению, потому что никто, кроме девушки, и сам читать не умел. Змея уж точно не умела. Она умела только поедать мышей. Неторопливо и спокойно. Спешить некуда.

— Какая это змея?

— Черный большеглазый полоз.

— Целиком ее.

— Ага.

— Там переваривает.

— Да.

— Сколько всего съест?

— Эта мышь седьмая. Он ее очень медленно взял. Наверно, будет последняя.

— И так каждый день?

— Нет. Раз в одну-две недели.

— Куда-нибудь выпускаете или так и живет? — спросила Фауни, показывая на стеклянный ящик, из которого змею для кормления переложили в пластиковую коробку.

— Так и живет. Больше никуда.

— Неплохо устроился. — Фауни повернулась к самцу вороны, который так и сидел в клетке на насесте. — Видишь, Принц, я тут стою. А ты там. И дела мне до тебя ровно никакого. Не хочешь ко мне на плечо — не надо, какая мне разница. А это кто?

Она показала на другое чучело.

— Это скопа. Семейство ястребиных.

Смерив когтистую птицу взглядом, Фауни опять разразилась смехом:

— С семейством ястребиных шутки плохи!

Змея раздумывала, браться за восьмую мышь или нет.

— Если бы мои дети с таким аппетитом кушали по семь мышей, — заметила Фауни, — я была бы самой счастливой мамой на свете.

Девушка улыбнулась:

– В прошлое воскресенье Принц наружу махнул. Другие наши птицы нелетающие. Только Принц. Он довольно резвый.

– Я знаю, – сказала Фауни.

– Я воду выплеснуть вышла – а он раз и по прямой за дверь! И дальше к деревьям. Я оглянуться не успела, как туда слетелись еще три или четыре. Окружили его на дереве. Точно с ума посходили – наскакивают, по спине лупят, орут во все горло. Несколько минут прошло всего-навсего. У него голос неправильный. Он не знает их вороньего языка. Им это ох как не понравилось. Потом он вернулся ко мне – я снаружи стояла, не уходила. А то прикончили бы его.

– Вот что получается, когда растешь у людей, – сказала Фауни. – Вот чем оно заканчивается, когда всю жизнь крутишься в нашей компании. Людское клеймо.

Она произнесла это без отвращения, презрения или осуждения. Без грусти даже. *Вот как обстоят дела.* Это и только это сказала она в своей сухой манере девушке, кормившей змею: мы оставляем клеймо, след, отпечаток. Грязь, жестокость, надругательство, небрежение, экскременты, сперма – по-другому нам и не прожить. И не в том дело, что мы отказываемся чему-то повиноваться. И милость Божья, спасение, искупление тут ни при чем. Это в каждом из нас. Неотъемлемое. Врожденное. Определяющее. Клеймо, которое тут как тут до любых внешних отметин. Которое существует даже и без зримого знака. Клеймо, до того единосущное нам, что может и не проявляться в виде отметин. Клеймо, которое *предшествует* неповиновению, которое *включает в себя* неповиновение и не поддается никаким объяснениям, никакому пониманию. Вот почему любая попытка его отскоблить смехотворна. Отдает варварской шуткой. Помышления о чистоте отвратительны. Безумны. Что такое наше стремление вычистить скверну, как не новая нечистота поверх старой? То, что Фауни сказала о клейме, можно свести к одному: от него не спастись. Вот он каков – взгляд Фауни на наше племя: неизбежно заклейменные существа. Вынужденные мириться с ужасным фундаментальным несовершенством. Она могла бы сравнить себя с греками – с греками Коулмена. С их богами. Мелочность. Ссоры. Драки. Ненависть. Убийства. Похоть. У их Зевса было одно желание – совокупляться. С кем, не важно: с богинями, женщинами, коровами, медведицами, совокупляться не только в своем собственном обличье, но и в зверином – это еще сильней возбуждает. Взгромоздиться на женщину бычьей тушей. Причудливо войти в нее белым, бьющим крыльями лебедем. Ему все мало, царю богов, – мало плоти, мало извращенности. Сколько безумия несет с собой страсть! Сколько разврата, сколько порока! Грубейшие удовольствия. И ярость всевидящей жены. Не иудейский Бог, бесконечно одинокий, бесконечно туманный, бог-мономан и бог мономанов, единственный бог, какой был, есть и будет, бог, у которого на уме лишь одна забота – евреи. И не идеально бесполый христианский человекобог с его непорочной матерью и со всем его неземным совершенством, которое для людей оборачивается стыдом и чувством вины. Нет – греческий Зевс, жадный до приключений, ярко экспрессивный, капризный, чувственный, самозабвенно погруженный в свое собственное бьющее через край существование, уж никак не одинокий и яснее ясного видимый. *Божье клеймо.* Вот великая, идущая от реальности религия для Фауни Фарли, если благодаря Коулмену она что-нибудь обо всем этом знала. Да, по образу и подобию, как нам рису-

ет нас высокомерная фантазия, но не этого бога, а *того.* Разгульного, порочного – бога жизни, если такой может быть. Бога, созданного по *нашему* образу и подобию.

– Да. Такая вот выходит трагедия, когда люди берут домой птенца вороны, – согласилась девушка, которая лишь отчасти поняла то, что сказала Фауни. – Птица теряет связь со своим видом. Вот и Принц потерял. Это называется импринтинг. Ворона разучилась быть вороной.

Вдруг Принц начал каркать, но не так, как обычно каркают вороны, а на свой лад, тем самым карканьем, что приводило других ворон в бешенство. Визгливо надсаживая глотку, птица опять сидела теперь на верхней кромке дверцы.

Фауни повернулась к Принцу и завлекающе улыбнулась:

– Я воспринимаю это как комплимент, Принц.

– Он подражает школьникам, которые приезжают сюда на экскурсии и подражают ему, – объяснила девушка. – Это его впечатление от их голосов. Они так кричат. Он изобрел свой собственный язык. Взял его от них.

– Мне нравится этот странный голос, который он изобрел, – сказала Фауни, и тоже странным голосом. Между тем она опять приблизилась к клетке и стала почти вплотную к дверце. Подняв руку с кольцом, обратилась к птице: – Смотри. Смотри, что я тебе принесла поиграть. – Она сняла кольцо и протянула Принцу, чтобы тот увидел с близкого расстояния. – Ему нравится мое кольцо с опалом.

– Мы обычно ему ключи даем поиграть.

– А теперь он маленько продвинулся. Как и мы все. Бери. Триста долларов стоит, – сказала Фауни. – На, поиграй. Что, тебе каждый день дают дорогие кольца?

– Он возьмет, – предупредила девушка. – Возьмет и в клетку утащит. Он как лесной хомяк. В клетке заталкивает еду в щели и бьет по ней клювом.

Принц крепко ухватил кольцо клювом и резко замотал головой. В конце концов кольцо упало на пол.

Фауни подняла его и опять протянула вороне.

– Еще раз уронишь – больше не дам. Понятно? Триста долларов. Тебе дают кольцо за триста долларов, а ты привередничаешь. Хочешь – бери, нет – нет. Понял меня?

Он снова выхватил кольцо у нее из пальцев и крепко зажал в клюве.

– Молодец, – сказала Фауни. – Тащи его к себе, – прошептала она так, чтобы девушка не услышала. – Забирай в клетку. Не дрейфь. Это тебе.

Но Принц опять уронил кольцо.

– Он очень умный, – сказала девушка. – Мы с ним в игры играем: кладем мышь в коробку и закрываем. Ухитряется достать. Просто удивительно.

Фауни вновь подняла с пола кольцо и предложила птице, и Принц вновь взял его и уронил.

– Слушай, Принц, это ты нарочно. Это игра такая, да?

Ка-а. Ка-а. Ка-а. Ка-а. Прямо ей в лицо птица разразилась своим особым криком.

Фауни протянула руку и принялась гладить Принца сначала по голове, а потом, очень медленно, сверху вниз по спине, и Принц ей это позволил.

— Ох, Принц. Какой ты красивый, какой блестящий. Послушайте, он *мурлычет!* – сказала она восторженно, как будто ей наконец открылся смысл всего на свете. — *Мурлычет.* – И она замурлыкала в ответ: — Мммм... Мммм... Мммм, — подражая нисходящим звукам, которые птица действительно издавала, отзываясь на движение руки, гладившей черные перья. Потом вдруг — цок, цок, цок клювом.

— Как хорошо, — прошептала Фауни и, повернув голову к девушке, засмеялась самым сердечным своим смехом: — Он не продается? Это цоканье меня добило. Я его беру. — Все приближая и приближая губы к цокающему клюву Принца, она шептала ему: — Да, я тебя возьму, я тебя куплю...

— Он может клюнуть, берегите глаза, — предупредила девушка.

— Ну, это-то я знаю. Пару раз клюнул меня уже. Когда мы с ним только познакомились. Зато он цокать умеет. Послушайте, дети, как он цокает.

И ей вспомнилось, какое сильное у нее было желание умереть. Два раза пыталась. Там, в Сили-Фолс, где снимала комнату. После гибели детей и месяца не прошло. В первый раз практически получилось. Я от медсестры знаю — она мне потом говорила. На мониторе, который показывает сердцебиение, все было ровно. Обычно это летальный исход, так она сказала. Но есть особы, которым особо везет. А я так старалась! Помню, душ приняла, ноги побрила, юбку надела самую лучшую — длинную джинсовую. Запахивающуюся. И вышитую блузку из Братлборо. Джин и валиум помню, а вот порошок уже смутно. Название забыла. Какой-то крысиный, горький, я его смешала со сладким желе. Не знаю — включила я газ или забыла? Посинела или нет? Долго лежала или нет? Когда они решили взломать дверь? Так и не знаю, кто это сделал. Я готовилась в каком-то экстазе. Бывают в жизни моменты, которые стоит отпраздновать. Триумфальные. Ради которых стоит нарядиться. Я просто из кожи лезла. Волосы заплела. Глаза накрасила. Мать бы мной гордилась — а это что-нибудь да значит. Неделей раньше позвонила ей сказать, что дети погибли. Первый звонок за двадцать лет. "Это Фауни, мама". — "Извините, но я не знаю никого с таким именем". И вешает трубку. Сука. После того как я сбежала, она всем говорила: "Муж у меня человек строгий, а жить по правилам — этого Фауни не смогла. Она никогда не могла жить по правилам". Обычное вранье. Чтобы девчонка-подросток из привилегированной семьи сбежала от строгости отчима? Не от строгости она бежит, ты сука такая, а от того, что блудливый отчим проходу ей не дает. В общем, нарядилась в самое-самое. На меньшее не могла согласиться. А во второй раз вообще наряжаться не стала. И этим все сказано. После первой неудачной попытки сердцем я уже остыла. Во второй раз все было внезапно, импульсивно и безрадостно. В первый раз долго готовилась, дни и ночи, предвкушала событие. Обдумывала, что взять. Покупала порошок. К врачу ходила, чтобы прописал таблетки. А во второй раз все было второпях. Без вдохновения. Я думаю, я потому не довела до конца, что удушья не могла вынести. Как горло сдавило, как я начала по-настоящему задыхаться, как воздуха не стало совсем — так пальцы за провод и скорей распутывать. В первый раз не было никакой этой спешки. Все спокойно, мирно, детей больше нет, волноваться не о ком, времени хоть отбавляй. Если бы только я сделала все как надо. Удовольствие было, и еще какое. В конце, когда все вот-вот оборвется, последний радостный момент: смерть, казалось бы, должна прийти на твоих собст-

венных условиях, на злых, но никакой злобы нет — только полет. Забыть не могу. Всю эту неделю думаю, думаю. Он мне читает из "Нью-Йорк таймс" про Клинтона, а у меня на уме доктор Кеворкян и его газовая машина[1]. Просто дыши глубоко. Тяни в себя, покуда все не втянешь.

"Он сказал: 'Это были очень красивые дети. Никогда не подумаешь, что такое может случиться с тобой или с твоими знакомыми. Но по крайней мере Фауни теперь уверена, что ее дети у Господа'".

Это какой-то идиот местным газетчикам. ДВОЕ ДЕТЕЙ ЗАДОХНУЛИСЬ ДОМА ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА. "Сержант Доналдсон сказал, что, по предварительным данным, пожар возник из-за того, что обогреватель... Местные жители говорят, что им стало известно о пожаре, когда мать мальчика и девочки..."

Когда мать мальчика и девочки выпустила изо рта член плотника.

"По словам соседей, Лестер Фарли, их отец, опоздал на считанные секунды".

Был готов убить меня на месте. И ничего мне не сделал. А потом и я не смогла себя убить. Чудо какое-то. Чудо, что никто до сих пор не разделался с матерью мертвых детей.

— Не вышло это у меня, Принц. Как и все остальное. А раз так, — шептала она птице, чья блестящая чернота была под ее рукой теплее и глаже всего, что она в жизни ласкала, — нам вместе надо быть. Ты ворона, которая не умеет быть вороной, я женщина, которая не умеет быть женщиной. Мы созданы друг для друга. Возьми меня в жены. Ты судьба моя, смешная ты птица. — Она отступила на шаг и поклонилась. — До свидания, мой Принц.

И Принц ответил. Ответил криками на высокой ноте: "Ку-у. Ку-у. Ку-у", и она опять рассмеялась. Потом, повернувшись к девушке, сказала ей:

— Намного лучше, чем все парни нашего племени.

А кольцо оставила ему. Подарок Коулмена. Улучила секунду, когда девушка не смотрела, и спрятала в клетке. Теперь помолвлена с самцом вороны. Самое оно.

— Спасибо вам! — сказала Фауни.

— Не за что. Всего хорошего! — отозвалась девушка, и с этим Фауни отправилась обратно к Коулмену доедать завтрак и смотреть, что приключится дальше. Кольцо осталось лежать в клетке. Принц получил его. Трехсотдолларовое.

Поездка в Питсфилд к Передвижной стене произошла в День ветеранов, когда приспускают флаги, когда во многих городах устраивают парады — а в универсальных магазинах распродажи, — и на ветеранов, которые чувствуют себя так же, как Лес, накатывает еще большее отвращение к согражданам, стране и правительству, чем в прочие дни. *Сейчас* ему участвовать в каком-нибудь занюханном параде, маршировать под оркестр, а все будут смотреть и флагами размахивать? *Сейчас* – пособлять им, чтобы на минутку почувствовали себя хорошими? Вот мы какие — ветеранам Вьетнама дань отдаем! Это сегодня без тебя обойтись не могут, а когда оттуда вернулся, всем на тебя было плевать. Столько ветеранов ночует на улице, а этот уклонист от призыва ночует себе в Бе-

1. Джек Кеворкян (р. 1928) — американский медик, совершавший акты эвтаназии.

лом доме. Проныра Билли, верховное наше начальство. Сучонок. Тискает себе мяконькие сиськи этой евреечки, а бюджет ветеранский катится хрен знает куда. Чего все так расстроились, что он соврал про секс? Как будто дерьмовая эта власть хоть про что-нибудь не врет. Нет уж, довольно они поизмывались над Лестером Фарли, чтобы он еще позволял измываться над собой по случаю Дня ветеранов.

И все-таки он туда ехал в этот особенный день, ехал в Питсфилд в фургончике Луи, чтобы увидеть уменьшенную вдвое копию настоящей Стены, копию, которая перемещается по стране вот уже лет пятнадцать; на неделю, с десятого ноября по шестнадцатое, ее при финансовой поддержке местного общества ветеранов развернули на площадке для парковки около питсфилдской гостиницы "Рамада-инн". С ним была все та же команда, что провела его через пытку китайской едой. Одного его никуда посылать не собирались, в этом они его уверяли всю дорогу: мы будем с тобой, ни на шаг не отойдем, круглые сутки, если надо, будем дежурить. Луи сказал даже, что потом Лес может пожить у него, что они с женой готовы сколько нужно о нем заботиться.

— Если тебе не захочется в одиночку возвращаться домой, так и не надо. Я бы не пытался на твоем месте. Лучше побудь со мной и Тесс. Тесси, она все это видела. Она понимает. Насчет Тесси не беспокойся. Когда я вернулся, Тесси была моим спасательным кругом. У меня одно было на уме: нечего меня учить, нечего мне указывать, что я должен делать. Заводился с пол-оборота. Да чего я, ты и так все знаешь. Но, слава богу, Тесси крепко меня поддержала. Надо будет — и тебя поддержит.

Луи братом ему стал настоящим, таким братом, каких поискать, но из-за того, что он клещом в него вцепился насчет поездки к Стене, из-за треклятого его фанатизма насчет этой поездки Лес крепился изо всех сил, чтобы не схватить поганца за горло и не придушить к чертям. Отвяжись, ты, хромой мексикашка! Хватит мне рассказывать, как десять лет не мог заставить себя поехать к этой Стене! Хватит мне рассказывать, как она твою жизнь, на хер, перевернула! Как ты помирился с Майки. Хватит мне про то, что Майки тебе у Стены говорил! Не желаю слушать!

И все-таки они отправились, все-таки едут, и опять Луи ему втолковывает:

— Мне что Майки сказал? Все в порядке, Луи, — и Кенни тебе то же самое скажет. Что все нормально, что ты можешь спокойно жить своей жизнью.

— Не могу я, Лу, — поворачивай назад.

— Не дергайся, Лес. Уже полдороги.

— Поворачивай свою долбаную тачку!

— Лес, ты не можешь знать, пока там не оказался. Вот окажешься там, — сказал Луи мягко, — и разберешься что к чему.

— Да не хочу я разбираться!

— Слушай, прими-ка еще пару таблеток. Ативан, валиум. Вреда не будет. Дай ему водички, Чет.

Когда приехали в Питсфилд и Луи поставил фургончик через дорогу от "Рамада-инн", вытащить Леса из машины было не так-то просто.

— Не дождетесь, — сказал он, и поэтому другие стояли снаружи и курили, давая Лесу еще немножко времени, чтобы ативан и валиум подействовали как следует. Луи все время на него поглядывал. Вокруг была тьма автобусов и полицейских машин. У Стены шла церемония, до них

доносился голос какого-то местного политика, говорившего в микрофон, — может быть, пятнадцатого за утро. "Люди, чьи имена начертаны на стене позади меня, — это ваши родные, друзья, соседи. Тут и христиане, и евреи, и мусульмане, и черные, и белые, и представители коренных народов — словом, американцы. Дав клятву защищать и охранять, они исполнили эту клятву ценою жизни. Никакими почестями, никакими церемониями не выразить сполна нашу благодарность и восхищение. Я хочу прочесть вам стихотворение, которое несколько недель тому назад было оставлено у этой стены в штате Огайо: 'Мы помним вас — улыбающихся, гордых, сильных, / вы сказали нам — не беспокойтесь, / мы помним прощальные объятия и поцелуи...'"

За этой речью — следующая: "...за моей спиной стена с именами, и я гляжу сейчас в толпу и вижу мужчин средних лет, таких же, как я, иные с медалями на груди и одеты отчасти по-военному, и в их глазах заметна легкая печаль — может быть, остаток того взгляда в дальнюю даль, что у всех у нас появился, когда мы были простой пехотой за десять тысяч миль от дома. Когда я вижу все это, я переношусь на тридцать лет назад. Постоянная Стена, которая стала образцом для этой передвижной, открылась в Вашингтоне 13 ноября 1982 года. Два с половиной года — вот сколько мне понадобилось времени, чтобы решиться приехать туда. Оглядываясь назад, я вижу, что не только я, но и многие другие ветераны Вьетнама намеренно воздерживались от поездки, зная, какие болезненные воспоминания она может пробудить. Но однажды вечером в Вашингтоне, когда солнце уже садилось, я все-таки отправился к Стене — отправился один. Жену и детей, с которыми мы возвращались из Диснейуорлда, я оставил в отеле и пошел постоять в одиночестве у самой высокой точки Стены — примерно там, где я стою сейчас. И подступили воспоминания. Вихрь переживаний захлестнул меня. Я вспомнил тех, с кем я рос, с кем играл в бейсбол, ребят из Питсфилда, чьи имена — на этой Стене. Я вспомнил нашего радиста Сола. Мы познакомились во Вьетнаме. Все стали говорить, кто откуда. Он из Массачусетса — я тоже. Из какой части Массачусетса? Он из Уэст-Спрингфилда, я отсюда, из Питсфилда. Сол погиб через месяц после того, как я уехал. Я вернулся домой в апреле, потом открываю местную газету — и вижу, что не суждено нам с Солом вместе выпить по стаканчику ни в Питсфилде, ни в Спрингфилде. Помню и других, с кем мы служили..."

Затем оркестр — по всей видимости, военный — заиграл "Боевой гимн зеленых беретов", и Луи решил, что лучше дождаться, пока церемония совсем кончится, и только потом выцарапывать Леса из машины. Луи рассчитывал, что они приедут уже после всех речей и всей рвущей душу музыки, но церемония, судя по всему, началась позже намеченного. Он посмотрел на часы — почти двенадцать, значит, все-таки конец уже скоро. И точно — вдруг они стали закругляться. Одинокий горн заиграл погребальный сигнал. Тоже ничего хорошего. Слушать этот горн здесь, среди пустых автобусов и полицейских машин, уже приятного мало, ну а горн плюс Стена, плюс все вокруг плачут — и говорить нечего. Горн, мучительный горн, последний ужасный возглас горна, и теперь уже оркестр играет "Боже, благослови Америку", и Луи слышит, как люди у Стены поют, — и минуту спустя все стихло.

В фургончике Лес все еще дрожал, но не озирался каждую секунду и лишь изредка поглядывал вверх, не летит ли что, поэтому Луи неуклюже залез обратно в машину и сел рядом, понимая, что вся жизнь Леса состо-

ит теперь из страха перед предстоящим и что нужно сейчас одно — привести его туда и покончить со всем этим.

— Я Свифта пошлю вперед, чтобы он нашел для тебя Кенни. Стена ведь длинная. Чем тебе смотреть на все эти имена, Свифт с ребятами пойдут и отыщут его тебе заранее. Там на панелях фамилии идут по датам, от самой ранней к самой поздней. Дата Кенни у нас есть, ты нам сказал, так что они быстро разберутся.

— Я не пойду.

Свифт вернулся, чуть приоткрыл дверцу и сказал Луи:

— Мы нашли Кенни.

— Ну что, Лестер, пора. Соберись. Сейчас мы туда пойдем. Это там, за отелем. Мы не одни там будем, будут и другие такие же. Сейчас прошла маленькая официальная церемония — она уже кончилась, об этом беспокоиться нечего. Никаких речей. Никакой показухи. Просто дети с родителями, дедушками и бабушками, и все будут делать одно и то же. Возлагать венки. Молиться. По большей части будут искать имена. Будут между собой разговаривать, как обычно люди разговаривают. Некоторые будут плакать. Больше ничего там нет. Просто чтоб ты знал, что там будет. Спешить не спеши, но пойти придется.

Было необычно тепло для ноября, и, подходя к Стене, они увидели, что многие мужчины в одних рубашках, а некоторые женщины в шортах. В середине ноября на многих солнечные очки, но в остальном все точно так же, как говорил Луи, — цветы, люди, дети, старики. Сама Передвижная стена не стала для Леса сюрпризом: он видел ее в журналах и на майках, а по телевизору однажды начали показывать настоящую большую вашингтонскую Стену — он, правда, тут же выключил. Через всю площадку для парковки протянулась знакомая череда панелей — вертикальное кладбище из темных стоячих плит, постепенно понижающихся к обоим краям и плотно заполненных белыми буковками имен. Каждому погибшему досталась примерно четверть длины мужского мизинца. Так удалось разместить их всех — все 58 209 человек, которые давно уже не ходят ни на прогулки, ни в кино, но обрели некое существование в виде надписей на Стене из темного алюминия, поддерживаемой сзади дощатым каркасом и стоящей в штате Массачусетс на площадке для парковки за отелем “Рамада-инн”.

Когда Свифт в первый раз приехал к Стене, он даже из автобуса не мог сам выйти — его вытащили и продолжали тащить, пока он не оказался с ней лицом к лицу, а потом он говорил: “Прямо слышно, как Стена плачет”. Когда Чет в первый раз приехал к Стене, он принялся бить по ней кулаками и орать: “Нет, не Билли здесь должен значиться! Не Билли! Здесь я должен быть!” Когда Росомаха в первый раз приехал к Стене, он всего-навсего протянул руку дотронуться — и оторвать не мог. Как примерзла. Врач из ветеранки сказал, какой-то там припадок. Когда Луи в первый раз приехал к Стене, он быстро понял, что к чему и как тут быть. “Ну вот, Майки, — сказал он вслух, — я и приехал. Я здесь”. На что Майки обычным своим голосом ответил: “Все в порядке, Лу. Все нормально”.

Лес знал все эти истории о том, что бывает по первому разу, и вот настал его первый раз, а он не чувствует ни хрена. Ничего не происходит. Все ему говорили, что станет лучше, что он помирится с этим наконец, что с каждым новым приездом будет все лучше и лучше, а потом мы тебя свозим в Вашингтон, там ты найдешь Кенни на большой Стене, и это

будет... Это, брат, будет настоящее духовное исцеление, грандиозная подпитка — и вот ничего не происходит. Пусто. Свифт слышал, как Стена плачет, — Лес ни хрена. Ни хрена не чувствует, ни хрена не слышит, ни хрена даже не помнит. Похоже на то, как он увидел двух детей своих мертвыми. После всей этой могучей подготовки — пусто. Так боялся перед сегодняшним, что слишком много всего почувствует, а не чувствует ничего, и это хуже. Значит, несмотря на всю эту возню, на Луи, на поездки в китайский ресторан, на лекарства и на трезвость, он правильно все время считал себя мертвым. В китайском ресторане он что-то чувствовал, и это ненадолго сбило его с толку. Но теперь-то он точно знает, что он мертвец: даже Кенни вспомнить не получается. Столько мучился этими воспоминаниями, а теперь не может к ним подключиться ни в какую.

Из-за того, что он в первый раз, другие толкутся рядом. Быстро по одному отходят отдать дань погибшим товарищам, но остальные постоянно дежурят около него и следят, а когда тот возвращается, он обязательно подходит к Лесу и обнимает его. Всем им кажется, что сейчас они ближе друг к другу, чем когда-либо, и, поскольку у Леса как раз такой оглушенный вид, как надо, всем им кажется, будто он переживает именно то, ради чего его привезли. Им и невдомек, что, когда он поднимает взгляд на какой-нибудь из трех приспущенных американских флагов или на черный флаг военнопленных и пропавших без вести, он думает не про Кенни и даже не про День ветеранов — он думает, в Питсфилде потому все флаги приспущены, что смерть Леса Фарли — наконец-то установленный факт. Официально подтверждено: мертв в общем и целом, не только душой. Другим он об этом не говорит. Чего ради? Правда есть правда, и он ее знает. А Луи ему шепчет: "Я тобой горжусь. Знал, что выдержишь. Знал, что так оно и будет". А Свифт ему: "Если тебе захочется об этом поговорить..."

Покой, который на него снизошел, они все ошибочно принимают за некое терапевтическое достижение. "Стена-целительница" — вот что написано на плакате перед отелем, и они дружно думают, что так оно и есть. Постояв у имени Кенни, они ходят с Лесом взад-вперед вдоль всей Стены. Повсюду люди ищут имена, и приятели дают Лестеру время воспринять все это как следует, понять хорошенько, где он находится и что делает. "На эту стену не лазают, радость моя", — спокойно говорит женщина, отводя назад мальчика, который хотел заглянуть за Стену у края, где она пониже. "Как фамилия? Какая у Стива фамилия?" — спрашивает жену пожилой мужчина у одной из панелей, внимательно отсчитывая надписи с помощью пальца. "Вот, — слышат они женский голос, обращенный к малышу, едва умеющему ходить; мать показывает пальцем на одно из имен. — Вот, родной мой. Это дядя Джонни". Она крестится. "Ты уверен, что двадцать восьмая строка?" — спрашивает женщина мужа. "Уверен". — "Должен быть здесь. Панель четвертая, строка двадцать восьмая. Я нашла его в Вашингтоне". — "Что-то не вижу. Опять придется считать". "Это мой двоюродный брат, — объясняет другая. — Стал там открывать бутылку кока-колы, а она взорвалась. Мина-ловушка. Ему девятнадцать было. В своем расположении. Упокой, Господи, его душу". Ветеран в кепке Американского легиона, стоя перед одной из панелей на коленях, помогает двум негритянкам, одетым в лучшие свои воскресные платья. "Как фамилия?" — спрашивает он у младшей. "Бейтс. Имя — Джеймс". — "Вот он", — показывает ветеран. "Вот он, мама", — говорит младшая.

Из-за того, что Стена вдвое меньше вашингтонской, многим приходится искать имена, стоя на коленях, и пожилым это нелегко. Повсюду цветы, завернутые в целлофан. На клочке бумаги, прикрепленном к Стене клейкой лентой, от руки написаны стихи. Луи наклоняется, читает: "Яркая звезда светит нам всегда..." У некоторых от слез покраснели глаза. Встречаются люди в черных ветеранских кепках, как у Луи, у некоторых к этим кепкам приколоты ленты кампаний. Упитанный мальчик лет десяти капризно повернулся к Стене спиной. "Не буду читать", — говорит он женщине. Сильно растатуированный мужчина в майке с эмблемой Первой пехотной дивизии обхватил себя руками и ходит как во сне, думая тяжелые думы. Луи останавливается и обнимает его. Все по очереди его обнимают. Даже Лесу пришлось. "Здесь двое моих школьных друзей, погибли в течение двух суток, — говорит кто-то поблизости. — Дома по ним справляли одни поминки. В Кингстонской средней школе это был траурный день". "Он первым из нас приехал во Вьетнам, — произносит другой голос, — и один не вернулся. Знаешь, что бы он, наверно, захотел здесь увидеть, под своим именем на этой Стене? То самое, о чем мечтал во Вьетнаме. Бутылку "Джека Дэниелса", пару приличных ботинок и волосы с женского лобка, запеченные в шоколадном пирожном".

Дальше — группа из четырех мужчин, стоят разговаривают. Лес, когда слышит, о чем, останавливается, и остальные тоже. Все четверо заметно седые, у одного из-под ветеранской кепки свисает седоватый конский хвостик.

— В механизированных там?

— Ага. Топаешь, топаешь, но все-таки знаешь, что рано или поздно вернешься к своей машине.

— Мы протопали жуть сколько. Все Центральное нагорье вдоль и поперек. Все эти проклятые горы.

— В механизированных еще такая штука, что в тыл тебя фиг отправят. Из одиннадцати месяцев я только в самом начале был в базовом лагере, и еще один раз послали на отдых. И все.

— Они по звуку гусениц знали, что мы едем, и знали, когда мы будем на месте, так что ракета нас уже ждала. У них была масса времени ее надраить и написать на ней твое имя.

Вдруг Луи встревает в этот разговор четверки незнакомцев.

— Мы здесь, — говорит он. — Мы *здесь*, правильно? Мы все здесь. Дайте я запишу ваши фамилии. Фамилии и адреса.

Он вынимает из заднего кармана блокнот и, опираясь на палку, записывает все данные, чтобы потом отправить им информационный бюллетень, который они с Тесси дважды в год печатают и рассылают за свой счет.

Потом они идут мимо пустых стульев. По пути к Стене они их не заметили — настолько были заняты тем, чтобы благополучно довести до нее Леса. На краю площадки для парковки стоят старые металлические серо-коричневые стулья, извлеченные, вероятно, из подвала какой-нибудь церкви и поставленные слегка изогнутыми рядами, как на выпускном акте или на церемонии награждения: в трех рядах по десяти, в одном одиннадцать. Видно было, что их устанавливали очень тщательно. К спинке каждого стула прикреплена белая карточка с именем и фамилией. Этакое каре из пустых стульев, и, чтобы никто на них не садился, вдоль каждой из четырех сторон — провисающее ограждение из переплетенных лент, черной и пурпурной.

Здесь же висит большой венок из гвоздик, и когда Луи, не пропускающий ничего, останавливается и считает цветы, их оказывается, как он и предполагал, сорок одна штука.

— Что это? — спрашивает Свифт.

— Это для тех из Питсфилда, кто погиб. Их пустые стулья, — объясняет Луи.

— Гадство, — говорит Свифт. — Сволочная бойня. Полез драться, так уж дерись до победы. Гадство и погань.

Но день для них еще не кончен. На тротуаре перед отелем "Рамадаинн" — какой-то долговязый в очках и в слишком теплом для такого дня пальто. С ним непорядок: орет на проходящих, тычет в них пальцем, брызжет слюной, и к нему из машины уже бегут полицейские, чтобы попытаться его урезонить, пока он кого-нибудь не ударил или не вытащил из-под пальто пистолет. В руке бутылка виски — кажется, больше ничего нет. *Кажется.*

— Все глядите на меня! — кричит он. — Я дерьмо, и кто на меня смотрит, тот знает, что я дерьмо! Никсон! Никсон! Вот кто меня таким сделал! Вот что меня таким сделало! Никсон и Вьетнам — он меня туда послал!

Серьезные-серьезные они садятся в фургончик, каждый со своим грузом воспоминаний, но что облегчает их ношу — это вид и поведение Леса, который, в отличие от того уличного крикуна, необычайно спокоен. Таким они никогда его не видели. Хотя они не очень-то склонны делиться трансцендентными переживаниями, присутствие Леса рождает в них чувства именно из этой сферы. Всю обратную дорогу каждый из них, кроме Леса, в наибольшей доступной ему мере испытывает таинственное ощущение причастности к жизни, к ее потоку.

Он выглядел спокойным, но это был камуфляж. Он решился. Орудием станет его пикап. Кончить всех, включая себя. У реки, где она поворачивает и дорога вместе с ней, лоб в лоб, по их полосе.

Он решился. Терять-то нечего, а приобретается все. Это не вопрос "если" — если то-то случится, или то-то увижу, или то-то подумаю, тогда сделаю, а если нет, то нет. Он решился уже так, что больше не думает. Он смертник, и все внутри этому под стать. Никаких слов. Никаких мыслей. Только видеть, слышать, ощущать на вкус, обонять — только злоба, взвинченность и отрешенность. Это уже не Вьетнам, а дальше.

(Год спустя, когда его опять насильно засунули в нортгемптонскую ветеранку, он пытается перевести для психолога на английский это чистое ощущение: ты нечто и в то же время ничто. Конфиденциально, впрочем. Она врач. Медицинская этика. Строго между ними. "О чем вы думали?" — "Не думал". — "О чем-нибудь должны были думать". — "Ни о чем". — "Когда сели в пикап?" — "Когда стемнело". — "После ужина?" — "Не ужинал". — "Когда поехали, как вы считали — зачем вы едете?" — "Я знал зачем". — "Вы знали, куда едете?" — "Прикончить его". — "Кого?" — "Еврея. Еврея-профессора". — "Почему вы собирались это сделать?" — "Хотел прикончить его". — "Потому что так было надо?" — "Потому что так было надо". — "А почему так было надо?" — "Из-за Кенни". — "Вы собирались его убить". — "Точно. И его, и ее, и себя". — "Планировали, значит". — "Не планировал". — "Вы знали, что делаете". — "Да". — "Но не планировали". — "Нет". — "Вы думали, что опять во Вьетнаме?" — "Не во Вьетнаме". — "Это у вас был возврат в прошлое?" — "Нет, не возврат". — "Вы думали, что вы в джунглях?" — "Не в джунглях". — "Вы рассчитывали, что

почувствуете себя лучше?" — "Не рассчитывал". — "Вы думали о детях? Это была расплата?" — "Не расплата". — "Вы уверены?" — "Не расплата". — "Вы сказали, что эта женщина убила ваших детей. Может быть, вы ей мстили?" — "Не мстил". — "Подавлены были?" — "Не был". — "Поехали убивать двоих людей и себя и при этом не чувствовали злости?" — "Нет, злости уже не было". — "Вы сели в пикап, знали, где они будут, и поехали им навстречу по той же полосе. И теперь хотите мне сказать, что не пытались их убить?" — "Я их не убивал". — "А кто?" — "Они сами себя".)

Просто ехал. Вот и все, что он делал. Планировал и не планировал. Знал и не знал. Встречные фары приблизились, потом исчезли. Не было столкновения? Ну и ладно. После того как они свернули с дороги, он переходит на правую полосу и едет дальше. Просто едет, и все. Наутро в гараже, готовясь с дорожной бригадой к выезду на место работы, он слышит новость. Другие уже знают.

Столкновения не было, поэтому, хоть ощущение некое и имеется, он, возвращаясь вечером домой и выходя из пикапа, не знает точно, что произошло. Большой был день. Одиннадцатое ноября. День ветеранов. Утром ездил с Луи к Стене, днем вернулся, вечером отправился всех убивать. Так убил или нет? Неизвестно, потому что столкновения не было, но все равно с терапевтической точки зрения ого-го какой день. Главным образом его вторая половина. Теперь-то он по-настоящему спокоен. Теперь Кенни может с ним разговаривать. Бок о бок с Кенни ведут огонь, оба длинными очередями, и тут Гектор, их командир, кричит: "Всё забираем и уматываем!" — и вдруг Кенни убило. Раз — и убило. На какой-то там высотке. Их атакуют, они отходят — и Кенни убило. Быть такого не может. Его дружок, тоже с фермы, только из Миссури, они хотели потом затеять одно на двоих молочное дело, в шесть лет лишился отца, в девять матери, жил потом у дяди, которого любил и про которого все время рассказывал, у зажиточного молочного фермера с большим хозяйством — сто восемьдесят коров, установка на двенадцать аппаратов, чтобы шесть коров доить одновременно, — и у Кенни снесло голову, и нет его больше.

Теперь Лес беседует с Кенни. Доказал, что не забыл друга. Кенни хотел, чтобы он это сделал, и он сделал. Теперь он знает: что он ни совершил — хоть ему и неизвестно точно что, — он совершил ради Кенни. Даже если кого-то убил и посадят, это не важно и не может быть важно, потому что он мертв. Вот он и отдал Кенни последний должок. Расчелся с ним. Теперь все у него с Кенни в порядке.

("Я еду к Стене, имя его там написано, но он молчит. Я жду, жду, жду, смотрю на него, он на меня. Ничего не слышу, ничего не чувствую, и мне стало понятно, что Кенни мной недоволен. Чего-то еще от меня хочет. Чего — я не знал. Но знал, что так он меня не оставит. Вот почему мне голоса не было слышно. Потому что у меня перед Кенни оставался должок. Теперь-то? Теперь все у меня с Кенни в порядке. Он может спокойно спать". — "Ну а вы? Вы и сейчас мертвы?" — "Слушайте, вы, вошь лобковая! Вам говорят, а вы не слышите! Я это сделал, потому что *уже* умер!")

Утром первое, что он слышит в гараже, — что она и еврей погибли в автомобильной аварии. Все решили, что она по дороге сосала его член и поэтому он потерял управление. Машина съехала с полотна, протаранила ограждение и носом вперед упала с берега на речную отмель. Еврей не справился с управлением.

Нет, он не связывает их смерть с тем, что делал вчера вечером. Вчера вечером он просто ехал по дороге в каком-то особом настроении.

Спрашивает:

— Что случилось? Кто ее убил?

— Еврей. Вез ее на машине и слетел с дороги.

— Наверно, она у него сосала.

— Да, говорят.

И больше ничего. Это тоже никак его не волнует. По-прежнему он ничего не ощущает. Только страдание его при нем. Почему он должен столько страдать из-за того, что с ним произошло, когда она сосет себе у старых евреев? Ему одному страдание, а она теперь вообще взяла и ушла от этого всего.

По крайней мере так ему представляется, когда он пьет утренний кофе в городском гараже.

Когда все встают, чтобы идти по машинам, Лес говорит:

— Похоже, субботними вечерами в том доме уже не будет музыка играть.

Хотя никто не понимает, что именно он имеет в виду, все, как порой бывает, разражаются смехом, и рабочий день начинается.

Если в объявлении будет сказано, что она живет в западном Массачусетсе, кто-нибудь из сослуживцев, получающих "Нью-Йорк ревью оф букс", может ее вычислить — особенно если она опишет свою внешность и сообщит о себе еще что-нибудь. Но если умолчать о своем местожительстве, она, вполне возможно, не получит ни единого отклика от живущих в радиусе ста, двухсот, даже трехсот миль. Просматривая объявления в "Нью-Йорк ревью", она видела, что все женщины, указавшие возраст, намного ее старше — кто на пятнадцать лет, а кто и на тридцать, — и поэтому как она может написать, сколько ей лет на самом деле, как она может верно себя изобразить, не возбудив подозрений? Что-то наверняка с ней не так, что-то важное она скрыла: с какой стати такая молодая и привлекательная, столь многого уже достигшая особа будет искать себе мужчину с помощью объявления в разделе знакомств? Если охарактеризовать себя как "страстную", похотливые субъекты поймут это как рассчитанную провокацию, сочтут ее по меньшей мере сластолюбивой, и в ее абонентский ящик в "Нью-Йорк ревью оф букс" посыплются письма от таких мужчин, с какими она не может иметь ничего общего. Но если изобразить себя синим чулком, изобразить такой, для которой секс значит намного меньше, чем преподавательская или научная деятельность, можно привлечь лишь нечто слишком застенчивое и пресное для женщины, способной, как она, быть очень даже темпераментной с заслуживающим того партнером. Если написать "миловидная", она приобщит себя к некой расплывчато-широкой категории женщин, но если напрямик назваться "красивой", если не убояться правды и употребить слово, которое не казалось преувеличением никому из ее возлюбленных, называвших ее éblouissante (например: "Éblouissante! Tu as un visage de chat"[1]), или же если ради точности описания, состоящего из каких-нибудь трех десятков слов, указать на подмеченное старшими сходство с Лесли Карон[2], о котором ее отец любил порассуждать, то никто, кроме явного мегаломана, не отважится к ней приблизиться или не примет ее всерьез как интеллектуальную личность. Если написать: "Прошу сопро-

1. Ослепительной... "Ты ослепительна! У тебя лицо кошки" (*франц.*).
2. Лесли Карон (р. 1931) — французская танцовщица и комическая актриса.

водить письмо фотоснимком" или попросту: "Приложите фото", может создаться неверное впечатление, что она ценит привлекательную внешность превыше ума, эрудиции и культуры, и к тому же снимки, которые она тогда получит, могут быть подретушированными, старыми или вообще поддельными. Упоминание о фотографии может даже отпугнуть именно тех мужчин, на чье внимание она надеялась. Но если не потребовать фото, может получиться так, что она отправится в Бостон, в Нью-Йорк, а то и дальше, чтобы оказаться за ресторанным столиком с кем-то совершенно неподходящим, даже отталкивающим. Причем отталкивающим не обязательно из-за одной внешности. А вдруг он лжец? Или шарлатан? Или психопат? А вдруг у него СПИД? А вдруг он жестокий человек, или порочный, или женатый, или нездоровый? Назовешь ему свое имя, место работы — и он станет приезжать, шпионить, навязываться. Но ведь нельзя же при первой встрече укрыться за вымышленным именем. Имея в виду подлинные, пылкие любовные отношения, а в будущем — брак и семью, разве может честный, откровенный человек начать со лжи о своем имени или о чем-то столь же существенном? А как быть с расой? Великодушно написать: "Раса значения не имеет"? Но она имеет значение. Хорошо бы не имела, не должна бы иметь и вполне могла бы не иметь, если бы не парижское фиаско в семнадцатилетнем возрасте, убедившее ее, что мужчина небелой расы — партнер непостижимый и потому неприемлемый.

Она была юна и предприимчива, она *не хотела* быть осмотрительной, а он был из Браззавиля, из хорошей семьи, сын члена Верховного суда — так, по крайней мере, он ей сказал. Студент, во Францию приехал на год по обмену. Звали его Доминик, и она подумала было, что у них духовное сродство, что их объединяет любовь к литературе. Познакомились на одной из лекций Милана Кундеры. Он с ней заговорил, и они вышли вместе, все еще под впечатлением от рассуждений Кундеры о "Госпоже Бовари", оба, как восторженно подумала Дельфина, больные "кундеризмом". Кундера был узаконен в их глазах своим статусом опального чешского писателя, пострадавшего за великое историческое дело освобождения Чехословакии. Игривость Кундеры вовсе не казалась им легковесной. Они были без ума от его "Книги смеха и забвения". Чем-то он завоевал их доверие. Восточноевропейскостью. Не знающим покоя интеллектуализмом. Тем, что все было для него как бы трудным. Обоих пленила скромность Кундеры — ничего общего с повадками суперзвезды, — и обоим пришелся по душе его этический кодекс мысли и страдания. Все эти интеллектуальные невзгоды. И потом внешность. На Дельфину произвел сильное впечатление его вид поэта-боксера, наружный знак жестких внутренних противостояний и коллизий.

Все, что было у них с Домиником после знакомства на лекции Кундеры, было чисто плотским переживанием — чем-то для нее совершенно новым. Имеющим отношение только к телу. Просто она очень много всего связала с лекцией Кундеры и ошибочно перенесла эту связь на Доминика, да и вообще все произошло у них слишком быстро. Тело, ничего кроме тела. Доминик не понимал, что ей нужен не только секс. Она хотела большего, чем быть куском мяса на вертеле, который поворачивают и чем-то поливают. А он делал именно это и говорил про это именно такими словами. Прочее, включая литературу, на самом деле не интересовало его вовсе. Расслабься и замолчи — вот и все, что ему было от нее нужно, и она почему-то не могла из этого высвободиться, а потом на-

ступил тот ужасный вечер, когда она пришла к нему и увидела, что он ждет ее не один, а с приятелем. Нет, это не предубеждение с ее стороны, просто она понимает, что в человеке своей расы так бы не ошиблась. Это была грубейшая из ее оплошностей, и она долго не могла оправиться. Излечил ее только роман с профессором, подарившим ей кольцо. Секс — да, конечно, восхитительный секс, но и метафизика тоже. Секс плюс метафизика с человеком серьезным и несуетным. Похожим на Кундеру. Это ей нужно и теперь.

Проблема, над которой она ломала голову, сидя за компьютером допоздна, единственная живая душа в этот час в Бартон-холле, не в силах уйти из своего служебного кабинета, не в силах выдержать очередную одинокую ночь дома, где нет даже кошки, состояла в необходимости дать — пусть завуалированно — читающему объявление понять, что небелым можно не беспокоиться. Но вдруг в Афине станет известно, что это она? Нет, это не пристало лицу, так стремительно поднимающемуся по ступеням здешней иерархии. Так что придется попросить фотографию, другого выхода нет, хоть она и понимает — понимает, потому что думает изо всех сил, старается ни в чем не проявить наивности, мобилизует, стремясь предугадать возможное поведение мужчины, весь свой недолгий женский опыт, — что извращенцу и садисту ничто не помешает прислать фотографию, вводящую в заблуждение *как раз* в отношении расы.

Нет, это вообще слишком рискованно и вдобавок ниже ее достоинства — с помощью газетного объявления искать такого мужчину, какого ей никогда не найти в Афине, среди преподавателей здешнего безнадежно провинциального колледжа. Ничего не получится, и не надо этого делать — и тем не менее, перебирая превратности и прямые опасности, с которыми может быть сопряжена подача такого объявления, перебирая причины, по которым ей, заведующей кафедрой языков и литературы, не следует показывать себя коллегам иначе, чем в качестве серьезного ученого и педагога, не следует выставлять на их обозрение иные, пусть даже и вполне невинные, вполне человеческие побуждения, не следует давать повода для принижающих ее намеренно ложных интерпретаций, — она делала именно это: послав по электронной почте всем преподавателям кафедры свои последние соображения о темах дипломных работ, пыталась сочинить объявление, которое, не выходя за рамки стандартных формулировок, употребляемых в разделе знакомств "Нью-Йорк ревью", отражало бы вместе с тем подлинный масштаб ее личности. Билась вот уже час с лишним и все никак не могла прийти к чему-то неунизительному, к такому, что можно послать в газету хотя бы под псевдонимом.

Зап. Масс. 29 лет миниатюрная пылкая парижанка, профессор, одинаково хорошо умеющая читать лекции о Мольере и

Беркширская филологиня, умная и красивая, одинаково хорошо умеющая готовить медальоны из телятины и заведовать кафедрой в колледже, хочет познакомиться

Серьезная ученая особа, незамужняя, белая, хочет познакомиться

Преподавательница, уроженка Парижа, незамужняя, белая, докторская степень в Йеле. Миниатюрная, эрудированная, любящая литературу, стильная брюнетка хочет познакомиться

Привлекательная, серьезная преподавательница колледжа хочет познакомиться

Француженка, незамужняя, доктор наук, гуманитарий, жительница Массачусетса, хочет познакомиться

И с кем же она хочет познакомиться? Да с кем угодно, лишь бы отличался от афинских мужчин — от молодых с их глупыми шуточками, от пожилых, похожих на тетушек, от смирных, благонравных семейных зануд, от профессиональных папаш, таких серьезных, таких бесполых. Надо же — гордятся тем, что берут на себя половину домашних дел. Отвратительно. Невыносимо. "Ну, мне пора, надо, знаете ли, жену освободить. Я столько же раз в день меняю подгузники, сколько она". Когда они начинают хвастаться своей готовностью помочь, ее передергивает. Помогай на здоровье, но не опускайся до такой пошлости, чтобы об этом говорить. Не выставляй свое домашнее равенство напоказ. Делай, что делаешь, и молчи. Это отвращение сильно отличает ее от коллег-преподавательниц, которые ценят таких мужчин за "чуткость". Захваливать собственную жену — это чуткость? "Ох, Сара Ли у меня такая-растакая. Она уже опубликовала четыре с половиной статьи..." Мистер Чуткинс поминает ее достижения к месту и не к месту. Мистер Чуткинс рассказ о выставке в Метрополитен-музее обязательно начнет так: "Сара Ли говорит..." Либо он захваливает жену, либо лишается дара речи. Молчит, точно язык проглотил, и выглядит все более угнетенным — подобного она ни в какой другой стране не видела! Если Сара Ли преподавательница и не может найти работу, а муж, предположим, едва держится на своей должности, он скорее добровольно ее лишится, чем позволит жене считать себя обиженной. Он даже и гордость некую будет чувствовать, если все повернется другой стороной и уже ему, а не ей придется сидеть дома. Любая француженка, даже феминистка, презирала бы такого мужчину. Француженки насколько умны, настолько же сексуальны, они подлинно независимы, а если он говорит больше, чем она, — подумаешь, важность. Из-за чего все эти яростные баталии? "Вы знаете, она в полном подчинении у мужа с его грубой силой". Француженке, чем больше она женщина, тем нужнее, чтобы муж умел проявить свою силу. Пять лет назад, собираясь в Афину, как она мечтала встретить замечательного мужчину, умеющего проявить свою силу! Увы и ах — преподаватели помоложе большей частью оказались людьми домашними и немужественными, интеллектуально усыпляющими, скучными. Оказались мужьями, захваливающими свою Сару Ли, — теми, кого в письмах в Париж она хлестко окрестила "подгузниками".

А еще здесь обретаются "головные уборы". Это страшно много о себе понимающие американские "писатели при колледже". В маленькой Афине перед ней, вероятно, предстали еще не худшие экземпляры, но даже и эти двое — далеко не подарок. Являют студентам свои светлые лики раз в неделю, женаты, заигрывают с ней, невыносимы. Когда мы вместе пообедаем, а, Дельфина? Очень жаль, думает она, но я не в восторге. Что ее пленило в Кундере, когда она слушала его лекции, — то, что он всегда держался немного в тени, даже чуть потрепанный вид иногда имел, великий писатель malgré lui[1]. По крайней мере так она его воспри-

1. Поневоле (*франц.*).

нимала, и этим он ей нравился. А эта американская писательская спесь ей мало сказать не нравится — она *нестерпима.* Смотрит на тебя и думает: ты с твоей французской самоуверенностью, французским шиком и элитарным французским образованием, конечно, европейская штучка, но ты-то училка, а я писатель — разница.

Эти писатели при колледже, насколько она может судить, тратят массу времени на обдумывание того, что им носить на голове. Да, оба они на этом сдвинуты, и поэт, и прозаик, отсюда и прозвище, которое она им дала в письмах. Один хочет выглядеть этаким Чарльзом Линдбергом[1] и всякий раз напяливает допотопный летный костюм со шлемом, и она не может понять, какая связь между летным костюмом и писательством, особенно когда ты при колледже. Она юмористически рассуждает об этом в письмах к парижским знакомым. Второй, делано-неряшливый, проводящий перед зеркалом, наверно, часов по восемь, чтобы выглядеть небрежно одетым, предпочитает шляпы с обвислыми полями. Тщеславен, ведет заумные речи, женат примерно в сто восемьдесят шестой раз и важничает невероятно. К нему она питает не столько ненависть, сколько презрение. И все же, сидя в беркширской глуши и мечтая о романе, она иногда испытывает по поводу "головных уборов" некие двойственные чувства и думает — не отнестись ли к ним серьезней хотя бы в эротическом плане? Но нет, после всего, что она написала о них в Париж, невозможно. Она уже потому не должна им уступать, что они пытаются говорить с ней на ее языке. Один из них, помоложе, чуть менее заносчивый, читал Батая, и поскольку он в какой-то мере знает Батая и кое-что прочел из Гегеля, она несколько раз куда-то с ним ходила, и никогда мужчина так быстро не терял в ее глазах всякое эротическое обаяние: с каждым словом, какое он произносил, из того лексикона, что она употребляла сама, не будучи теперь в этом лексиконе вполне уверенной, он все безнадежней вымарывал себя из ее жизни.

А что касается пожилых, что касается отставших от времени "гуманистов" в твидовых костюмах... На конференциях и в статьях она должна говорить и писать то, что принято в ее профессиональном кругу, и при этом она чувствует, что "гуманисты" являют собой ту самую часть ее собственного "я", которую, как ей порой кажется, она предает. И поэтому ее к ним тянет: они то, что они есть и чем всегда были, и она понимает, что они осуждают ее как предательницу. Ее лекции пользуются успехом, но они презирают этот успех как модное поветрие. На фоне этих пожилых гуманистов, этих традиционалистов, которые читали все на свете, этих педагогов-энтузиастов (так она сама о них думает) она иногда чувствует себя пустышкой. Над ее популярностью они смеются, ее ученость в грош не ставят. На преподавательских собраниях они без боязни говорят то, что говорят, и ты невольно думаешь — правильно делают; в классе они без стеснения говорят то, что у них на уме, и ты опять-таки думаешь — правильно делают. В результате она перед ними сникает. Не вполне уверенная в так называемой теории дискурса, которую она усвоила в Париже и Ньюхейвене, в душе она сникает. Но этот язык ей необходим, чтобы продвинуться. Одна в чужой стране — ей так много всего нужно, чтобы продвинуться! И поскольку все, что для этого требуется, так или иначе отдает компромиссом, она чувствует себя все менее и менее подлинной, и перевод ситуации в литературную плоскость, попытка

1. Чарльз Линдберг (1902—1974) — американский летчик.

представить происходящее некой "сделкой Фауста" если и помогает, то лишь чуть-чуть.

Временами ей даже кажется, что она предает Милана Кундеру, и тогда она молча, когда остается одна, вызывает мысленно его образ, говорит с ним и просит у него прощения. Кундера в своих лекциях стремился освободить мыслящих слушателей от власти французской переутонченности, повести разговор о романе как о чем-то имеющем отношение к людям и к "человеческой комедии"; он стремился увести студентов от соблазнительных ловушек структурализма и формализма, излечить их от одержимости современностью, очистить их головы от французской теории, которую им вдалбливали, и слушать его было для нее громадным облегчением, потому что, вопреки содержанию ее публикаций и характеру ее зарождающейся научной репутации, ей всегда трудно было воспринимать литературу сквозь призму теории. Так велик подчас был разрыв между тем, что ей нравилось, и тем, чем ей положено было восхищаться, так велик был разрыв между тем, как ей положено было говорить о том, чем положено было восхищаться, и тем, как она говорила сама с собой о писателях, которых ценила, что ощущение предательства по отношению к Кундере, не будучи, конечно, самой серьезной проблемой в ее жизни, все же иногда становилось похоже на стыд из-за измены отсутствующему возлюбленному, доброму и доверчивому.

Что странно, единственный мужчина, с которым она довольно часто проводит время, — это самый консервативный из здешних персонажей, шестидесятипятилетний разведенный Артур Зюсман, экономист из Бостонского университета, который в случае победы Форда на президентских выборах 1976 года должен был стать министром финансов. Склонный к полноте, немного скованный в движениях, он всегда ходит в костюме; терпеть не может "утвердительное действие"[1] и Клинтона, приезжает из Бостона раз в неделю, получает за это бешеные деньги и, как считается, определяет лицо Афины в университетском мире, наносит этот небольшой колледж на всеамериканскую карту. Здешние женщины уверены, что она спала с ним, спала по той простой причине, что он был некогда влиятелен. Они иногда видят, что он подсаживается к ней в столовой во время ланча. Входит — на лице написана тягостная скука, — потом замечает Дельфину, и на его вопрос, можно ли к ней присоединиться, она отвечает: "Какая щедрость с вашей стороны — осчастливить нас сегодня своим присутствием" или что-нибудь еще в этом же роде. Она над ним подтрунивает — в меру, конечно, — и ему это нравится. За ланчем у них происходит то, что она называет "настоящим разговором". При бюджетном избытке в тридцать девять миллиардов, говорит он ей, правительство ничего не возвращает налогоплательщику. Люди сами заработали деньги и сами должны их тратить, не бюрократам решать, что людям делать со своими деньгами. За ланчем он подробно ей объясняет, почему фонд социального страхования должен быть передан частным специалистам по инвестициям. Каждый, говорит он ей, должен инвестировать в свое будущее. С какой стати доверять правительству заботу о людях, если фонд социального страхования приносит вам такой-то доход, тогда как всякий, кто вкладывает деньги в ценные бумаги, получает за это же время доход как минимум вдвое больший? Суть его доводов — всегда личный суверени-

1. Комплекс мер, дающих при приеме на работу или учебу определенные преимущества группам или меньшинствам, традиционно испытывавшим дискриминацию.

тет, личная свобода, но он не понимает, осмеливается возражать Дельфина несостоявшемуся министру финансов, что у большинства людей нет таких денег, чтобы выбирать, и нет таких знаний, чтобы принимать осознанные решения. Рынок для них — закрытая зона. Его модель, объясняет она ему, основана на идее радикальной личной свободы, которая сводится в его представлении к радикальной свободе рыночного игрока. Бюджетный избыток и социальное страхование — вот две темы, которые не дают ему покоя, и они говорят об этом каждый раз. Похоже, он ненавидит Клинтона больше всего за то, что он предложил демократические версии всего, что хочет Зюсман. "Слава богу, — говорит он ей, — что там уже нет этого мальчишки Боба Райха. Он бы заставил Клинтона тратить миллиарды на обучение людей новым профессиям в таких областях, где для них нет рабочих мест. Хорошо, что его поперли из кабинета. По крайней мере там есть Боб Рубин, по крайней мере один нормальный человек, который понимает, что к чему. По крайней мере они с Аланом сохранили процентные ставки. По крайней мере они с Аланом не стали мешать экономическому оживлению..."

Единственное, что ей в нем нравится, — это хорошее, по-настоящему хорошее знание Маркса и Энгельса. Да, он любит поговорить на экономические темы ворчливым тоном посвященного, но наряду с этим он прекрасно знаком с их "Немецкой идеологией" — произведением, которое она любит, которое всегда ее восхищало. Когда он приглашает ее ужинать в "Грейт Баррингтон", все принимает более романтический и вместе с тем более интеллектуальный оборот, чем в столовой колледжа. За ужином ему хочется говорить с ней по-французски. Одна его пассия в давние времена была парижанка, и он пускается в бесконечные воспоминания об этой женщине. Дельфина, однако, слушая об этом его парижском романе и о других его многочисленных эротических привязанностях до и после, не раскрывает завороженно рот. Он беспрерывно хвалится перед ней своими победами, хвалится в очень учтивой манере, которую, впрочем, она немного погодя уже отнюдь не находит учтивой. Невыносимо, что он считает свои рассказы о любовных победах неотразимым средством воздействия на нее, но она с этим мирится — немного скучает, конечно, но в целом рада возможности поужинать с умным, уверенным в себе, начитанным и светским человеком. Когда за ужином он берет ее за руку, она тактично дает ему понять, что если он рассчитывает с ней переспать, то он сошел с ума. На площадке для парковки он легонько обнимает ее пониже спины и притягивает к себе. Говорит: "Я же не могу вот так раз за разом с вами встречаться и хоть немного не воспылать. Приглашать такую красивую женщину и разговаривать с ней, разговаривать, разговаривать — и ничего больше. Не могу". — "У нас во Франции есть пословица, — говорит она ему, — и гласит она..." — "Что же?" — спрашивает он, надеясь на худой конец разжиться остроумным высказыванием. Она улыбается: "Не знаю. Может, потом придет в голову" — и мягко высвобождается из его неожиданно крепких объятий. Она ведет себя с ним мягко, потому что это действует и потому что она знает: он думает, что виной всему возраст, тогда как в действительности, объясняет она ему в машине на обратном пути, возраст тут ни при чем. Все дело в складе ума, что куда менее банально. "Все дело в том, кто я такая", — говорит она ему, и если не что другое, то хоть это отваживает его месяца на два-три — потом он опять начинает высматривать ее в столовой. Иногда звонит ей поздно вечером или рано утром. Из своей посте-

ли в Бэк-Бэе хочет говорить с ней про секс. Она отвечает, что предпочитает про Маркса, и консервативному экономисту этого достаточно, чтобы закрыть тему. И тем не менее ее недоброжелательницы уверены, что она спала с ним, потому что он такой влиятельный. То, что она, сколь бы тусклой и одинокой ни была ее жизнь, ничуть не заинтересована в статусе одного из мелких любовных трофеев Артура Зюсмана, в их представления не укладывается. Помимо прочего, до нее дошло, что одна из них назвала ее "устаревшим явлением" и пародией на Симону де Бовуар. Подразумевается, видимо, что Бовуар продалась Сартру — очень умная особа, но под конец его рабыня. Для этих женщин, видящих ее время от времени за ланчем с Артуром Зюсманом и делающих совершенно неверные выводы, все на свете принципиальный вопрос, все на свете идеологическая установка, все на свете предательство и продажность. Бовуар продалась, Дельфина продалась, и так далее, и так далее. Что-то в Дельфине заставляет их физиономии зеленеть.

И это для нее еще одна проблема. Она не хочет ссориться с этими женщинами. Но философски она от них не менее далека, чем от мужчин. Эти женщины — гораздо более феминистки, в американском смысле, чем она, хотя говорить им этого не стоит. Не стоит, потому что они и без того не слишком дружелюбно настроены, смотрят на нее так, будто видят ее насквозь, видят ее тайные мотивы и цели. Она привлекательна, молода, стройна, непринужденно-стильна, она быстро пошла в гору, она уже приобретает репутацию за пределами колледжа и при этом, как и ее парижские знакомые, не пользуется здешними феминистскими клише — теми самыми, с помощью которых "подгузники" добровольно лишили себя всякой мужественности. Она взяла на вооружение их риторику лишь в анонимном письме Коулмену Силку, и это не просто случайность, не только следствие ее взвинченности, но, если хотите знать, еще и расчет, маскировка. Вообще-то она не менее эмансипирована, чем эти афинские феминистки, а может быть, и более: она уехала из своей страны, отважно оставила Францию, преподает, печатается, хочет чего-то добиться; она здесь одна, и по-другому ей просто нельзя. Ни поддержки, ни дома, ни родины. Dépaysée. Чужая. Совершенно свободна, но часто ощущает себя dépaysée до полной потерянности. Амбиции? Она более амбициозна, чем все эти непримиримые феминистки, вместе взятые, но, поскольку на нее заглядываются мужчины, в том числе такая знаменитость, как Артур Зюсман, поскольку развлечения ради она может надеть с тугими джинсами старомодный жакет фирмы "Шанель", а летом платье на бретельках, поскольку ей, что бы ни говорили защитники животных, нравятся кашемир и кожа, женщины колледжа ее не одобряют. Она ни единым намеком не выдает своего отношения к *их* кошмарной одежде — так по какому праву они судачат о "рецидивах прошлого" в том, что она носит? Она прекрасно знает, что́ они о ней говорят. То же самое, что говорят о ней мужчины, которых она поневоле уважает, — что она шарлатанка и выскочка, — и от этого еще больнее. Говорят: "Она морочит студентам головы". Говорят: "Как они ее не раскусят?" Говорят: "Неужели они не видят, что это старый добрый французский мужской шовинизм в женском варианте?" Говорят, что ее назначили заведующей кафедрой faute de mieux[1]. Издеваются над ее словечками. "Это ее интертекстуальный шарм работает, что же еще. Ее

1. За неимением лучшего (*франц.*).

близкие отношения с феноменологией. Она у нас, ха-ха, феноменология!" Она знает, как они прохаживаются на ее счет, и вместе с тем помнит, что во Франции и Йеле *жила* этими словечками; чтобы быть хорошим литературным критиком, она *должна* владеть этим лексиконом. Ей *необходимо* знать про интертекстуальность. И поэтому она шарлатанка? Ничего подобного! Это значит, что она не поддается классификации. В иных кругах здесь увидели бы ее мистическое обаяние! Но попробуй хоть на вот столько не поддаваться классификации в этой захолустной дыре — и тебя со света сживут. Даже Артура Зюсмана она этим раздражает. Какого черта она не соглашается хотя бы на секс по телефону? Здесь, если ты не укладываешься в схему, пеняй на себя. Что не поддаваться классификации — часть ее "романа воспитания", что она всегда на этом-то и *росла*, никто в Афине понять не в состоянии.

Особенно досаждает ей женская троица — профессор философии, профессор социологии и профессор истории. Просто на дух ее не переносят потому единственно, что она не такая, как они, тупая зубрила. Из того, что она позволяет себе быть шикарной, они делают вывод, что она мало читает научные журналы. Поскольку их американские понятия о женской независимости отличаются от ее французских, они презирают ее за мнимый флирт с влиятельными мужчинами. Что она, спрашивается, такого сделала? Почему такое недоверие? Почему нельзя относиться к мужчинам так хорошо, как относится она? Да, она приняла приглашение Артура Зюсмана в "Грейт Баррингтон". Значит ли это, что она не считает себя равной ему интеллектуально? Для нее вопроса даже такого нет. Конечно, они равны. Его общество ей нисколько не льстит — просто ей хотелось услышать, что он думает о "Немецкой идеологии". И разве она до этого не подсела во время ланча к ним, к этой самой троице, и разве они не свысока с ней разговаривали? Само собой, они не снизошли до того, чтобы взглянуть на ее работы. Ни одна из них, конечно, ни слова ее не прочла. Тут личный фактор, и только. Якобы она со своей "легковесной французской аурой" пытается обаять всех ведущих профессоров мужского пола. Тем не менее ее очень даже тянет наладить с ними отношения, сказать им напрямик, что ей *не нравится* французская аура — иначе не уехала бы из Франции! А что касается ведущих профессоров мужского пола, она ими не владеет — она никем не владеет. А то почему стала бы засиживаться до десяти вечера одна-одинешенька в своем кабинете в Бартон-холле? Чуть ли не каждую неделю она безуспешно пытается хоть как-то сблизиться с этой троицей, которая приводит ее в отчаяние, на которую не действуют никакие чары, никакие подходы, никакие уловки. Les Trois Grâces — Три грации — так она их называет в письмах в Париж, порой зловредно переделывая grâces в grasses. Три жирные тетки. На некоторые ужины (правду сказать, малопривлекательные для Дельфины) их зовут неизменно. Когда приезжает какая-нибудь крупная феминистская интеллектуальная шишка, Дельфине все-таки хочется получить приглашение, но она ни разу его не получила. Послушать лекцию — милости просим, но на ужин и думать не моги. А инфернальная троица, конечно, всегда на первом плане — они-то и зазывают сюда шишек.

Половинчато взбунтовавшаяся против французского начала в себе (но и одержимая этим самым французским началом), добровольно покинувшая родину (если не себя самое), так жестоко раненная неодобрением "трех жирных теток", что без конца вычисляет, как подняться в их

глазах, не затуманивая вконец своего самовосприятия и не создавая совершенно ложного впечатления о своих природных наклонностях, временами полностью теряющая устойчивость из-за постыдного несоответствия между тем, как она должна смотреть на литературу, чтобы преуспевать профессионально, и тем, почему она стала заниматься литературой, Дельфина, к своему изумлению, оказалась в Америке чуть не в полной изоляции. Отчуждена, изолирована, одинока, в смятении насчет всего жизненно важного, в отчаянном состоянии сбитой с толку устремленности, в окружении укоризненных сил, указывающих на нее как на врага. И все потому, что отважно отправилась на поиски независимого существования. Все потому, что дерзнула отвергнуть диктуемый извне взгляд на себя самое. Ей теперь казалось, что восхитительная в целом попытка *сотворить* себя привела к тому, что она себя разрушила. Жизнь должна быть очень подлой в основе своей, раз сделала с ней такое. Очень подлой и очень мстительной, назначающей людям судьбы не по законам логики, а по враждебной, извращенной прихоти. Только посмей дать волю своей жизненной энергии — и окажешься все равно что в лапах у безжалостного преступника. Говоришь себе: поеду в Америку и стану автором собственного бытия, буду строить себя за пределами семейного правоверия, семейных данностей, буду бороться с этими данностями, доведу вдохновенную субъективность до предела, индивидуализм — до совершенства... и ввязываешься в драму, над которой не властна. В драму, автор которой — не ты. Стремясь стать хозяйкой положения, становишься вместо этого его рабой.

Почему это так немыслимо трудно — просто знать, как нам быть?

Изоляция Дельфины была бы полной, если бы не секретарша кафедры Марго Луцци — тихая как мышь разведенная женщина тридцати с чем-то лет, тоже одинокая, великолепная работница, страшно застенчивая, которая готова сделать для Дельфины все, которая иногда в перерыв приходит к Дельфине в кабинет съесть сандвич и единственная из женщин Афины с ней дружит. Ну и еще эти писатели при колледже. Им, похоже, нравится в ней именно то, чего другие терпеть не могут. Но, увы, *она* их не переносит. Как она умудрилась попасть в эту *ничейную зону*? И как теперь выбираться? Изображая свои компромиссы сделкой Фауста, она мало что приобрела — и не больше пользы приносят попытки представлять себе пребывание в ничейной зоне кундеровской "внутренней эмиграцией".

"Хочет познакомиться". Ладно, пусть будет "хочет познакомиться". Как студенты говорят — зажмурься и вперед. Молодая, незамужняя, миниатюрная, женственная, привлекательная парижанка, преподавательница и ученый-гуманитарий французского происхождения с отличными профессиональными перспективами, защитившая диссертацию в Йеле и живущая в Массачусетсе, хочет... Выкладывай, выкладывай. Не прячься от правды о том, кто ты есть и чего ты хочешь. Ошеломляющая, блестящая, сверхсексуальная женщина хочет познакомиться... хочет познакомиться... с кем же именно, если отбросить все недомолвки?

Пальцы лихорадочно забегали по клавишам.

Со зрелым мужчиной, которому не занимать характера. Разведенным или вдовцом. Остроумным. Живым. Дерзким. Прямым. Хорошо образованным. Насмешливым. Обаятельным. Знающим и любящим классическую литературу. Умеющим говорить и предпочитающим говорить

открыто. Подтянутым. Рост – пять футов восемь или пять футов девять. Тип лица – средиземноморский. Глаза – лучше всего зеленые. Возраст не важен. Но интеллект – обязателен. Седеющие волосы приемлемы, даже желательны.

Тогда-то и только тогда мифический мужчина, которого она изо всех сил приманивала на экран, обрел черты знакомого ей человека. Она резко бросила печатать. Это был только эксперимент для того, чтобы преодолеть затор, убрать некоторые внутренние ограничители перед новой попыткой. Перед попыткой сочинить объявление, не выхолощенное излишней осмотрительностью. И тем не менее она была ошеломлена результатом, тем, *кто* получился в результате, ошеломлена и удручена, и хотелось ей теперь одного – сию же секунду стереть эти полсотни с чем-то бесполезных слов. И, думая о том, сколь многое, включая стыд, побуждает принять поражение как благо и оставить надежду на выход из ничейной зоны с помощью такой сомнительной авантюры... Думая о том, что, останься она во Франции, ей не нужно было бы давать это объявление, ей вообще ни для чего не нужны были бы объявления, и меньше всего они нужны были бы для поиска мужчины... Думая о том, что переезд в Америку был самым храбрым из ее поступков, но насколько храбрым – этого она тогда совершенно себе не представляла. Это был очередной ее амбициозный шаг, не грубо-амбициозный, а благородно-амбициозный, целью его была независимость, и вот она расхлебывает последствия. Что было? Честолюбие, предприимчивость, романтика. Романтика отъезда. Превосходство над теми, кого покидаешь. Покидаешь, чтобы в один прекрасный день вернуться домой, добившись успеха, – вернуться с победой. Покидаешь, чтобы когда-нибудь вернуться домой и услышать – что я хотела от них услышать? "Да, она пробилась. Сдюжила-таки. Раз такое смогла – значит, ей все по плечу. Уехала двадцатилетней девчушкой, вес – сорок семь кило, рост – сто пятьдесят семь сантиметров, совершенно одна, имя ее там ничего ни для кого не значило – и смогла. Пробилась. Никто ее там не знал. Сделала себе имя в Америке". И от кого же я хотела это услышать? И зачем мне нужно от них это услышать? "Наша американская дочь..." Я хотела, чтобы они сказали, чтобы им *пришлось* сказать: "Она сама сумела пробиться в Америке". Потому что во Франции я не смогла бы преуспеть, по-настоящему преуспеть, не смогла бы выйти из тени матери – из тени не только ее достижений, но, что более важно, еще и ее семьи, из тени Валенкуров, получивших имя от поместья, дарованного им в тринадцатом веке королем Людовиком Святым, и до сих пор верных тем семейным идеалам, что были в ходу в тринадцатом веке. Как Дельфина их ненавидит – все эти семьи, всю эту чистокровную и древнюю провинциальную знать! Все одинаково выглядят, одинаково думают, разделяют одни и те же затхлые ценности, придерживаются одной и той же затхлой религии. Сколь бы ни были они амбициозны, сколько бы надежд ни возлагали на своих детей, они неизменно толкают детей к одному и тому же – к христианскому добросердечию, самоотдаче, дисциплине, вере, почтению – почтению не к индивидуальности (к ногтю ее, эту индивидуальность!), а к семейным традициям. Превыше ума, творчества, внутреннего развития самостоятельной личности, превыше *всего* – дурацкие традиции Валенкуров! Мать Дельфины – вот кто воплощал в себе эти ценности, вот кто навязывал их всем домашним, вот кто с удовольствием на всю жизнь, от пеленок до могилы, приковал бы к этим ценностям

единственную дочь, не будь эта дочь достаточно сильной, чтобы с юных лет устремляться от матери на волю — чем дальше, тем лучше. У ее сверстников-Валенкуров наблюдалось два варианта поведения: либо абсолютное послушание, либо грубый и невразумительный бунт; успех Дельфины не должен был иметь ничего общего ни с тем, ни с другим. Из среды, от которой мало кому удавалось хоть в какой-то мере освободиться, Дельфина совершила единственный в своем роде побег. Самим переездом в Америку, сначала в Йель, потом в Афину, она фактически *превзошла* мать, которая в молодости и думать не могла о том, чтобы покинуть Францию. Без Дельфининого отца и его денег Катрин де Валенкур так и сидела бы в своей Пикардии, даже в Париж не мечтала бы перебраться. Потому что кем бы она была вне Пикардии, вне тамошней семейной твердыни? Что бы значило в Париже ее *имя*? Я уехала, потому что хотела успеха, которого никто не смог бы принизить, успеха, не имеющего с ними ничего общего, моего собственного успеха... Думая, что не может в Америке сойтись с мужчиной не потому, что действительно не может, а потому, что не понимает этих мужчин и никогда не поймет, а все оттого, что ей здесь языка не хватает. При всей ее гордости своим английским, при всем ее *владении* им — не хватает! Мне только кажется, что я их понимаю, я действительно понимаю то, что они говорят, но я не понимаю того, чего они *не* говорят, что подразумевают, на что намекают. В отличие от Парижа, где она улавливала каждый нюанс, здесь у нее идет в дело лишь пятьдесят процентов интеллекта. Какая польза здесь от моего ума, если я приезжая и поэтому все равно что глухонемая?.. Думая, что из всего английского языка — нет, из всего американского — владеет только университетским американским, который и американским-то трудно назвать, и поэтому не может *внедриться* и никогда не сможет, поэтому у нее никогда не будет мужчины, эта страна никогда не станет ее домом, ее интуитивные догадки всегда будут ложны, уютная жизнь интеллектуала, которую она студенткой вела в Париже, никогда не вернется и до конца дней она обречена понимать Америку на одиннадцать процентов, а ее мужчин на ноль процентов... Думая, что все ее интеллектуальные преимущества уничтожаются тем, что она dépaysée... Думая, что утратила боковое зрение, что видит лишь находящееся прямо перед ней, что это не зрение женщины ее уровня, ее ума, а упрощенное, чисто фронтальное зрение иммигранта, перемещенного лица, *не туда* помещенного лица... Думая: почему я уехала? Из-за материнской тени? И поэтому отказаться от всего, что было моим, от всего родного, от всего, что помогало мне быть тонко чувствующим существом, а не тем комком смущения и невнятицы, каким я стала? Отказаться от всего, что любила? Так поступают, когда в стране невозможно жить, когда у власти фашисты, но не из-за какой-то там материнской тени... Думая: почему я уехала, что я наделала, это просто немыслимо! Мои друзья, наши разговоры, мой город, мужчины, все парижские интеллектуальные мужчины. Уверенные в себе мужчины, с которыми было о чем поговорить. Зрелые мужчины, которые могли меня понять. Надежные, страстные, мужественные мужчины. Сильные мужчины не робкого десятка. Мужчины в своем праве, мужчины без всяких оговорок и скидок... Думая: почему никто меня не остановил, почему никто мне ничего не сказал? И десяти лет не прошло, как уехала, а уже кажется, что две жизни минимум... Думая, что она по-прежнему маленькая дочка Катрин де Валенкур-Ру, что в этом она не изменилась ни на йоту... Думая, что здешним француженка

в Афине, возможно, и кажется экзотическим существом, но в глазах матери она ничего необычайного этим не приобрела и никогда не приобретет... Думая: да, именно поэтому я уехала, именно для того, чтобы выбраться из навеки неподвижной, всеомрачающей материнской тени, и она же, эта тень, мешает теперь вернуться, принуждает оставаться нигде, в ничейной зоне, ни здесь, ни там... Думая, что под экзотическим французским флером для себя она ровно то же, чем была всегда, что экзотический французский флер мало того что не принес ей в Америке никаких выгод, он сделал ее несчастнейшей из несчастных, никем не понимаемой иностранкой... Думая, что это хуже, чем ничейная зона, — что это *самоизгнание*, мучительное оглупляющее самоизгнание из семейного лона... Думая обо всем этом, Дельфина упускает из виду, что раньше, в самом начале, машинально снабдила свое объявление не электронным адресом "Нью-Йорк ревью оф букс", а адресами тех, кому послала предыдущее письмо, кому она посылает большинство писем, — адресами десяти преподавателей кафедры языков и литературы Афина-колледжа. Это ее первая ошибка, после которой в своем рассеянном, взвинченном, эмоционально измотанном состоянии Дельфина совершает вторую: вместо команды "удалить" дает команду "послать". И письмо, которым она призывает к себе некую копию Коулмена Силка, бесповоротно уходит — уходит не в отдел объявлений "Нью-Йорк ревью оф букс", а всем преподавателям ее кафедры.

Во втором часу ночи — телефон. Она давно уже убежала из колледжа к себе в квартиру — убежала, думая только о паспорте, о том, что надо немедленно лететь прочь из этой страны, — и ее обычное время отхода ко сну давно миновало, когда вдруг позвонил телефон и она услышала новость. Из-за того, что объявление было послано не по адресу, она пришла в такое отчаяние, что все еще металась по квартире, рвала на себе волосы, строила себе перед зеркалом издевательские рожи, плакала, облокотясь на кухонный стол и закрыв лицо руками, а потом, точно вдруг разбуженная — ведь ее вполне защищенная до сей поры взрослая жизнь и правда была неким сном, — вскакивала с криком: "Нет, этого не может быть! Я этого не сделала!" Но кто, если не она? В прошлом ей не раз встречались люди, которым, казалось, только и надо было, что растоптать ее, избавиться от нее как от досадной помехи, бессердечные люди, от которых она рано научилась жестко обороняться. Но в эту ночь винить было некого: сокрушительный удар нанесла ее собственная рука.

Она исступленно пыталась найти какой-то выход, какой-то способ предотвратить худшее, но в ее отчаянии ей рисовалось только самое катастрофическое развитие событий: вот проходит еще несколько часов, вот наступает утро, вот распахиваются двери Бартон-холла, вот ее коллеги по кафедре входят в свои кабинеты, вот они включают компьютеры — и что же появляется на экране? Вкусное дополнение к их утреннему кофе: поступивший по электронной почте запрос на двойника Коулмена Силка, запрос, который она не собиралась никому посылать. Все преподаватели кафедры прочтут его раз, другой, третий, а потом примутся рассылать по всему колледжу, доводя до сведения каждого ассистента, профессора, администратора, секретаря и студента.

Прочтут все, кто посещает ее лекции. Прочтет ее секретарша. Сегодня же прочтет ректор колледжа, как и члены попечительского совета. И даже если она скажет, что это была шутка, с какой стати попечитель-

ский совет позволит такой шутнице оставаться в Афине? Особенно после того как шутка появится в студенческой газете. А она появится. И в местной газете тоже. А чуть погодя — и во *французских* газетах.

Для матери какое унижение! И для отца! Какой удар по нему! И как рада будет ее крушению вся валенкуровская родня, все эти конформисты! Все нелепо-консервативные дядюшки, все нелепо-благочестивые тетушки, дружно хранящие в неприкосновенности узкий мирок прошлого, — как они будут радоваться, важно сидя бок о бок на церковной скамье! Но, предположим, она скажет, что просто экспериментировала с объявлением в газету как с литературной формой, просто сидела в своем кабинете одна и отвлеченно играла с этим текстом, как с неким... утилитаристским хокку. Нет, без толку. Нелепо, надуманно. *Ничто* не поможет. Мать, отец, братья, друзья, учителя — все узна́ют. *Йель!* Скандальная новость доберется до всех, с кем она когда-либо была знакома, и позор будет сопутствовать ей всю жизнь. Куда, собственно, она может убежать со своим паспортом? В Монреаль? На Мартинику? И как там зарабатывать на жизнь? Нет, даже в самой дальней франкоязычной дали ей не позволят преподавать, если будут знать про это объявление. Чистая, достойная профессиональная жизнь, ради которой она строила все эти планы, ради которой трудилась как каторжница, незапятнанная, безупречная жизнь духа... Может быть, позвонить Артуру Зюсману? Артур найдет какой-нибудь выход. Он может взять трубку и поговорить с кем угодно. Он человек жесткий и умелый, он пользуется влиянием, в делах мира сего он разбирается лучше, чем все прочие американцы, которых она знает. Таких людей, как Артур, сколь бы честны они ни были, не сковывает необходимость всякий раз говорить правду. Он придумает, как все объяснить. Он подскажет, что делать. Но почему, узнав от нее о случившемся, он захочет ей помогать? Коулмен Силк нравится ей больше, чем он, Артур Зюсман, — вот что он подумает. Самолюбие все за него решит и приведет его к глупейшему заключению. Он подумает то же, что подумают остальные: что она сохнет по Коулмену Силку, что о нем, о нем она мечтает, а не об Артуре Зюсмане, не говоря уже о "подгузниках" и о "головных уборах". Вообразив, что она влюбилась в Коулмена Силка, он в сердцах бросит трубку и больше знать ее не захочет.

Еще раз все обдумать. Вновь посмотреть на случившееся. Постараться спокойно оценить положение и найти разумный выход. Она не хотела посылать этот текст. Написать написала, но отправлять такое — этого она не хотела, да и не отправляла она, *само* ушло. Точно так же, как анонимное письмо: не хотела его отправлять, повезла в Нью-Йорк, не имея намерения отправлять вообще, и тем не менее письмо *ушло*. Но теперешнее во много раз хуже. Теперь она в таком отчаянии, что в двадцать минут второго ночи единственный разумный выход, какой приходит ей в голову, — это позвонить Артуру Зюсману, и пусть думает что хочет. Артур должен ей помочь. Он должен ей подсказать, как выпутаться. И вот ровно в двадцать минут второго, когда она уже взялась за трубку, чтобы набрать номер Артура Зюсмана, телефон вдруг начинает звонить. Артур *сам* хочет с ней поговорить!

Но это ее секретарша. "Он погиб", — говорит Марго и при этом так горько плачет, что Дельфина не уверена, правильно ли расслышала. "Марго, что с вами?" — "Он погиб!" — "Кто?" — "Я только что узнала. Дельфина. Это ужас. Я вам позвонила, я должна была, я должна была вам сказать. Это ужасная, ужасная новость. Сейчас ночь, я знаю, что сейчас

ночь...” — “Боже мой! Артур!” — кричит Дельфина. “Декан Силк!” — говорит Марго. “Декан Силк погиб?” — “Ужасное несчастье. Дикая катастрофа”. — “Какая катастрофа? Марго, что случилось? Где? Медленней. Начните с начала. Что вы узнали?” — “Упал в реку. С ним была женщина. В его машине. Вот какая катастрофа”. Больше Марго не в состоянии сказать ничего связного, а Дельфина так потрясена, что впоследствии не помнила, как бросила трубку, как, обливаясь слезами, кинулась на кровать, как лежала на ней, завывая и повторяя его имя.

Это были худшие часы в ее жизни.

Из-за объявления они могут подумать, что он ей нравился? Что она *любила* его? Но что бы они подумали, если бы увидели ее сейчас, причитающую, как самая настоящая вдова? Ей нельзя закрывать глаза, потому что, стоит это сделать, как она видит *его* глаза, зеленые, внимательные, — и они лопаются. Она видит, как машина слетает с дороги, как его голова выстреливает вперед, и через секунду глаза лопаются. “Нет! Нет!” Но едва она поднимает веки, чтобы не видеть его глаз, как перед ней возникает то, что она сделала, и жуткий фарс, которого не миновать. Открытыми глазами видит свой позор, закрытыми — его погибель, и так всю ночь маятник страдания бросает ее от одного к другому.

Она пробуждается в таком же безумном состоянии, в каком забылась. Вся дрожит, а почему — не помнит. Думает, что дрожит из-за кошмарного сна. Из-за кошмарного сна с лопающимися глазами. Но нет, это правда случилось, он погиб. И объявление — это тоже случилось. Все случилось, и сделать ничего нельзя. Я хотела, чтобы они сказали... а теперь они скажут: “Наша американская дочь? Мы не хотим о ней говорить. Она для нас больше не существует”. Она пытается успокоиться, выработать какой-то план действий, но думать не получается. Только сумасшествие, только раскручивающаяся спираль ужаса и отупения. Время — начало шестого утра. Она закрывает глаза, чтобы уснуть и прогнать все это прочь, но едва она смыкает веки, как перед ней *его* глаза. Внимательно смотрят на нее и лопаются.

Она одевается. Причитает. Выходит на улицу. Едва рассвело. Никакой косметики. Никаких украшений. Только искаженное ужасом лицо. Коулмен Силк погиб.

В кампусе никого. Одни вороны. Так рано, что даже флаг еще не поднят. Каждое утро по пути на работу она вскидывала на него глаза и, видя, как он реет над Норт-холлом, испытывала мимолетное удовлетворение. Надо же, оставила дом, отважилась на такое — она в Америке! Сознание собственной храбрости и понимание трудности шага. Но сегодня флаг еще не поднят, и она этого даже не замечает. Она видит только то, что́ ей необходимо сделать.

У нее есть ключ от Бартон-холла, и она входит. Вот она в своем кабинете. Уже кое-что. Она не сдалась. Она теперь в состоянии думать. Хорошо. Но чтобы добраться до их компьютеров, надо войти в их кабинеты. Надо было еще тогда, вечером этим заняться, а не бросаться в паническое бегство. Чтобы вернуть себе самообладание, чтобы спасти репутацию, чтобы предотвратить крах карьеры, необходимо продолжать думать. Вся ее жизнь в этом и состояла — думать. С первого класса школы ее только этому и учили. Она выходит из кабинета и идет по коридору. Цель ясна, мысли обрели определенность. Она просто войдет и сотрет. Имеет право стереть то, что сама послала. К тому же она и не посылала — само ушло. Непреднамеренно. Она не в ответе. Так получилось. Но

все двери заперты. Она пытается открыть их своими ключами, пробует сначала ключ от здания, потом от своего кабинета, но без толку. Конечно, они не подходят. Не подходили бы вечером и не подходят сейчас. А насчет того, чтобы подумать — будь она хоть Эйнштейном, думаньем все равно никаких дверей не открыть.

Вернувшись в свой кабинет, она отпирает ящики. Что ищет? Автобиографию. Зачем ей? Так или иначе автобиографии конец. Конец "нашей американской дочери". И раз это конец, она выдергивает все ящики до конца и швыряет на пол. Опустошает весь стол. "У нас нет никакой американской дочери. У нас вообще нет дочери. У нас только сыновья". Она уже не думает о том, что ей необходимо думать. Она принимается разбрасывать вещи. Что лежит на столе, что висит на стенах — пусть разобьется, какая разница? Она старалась и потерпела фиаско. Покончено с безупречной автобиографией, которой она так дорожила. "Наша американская дочь потерпела фиаско".

Рыдая, берется за телефон, чтобы позвонить Артуру. Он выскочит из постели и поедет из Бостона прямо сюда. Трех часов не пройдет, как будет в Афине. К девяти Артур будет здесь! Но она набирает не его номер, а номер охраны на прилепленной к телефону бумажке. Преднамеренности не больше, чем в отправке писем. Есть одно: вполне человеческое желание спастись.

Она не в силах ничего сказать.

— Алло, — берет трубку мужчина на другом конце. — Алло! Кто это?

Она едва выговаривает. Два слова — самые несократимые в любом языке. Имя и фамилия. Несократимые и незаменимые. Означающие ее. То, что *было* ею. А теперь это два самых смехотворных слова на свете.

— Что? Профессор... как дальше? Я вас не понимаю, профессор.

— Это охрана?

— Говорите громче, профессор. Да, это охрана колледжа.

— Идите, пожалуйста, сюда, — говорит она умоляюще, и опять у нее текут слезы. — Прямо сейчас. Тут просто ужас какой-то.

— Профессор, где вы? Что у вас случилось?

— В Бартон-холле. — Она повторяет, чтобы он расслышал: — Бартон-холл. Комната 121. Профессор Ру.

— Что случилось, профессор?

— Ужасная вещь.

— Вам плохо? Что с вами? Что случилось? С вами кто-то посторонний?

— Нет, я одна.

— Что произошло?

— Кто-то сюда проник.

— Куда проник?

— В мой кабинет.

— Когда? Когда, профессор?

— Не знаю. Видимо, ночью. Не знаю.

— Вам нехорошо? Профессор! Профессор Ру! Вы в колледже? В Бартон-холле? Вы уверены?

Она колеблется. Пытается думать. Уверена я? Да или нет?

— Конечно, — говорит она и рыдает уже так, что сил нет остановиться. — Побыстрей, умоляю вас! Идите сюда немедленно! Кто-то проник в мой кабинет! Здесь все вверх дном! Это немыслимо! Просто ужас! Все мои вещи! Кто-то включал мой компьютер! Скорей сюда, слышите?

— Проник? Вы знаете, кто это был? Кто проник? Студент?

— Декан Силк, — сказала она. — Идите же сюда!

— Профессор... Профессор, вы слышите меня? Профессор Ру, декан Силк погиб.

— Я знаю, — сказала она. — Да, это ужасно.

А потом она кричала — кричала от мысли о случившемся ужасе, от мысли о том, что он сделал напоследок, и не кому-нибудь, а ей, *ей*, — и весь остальной день был для Дельфины сплошным цирком.

Едва ошеломляющая новость о гибели в автомобильной катастрофе декана Силка и уборщицы колледжа успела распространиться по всем кабинетам и учебным аудиториям, как ей вдогонку пришла еще одна весть — о вторжении Силка в кабинет Дельфины Ру и о фальшивом электронном послании, которое он отправил оттуда незадолго до смерти. Людям и этому-то трудно было поверить, а тут, ко всеобщему замешательству, из города подоспела новая молва, касающаяся обстоятельств катастрофы. Омерзительные эти сведения, как утверждали, происходили из вполне надежного источника: их сообщил брат сотрудника полиции штата, обследовавшего тела после того, как их вместе с обломками машины извлекли из реки. Декан якобы потому потерял управление, что сидевшая рядом уборщица ублажала его во время езды. К этому выводу полицейский пришел, основываясь на состоянии его одежды и на положении ее тела в машине.

В большинстве своем преподаватели, особенно пожилые, много лет знавшие Коулмена Силка лично, поначалу отказывались верить и были возмущены легкостью, с какой этот слух подхватывался и принимался за неопровержимую истину. Им претила жестокость нападок на мертвого. Но постепенно становились известны все новые подробности вторжения, и все новые люди, мельком видевшие Силка с уборщицей, делились своими наблюдениями, и чем дальше, тем труднее было старейшинам колледжа упорствовать в своем, как писала на другой день местная газета в весьма интересной для широкой публики заметке, "душераздирающем отрицании".

И когда люди начали вспоминать, как два года назад никто не хотел верить тому, что он оскорбил двух своих чернокожих студенток; когда они вспомнили, что после истории с "духами" он обособился от бывших коллег, что при редких встречах с ними в городе был немногословен до грубости; когда они вспомнили, что в своем громозвучном отвращении ко всем и всему, имеющему отношение к Афине, он, как говорили, ухитрился отгородить себя даже от собственных детей... тогда, увы, даже те, кто вначале отвергал всякую мысль о возможности такого скверного конца этой жизни, даже ветераны, которым невыносимо было подумать, что человек столь мощного ума, завораживающий лектор, динамичный и влиятельный декан, сгусток обаяния и энергии, мужчина здоровый и бодрый в свои семьдесят с лишним лет, отец четверых прекрасных взрослых детей, взял и перечеркнул все, что прежде ценил, стремительно покатился вниз и умер скандальной смертью чуждого всем, свихнувшегося отверженного, — даже эти люди вынуждены были признать, что после бесславного ухода на пенсию с Коулменом Силком произошла полнейшая перемена, приведшая не только к его трагической гибели, но и, что совсем уж непростительно, к ужасной смерти Фауни Фарли, несчастной неграмотной женщины тридцати четырех лет,

которую, как всем теперь стало известно, он взял на старости лет себе в любовницы.

5
Ритуал очищения

Похороны — одни и другие.

Фауни хоронили первой, выбрав для этого кладбище на холме Батл-Маунтин. Мне всегда тяжело было проезжать мимо этого места, где даже в полдень тоскливо, где старые могильные камни молча хранят тайну застывшего времени, где раньше погребали своих мертвецов индейцы и где добавляет сумрака близость лесного заповедника — дикой, широко раскинувшейся чащобы, усеянной валунами, прорезанной ручьями, которые стеклянными каскадами стекают с уступа на уступ, чащобы, где водятся койот, рыжая рысь, даже черный медведь и по которой, говорят, большими стадами кочуют олени, расплодившиеся в огромных, докомониальных количествах. Хозяйки молочной фермы купили для Фауни участок у самой границы темного леса и организовали невинную, незатейливую погребальную церемонию. Более разговорчивая из двух, назвавшаяся Салли, произнесла первую надгробную речь, представив вначале партнершу, ее детей и своих детей; затем она сказала:

— Мы все жили с Фауни на ферме и сегодня пришли сюда для того же, для чего пришли вы: отдать последнюю дань человеческой жизни.

Она говорила чистым и звонким голосом — невысокая, пышущая здоровьем круглолицая женщина в длинном платье-балахоне, решившая держаться оптимистического взгляда на вещи с тем, чтобы по возможности меньше расстраивать шестерых растущих на ферме детей, опрятно одетых в лучшее, что у них есть, и сжимающих в кулачках цветы, которые они положат на гроб перед тем, как его опустят в землю.

— Никто из нас, — заверила всех Салли, — до конца дней не забудет ее щедрого и теплого смеха. Фауни так заразительно хохотала и порой так весело шутила, что мы смеялись до колик. Но помимо этого, она была, как вы знаете, человеком глубоко духовным. Духовной личностью, — подчеркнула она, — искательницей духовного начала. Пантеизм — вот слово, которое лучше всего передает характер ее веры. Ее богом была природа, и одним из проявлений ее благоговения перед природой была любовь к нашему маленькому молочному стаду, да, пожалуй, и ко всем коровам на свете, к этому самому добродушному из существ, поистине ставшему кормилицей рода людского. Фауни испытывала глубочайшее почтение к институту семейной молочной фермы. Бок о бок с Пег, со мной и с нашими детьми она прилагала все усилия к тому, чтобы не дать новоанглийской семейной молочной ферме умереть, чтобы сохранить ее как жизнеспособную часть нашего культурного наследия. Ее богом было все, что вы видите вокруг, когда приходите на нашу ферму, и все, что вы видите здесь, на Батл-Маунтин. Мы не случайно решили предать Фауни земле именно на этом месте, которое стало священным еще в давние времена, когда коренные жители нашего края навеки прощались здесь со своими любимыми. Чудесные истории, которые Фауни рассказывала

нашим детям, — о ласточках в амбаре, о воронах в поле, о ямайских канюках, скользящих по небу высоко над нашим пастбищем, — были примерно такими же, как те, что звучали здесь, на этом самом месте, пока экологическое равновесие Беркширских холмов не было впервые нарушено появлением...

Известно кого. Энвиронменталистски-руссоистские рассуждения, из которых состояло дальнейшее, интереса не представляли.

Вторым слово взял Смоки Холленбек, бывшая спортивная звезда Афины, заведующий хозяйством колледжа, начальник Фауни и, как я знал от нанявшего его Коулмена, какое-то время не только начальник. В его гарем Фауни попала практически в первый же день работы на должности уборщицы; позднее, когда Лес Фарли что-то пронюхал, она была решительно оттуда изгнана.

В отличие от Салли, Смоки говорил не о пантеистической чистоте Фауни как природного существа; будучи представителем колледжа, он сосредоточился на ее служебной деятельности и начал с ее влияния на студентов, чьи спальни она убирала.

— С приходом Фауни, — сказал Смоки, — студенты получили такую уборщицу, которая при всякой встрече улыбалась им, здоровалась, спрашивала: "Как поживаете?", "Прошла ли ваша простуда?" или "Как идут дела на занятиях?" Она всегда перед работой находила минутку поговорить со студентами, получше с ними познакомиться. Со временем она переставала быть для студента невидимкой, простой безымянной обслугой, он признавал в ней личность, достойную уважения. После знакомства с Фауни они все становились более аккуратными и уже не оставляли после себя столько мусора. Для сравнения представьте себе другую уборщицу, которая никогда не взглянет студенту в глаза, держится от него на расстоянии и знать не желает, как у него обстоят дела. Так вот, Фауни никогда такой не была. Состояние студенческих спален, как мне кажется, очень сильно зависит от отношений между студентами и уборщицей. Сколько приходится вставлять разбитых стекол, сколько приходится заделывать пробоин в стенах после того, как студенты бьют по ним ногами и кулаками, срывают на них злость... да мало ли что. Граффити на стенах и тому подобное. В здании, где работала Фауни, ничего такого не было. Состояние помещений благоприятствовало учебе и полноценной жизни, помогало студентам чувствовать себя частью нашего сообщества...

Великолепно справился со своей задачей этот высокий, красивый, курчавый молодой семьянин, который до Коулмена был любовником Фауни. Представить себе чувственный контакт с образцовой работницей, которую он изобразил, было не легче, чем с пантеисткой и любительницей рассказывать истории, чей портрет нарисовала Салли.

— По утрам, — продолжал Смоки, — она убирала Норт-холл, где находятся административные помещения. Хотя ее задачи иногда варьировались, были основные вещи, которые надо было делать каждое утро, и она справлялась со всем этим превосходно. Опорожнить корзины для бумаг, навести чистоту в туалетах, которых в этом здании три. Влажная уборка где необходимо. Ежедневная чистка пылесосом самых затоптанных участков пола, а где ходят меньше — там раз в неделю. Пыль вытирать, как правило, еженедельно. Стеклянные двери, передние и задние, Фауни мыла почти каждый день, в зависимости от людского потока. Фауни всегда работала очень эффективно и уделяла большое внимание ме-

лочам. Пылесосить можно было не во всякое время дня, и тут на Фауни Фарли не было ни одного нарекания. Ни единого. Она мгновенно определила наилучшее время для каждой работы с тем расчетом, чтобы доставлять сотрудникам минимум неудобств...

Из четырнадцати взрослых, находившихся у могилы, от колледжа были только Смоки и группа из четверых мужчин в костюмах и галстуках – сослуживцев Фауни по хозяйственному подразделению. Остальные, судя по всему, были либо знакомые Пег и Салли, либо местные жители, покупавшие на ферме молоко и познакомившиеся там с Фауни. Единственным, кого я узнал, был Сирил Фостер, директор нашей почты и глава добровольной пожарной дружины. Фауни два раза в неделю убирала маленькое сельское почтовое отделение, и там-то ее впервые увидел Коулмен.

А еще на кладбище был отец Фауни – крупный пожилой мужчина, о чьем присутствии упомянула Салли в своем надгробном слове. Он сидел в инвалидном кресле в каком-нибудь шаге от гроба; сопровождавшая его довольно молодая филиппинка, то ли сиделка, то ли подруга, стояла за ним вплотную, и на протяжении всей церемонии ее лицо было совершенно непроницаемо, тогда как он то и дело наклонял голову и закрывал лицо руками – одолевали слезы.

Но никого из присутствующих я не мог заподозрить в авторстве электронного некролога, который я обнаружил накануне вечером в дискуссионной группе новостей колледжа fac.discuss. Послание было предварено следующим:

> От: clytemnestra@houseofatreus.com
> Кому: fac.discuss
> Тема: смерть фауни
> Дата: 12 ноября 1998

Я наткнулся на это послание "из дома Атрея от Клитемнестры" совершенно случайно, когда из любопытства стал просматривать календарь будущих мероприятий в группе новостей колледжа. Мне хотелось знать, включены ли в него похороны декана Силка. И вдруг – этот лживый, оскорбительный текст. Шутка? Хохма? Садистская причуда какого-то извращенца? Или рассчитанный, предательский удар? Неужели опять Дельфина Ру? Что, еще одна ее анонимка? Вряд ли. После истории с "вторжением" нужно ли ей было снова проявлять изобретательность? Если бы каким-нибудь образом открылось, что clytemnestra@houseofatreus.com – ее детище, она опять оказалась бы в уязвимом положении. Кроме того, судя по всему, Дельфина не способна вести хитрую, продуманную интригу; ее "интрига" отдает торопливой импровизацией, истерической мелочностью, сверхвозбужденной дилетантской бездумностью, из которой проистекают эксцентрические поступки, ей же самой кажущиеся потом невероятными. Сколь бы погаными ни были последствия ее выпадов, им недостает как весомости повода, так и утонченного расчета мастера-отравителя.

Нет, это зловредство, хоть оно и было, скорее всего, *спровоцировано* Дельфининым зловредством, отличалось куда большей искусностью и уверенностью, отличалось неким профессиональным демонизмом. Совершенно иной уровень злобы. Ну а дальше-то что? Где предел этому публичному побиванию камнями? И где предел легковерию? Как

они могут передавать друг другу байку, которую Дельфина Ру рассказала охранникам, как они могут принимать эту очевидную выдумку, эту махровую ложь за чистую монету? Чем доказано, что Коулмен имеет ко всему этому отношение? Не могло такого быть — а они верят. Полная нелепость — вломился в кабинет, взломал запертые ящики, проник в компьютер, разослал текст... Но они верят, жаждут верить, им не терпится пересказать это еще кому-нибудь. Невероятная бессмыслица — но никто, по крайней мере публично, не задает простейших вопросов. С какой стати человек, который пускается на розыгрыш, будет устраивать в кабинете погром и тем самым привлекать внимание к факту своего проникновения? И с какой стати он будет сочинять именно такое "объявление"? Ведь девяносто процентов тех, кто прочел бы его, и не подумали бы, что здесь есть какой-то намек на Силка. Кто, кроме Дельфины Ру, мог связать этот текст с бывшим деканом? Если бы он и вправду все это сделал, он был бы сумасшедшим. Но где доказательства его сумасшествия? Где история его безумного поведения? Коулмен Силк, в одиночку перевернувший весь Афина-колледж, — псих? Горечь, злость, изоляция — да, но психоз? Сотрудники колледжа прекрасно знали, что этого нет и в помине, но, как и в случае с "духами", по собственной воле вели себя так, словно не знали. Выдвинуть обвинение — уже значит его доказать. Услышать его — уже значит поверить. Проще простого. Не нужно никакого мотива, никакой логики, никакого обоснования. Нужен только ярлык. Есть ярлык — значит, есть и мотив, и улики, и логика. Почему Коулмен Силк так поступил? Потому что он то, потому что он это, потому что он всё вместе. Сперва расист, теперь женоненавистник. Назвать его коммунистом нельзя, времена не те, но раньше делалось именно так. Ныне же — акт женоненавистничества, совершенный человеком, который в свое время гнусным расистским высказыванием оскорбил беззащитных студенток. Это все объясняет. Это плюс сумасшествие.

Вот он, "дьявол захолустья", во всей красе: сплетни, зависть, желчность, скука, ложь. Провинциальные яды не спасают. Люди скучают, завидуют, их жизни какие есть, такие и будут, вот они и хватаются за такую историю, пересказывают ее почти бездумно — по телефону, на улице, в столовой колледжа, в учебной аудитории. Пересказывают дома мужьям, женам. И не в том дело, что из-за автомобильной катастрофы нет возможности доказать, что это нелепая ложь. Не будь катастрофы, ложь не появилась бы на свет вообще. Смерть Коулмена стала для этой женщины подарком судьбы. Спасением. Смерть, вторгнувшись, все упрощает. Все сомнения, подозрения, неясности уходят под натиском смерти — великой принижающей силы.

Возвращаясь в одиночестве к своей машине после похорон Фауни, я по-прежнему понятия не имел, кто в колледже мог сочинить это "послание Клитемнестры" — образчик самого дьявольского из искусств, искусства "онлайн", самого дьявольского из-за своей анонимности. Я не имел представления и о том, до чего может дойти следующий анонимщик. Одно я знал, в одном был уверен: на волю выпущен вредоносный микроб, и в том, что касается Коулмена, нет такой нелепости, из которой кому-нибудь не захочется извлечь злую выгоду. В Афине вспыхнула эпидемия — вот на какую мысль навели меня последние события, — и чем можно сдержать ее распространение? Возбудитель здесь, от него никуда не денешься. Патогенный вирус присутствует в эфире, в космосе. Во

вселенском жестком диске, вечный и не излечиваемый никакими программами, — знак неустранимой человеческой скверны.

Все взялись теперь писать "Духов" — все, кроме (пока что) меня.

Мне хотелось бы пригласить вас к размышлению (так начиналось письмо в fac.discuss) кое о чем неприятном: не только о жестокой гибели ни в чем не повинной женщины тридцати четырех лет, что ужасно само по себе, но и о событиях вокруг этой трагедии и о человеке, который едва ли не артистически направлял ход этих событий с тем, чтобы сполна отомстить Афина-колледжу и бывшим коллегам.

Некоторые из вас, вероятно, знают, что незадолго до убийства-самоубийства — ведь именно это совершил поздно вечером Коулмен Силк, направив машину на дорожное ограждение, пробив его и упав вместе с пассажиркой в реку, — бывший декан взломал дверь одного из кабинетов в Бартон-холле, устроил там погром и отправил по электронной почте послание от имени одной из наших преподавательниц, имея целью скомпрометировать ее и поставить под удар. Вред, нанесенный ей и колледжу, невелик. Но в этом детском акте вандализма, в этой злобной фальсификации видна та же решимость, та же оголтелость, которая чуть погодя, увеличившись до чудовищных размеров, побудила его убить себя и одновременно с этим хладнокровно разделаться с уборщицей колледжа, которую он несколькими месяцами раньше цинично вовлек в связь и чьими сексуальными услугами пользовался.

Вообразите, если можете, бедственное положение этой женщины: четырнадцатилетней девочкой она убежала из дому, образование ее ограничилось двумя классами средней школы, и до конца своей краткой жизни она оставалась функционально неграмотной. Вообразите ее неравную борьбу с домогательствами этого бывшего профессора, который за шестнадцать лет работы на руководящем посту проявил себя как самый большой диктатор из всех деканов Афина-колледжа, который пользовался в эти годы большей властью, чем даже ректор. Что, спрашивается, она могла противопоставить его напору? И, поддавшись ему, оказавшись в рабстве у этого извращенного самца, намного превосходившего ее силой, могла ли она понять далеко идущие мстительные намерения, которым должно было послужить ее натруженное тело — послужить сначала в жизни, а потом и в смерти?

Среди всех безжалостных мужчин, которые тиранили ее один за другим, среди всех жестоких, безответственных, безжалостных, ненасытных мужчин, которые измучили, иссушили и сломили ее, не было ни одного, чьи цели были бы настолько же извращены злобной мстительностью, как у этого человека, жаждавшего свести счеты с Афина-колледжем и выбравшего для расправы его сотрудницу. Для расправы, учиненной им с наибольшей возможной наглядностью. Для расправы с ее плотью. С ее конечностями. С ее гениталиями. С ее маткой. Жестокий аборт, к которому он ранее ее принудил и вследствие которого она пыталась покончить с собой, был только одним из бог весть какого числа опустошительных набегов на несчастную территорию ее тела. Сегодня мы знаем, какую страшную порнографическую "мертвую картину" соорудил убийца, в какой позе он заставил Фауни принять смерть, желая в одном неизгладимом образе запечатлеть ее несвободу, ее рабское подчинение (а в расширительном смысле — и рабское подчинение всего колледжа) его бешеной, презрительной гордыне. Мы знаем — вернее, начинаем узнавать по мере того, как ужасающие сведения постепенно просачиваются к нам из полицейских органов, — что не все следы ударов на изувеченном теле Фауни объясняются роковым падением машины в реку. На ее ягодицах и бедрах коронер обнаружил пятна, не являю-

щиеся результатом аварии, — кровоподтеки от ушибов, полученных ранее и совсем иначе. Ушибов, нанесенных либо тупым орудием, либо кулаком.

Зачем? Маленькое слово — и вместе с тем достаточно большое, чтобы свести нас с ума. Но тот патологический мрак, что царил в душе убийцы Фауни, с трудом поддается исследованию. Безумные побуждения этого человека коренятся в непроницаемой тьме, которой тем, кто не жесток и не мстителен по природе, — тем, кто спокойно подчиняется ограничениям, налагаемым цивилизацией на все грубое и мятежное, живущее в каждом из нас, — не познать никогда. Сердце тьмы человеческой непостижимо. Но что "несчастный случай" на дороге отнюдь не был случайностью — это я могу утверждать с уверенностью, скорбя вместе со всеми, кому не безразлична гибель Фауни Фарли из Афина-колледжа, испытывавшей гнет с невинных детских лет до самой смерти. Нет, это не случайность — Коулмен Силк стремился к этому изо всех сил. Зачем? На этот вопрос я могу ответить и отвечу. Чтобы уничтожить не только себя и ее, но и все свидетельства о муках, которые она от него претерпела. Чтобы не позволить Фауни его разоблачить — вот для чего Коулмен Силк забрал ее с собой на дно реки.

Остается только догадываться, сколь отвратительны были преступления, которые ему непременно нужно было скрыть.

На следующий день Коулмена похоронили подле жены на аккуратном кладбище, больше похожем на сад и расположенном чуть в стороне от ровного зеленого моря спортивных площадок колледжа, у дубовой рощи, которая начинается за Норт-холлом с его заметной отовсюду шестиугольной часовой башней. Встав в то утро после бессонной ночи, я все еще был крайне возмущен и взволнован тем, как последовательно, как настойчиво извращались характер и смысл произошедшего, и даже чашку кофе не мог спокойно выпить. Как, скажите на милость, бороться с этим нагромождением лжи? В таком месте, как Афина, если ложь возникла, она остается, сколь убедительно ее ни опровергай. Чтобы не мерить нервными шагами пол, пока не придет пора ехать на кладбище, я надел костюм с галстуком и отправился на главную улицу просто поболтаться и убить время — там, я надеялся, легче будет поддерживать иллюзию, что с отвращением можно как-то бороться.

С отвращением и шоком. Я не был готов думать о нем как о мертвом, тем более — видеть, как его хоронят. Не говоря уже об остальном, гибель в нелепой катастрофе сильного, здорового мужчины семидесяти с небольшим лет несет в себе свою, особую горечь — логичней было бы по крайней мере, если бы его убил инфаркт, инсульт или рак. Вдобавок я с того самого момента, когда услышал новость, был убежден, что к случившемуся тем или иным образом причастен пикап Леса Фарли. Разумеется, во всем, что бы ни произошло с кем бы то ни было, можно при желании отыскать смысл, и все же, если иметь Леса Фарли в виду, если рассматривать его как *первопричину*, то не вырисовывается ли объяснение? Чрезвычайно удобно — одним махом разделаться с презираемой бывшей женой и ненавистным любовником, за которым Фарли маниакально следил.

Этот мой вывод отнюдь не был продиктован простой неохотой принять необъяснимое как оно есть — хотя на следующее утро после похорон Коулмена, когда я пришел в полицию штата поговорить с двумя полицейскими, первыми прибывшими на место катастрофы и обнаружившими трупы, у них явно сложилось обо мне именно такое впечатле-

ние. Они не увидели тогда ничего, что подтверждало бы мои подозрения. Сведения, которые я им сообщил, – о том, что Фарли шпионил за Фауни и за Коулменом, о едва не кончившемся плохо столкновении у кухонной двери, когда Фарли с воплем выскочил на них из темноты, – были терпеливо записаны, как и мое имя, адрес и номер телефона. Меня поблагодарили за помощь и заверили: все сказанное мной будет сохранено в строжайшей тайне, и в случае необходимости со мной свяжутся.

Такой необходимости у них не возникло.

Я пошел было к выходу, но остановился.

– Я хочу вас кое о чем спросить. О положении тел в машине.

– Что вы хотите знать, сэр? – поднял на меня глаза Балич, старший из двух молодых полицейских, хорват с непроницаемым лицом и хозяйски-спокойной манерой поведения, чья родня, вспомнилось мне, владеет рестораном "Мадамаска-инн".

– Что вы увидели, когда их нашли? В какой позе они лежали? Ходят слухи...

– Нет, сэр, – покачал головой Балич. – Ничего такого не было. Все это неправда, сэр.

– Вы поняли, о чем я?

– Да, сэр. Нет, это в чистом виде слишком быстрая езда. Нельзя на такой скорости вписаться в этот поворот. Ас автогонок и тот бы не смог. Человеку в возрасте садиться за руль после двух рюмок вина, да еще пускаться на такое лихачество...

– Я не думаю, что Коулмен Силк хоть раз в жизни пускался на автомобильное лихачество.

– Что тут сказать... – Балич развел руками: мол, при всем моем к вам уважении, кому это может быть известно? – Машину вел профессор, сэр.

Явно наступил момент, когда, по мнению Балича, мне следовало перестать строить из себя детектива и вежливо удалиться. Он назвал меня "сэром" столько раз, что никаких сомнений в том, кто из нас ведет расследование, возникнуть не могло. Я ушел, и, как я уже сказал, на этом мои контакты с полицией кончились.

День, когда хоронили Коулмена, оказался, как и все последние дни, необычно теплым. Ноябрьский свет был резким, контрастным. За предыдущую неделю деревья скинули остатки листвы, и под ярким солнцем жесткие нагие очертания холмистого ландшафта с его каменными выступами, впадинами и сочленениями напоминали четкую, подробную штриховую гравюру старинного мастера. Когда я утром ехал в Афину на похороны, эта грубая, неприкрашенная, щедро высвеченная даль, которую с весны мешала видеть лиственная одежда, некстати рождала во мне ощущение новизны и открывающихся возможностей. Нешуточность строения земной поверхности, несколько месяцев от нас скрытой, а теперь снова явленной, чтобы мы не забывали ею восхищаться и с нею считаться, напоминала о страшной, всесокрушающей силе ледника, который прокатился некогда по этим холмам, прежде чем остановиться в своем могучем движении на юг. Всего в нескольких милях от дома Коулмена он раскидал валуны размером с ресторанные холодильники таким же манером, как автоматическая подающая машина бросает софтбольные мячи, и когда, проезжая мимо крутого поросшего лесом склона, который здесь окрестили "садом камней", я отчетливо увидел, уже без узора скользящих теней от летней листвы, эти гигантские пова-

ленные набок глыбы, напоминающие некий разрушенный Стонхендж[1], небрежно брошенные кучей и вместе с тем исполински неповрежденные, я вновь с ужасом представил себе момент удара, разлучившего Коулмена и Фауни с их жизнями и швырнувшего их в былые эры земли. Теперь они так же далеки от нас, как ледник. Как сотворение планеты. Как само Творение.

Тогда-то я и решил обратиться в полицию. Я не сделал этого сразу, тем же утром, еще до похорон, отчасти потому, что, остановившись у лужайки в центре городка, увидел в окне ресторана "У Полины" отца Фауни, который сидел за столом и завтракал в компании женщины, стоявшей накануне на кладбище за его инвалидным креслом. Я немедленно вошел, сел подле них за свободный столик, сделал заказ и, притворяясь, что читаю оставленную кем-то "Мадамаска уикли газетт", стал изо всех сил прислушиваться к разговору.

Речь шла о дневнике. О дневнике Фауни, который Салли и Пег в числе других вещей передали ее отцу.

– Тебе незачем его читать, Гарри. Незачем.

– Я должен его прочесть.

– Вовсе не должен, – возразила женщина. – Поверь мне: это для тебя совершенно лишнее.

– Ничего более ужасного, чем все остальное, там быть не может.

– Незачем тебе его читать.

Как правило, люди склонны хвастаться и приписывать себе успехи, которых только еще хотят добиться; Фауни же, наоборот, лгала, отказывая себе в фундаментальном навыке, которым за год-другой овладевает почти всякий школьник на свете.

И это я узнал, еще даже не допив стакан сока. Неграмотность была притворством, которого, считала она, требовало ее положение. Но зачем? Источник силы? Но силы, купленной какой ценой? Только вдуматься. Мало ей всего остального – еще и неграмотность. Фауни берет ее добровольно. Но не чтобы придать себе инфантильности, не чтобы выглядеть нуждающимся в опеке ребенком, а наоборот – чтобы высветить сродное мирозданию варварское "я". Не отвергает учебу как удушающую форму благопристойности, а бьет учебу козырем первичного и более сильного знания. Она не имеет ничего против чтения как такового; притворяться неграмотной – вот что она считает правильным поведением. Это добавляет всему остроты. Ей подавай ядов, ядов и ядов – быть тем, чем не следует, показывать, говорить, думать то, чего не следует, нравится это кому-то или нет.

– Я не могу его сжечь, – сказал отец Фауни. – Это же ее дневник. Я не могу просто выбросить его на помойку.

– Зато я могу, – сказала женщина.

– Это неправильно.

– Ты всю жизнь шел по этому минному полю. Хватит уже.

– Это все, что от нее осталось.

– Не все. Еще револьвер. И пули, Гарри. Вот что от нее осталось.

– Как она жила...

Вдруг его голос зазвучал так, словно он вот-вот расплачется.

1. Стонхендж – кромлех (доисторическое ритуальное сооружение из огромных каменных глыб) в графстве Уилтшир (Великобритания).

– Как жила, так и умерла. Потому и умерла.

– Ты должна отдать мне дневник.

– Нет. Нам не следовало вообще сюда приезжать.

– Только попробуй, только попробуй его уничтожить – я не знаю, что сделаю.

– Так для тебя же будет лучше.

– Что она пишет?

– Не хочется пересказывать.

– О Господи.

– Ешь. Тебе нельзя не есть. Блинчики на вид очень аппетитные.

– Моя дочь.

– Ты сделал для нее все, что мог.

– Надо было ее забрать, когда ей было шесть лет.

– Ты не знал. Как ты мог предполагать?

– Я не должен был ее оставлять у этой...

– И мы не должны были сюда приезжать, – сказала его подруга. – Не хватает еще, чтобы для полноты картины тебе здесь стало плохо.

– Мне нужен их пепел.

– Этот пепел надо было захоронить. Там, вместе с ней. Не знаю, почему они этого не сделали.

– Мне нужен их пепел, Сил. Это мои внуки. Это все, что у меня осталось вообще.

– С пеплом я уже сделала все, что следовало.

– Да ты что!

– Не нужен тебе этот пепел. Довольно с тебя. Я не допущу, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Никакого пепла мы в самолет не возьмем.

– Что ты с ним сделала?!

– Что надо, то и сделала, – сказала она. – Не волнуйся, я проявила должное уважение. Но пепла уже нет.

– Боже мой...

– Все позади, – сказала она. – Все уже позади. Ты выполнил свой долг. Ты с лихвой его выполнил. И с тебя довольно. Теперь давай поешь. Вещи я собрала, за номер расплатилась. Теперь только обратная дорога.

– Ты умница, Сильвия, ты настоящее золото.

– Довольно ты мучился. Я никому больше не дам тебя мучить.

– Ты золото.

– Поешь. Они правда аппетитные на вид.

– Дать тебе?

– Не надо. Я хочу, чтобы *ты* поел.

– Мне слишком много.

– А ты с сиропом. Давай я тебе полью.

Потом я ждал их снаружи, стоя на лужайке; когда она выкатила его из ресторана и повезла по тротуару, я двинулся к ним через улицу, поравнялся, представился и заговорил, идя с ними рядом:

– Я местный житель. Я был знаком с вашей дочерью, хотя и не близко. Мы встречались несколько раз. Я был вчера на похоронах и видел вас там. Позвольте выразить вам соболезнование.

Он был крупный, плечистый мужчина, гораздо крупней, чем казался на похоронах, когда сидел в кресле горестно обмякший. Росту в нем наверняка было сильно за шесть футов, но его суровое, жестко вырубленное лицо (ни дать ни взять лицо Фауни, в точности ее бесстрастное лицо: тонкие губы, волевой подбородок, острый орлиный нос, голубые,

глубоко посаженные глаза, а над ними, поверх бледных ресниц, точно такая же припухлость, как та, что на молочной ферме показалась мне единственной ее экзотической черточкой, единственным внешним признаком прельстительности) было лицом человека, мало того что приговоренного к инвалидному креслу, но еще и обреченного до конца дней терпеть некую добавочную муку. В этом большом теле ничего уже не обитало, кроме страха. Я мгновенно прочел этот страх в его взгляде, когда он поднял на меня глаза.

– Вы очень добры, – сказал он.

Он был примерно моего возраста, но в том, как он произносил слова, угадывалось привилегированное новоанглийское детство. Я почувствовал это еще в ресторане: особый квазибританский выговор, обеспеченный хорошими деньгами и уходящий корнями в далекое прошлое, когда ни его, ни меня еще не было на свете. Сам по себе этот выговор накрепко привязывал его к благопристойным условностям совершенно иной Америки.

– А вы, вероятно, мачеха Фауни?

Этот способ обратиться к ней и, возможно, побудить ее замедлить движение показался мне столь же подходящим, как и любой другой. Судя по всему, они направлялись в гостиницу "Герб колледжа", находившуюся за углом.

– Это Сильвия, – сказал он.

– Нельзя ли было бы приостановиться, – предложил я Сильвии, – чтобы я мог с ним поговорить?

– Мы спешим на самолет.

Поскольку она явно была полна решимости избавить его от меня немедленно, я заговорил, продолжая идти с ними вровень:

– Коулмен Силк был моим другом. Он не сам сорвался в реку. Это исключено. Все было иначе. Его заставила свернуть другая машина. Я знаю, кто виноват в смерти вашей дочери. Не Коулмен Силк.

– Сильвия, остановись. Остановись на минуту.

– Нет, – отрезала она. – Это бред сумасшедшего. Довольно с тебя.

– Это ее бывший муж, – продолжал я. – Лестер Фарли.

– Нет, – произнес он еле слышно, как будто я ранил его выстрелом. – Нет... нет.

– Сэр!

Она остановилась-таки, но, освободив одну руку – другая по-прежнему крепко держала кресло, – взялась за мой лацкан. Молодая филиппинка, малорослая и худая, с неумолимым светло-коричневым личиком. По ее неустрашимым глазам, полным темной решимости, видно было: хаос дел человеческих и близко не подступит к тому, что она взяла под охрану.

– Вам не трудно было бы на минутку задержаться? – повторил я. – Вон лужайка, там можно сесть и поговорить.

– Этот человек серьезно болен. Вы злоупотребляете его выносливостью.

– Вам передали дневник Фауни.

– У нас нет никакого дневника.

– И ее револьвер.

– Сэр, уходите. Оставьте его в покое. Я предупреждаю вас!

И рукой, которая держала меня за лацкан, она толкнула меня.

– Она обзавелась оружием, – сказал я, – для защиты от Фарли.

– Бедняжка, – саркастически бросила она.

Я только и мог, что идти за ними дальше; вместе мы свернули за угол и дошли до дверей гостиницы. Отец Фауни уже не сдерживал слез.

Повернувшись и увидев, что я еще не убрался, она сказала:

— Вам мало вреда, который вы уже причинили? Уходите, или я позову полицию.

Ух как много неистовства было в этом крохотном тельце! Я мог это понять: чтобы поддерживать в ее подопечном жизнь, ровно столько, вероятно, его и требовалось.

— Не уничтожайте дневник, — сказал я ей. — Там могут быть сведения...

— Мерзость и грязь! Вот какие там сведения!

— Сил, Сильвия!..

— Она, ее брат, ее мать, ее отчим, шайка эта, они измывались над ним всю его жизнь. Ограбили его. Обманули. Унизили. Его дочь была преступница. В шестнадцать родила ребенка и оставила в приюте для сирот. Ребенка, которого ее отец вырастил бы. Она была отпетая шлюха. Пистолеты, мужчины, наркотики, грязь и секс. Деньги, которые он ей давал, — что она с ними делала?

— Не знаю. Я в первый раз слышу про приют для сирот. Я в первый раз слышу про деньги.

— Наркотики! Тратила их на наркотики!

— Я в первый раз об этом слышу.

— Вся эта семья — мерзость и грязь! Имейте жалость, слышите?

Я повернулся к отцу Фауни.

— Я хочу, чтобы человек, виновный в двух смертях, ответил перед законом. Коулмен Силк не причинил ей никакого вреда. Он не убивал ее. Мне надо поговорить с вами всего одну минуту.

— Позволь ему, Сильвия...

— Нет! Никаких больше никому позволений! Слишком долго ты им все позволял!

Из дверей гостиницы уже начали выглядывать любопытные, в верхних окнах показались лица. Возможно, это были задержавшиеся ценители осенней листвы, которые рады были и остаткам красочного великолепия. А может быть — выпускники Афина-колледжа. Сколько-то их всегда здесь гостило, престарелых или среднего возраста, желающих увидеть, что исчезло и что осталось, светло и умиленно вспоминающих всё до последней мелочи, что происходило с ними на этих улицах в одна тысяча девятьсот каком-то там году. Может быть, они приехали полюбоваться отреставрированными зданиями колониальной эпохи, которые стоят по обеим сторонам Уорд-стрит на протяжении чуть ли не мили и расцениваются Афинским историческим обществом как безусловные памятники старины, пусть и менее эффектные, чем в Сейлеме, но по важности не уступающие никаким другим в штате Массачусетс западнее "Дома о семи фронтонах"[1]. Эти люди не для того легли спать в тщательно отделанных под старину номерах гостиницы "Герб колледжа", чтобы проснуться от истошных криков под окнами. На такой живописной улице, как Саут-Уорд-стрит, да еще таким чудесным утром эта сцена с плачущим инвалидом, кричащей миниатюрной азиаткой и явно терроризирующим их своими речами пожилым мужчиной, похожим на

1. "Дом о семи фронтонах" — дом в Сейлеме (штат Массачусетс), описанный Натаниелом Готорном (1804—1864) в одноименном романе.

профессора колледжа, должна была производить еще более тяжелое впечатление, чем производила бы на людном перекрестке какого-нибудь большого города.

— Если бы я мог увидеть дневник...

— *Нет никакого дневника,* — отчеканила она, и мне оставалось только смотреть, как она толкает кресло вверх вдоль лестницы по пандусу и вкатывает в вестибюль гостиницы.

Вернувшись в ресторан "У Полины", я заказал чашку кофе и на листе писчей бумаги, который официантка добыла мне в ящике под кассой, стал писать письмо:

Я — тот, кто подошел к Вам у ресторана на главной улице Афины наутро после похорон Фауни. Я живу на сельской дороге за пределами Афины, в нескольких милях от дома покойного Коулмена Силка, который, как я Вам объяснил, был моим другом. Встречаясь с Коулменом, я несколько раз видел Вашу дочь. Случалось, он говорил со мной о ней. Их роман был страстным, но в нем не было никакой жестокости. Прежде всего Коулмен был для нее любовником, но он умел, кроме того, быть и другом, и учителем. Всякая просьба, с которой она к нему обращалась, была, я уверен, исполнена. Из того, что она восприняла от Коулмена, от его духа, ничто не могло отравить ей жизнь.

Я не знаю, что́ из зловредных слухов, которыми они и произошедшая с ними трагедия окружены в Афине, Вы успели здесь услышать. Надеюсь, что ничего. Есть, однако, вопрос из сферы правосудия, рядом с которым весь этот идиотизм теряет значение. Эти два человека были убиты. Я знаю, кто их убил. Я не был свидетелем преступления, но знаю, что оно было совершено. Я абсолютно в этом уверен. Но для серьезного разговора в полиции или прокуратуре нужны улики. Если у Вас есть что-либо, бросающее свет на состояние духа Фауни в последние месяцы или раньше — может быть, даже в период ее замужества, — прошу Вас это сохранить. Я имею в виду письма, которые Вы, возможно, от нее получали, и то, что Салли и Пег нашли у нее в комнате после ее смерти и передали Вам.

Вот мой адрес и номер телефона...

Этим дело и кончилось. Я намеревался дождаться их отъезда, позвонить в "Герб колледжа", выведать под тем или иным предлогом у дежурного администратора фамилию отца Фауни и послать письмо срочной почтой. Если в гостинице откажутся дать адрес, поехать к Салли и Пег. Но я не сделал ни того, ни другого. Сильвия наверняка выбросила или уничтожила то, что осталось в комнате Фауни, и с моим письмом она поступила бы точно так же. Эта крохотная женщина, чьей главной задачей было оберегать подопечного от новых мук, которые могло причинить ему прошлое, ни за что не позволила бы тому, от чего она только что отбилась, проникнуть к нему в дом. Более того — я не мог оспаривать такую линию поведения. Если страдание передается в этой семье подобно инфекции, ничего не остается, как отгородиться знаком, похожим на тот, что вешали на дверях заразных больных во времена моего детства: КАРАНТИН или просто большое черное К. Маленькая Сильвия и была этим зловещим К, обойти которое не было никакой возможности.

Я порвал написанное и отправился пешком через город на похороны.

Прощание с Коулменом организовали его дети. Вчетвером они стояли теперь у дверей капеллы Рисхангера и встречали приходящих. Мысль провести церемонию в капелле колледжа принадлежала им и, как я понял, составляла часть хорошо спланированного заговора с целью положить конец самоизгнанию отца и вернуть его – не в жизни, так в смерти – в лоно сообщества, где развивалась его впечатляющая карьера.

Когда я представился, дочь Коулмена Лиза немедленно отвела меня в сторону и, обняв, проговорила прерывающимся шепотом:

– Вы были ему другом. Единственным, кто у него остался. Может быть, видели его последним.

– Мы дружили некоторое время, – сказал я, умолчав о том, что в последний раз видел его несколько месяцев назад – субботним августовским утром в Танглвуде – и что к тому времени он уже намеренно прервал наши недолгие дружеские отношения.

– Мы потеряли его, – сказала она.

– Я знаю.

– Мы потеряли его, – повторила она и после этого просто плакала, уже не пытаясь говорить.

Минуту спустя я сказал:

– Я восхищался им и радовался его обществу. Жаль, что я не познакомился с ним раньше.

– Почему это случилось?

– Не знаю.

– Он сошел с ума? Это было безумие?

– Нет. Никоим образом.

– Что же тогда?

Не услышав ответа (что я мог ей сказать? Мой ответ – эта книга), она медленно опустила обнимавшие меня руки, и за те мгновения, что мы еще стояли вместе, я успел увидеть, как похожа она на Коулмена – не меньше, чем Фауни на своего отца. То же красивое кукольно-точеное лицо, те же зеленые глаза, та же смуглая кожа; в ней чувствовался даже невысокорослый скоростной атлетизм Коулмена, пусть и в менее плечистом варианте. Генетическое наследие матери внешне проявлялось лишь в щедрой поросли густых черных волос. Коулмен показывал мне семейные фотоальбомы, и на всех снимках Айрис Силк черты лица играли второстепенную роль – настолько полно, казалось мне, это самовластно-театральное волосяное богатство выражало суть ее личности. У Лизы, в отличие от матери, волосы скорее противоречили характеру, чем служили его эмблемой.

За эти секунды у меня создалось четкое впечатление, что связь, ныне разорванная, между ней и отцом ни на один день не уйдет из ее сознания, пока она жива. Мысль о нем так или иначе будет примешана ко всему, о чем она ни подумает, в чем ни преуспеет, в чем ни потерпит неудачу. Последствия сильной детской любви к нежному отцу, сменившейся отчуждением, которое продлилось до его смерти, никогда не оставят эту женщину в покое.

Трое сыновей Силка – Марк, близнец Лизы, и двое старших, Джеффри и Майкл, – поздоровались со мной сдержаннее. В Марке я не увидел ни следа былой злости, былой обиды на отца, и час с небольшим спустя у могилы, когда он сломался, это было горе безнадежной утраты – и только. Джефф и Майкл явно были ребята покрепче, чем Лиза и Марк, и в них отчетливо ощущалось телесное и душевное сходство с далеко не субтильной матерью. Что до волос, оба они изрядно облысели, зато

рост, нерушимая уверенность в себе и властная откровенность – это, бесспорно, от нее. Они не из тех, кто делает дела кое-как. Чтобы это понять, достаточно было поздороваться с ними и обменяться парой фраз. Можно было не сомневаться, что с Джеффом и Майком, особенно если они стоят бок о бок, шутки плохи. С Коулменом в его лучшие годы, когда я его еще не знал, когда он еще не завертелся бешеным волчком в сужающейся тюремной камере своего гнева, когда достижения, которые некогда определяли его лицо, которые *были им*, еще не исчезли из его жизни, шутки тоже, конечно, были плохи, и потому-то, вероятно, все так быстро ополчились на бывшего декана, когда представился повод обвинить его в расизме.

Несмотря на все ходившие по городу слухи, проститься с Коулменом пришло гораздо больше людей, чем я предполагал и чем мог бы вообразить при жизни сам Коулмен. Шесть или семь передних скамей были уже заполнены, а народу все прибывало. Сев на свободное место примерно на полпути к алтарю, я очутился рядом с человеком, которого видел накануне, – со Смоки Холленбеком. Понимал ли Смоки, как близок он был всего год назад к тому, чтобы в капелле Рисхангера прошла панихида по нему самому? Возможно, его привела сюда скорее благодарность за везение, чем скорбь по человеку, ставшему его эротическим преемником.

По другую сторону от Смоки сидела миловидная блондинка лет сорока – судя по всему, жена. Кажется, его однокурсница по Афина-колледжу, на которой он женился еще в семидесятые и которая родила ему пятерых детей. Холленбеки, как и дети Коулмена, были в числе самых молодых, кого я увидел в капелле, когда начал осматриваться. Главным образом пришли старейшины Афины – преподаватели и администраторы, которых Коулмен до смерти Айрис и своего ухода на пенсию знал почти сорок лет. Что бы он сам подумал об этих ветеранах, рассаживающихся перед его гробом? Скорее всего, примерно следующее: "Чудесная возможность подрасти в собственных глазах. Решили простить мне мое презрение к ним и чувствуют себя поэтому страшно добродетельными".

Странно было сидеть среди его коллег и думать о том, что люди столь образованные и в силу самой своей профессии вежливые могли с такой готовностью попасться на удочку извечного человеческого желания найти ответчика за все зло. Что делать – потребность есть потребность. Она глубока и живуча.

Когда закрыли входную дверь и Силки заняли свои места в первом ряду, я увидел, что капелла полна почти на две трети: триста человек, если не больше, дожидалось этой древней, отвечающей нашему естеству церемонии, призванной вобрать в себя наш ужас перед концом жизни. Я увидел еще, что Марк Силк, в отличие от своих братьев, был в ермолке.

Как, вероятно, и многие, я ожидал, что первым поднимется на кафедру и произнесет надгробное слово кто-то из детей Коулмена. Но выступил в то утро один-единственный оратор – политолог Херб Кибл, взятый на работу в колледж деканом Силком и ставший первым чернокожим профессором Афины. Кибл, ясное дело, был нужен сыновьям умершего для того же, для чего им нужна была капелла Рисхангера, – чтобы восстановить доброе имя отца, отвести назад стрелки здешних часов и вернуть Коулмену былой статус и престиж. Я вспомнил строгость, с какой Джефф и Майкл по очереди пожали мне руку и поздоровались, назвав меня по имени. Я вспомнил их слова: "Спасибо, что вы

здесь. Это очень важно для нас". Судя по всему, они говорили нечто подобное каждому из пришедших, со многими из которых были знакомы с детства, и я подумал: "Они ведь не успокоятся, пока административный корпус не переименуют в Коулмен-Силк-холл".

Вряд ли все присутствующие явились сюда по собственному побуждению. Джефф и Майкл, должно быть, не выпускали из рук телефонную трубку с того момента, как узнали о трагедии; явка, видимо, была обеспечена таким же примерно способом, как явка на выборы в Чикаго, когда мэром там был старина Дейли[1]. Можно вообразить, как они обрабатывали Кибла, которого Коулмен презирал особо. С какой стати он сам вызвался бы теперь в козлы отпущения и стал отдуваться за всю Афину? Чем больше я думал о том, как Джефф и Майкл выкручивали Киблу руки, давили на него, орали, поносили его за то, что он предал их отца два года назад, может быть, даже впрямую ему угрожали, — тем больше я их уважал и тем больше я уважал Коулмена, вырастившего этих двух больших, жестких, умелых сыновей, готовых сделать все необходимое для восстановления доброго имени отца. Они помогут мне упечь Леса Фарли куда следует на веки вечные.

Так по крайней мере я думал до тех пор, пока на другой день, перед самым своим отъездом из города, Джефф и Майкл столь же непререкаемо, как, если верить моему воображению, они разговаривали с Киблом, дали мне понять, что мне следует раз и навсегда выкинуть из головы Леса Фарли, обстоятельства катастрофы и возможность нового полицейского расследования. Они недвусмысленно объяснили, что будут крайне недовольны, если из-за моего назойливого вмешательства роман их отца с Фауни Фарли станет предметом обсуждения в зале суда. Имени этой женщины они не хотели больше слышать вообще, и уж точно им не нужен был скандальный процесс, о котором как о сенсации шумели бы здешние газеты, который неизгладимо отложился бы в местной памяти и после которого о Коулмен-Силк-холле нечего было бы и думать.

— Она, мягко говоря, не лучшим образом подходит для того, чтобы связать с ней наследие отца, — сказал мне Джеффри.

— Наша мать, больше никто, — сказал Майкл. — А эта дешевка тут ни при чем.

— Ни при чем, — подтвердил Джеффри.

Трудно было поверить, глядя на это рвение и эту решимость, что в Калифорнии они всего-навсего профессора, преподающие научные дисциплины. Ей-богу, им впору было руководить кинокомпанией "20 век — Фокс".

Херб Кибл был худощавый, очень темнокожий человек, уже довольно пожилой, с несколько скованной походкой, но отнюдь не согбенный и не хромой, и серьезным видом, суровой осанистостью и сумрачной судейской густотой голоса он напоминал негритянского проповедника. Стоило ему сказать: "Меня зовут Херберт Кибл", как его воздействие распространилось по всему помещению; стоило ему взойти на кафедру, молча посмотреть на гроб Коулмена, повернуться к собравшимся и назвать себя, как в игру вступила та область чувств, что связана с декламацией библейских псалмов. В нем была нешуточность бритвенного лез-

1. Ричард Дейли (1902—1976) — мэр Чикаго в 1950—1970 гг.

вия, карающего за любую небрежность. В целом он как внешним видом, так и поведением производил сильное впечатление, и понятно было, почему Коулмен выбрал именно его, чтобы разрушить в Афине межрасовый барьер. Видимо, за те же примерно качества, за какие Branch Рикки сделал Джекки Робинсона первым чернокожим игроком высшей бейсбольной лиги. Представить себе, как Джефф и Майкл смогли подчинить Херба Кибла своему сценарию, было в первый момент нелегко, но потом на помощь пришло соображение о притягательности драматического моноспектакля для личности, столь отчетливо отмеченной тщеславием тех, кому вверено право раздавать святые дары. В нем очень ясно читалась авторитетность второго лица после монарха.

— Меня зовут Херберт Кибл, — начал он. — Я заведую в колледже кафедрой политологии. В 1996 году я был среди тех, кто не счел нужным встать на защиту Коулмена, когда он был обвинен в расизме. Я, пришедший в Афину шестнадцатью годами раньше, вскоре после назначения Коулмена Силка деканом колледжа; я, ставший первым из преподавателей, принятых новым деканом на работу. С великим опозданием я стою теперь здесь, чтобы заявить о своей вине перед другом и бывшим начальником. Чтобы сделать все возможное — повторяю, с великим опозданием — для исправления прискорбной и постыдной несправедливости, которую допустил по отношению к нему Афина-колледж.

Когда было выдвинуто обвинение против Коулмена, я сказал ему: "Я не могу вас поддержать". Я произнес эти слова осознанно, произнес, полагаю, не только из трусости, не только из оппортунистических и карьеристских соображений, которые он мгновенно мне приписал. Я думал тогда, что эффективнее помогу Коулмену, если буду разряжать обстановку тихими действиями за кулисами, нежели если открыто солидаризуюсь с ним и буду сразу же выведен из борьбы таким безотказным оружием невежд, каким является кличка "Дядя Том". Я хотел стать голосом разума, звучащим внутри — в среде тех, чье возмущение по поводу якобы расистского замечания Коулмена заставило их безосновательно переложить на него и на колледж вину за неудачи двух чернокожих студенток. Надеясь на свою проницательность и терпение, я рассчитывал, что смогу охладить пыл если не самых ярых противников Коулмена Силка, то по крайней мере той части нашего местного афроамериканского сообщества и солидарных с ним белых, что отличается бóльшим благоразумием и уравновешенностью, — словом, тех, чей антагонизм был по существу наносным и эфемерным. Я полагал, что со временем — и надеялся даже, что в скором времени — смогу положить начало диалогу между Коулменом и его обвинителями, результатом которого станет некая декларация, касающаяся сути поведшего к конфликту недоразумения, и тем самым этот печальный инцидент завершится более или менее справедливым образом.

Я ошибался. Я не должен был говорить моему другу: "Я не могу вас поддержать". Мне следовало сказать ему так: "Я могу вас поддержать и поддержу". Я не должен был скрытно интриговать изнутри. Мне следовало открыто и честно противодействовать его недоброжелателям извне и стараться придать ему сил дружеской поддержкой, а не отдавать его во власть невыносимому ощущению покинутости, породившему незаживающую рану, последствиями которой стали отчуждение от коллег, уход с работы, а позднее и та саморазрушительная изоляция, что прямо привела его, как ни тяжело мне об этом думать и говорить, к трагичес-

кой, бессмысленной и нелепой гибели. Мне тогда еще следовало громко сказать то, что я хочу сказать сейчас в присутствии его бывших коллег и сослуживцев, сказать, что особенно важно, в присутствии его детей Джеффа и Майка, приехавших из Калифорнии, и Марка и Лизы, при-

ехавших из Нью-Йорка; сказать, будучи старшим из преподавателей Афина-колледжа афроамериканского происхождения:

Коулмен Силк за все годы его работы в Афина-колледже никогда и никоим образом не нарушал принципов честного и справедливого отношения к студентам. Никогда и никоим образом.

Неправомерного поведения, которое ему поставили в вину, он не допускал. Никогда и никоим образом.

Расследование, предпринятое на основании этих обвинений, пятнало и пятнает репутацию нашего колледжа, и сегодня это очевидней, чем когда-либо. Здесь, в Новой Англии, которая исторически в большей мере, чем какая-либо другая часть страны, ассоциируется с сопротивлением американского индивидуализма строгостям узколобого сообщества (приходят на ум такие имена, как Готорн, Мелвилл, Торо), американский индивидуалист, не считавший главным принципом жизни слепое следование правилам, американский индивидуалист, отказывавшийся принимать на веру привычные истины и установления, американский индивидуалист, чья жизнь не всегда соответствовала понятиям большинства о должном и недолжном, – словом, американский индивидуалист par excellence – в очередной раз был грубо оболган ближними, чья нравственная слепота лишила его заслуженного нравственного авторитета и довела до самоизоляции, продлившейся до его смерти. Постыдно очернив доброе имя Коулмена Силка, мы только унизились сами и проявили себя как члены косного, нравственно слепого сообщества. В первую очередь я говорю о себе и о подобных мне – о людях, которые благодаря близкому знакомству знали, сколь много значит для него Афина и насколько чисты его помыслы как учителя. Знали и тем не менее предали его, какими бы заблуждениями мы при этом ни руководствовались. Повторяю: мы предали его. Предали Коулмена и предали Айрис.

Смерть Айрис Силк пришлась на самый разгар...

Жена Смоки Холленбека была в слезах, как и еще несколько женщин поблизости. Сам же Смоки сидел в позе, несколько напоминавшей молитвенную: наклонясь вперед, он слегка касался лбом сплетенных кистей рук, которые лежали на спинке скамьи перед ним. Видимо, хотел в моих глазах, в глазах жены и чьих бы то ни было еще выглядеть человеком, для которого мысль о несправедливости по отношению к Коулмену Силку совершенно невыносима. Но, зная то, что я знал о тайной дионисийской жизни этого образцового семьянина, я с трудом мог поверить в искренность его сострадания.

Однако, если оставить Смоки в стороне, в целом внимание, напряженность и сосредоточенность, с какими люди ловили каждое слово Херба Кибла, казались мне вполне искренними, и можно было предположить, что многие из присутствующих волей-неволей будут скорбеть по безвинно пострадавшему Коулмену Силку. Возникал, конечно, вопрос – сам ли Кибл пришел к услышанному нами объяснению его отказа поддержать Коулмена, или же такое объяснение предложили ему сыновья Силка, чтобы он мог исполнить их требование и сохранить при этом лицо. Я отнюдь не был убежден, что это объяснение верно отража-

ет мотивы, побудившие его произнести слова, которые Коулмен с горечью повторял мне не раз: "Я не могу вас поддержать".

Почему я не хотел ему верить? Потому, пожалуй, что к определенному возрасту скепсис очищается и обостряется до того, что не хочется уже верить никому. Два года назад, когда Кибл промолчал вместо того, чтобы встать на защиту Коулмена, он, разумеется, сделал это по той простой причине, по какой молчуны молчат во все времена: потому что это отвечало его интересам. Целесообразность не может быть окутана такой тьмой. Херб Кибл – еще один образчик самоподкрашивания задним числом, правда, он избрал для этого довольно смелый и даже интересный способ: взять вину на себя. Тем не менее факт остается фактом – он ничего не делал, когда это было необходимо, и поэтому я от имени Коулмена сказал ему мысленно: "А пошел ты..."

Спустившись с кафедры, Кибл не сразу сел на место, а сначала пожал руку каждому из детей Коулмена, и этот простой жест взволновал всех еще больше, хотя воздействие его речи и без того было очень сильным. Что же дальше? Несколько секунд ничего не происходило. Тишина, гроб и переполненное эмоциями скопление людей. Потом встала Лиза и, поднявшись по ступеням на кафедру, объявила: "Третья симфония Малера. Последняя часть". Вот что они сделали. Все затычки долой. Малер!

Этого композитора иной раз невозможно слушать. Когда ты ему нужен, он берет тебя и доводит до исступления. Под конец мы плакали все поголовно.

Что до меня, вряд ли какие-нибудь другие звуки могли бы заставить меня так расчувствоваться – разве что "Тот, кого я люблю", если бы я услышал, как Стина Палссон поет эту вещь в 1948 году, танцуя у изножья кровати Коулмена на Салливан-стрит.

До кладбища идти было три квартала, и этот путь запомнился мне главным образом тем, что его как бы и не было. Вот мы сидим и не можем шелохнуться – такова она, бесконечная хрупкость малеровского адажио, эта простота, лишенная всякой задней мысли, всякой стратегии, развертывающаяся словно бы сама по себе, за счет накопленного жизнью запаса движения и нежелания жизни кончаться... вот мы не можем шелохнуться из-за утонченного единства величия и задушевности, которое возникает в тихой, певучей, сдержанно-напряженной мелодии струнных, потом вздымается мощными волнами и, пройдя через массивный ложный финал, движется к подлинному финалу, протяженному, увековечивающему... вот мы не можем шелохнуться из-за взбухающей, плывущей, достигающей вершины и сходящей на нет элегической оргии, которая длится, и длится, и длится в едином неизменном темпе, затем замирает, затем возвращается уже как боль, как неизбывное томление... вот мы по властному настоянию Малера лежим вместе с Коулменом в гробу, проникаясь всем ужасом бесконечности и страстным желанием избежать смерти, – и вдруг каким-то образом шестьдесят или семьдесят из нас переносятся на кладбище и смотрят на похороны, на этот простой ритуал, предлагающий решение столь же здравое, как и любое другое, но никогда вполне не постижимое. Каждый раз, чтобы поверить, надо это увидеть.

Вряд ли многие собирались идти после капеллы на кладбище. Но дети Коулмена умели не только пробудить в людях возвышенные чувства, но и не дать им угаснуть – вот почему, думал я, мы в таком количестве

столпились вокруг ямы, которой предстояло стать вечным жилищем Коулмена, вот почему мы теснились у самого ее края, словно хотели спуститься в нее и занять его место, словно готовы были предложить себя как замену, суррогат, ритуальную жертву, если это неким волшебным образом помогло бы возобновлению образцовой жизни, которая, по словам Херба Кибла, была у Коулмена два года назад все равно что украдена.

Коулмена хоронили подле могилы Айрис. На ее надгробном камне значилось: 1932 – 1996. На его камне напишут: 1926 – 1998. Как бесхитростны эти цифры. И как мало они передают.

Когда послышались звуки кадиша[1], я не сразу сообразил, что поющий находится рядом. В первый момент я подумал, что молитва доносится из другой части кладбища; но это был Марк Силк, младший и вечно недовольный сын, который, как и его сестра-близнец, был больше похож на отца, чем старшие. Он стоял по другую сторону могилы, стоял один, стоял с книгой в руке и в ермолке, нараспев читая мягким, напитанным слезами голосом знакомую еврейскую молитву.

Исгадал, в'искадаш...

Большинство американцев, включая меня и, вероятно, остальных детей Коулмена, не знает, что в точности означают эти слова, но их общий сумрачный смысл понятен почти каждому: умер еврей. Еще один еврей умер. Как будто смерть – не следствие самой жизни, а следствие того, что ты родился евреем.

Кончив, Марк захлопнул книгу и, приведя всех в состояние скорбного покоя, сам, напротив, выдал истерику. Вот чем завершилось прощание с Коулменом: снова мы не можем шелохнуться, на сей раз при виде Марка, полностью утратившего власть над собой, беспомощно воздевшего руки, широко разинувшего рот и жалобно вопящего. Этот дикий плач, более древний, чем даже прочитанная им молитва, становился все громче, пока Марк не увидел, что к нему, протягивая руки, спешит сестра, и тогда он повернул к ней лицо, искаженное лицо Силка, и крикнул с детским изумлением в голосе:

– Мы никогда его больше не увидим!

Мысль, пришедшая мне в голову, была не самой великодушной. С великодушными мыслями в тот день вообще было туго. Я подумал: чего ты сейчас лезешь из кожи? Ты не рвался его увидеть, когда он был жив.

Марк Силк воображал, что отец всегда будет на месте, что его можно будет ненавидеть как угодно долго. Ненавидеть, ненавидеть, ненавидеть, ненавидеть, а потом, когда он сам решит, что хватит, когда он исхлещет Коулмена до полусмерти своим узлом сыновних обид, – так и быть, простить. Он думал, что Коулмен никуда не денется, пока пьеса не будет разыграна до конца, как будто они с Коулменом пребывают не в жизни, а на южном склоне афинского акрополя, в театре под открытым небом, посвященном Дионису, где во время óно перед глазами у десяти тысяч зрителей неукоснительно соблюдались драматические единства, где ежегодно получал воплощение великий трагически-очищающий цикл. Людская потребность в начале, середине и конце – причем конце, соразмерном по величию началу и середине, – нигде не выражена так полно, как в пьесах, которые Коулмен разбирал со студентами в Афина-колледже. Но за пределами классической трагедии пятого века до нашей эры ожидание какой бы то ни было законченности, не говоря уже о

1. Кадиш – еврейская заупокойная молитва.

законченности справедливой и совершенной, – глупая иллюзия, непозволительная для взрослого.

Люди начали расходиться. Я увидел, как Холленбеки идут по дорожке между могил к ближайшей улице – муж положил руку жене на плечо, ведет ее, оберегает... Я увидел Нельсона Праймуса, молодого адвоката, который представлял интересы Коулмена во время конфликта из-за "духов", а с ним молодую заплаканную беременную женщину – должно быть, жену. Я увидел Марка, увидел Лизу, которая все еще его успокаивала, увидел Джеффа и Майкла, так умело проведших всю операцию и теперь тихо говоривших с Хербом Киблом в нескольких шагах от меня. Сам я не мог уйти из-за Леса Фарли. Где-то вне этого кладбища он и сейчас орудует без помех, не обвиненный ни в каком преступлении, вовсю вырабатывающий свою собственную грубую реальность, – зверь, а не человек, готовый на какое хочешь столкновение с кем угодно и способный оправдать бог знает какими внутренними причинами любой свой поступок.

Я, разумеется, понимал, что не может быть никакой справедливой и совершенной законченности. И тем не менее, стоя у свежевырытой ямы, где покоился гроб, я упрямо думал, что *этого* финала недостаточно – пусть даже он будет истолкован как событие, на веки вечные вернувшее Коулмену заслуженный почет и давшее ему место в истории колледжа. По-прежнему слишком много правды было скрыто.

Я имел в виду правду о его гибели. О той правде, что вышла на свет секунды спустя, я еще не подозревал. Всегда есть правда и есть более глубокая правда. Хотя кругом полным-полно людей, свято уверенных, что знают тебя или кого-нибудь еще как облупленного, на самом деле конца неведению нет. Правда о нас неисчерпаема. Как и ложь. Попался между, думалось мне. Осужден высоколобыми, охаян добродетельными – и убит свихнувшимся преступником. Отлучен благочестивцами, избранными, вездесущими евангелистами нравов нынешнего дня – и укокошен демоном безжалостности. На Коулмена обрушились обе людские ипостаси. Чистые и нечистые во всеоружии, на полном скаку, движимые общей потребностью найти врага. Размолот, думалось мне. Размолот двумя мировыми челюстями, верхней и нижней. Уничтожен антагонизмом, который составляет сущность нашего мира.

У разверстой могилы, одинокая, стояла женщина, стояла так же близко к ней, как я. Она молчала, и не видно было, чтобы плакала. Казалось даже, что она не вполне здесь – в смысле не вполне на кладбище, не вполне на похоронах. Можно было подумать, что она стоит на каком-нибудь углу и терпеливо ждет автобуса. На мысль о будущей пассажирке, уже внутренне готовой оплатить проезд и отправиться в путь, навело меня то, как она чинно двумя руками держала перед собой сумочку. О ее негритянском происхождении говорили только характерное строение нижней части лица – форма рта, выдающаяся вперед челюсть – и жесткая шевелюра. Кожа лица у нее была не темней, чем у гречанки или марокканки, и я, может быть, не соотнес бы один признак с другим и вообще не распознал бы в ней чернокожую, если бы среди немногих оставшихся у могилы не было Херба Кибла. Основываясь на ее возрасте – лет шестьдесят пять – семьдесят, – я решил, что это его жена. Если так, ее странно ошеломленному виду нечего удивляться. Легко ли ей было слушать, как муж – не важно, по какой причине – играет роль козла отпущения? Понятно, что ей о многом надо подумать и что это может

потребовать больше времени, чем длятся похороны. Мысленно она, должно быть, по-прежнему с тем, что услышала в капелле Рисхангера. Вот отчего этот отрешенный вид.

Я рассудил неверно.

Случайно получилось так, что, когда я наконец повернулся, чтобы уйти, она тоже повернулась, и мы оказались лицом к лицу в каком-нибудь шаге друг от друга.

– Меня зовут Натан Цукерман, – сказал я. – Я был другом Коулмена под конец его жизни.

– Здравствуйте, – отозвалась она.

– Благодаря вашему мужу сегодня все стало по-другому.

Она не посмотрела на меня так, как смотрят на обознавшихся, хотя я обознался. Но и не проигнорировала меня, не отошла, не постаралась от меня избавиться. И она не выглядела так, словно не знала, как ей быть, хотя наверняка была в затруднительном положении. Друг Коулмена под конец его жизни? Будучи той, кем она была, как она могла сказать, что она не миссис Кибл, и уйти?

Она не ушла – просто стояла напротив меня без всякого выражения на лице, глубоко потрясенная событиями и открытиями дня, и не понять, кем она приходилась Коулмену, было в этот миг невозможно. Сходство, которое выявлялось, и выявлялось быстро, стремительными приращениями, как при взгляде на далекую звезду в наводимый на нужное увеличение телескоп, не было, впрочем, сходством с Коулменом. Что я увидел, когда наконец-таки у меня открылись глаза и секрет Коулмена стал мне ясен, было сходство с Лизой, которая еще больше, чем папиной дочкой, была тетиной племянницей.

Тогда-то, в день похорон, привезя Эрнестину к себе домой, я и узнал от нее большую часть того, что мне известно о жизни Коулмена в Ист-Ориндже: о попытке доктора Фенстермана добиться, чтобы Коулмен нарочно сплоховал на выпускных экзаменах и пропустил вперед Берта Фенстермана; о том, как мистер Силк купил в 1925 году в Ист-Ориндже небольшой каркасный дом, где Эрнестина живет по сей день, дом, который раньше занимала супружеская пара, поссорившаяся, по словам Эрнестины, с соседями и специально решившая продать жилье цветным, чтобы им насолить. ("Сразу можно понять, из какого я поколения, – сказала она мне позже. – Я говорю: 'цветной, 'негр'".) Я узнал от нее о том, как их отец во время Депрессии лишился своего магазина оптики, от чего он далеко не сразу оправился ("Я не уверена, – сказала она, – что оправился вообще"), и о том, как он всю оставшуюся жизнь проработал официантом в вагоне-ресторане. Она рассказала мне, как мистер Силк, называвший английский "языком Чосера, Шекспира и Диккенса", добивался от детей, чтобы они не только правильно говорили, но и логически мыслили, учились классифицировать, анализировать, описывать и перечислять, чтобы они знали, помимо английского, латынь и греческий; как он водил их в нью-йоркские музеи и на бродвейские спектакли; как, узнав о тайных выступлениях Коулмена на любительском ринге на правах члена Ньюаркского клуба мальчиков, он произнес голосом, которого никогда не повышал, чья авторитетность в этом не нуждалась: "Будь я твоим отцом, я сказал бы: 'Выиграл вчера вечером? Молодец. Значит, можешь уйти непобежденным'". От Эрнестины я узнал и о том, как док Чизнер, у которого я школьником сам

брал уроки бокса, несколькими годами раньше оценил талант юного Коулмена после его ухода из клуба мальчиков, как он хотел, чтобы Коулмен боксировал за Питтсбургский университет и мог устроить ему там стипендию, выдав его за белого спортсмена, но Коулмен все-таки поступил в Хауард, потому что этого хотел отец. Как их отец упал мертвый, подавая в поезде обед, и как Коулмен немедленно бросил Хауард и записался во флот, соврав, что он белый. Как, отслужив во флоте, он поселился в Гринич-Виллидже и поступил в Нью-Йоркский университет. Как однажды в воскресенье он приехал домой с хорошенькой белой девушкой из Миннесоты. Как в тот день на кухне пригорело печенье — настолько все были озабочены тем, чтобы не сказать ничего лишнего. Как, к счастью для всех, Уолт, начавший уже преподавать в Асбери-Парке, не смог в тот день приехать, как все прошло наилучшим образом — Коулмену не на что было пожаловаться. Эрнестина рассказала мне, как любезна была их мать с этой Стиной. Как они старались быть к ней добрыми и внимательными — и она к ним тоже. Как трудолюбива всегда была их мать, как после смерти мужа она без всякой протекции стала первой цветной старшей медсестрой хирургического отделения Ньюаркской больницы. Как она боготворила своего Коулмена, как никаким своим поступком Коулмен не мог разрушить эту материнскую любовь. Как даже его решение прожить всю оставшуюся жизнь, делая вид, что у него была некая другая мать, на самом деле никогда не существовавшая, — как даже это не могло избавить миссис Силк от одержимости им. Как Уолт, узнав от матери, что Коулмен собирается жениться на Айрис Гительман и что ей никогда не быть ни свекровью своей невестки, ни бабушкой своих внуков, запретил брату любые сношения с семьей и затем с отцовской стальной властностью дал матери понять, что и ей следует порвать с Коулменом всякую связь.

— Я не сомневаюсь, что Уолт хотел ей добра, — сказала Эрнестина. — По его мнению, это был единственный способ избавить мать от сильной боли. От боли, которую Коулмен причинял бы ей каждое Рождество, в каждый праздник, в каждый день рождения. Уолт думал, что, если не порвать эту связь, Коулмен разобьет матери сердце еще тысячу раз, как разбил в тот день. Уолт был в бешенстве из-за того, что Коулмен приехал в Ист-Оринджс этой новостью без всякой подготовки, не предупредив никого из нас, что он просто взял и поставил пожилую женщину, вдову, перед фактом. Флетчер, мой муж, объяснял такую реакцию Уолта психологически. Но я с Флетчером не соглашалась. Не думаю, что Уолт и вправду завидовал Коулмену из-за места, которое он занимал в мамином сердце. Не принимаю этого объяснения. По-моему, он просто бешено оскорбился, оскорбился не только за мать, но и за всех нас. Уолт был в семье самым идейным — как ему было не разозлиться? Я-то относилась к этому спокойней, и тогда, и позже, но я могу понять Уолтера. В каждый день рождения Коулмена я звонила ему в Афину. Последний раз три дня назад. Это был день его рождения. Семьдесят два года. Я думаю, он погиб, когда ехал домой после праздничного обеда. Я позвонила, никто не ответил, и я позвонила на следующий день. Так я узнала о его смерти. Кто-то взял трубку и сказал мне. Потом я поняла, что это был один из моих племянников. Я начала звонить Коулмену домой только после того, как его жена умерла и он ушел из колледжа. До этого только на работу. И никогда никому об этом не говорила. Незачем было. Поздравляла с днями рождения. Позвонила, когда мама умерла. Позвонила, когда вышла

замуж. Позвонила, когда у меня родился сын. Позвонила, когда моего мужа не стало. Мы всегда хорошо говорили. Он хотел знать все новости, и про Уолтера тоже, про его успехи. А он сообщал мне о рождении каждого ребенка – и Джеффри, и Майкла, и близнецов. Он мне в школу звонил. Роды Айрис всякий раз были для него огромным испытанием. Он искушал судьбу. Ведь его дети генетически связаны с прошлым, которое он отверг, и всегда была вероятность, что проявятся черты предков. Это очень его беспокоило. Иногда такое случается. Но все-таки он хотел иметь детей. Это входило в его план – в план полноценной, продуктивной жизни. И тем не менее он страдал из-за своего решения, особенно в первые годы и уж точно перед рождением каждого из детей. Коулмен ни от чего не отмахивался, в том числе и от своих собственных чувств. От нас он мог себя отрезать, но от своих чувств – никогда. Особенно от своих чувств к детям. Я думаю, он понял, что это ужасно, когда от человека скрывают нечто важное о том, кто он есть. Всякий от рождения имеет право знать свою генеалогию. Не говоря уже об опасности, которая здесь есть. Представьте себе на минуту: у кого-то из его детей рождается ребенок с негритянскими признаками. Что тогда? Пока Бог миловал – я имею в виду двух его внуков в Калифорнии. Но дочь ведь еще не замужем. Предположим, она выйдет за белого человека, что более чем вероятно, и родит ему негритенка. Как она это объяснит? И что подумает муж? Подумает, что не он отец, а какой-то чернокожий. Нет, мистер Цукерман, не сказать ничего детям было страшно жестоко со стороны Коулмена. Это не только Уолтера мнение, но и мое. Если Коулмен хотел хранить свое происхождение в секрете, ему нельзя было заводить детей. И он это знал. Должен был знать. Но он заложил эту мину, которая всегда ощущалась на заднем плане, когда он про них говорил. Особенно когда говорил о младшем сыне, о Марке, который был с ним не в ладах. Он сказал мне, что, каковы бы ни были претензии Марка, все дело, возможно, в том, что он смутно почуял правду. Коулмен мне сказал: "Я жну, что посеял, – правда, жну в извращенном виде. Марк не может даже ненавидеть отца за настоящее, за то самое. Я и этого природного права его лишил". Я говорю: "Но он, может быть, вовсе и не стал бы тебя за это ненавидеть". А он мне ответил: "Ты не поняла. Не в том дело, что он возненавидел бы меня за негритянское происхождение. 'То самое' – в другом. Я скрыл от него такие вещи, какие он имел право знать". Тут мы эту скользкую тему оставили. Но мне ясно: он всегда помнил, что в основе его отношений с детьми лежит ложь, ужасная ложь, и знал, что Марк это почувствовал. Интуиция Марку подсказала, что он и другие дети, которые хранят в генах отцовское начало и передадут его своим детям – передадут по крайней мере генетически, а может быть, и на телесном, видимом уровне, – не знают до конца, кто они и откуда. Я, конечно, не могу быть уверена, но иногда мне кажется, что Коулмен считал Марка наказанием за зло, которое он причинил своей матери. Хотя от него самого, – оговорилась Эрнестина, – я ничего такого не слышала. А что касается Уолтера, я думаю, он хотел в каком-то смысле заменить матери нашего отца и сделать так, чтобы Коулмен не бередил ей рану каждым своим приездом.

– Как она все это перенесла? – спросил я.

– Тут, мистер Цукерман, ничем нельзя было помочь. Рана так и не зажила. Знаете, что она говорила в бреду, когда умирала в больнице? Она все подзывала сестру, как ее саму раньше больные подзывали, и проси-

ла: “Посадите меня на поезд. У меня дома больной ребенок”. Опять и опять: “У меня дома больной ребенок”. Я сидела у ее постели, держала ее за руку, смотрела, как она умирает, и знала, кто этот больной ребенок. И Уолтер знал. Коулмен – вот кто. Лучше ей было бы или хуже, если бы Уолт тогда не вмешался и не запретил Коулмену появляться... не знаю. Уолт – человек решительный, такой уж у него дар. Как и у Коулмена. Семья решительных мужчин. Папа тоже таким был, и его отец тоже – он был методистским священником в Джорджии. Решаются на что-то – и кончен разговор. Что ж, такая решительность имеет свою цену. И я еще кое-что поняла. Сегодня поняла. Родители были бы рады это узнать. Мы семья педагогов. Все началось с моей бабушки по отцу. Во времена рабства, когда она была еще девочкой, ее научила читать хозяйка, а потом, уже после Освобождения, она окончила так называемое Педагогическое и промышленное училище штата Джорджия для цветных. Вот с чего началось – и пришло к тому, что мы имеем. Я это поняла, когда увидела детей Коулмена. Все, кроме одного, – педагоги. И наше поколение – Уолт, Коулмен, я – тоже педагоги. Мой сын – другая история. Он не кончил колледжа. Не все у нас с ним было гладко, а теперь у него есть, как говорится, дражайшая половина, из-за которой между нами возникли новые трения. Надо вам сказать, что до того как Уолтер в сорок седьмом году начал преподавать в школе в Асбери-Парке, там на весь город не было ни одного цветного учителя. Он был первым. А потом стал первым цветным директором. А потом – первым цветным инспектором школ. Это может вам кое-что сказать об Уолте. Цветное население там было давнее и устоявшееся, но перемены начались только в сорок седьмом, с приходом Уолтера. Его решительность тут сыграла роль, и еще какую. Хоть вы и выросли в Ньюарке, вы можете не знать, что до 1947 года сегрегация в учебных заведениях была в штате Нью-Джерси одобрена конституционно. В большинстве районов существовали школы для цветных и школы для белых. На юге штата начальное образование было очень четко разграничено по расовому признаку. Южнее Трентона и Нью-Брансуика – сплошь раздельные школы. И в Принстоне. И в Асбери-Парке. В Асбери-Парке, когда Уолтер стал там работать, была школа под названием “Бэнгз-авеню”, которая состояла из двух школ – “восточной” и “западной”. Одна для цветных, другая для белых. Здание одно, но его поделили пополам. Двор был перегорожен забором, по одну сторону белые дети, по другую цветные. Белых детей учили белые учителя, черных – черные. Директор был белый. В Трентоне, в Принстоне – а Принстон, как считается, уже не на юге штата – до 1948 года школы были раздельные. В Ист-Ориндже и в Ньюарке такого не было, хотя одно время даже в Ньюарке работала начальная школа для цветных. В начале века. Но я вернусь в сорок седьмой – я просто хочу вам объяснить, какую роль во всем этом играл Уолтер. Вам легче будет понять, что он за человек, и легче будет понять его отношение к Коулмену, если вы увидите более широкую картину. Послевоенные годы – это ведь задолго до начала движения за равноправие. То, что сделал тогда Коулмен, решение, которое он принял, – стать, вопреки своему негритянскому происхождению, членом белого сообщества, – не было тогда чем-то совсем уж необычным. Про это фильмы снимались. Не помните? Один назывался “Пинки”, другой, с Мелом Феррером, забыла как, хотя тоже был популярный фильм. Перейти из одной расовой группы в другую – об этом думали тогда многие, не только цветные, но и белые, потому что тогда еще

не было настоящих гражданских прав, не было равенства. Конечно, люди поступали так большей частью мысленно, и все же сама возможность их манила, тревожила воображение – ну, как сказка. В сорок седьмом губернатор Нью-Джерси созвал конституционное собрание, чтобы изменить конституцию штата. И это стало началом перемен. Одна из поправок состояла в том, что в Нью-Джерси не должно больше быть сегрегации в частях Национальной гвардии. Другая гласила, что ребенка нельзя принуждать идти мимо одной школы, чтобы попасть на занятия в другую. Примерно такая формулировка. Уолт, конечно, привел бы ее слово в слово. Эти поправки уничтожили сегрегацию в государственных школах и в Национальной гвардии. Проводить их в жизнь должны были губернатор и советы по образованию. Совет штата велел местным советам по образованию разработать и привести в действие планы интеграции школ. Начинали с преподавательского состава, потом постепенно объединяли учащихся. Уолт еще до того, как стал работать в Асбери-Парке, еще когда он только вернулся с войны и заканчивал колледж в Монтклэре, был из тех политически активных молодых негров, бывших солдат, что уже начали бороться за интеграцию школ в нашем штате. Даже до изменения конституции, а после уж тем более, Уолт был из самых горячих активистов.

Она подразумевала, что Коулмен *не был* в числе бывших солдат, которые боролись за интеграцию, равенство и гражданские права; по мнению Уолта, он всегда боролся только за себя лично. Силки Силк. Шелковый Силк. Вот под каким именем он боролся, вот за кого он боролся, вот почему Уолт всегда терпеть не мог брата, даже в детстве. За себя, любимого, говорил Уолт. За единственного и неповторимого Коулмена. Всю жизнь хотевшего одного – обособиться.

Мы сидели у меня дома, ланч уже несколько часов как был съеден, но энергия Эрнестины не убывала. Вихрь, поднявшийся у нее в голове, – вихрь, вызванный не только смертью Коулмена, но и всем таинственным, что было с ним связано и что она пятьдесят лет пыталась понять, – заставлял ее говорить, говорить и говорить, что вряд ли было обычно для этой серьезной женщины, всю жизнь проработавшей школьной учительницей в небольшом городке. Во всех отношениях она выглядела чрезвычайно прилично и, несмотря на некоторую худобу лица, казалась очень здоровой, казалась противницей излишеств любого рода; одежда, осанка, аккуратность, с которой она ела, даже то, как она сидела на стуле, – все говорило о том, что она без труда подчиняется общепринятым условностям и в любом конфликте автоматически берет на себя роль посредника. Поистине она мастер здравого отклика на любые события и в силу осознанного выбора больше слушательница, чем оратор, – однако сейчас, в возбуждающей атмосфере, создавшейся после гибели ее "белого" брата, реакция на исполненный символического значения конец этой жизни, которую ее семья считала одним большим, извращенным, своевольно-высокомерным отступничеством, не могла быть обычной.

– Мать до самой смерти не понимала, почему Коулмен это сделал. "Отпал от своих" – так она говорила. Надо сказать, это в ее семье не первый случай. Были и другие. Но то *другие*. Не ее Коулмен. Коулмен никогда не досадовал на то, что родился негром. Никогда, насколько мы его знали. Точно вам говорю. Негритянство ни капельки его не мучило. Мать вечерами подолгу сидела в кресле, неподвижная как мумия, и ясно было, о чем она думает: могло ли то быть причиной, могло ли

это? Давил авторитет отца? Но, когда он это сделал, папа уже умер. Мама предполагала одно, другое, но все без толку. Или он считал, что белые лучше нас? Денег у них, конечно, больше, но лучше? Мог ли он так думать? Мы никогда этого в нем не замечали. Да, случается, конечно, что дети вырастают и уезжают и не хотят больше иметь ничего общего со своими семьями, и для этого им вовсе не обязательно быть цветными. Такое каждый день происходит по всему свету. Они так всё ненавидят, что хотят уехать как можно дальше. Но Коулмен-то в детстве был совсем другой! Такого веселого, жизнерадостного мальчика редко встретишь. Мы с Уолтом и то были несчастнее, чем Коулмен. Так легко ему все давалось, так его все хвалили... Нет, у мамы это просто в голове не укладывалось. Ее тоске конца-края не было. Его фотографии. Его школьные табели. Его спортивные медали. Его ежегодник. Диплом первого ученика. Даже игрушки Коулмена она сохранила, которые он любил в раннем детстве. Вынимала и смотрела на них, как ясновидящий в хрустальный шар, точно надеялась, что вдруг все объяснится. Интересно, признался ли он когда-нибудь кому-нибудь? Вы не знаете, мистер Цукерман? Жене? Детям?

— Не думаю, — сказал я. — Даже уверен, что не признался.

— Вот вам Коулмен. Решился — и точка. Это с детства в нем удивляло: держался принятого плана железно. Необыкновенное упорство во всем, что делал. Из одной большой лжи сколько мелкой проистекало — семье, сослуживцам, — и не отказался ведь до самого конца. Даже похоронили как еврея. Ох, Коулмен, — промолвила она печально, — непреклонный ты наш. Сама непреклонность.

И в этот момент она была ближе к смеху, чем к слезам.

Похоронили как еврея, подумал я, и, если моя догадка верна, убили как еврея. К вопросу об издержках перевоплощения.

— Если он кому-нибудь признался, — сказал я, — то разве что женщине, которая с ним погибла. Фауни Фарли.

Ясно было, что Эрнестина не хочет о ней разговаривать. Но из вежливости она спросила:

— Почему вы так думаете?

— Наверняка не знаю. Просто мысль такая мелькнула. Это вписывается в соглашение, которое, я почувствовал, было между ними.

Под соглашением я имел в виду обоюдное понимание, что гладкого выхода из ситуации нет, но толком я и себе-то не мог этого объяснить, а Эрнестине не стал даже и пытаться.

— Вы знаете, — сказал я, — услышав от вас сегодня такое, я должен буду все, что касается Коулмена, переосмыслить. Сейчас я как в тумане.

— Что ж, тогда вас можно считать почетным членом семейства Силков. Никто из нас, кроме Уолтера, никогда не знал, что думать про Коулмена. Почему он так поступил, почему в этом упорствовал, почему мама должна была умереть именно так? Если бы Уолт был менее категоричен, кто знает, к чему бы все пришло? Может быть, Коулмен с годами изменил бы свое решение и рассказал бы жене? И вообще всем знакомым? Но Уолт остановил время, а это никогда к добру не приводит. Коулмен сделал то, что сделал, когда ему не было еще и тридцати. Двадцатисемилетняя бомба. Но не вечно же человеку двадцать семь. Не вечно на дворе пятьдесят третий год. Люди старятся. Нации старятся. *Проблемы* старятся. Иной раз так состарятся, что их уже и нет. Но Уолт все заморозил. Ведь если узко на это посмотреть, с точки зрения простой социальной

выгоды, в то время образованному негру из среднего класса выгодно было поступить так, как Коулмен, — а сейчас это стало совершенно невыгодно. Сейчас, если ты образованный негр из среднего класса и хочешь отправить детей учиться в лучшие университеты, да еще, может быть, и на полную стипендию, тебе в голову не придет скрыть свое происхождение. Пусть даже у тебя кожа белая как снег, тебе сейчас выгодно этого *не* делать. Ну и в чем тогда проблема? В чем разница? Но разве я могу переубедить Уолтера? Допустим, я спрошу его: в чем, собственно, разница? Он ответит: как в чем? Во-первых, в том, как Коулмен поступил с мамой, во-вторых, в том, что тогда, по мнению Уолтера, шла битва, а Коулмен не захотел сражаться. Хотя бы по этим двум причинам я не могу переубедить Уолтера. Но не думайте, что за все годы я ни разу не пыталась. Ведь Уолтер на самом деле не такой уж твердокаменный. Хотите, расскажу про него? В сорок четвертом Уолтеру шел двадцать второй год, он служил в негритянской пехотной роте, был стрелком. Дело было в Бельгии. Он и еще один солдат из его части однажды оказались над железнодорожными путями, проложенными по дну углубления. Вдруг они увидели немецкого солдата, который шел по шпалам на восток. За спиной вещмешок, идет и насвистывает. Напарник Уолтера прицелился. Уолтер ему: "Что ты делаешь, идиот?" — "Как что? Хочу его шлепнуть". — "Зачем? Оставь! Что он делает? Идет. Скорее всего, идет домой". Уолтеру пришлось вырвать у напарника винтовку. Тот был из Южной Каролины. Они спустились и взяли немца в плен. Оказалось, он действительно шел домой. Получил увольнительную и потопал по шпалам на восток — другого способа добраться до Германии не смог придумать. Уолтер спас ему жизнь. Многие ли солдаты так поступают? Мой брат — непреклонный мужчина, он умеет, когда надо, быть твердым, но твердым по-человечески. И, по его человеческому разумению, то, что ты делаешь, должно помогать твоему народу, твоей расе. Повторяю: я пыталась с ним говорить, иногда даже такое говорила, чему сама верю только наполовину. Коулмен — человек своего времени, так я ему сказала. Ему нужны были его человеческие права, и он перепрыгнул через ступеньку — не стал ждать общего гражданского равноправия. "Посмотри на него исторически, — так я Уолтеру сказала. — Ты же учитель истории. Пойми его как часть чего-то большего. Вы оба не хотели довольствоваться тем, что имели. Вы оба борцы. Вы оба боролись — ты по-своему, Коулмен по-своему". Но на Уолтера эти доводы не действовали. Да и никакие другие. Я ему говорила: для Коулмена это был способ стать мужчиной. Но Уолтер не согласен. Он-то как раз считает, что это был способ *не* стать мужчиной. Он мне отвечает: "Конечно. Разумеется. Твой брат сделался примерно тем же, чем сделался бы, не соверши он этого. Тем же, кроме одного: перестал быть негром. В этом-то 'кроме' вся суть". Уолт не в состоянии посмотреть на Коулмена иначе, чем смотрел всегда. И как мне с этим быть, мистер Цукерман? Ненавидеть Уолта за то, что он сделал с Коулменом, за то, что он вот так остановил время? Ненавидеть Коулмена за то, как он поступил с мамой, за то, что он ее, бедную, заставил страдать до самой смерти? Но если я возненавижу обоих братьев, до чего это может дойти? Почему не возненавидеть отца за его ошибки? Или покойного мужа? А он не был ангелом, уверяю вас. Я любила мужа, но что видела — то видела. А как быть с моим сыном? Вот кого не так уж трудно возненавидеть. Он делает для этого все возможное. Но ненависть — опасная вещь. С ней ведь как: начнешь — и не остановишься.

Зайдешь в сто раз дальше, чем хочешь. Ее трудней держать под контролем, чем что-либо другое на свете. Легче пить бросить, чем ненависть обуздать. Точно вам говорю.

— Знали вы до сегодняшнего дня, — спросил я ее, — почему Коулмен ушел из колледжа?

— Нет, не знала. Я думала, просто достиг пенсионного возраста.

— Он ничего вам не сказал.

— Ничего.

— Значит, вы не поняли, о чем говорил Кибл?

— Не вполне поняла.

Я рассказал ей всю историю про "духов". Когда я кончил, она покачала головой:

— В жизни не слыхала о большей глупости со стороны высшего учебного заведения. Не колледж, а рассадник невежества. Из-за такой ерунды обрушиться на профессора, какой бы он ни был расы, оскорблять его, бесчестить, такой ущерб нанести его авторитету, достоинству, престижу! Я дочь моего отца, мистер Цукерман, дочь человека, для которого слово значило очень много, а с каждым днем слова, которые я слышу, все меньше и меньше отражают жизнь как она есть. Судя по вашему рассказу, в колледжах сегодня возможно все что угодно. Кажется, там просто забыли, что значит — учить. Не преподавание, а фиглярство. В любую эпоху, конечно, хватает реакционеров, но тут, в Афине, им, похоже, раздолье. Дрожать за каждое слово, которое произносишь? А как же свобода слова? Как же первая поправка к Конституции Соединенных Штатов? В годы нашего с вами детства было рекомендовано, чтобы всем выпускникам средних школ штата Нью-Джерси вручали по окончании две вещи — аттестат и экземпляр Конституции. Помните? Надо было год изучать американскую историю и полгода — экономику; теперь, разумеется, можно и не изучать, слово "надо" вообще уже изгнано из школьного лексикона. В наше время во многих школах на выпускном акте директор давал тебе аттестат, а еще кто-то — Конституцию. Сегодня так мало людей имеет представление о нашей конституции! И впечатление такое, что глупости вокруг с каждым часом все больше. Взять хотя бы программы для отстающих в колледжах! Студентов учат тому, что они должны были освоить в девятом классе. В нашей ист-оринджской средней школе дети давно уже перестали читать классику. О "Моби Дике" слыхом не слыхали. В последний мой год перед уходом на пенсию школьники мне говорили, что для февральского месячного курса афроамериканской истории им только и нужно что прочесть биографию какого-нибудь знаменитого чернокожего, написанную чернокожим. Я их спрашиваю: какая разница, кто написал — черный или белый? Мне вообще не нравится этот месячный курс. Точно молоко, которое вот-вот скиснет: пить еще можно, но вкус уже неважный. Если ученики должны знать, кто такой был Мэтью Хенсон, рассказывайте про него тогда же, когда и про других путешественников.

— Кстати, кто такой был Мэтью Хенсон? — спросил я и подумал при этом — а знал ли Коулмен? Хотел ли знать? И не было ли нежелание знать одной из причин его решения?

— Мистер Цукерман... — сказала она с мягким укором.

— Мистер Цукерман не прошел в школе курса афроамериканской истории.

— Кто открыл Северный полюс? — спросила она.

Вдруг я проникся к ней громадной симпатией, причем она тем больше мне нравилась, чем больше проявляла себя как педантичная наставница. Хоть и по другим причинам, она уже нравилась мне почти так же сильно, как ее брат. И теперь я видел, что если бы можно было поставить их бок о бок, понять, что такое Коулмен, не составило бы большого труда. *Всем известно...* Глупая, глупая, глупая Дельфина Ру! Правда о человеке неизвестна никому, и часто — как в случае самой Дельфины — ему-то она как раз известна хуже, чем кому-либо.

— Я забыл, Пири или Кук, — сказал я. — Не помню, кто из них добрался до полюса первым.

— Хенсон, к вашему сведению, был на полюсе раньше всех. Когда об этом написали в "Нью-Йорк таймс", ему были оказаны подобающие почести. Но теперь, когда пишут историю, только и речи что о Пири. Все равно что стали бы писать о восхождении на Эверест сэра Эдмунда Хиллари и ни словом не обмолвились про Норэя Тенцинга.

Эрнестина поистине пребывала уже в своей родной учительской стихии, и видно было, что, в отличие от Коулмена, она сполна оправдала надежды отца.

— Я хочу сказать, — продолжала она, — что, например, о докторе Чарльзе Дрю надо говорить, когда речь идет о здоровье и медицине. Вы о нем слышали?

— Нет.

— Стыдно, мистер Цукерман. Я вам сейчас, через минутку о нем расскажу. И проходить его надо не в феврале, а тогда же, когда и других медиков. Вы меня понимаете?

— Да.

— Их надо в один ряд со всеми остальными — с путешественниками, медиками и так далее. А не так, как сейчас, — всех черных в одну кучу. Трудно было с этим уживаться, хоть я и старалась. Раньше у нас блестящая школа была. У выпускника ист-оринджской средней школы, особенно если он кончил с отличием, был хороший выбор колледжей. О господи, на эту тему я как начну... Происшествие с Коулменом, с этим словечком "духи" — часть все той же грандиозной несостоятельности. Во времена моих родителей, да и на нашей с вами памяти, если ты не справлялся с учебой, тебе и отвечать приходилось. А теперь ответственность переложили на предмет. Читать классику трудно — долой классику, она сама виновата. Нынешний школьник из неспособности своей извлекает выгоду. Я не могу это освоить — значит, что-то с этим не так. И в первую очередь что-то не так с гадом учителем, который велит это осваивать. Никаких больше нет критериев, мистер Цукерман, — одни мнения. Мне часто не дает покоя мысль о том, каким все было и каким стало. Каким было образование. Какой была наша школа в Ист-Ориндже. Каким был сам Ист-Ориндж. Модернизация уничтожила Ист-Ориндж — в этом у меня нет никаких сомнений. Отцы города много говорили о модернизации и о великих переменах, которые она принесет. Торговцев это напугало до смерти, и они стали уезжать, и бизнеса оставалось все меньше. Потом проложили двести восьмидесятое шоссе и парковую дорогу — маленький городок оказался разрезан на четыре части. Ради парковой дороги уничтожили Джонс-стрит — центр нашего цветного сообщества. Потом двести восьмидесятое. Какие разрушения, подумать страшно! Точно ураган. Чтобы проложить шоссе, штат скупил все красивые дома на Оратон-паркуэй, на Элмвуд-авеню, на Мейпл-авеню, и они

исчезли в одночасье. Раньше все рождественские покупки я делала на Мейн-стрит и Сентрал-авеню называли тогда Пятой авеню трех Оринджей. А что у нас теперь? "Шопрайт" и "Данкин донатс". Была еще "Доминос пицца", но закрылась. Ну, еще один есть продуктовый магазин, есть химчистка. Но качество тогда и теперь — не сравнить. Честно вам скажу: я езжу за покупками в Уэст-Ориндж. Раньше этого не надо было делать. Каждый вечер мы с мужем, если погода была ничего, ходили выгуливать собаку — два квартала до Сентрал-авеню, потом четыре по ней, потом переходим ее, и назад, разглядывая витрины. Там был "Б. Альтман". Был "Рассек". Был "Блэк, Старр и Горем". Был фотосалон Бахраха. На Мейн-стрит был "Минкс", очень приличный магазин мужской одежды, его еврей содержал. Два кинотеатра — "Голливуд" и "Палас". В маленьком Ист-Ориндже вся жизнь была представлена...

Вся жизнь, весь ее спектр. Когда? Раньше. До модернизации. До того, как отменили изучение классики. До того, как перестали вручать выпускникам конституцию. До того, как в колледжах ввели программы для отстающих. До того, как придумали месячный курс афроамериканской истории. До того, как проложили парковую дорогу и двести восьмидесятое шоссе. До того, как стали травить профессоров за слово "духи" и тому подобное. До того, как она начала ездить за продуктами в Уэст-Ориндж. До того, как все изменилось — в том числе Коулмен Силк. Раньше было лучше. И никогда, сетовала она, старое не вернется — ни в Ист-Ориндже, ни в остальной Америке.

К четырем часам, когда я повез ее в "Герб колледжа", где она остановилась, послеполуденный свет стремительно пошел на убыль, небо заволокли тяжелые тучи, подул резкий ноябрьский ветер. Утром, когда хоронили Коулмена, — и предыдущим утром, когда хоронили Фауни, — была чуть ли не весна, но теперь все предвещало близкую зиму. Зиму на высоте тысяча двести футов. Принимайте гостью.

Возникшее у меня в этот момент побуждение рассказать Эрнестине про жаркий, клонящийся к вечеру летний день всего четыре месяца назад, когда Коулмен повез меня на молочную ферму посмотреть на Фауни, занятую дойкой, — или, точнее, посмотреть на него, смотрящего на Фауни, занятую дойкой, — я тут же и подавил, для чего особой мудрости не понадобилось. Пробелы в своем видении жизни Коулмена Эрнестина отнюдь не жаждала восполнить. При всем своем уме она не задала мне ни единого вопроса о том, как он жил последние месяцы, не говоря уже о возможных причинах его гибели при таких необычных обстоятельствах; хорошая, порядочная женщина, она тем не менее предпочитала не знать подробностей ситуации, приведшей к его смерти. Не задумывалась она и о том, есть ли связь между мятежным поступком, которым он в молодости отделил себя от семьи, и яростной решимостью, с которой он сорок с лишним лет спустя порвал все отношения с Афиной, став парией и отступником. Не то чтобы я был уверен в существовании такой связи, соединившей накоротко одно решение с другим, но почему не поговорить об этом и вместе не подумать? Как вообще мог возникнуть человек, подобный Коулмену? Что он такое был? В чем было больше истины — в его представлении о самом себе или в представлении других о том, чем ему следовало быть? Можно ли в принципе задавать такие вопросы? Но понятия о жизни как о чем-то таком, чья цель нам неведома, о мысли и обычае как о силах, порой друг другу враждебных, о человеческом обществе, склонном видеть себя в совершенно

ложном свете, о личности, которая не укладывается в определяющие ее социальные рамки и даже видит в них нечто поистине *нереальное*, — словом, какие бы то ни было трудности из тех, что изнуряют наше воображение, лежали, судя по всему, за пределами ее непоколебимой верности своду проверенных временем правил.

— Книг ваших, должна признаться, я не читала, — сказала она мне в машине. — Я сейчас больше налегаю на детективы, в основном английские. Но теперь, как вернусь домой, обязательно что-нибудь прочту.

— Вы мне так и не рассказали, кто такой был доктор Чарльз Дрю.

— Доктор Чарльз Дрю, — объяснила мне она, — изобрел способ предотвращать свертывание донорской крови. Потом он попал в автомобильную катастрофу, но в ближайшую больницу не принимали цветных, и он умер от потери крови.

Вот и весь наш разговор за те двадцать минут, что заняла поездка в город с моего холма. Поток открытий иссяк. Что Эрнестина могла сказать, она сказала. Злая шутка, которую судьба сыграла с доктором Дрю, приобрела благодаря сходству со злой шуткой, которую она сыграла с Коулменом, символическую значимость, тревожившую ум при всей своей непостижимости.

Я и нарочно не смог бы выдумать ничего, что сделало бы Коулмена более загадочной для меня фигурой, чем это разоблачение. Зная теперь "все", я ничего не знал: рассказ Эрнестины вместо цельного его портрета создал представление о личности не только непонятной, но и несвязуемой. В какой мере секрет влиял на его будничную жизнь, какое место он занимал в его повседневных мыслях? Превратился ли с годами из "горячего" секрета в "остывший", а затем и позабытый, в нечто маловажное, в отдаленное последствие давнего пари с самим собой, вызова, брошенного самому себе? Подарил ли ему этот поступок приключение, которого он искал, или сам поступок и был приключением? Что было важнее — удовольствие от обмана, от фокуса, от путешествия по жизни инкогнито или возможность отгородиться от прошлого, от связанных с ним людей, от расы, с которой он ни душевно, ни формально не хотел иметь ничего общего? Можно ли все свести к желанию обойти социальные преграды? Был ли он просто-напросто одним из тех американцев, что, следуя великой традиции пионеров, принимают демократический вызов страны и выбрасывают свое происхождение за борт, если оно мешает поиску счастья? А может быть, здесь нечто большее? Или меньшее? Насколько мелочны были его мотивы? И насколько патологичны? А если и то и другое — что из этого? А если нет — что тогда? На склоне его лет, когда мы познакомились, был ли секрет примесью, лишь слегка подкрашивающей бытие человека во всей его полноте, или, наоборот, "полнота" его бытия была всего-навсего примесью в безбрежном море пожизненного секрета? Ослаблял ли он когда-либо бдительность — или вечно был настороже? Справился ли он когда-либо с тем неоспоримым фактом, что он справился — что, сделав то, что сделал, он может жить на свете в полную силу, выглядеть в глазах каждого совершенно естественно, несмотря на перемену кожи? Допустим, в какой-то момент новая жизнь перевесила и прежняя отступила — но преодолел ли он полностью страх перед разоблачением? Когда он пришел ко мне в первый раз, обезумев из-за внезапной смерти Айрис, воспринятой им как *убийство*, и вновь ощутив в самый миг ее кончины глубокую преданность этой устрашающей женщине, с которой он сражался всю жизнь; когда он вломил-

ся ко мне, одержимый сумасшедшей идеей, что, раз она умерла, я должен написать книгу в его поддержку, — не было ли само это помешательство чем-то вроде зашифрованного признания? "Духи"! Пасть жертвой слова, которого теперь даже не употребляют! Угодить в эту ловушку означало для Коулмена все опошлить — всю его изящно выверенную, изощренно выстроенную ложь, *всю его жизнь*. "Духи"! Смехотворная профанация шедевра, каким было его на вид обычное, а по сути уникальное в своей утонченности существование, наружно почти лишенное чего-либо превышающего меру, поскольку вся чрезмерность лежала внутри секрета. Неудивительно, что, обвиненный в расизме, он взвился до потолка. Выходило, что всем его достижениям грош цена. Неудивительно, что *любые* обвинения заставляли его взвиваться до потолка. Главный его проступок намного превосходил все, что ему вменяли в вину. Он сказал слово "духи", он завел любовницу вдвое его моложе — детский сад! Школьное ябедничество! Жалкие, мелкие, смехотворные прегрешения по сравнению с тем, что совершил на своем пути вовне этот человек хотя бы по отношению к собственной матери, которой он, выстроив в уме некую героическую концепцию своей жизни, сказал: "Все. Кончена любовь. Ты мне уже не мать и никогда ею не была". Кто способен на такое, тот не просто хочет быть белым. Он хочет доказать себе, что способен на такое. Тут больше чем желание насладиться свободой. Тут что-то из "Илиады" с ее жестокостью, из любимой книги Коулмена о хищном начале в человеке. Каждому убийству в ней присуще свое неповторимое качество, каждое превосходит свирепостью предыдущее.

А потом он взял верх над системой. Потом он исполнил замысел и больше ни разу не покидал обнесенного стенами города общепринятых норм. Или, точнее, одновременно жил целиком и полностью внутри и, втайне, целиком и полностью снаружи — в этом состояла неповторимая полнота его жизни, его новосозданного "я". Да, он надолго взял над системой верх, вплоть до того, что все его дети родились белыми, — а потом она вышла из-под контроля. Ударила, откуда он не ждал. Человек решается сотворить себе особую историческую судьбу, взломать замок истории и добивается в этом успеха, с блеском меняет свою личную участь... но попадается в ловушку той истории, которую он вовсе не принимал в расчет. Истории, еще не ставшей историей. Истории, чьи часы тикают прямо сейчас, истории, разрастающейся, пока я пишу, накапливающейся от минуты к минуте. Истории, которую будущее поймет лучше, чем кто-либо из нас. "Мы", от которого нет спасения, — вот что всему виной; настоящий момент, общая участь, настроение дня, состояние духа твоей страны, мертвая хватка текущей истории. Ужасающе переменчивая природа всего на свете ударила его, откуда он не ждал.

Приехав на Саут-Уорд-стрит и остановив машину у "Герба колледжа", я сказал:

— Хотелось бы когда-нибудь познакомиться с Уолтером и поговорить с ним о Коулмене.

— Уолтер с пятьдесят шестого года не произнес имени Коулмена ни разу. Он не будет о нем говорить. Самый белый колледж в Новой Англии — и там-то Коулмен делает карьеру. Самый белый предмет в расписании — и его-то Коулмен выбирает, чтобы преподавать. Для Уолтера Коулмен белее белых, и этим все сказано.

— Вы ему сообщите о смерти Коулмена? Скажете, куда ездили?

— Нет, если он сам не спросит.

— А с детьми Коулмена не думаете связаться?

— Какой мне резон? — спросила она. — Коулмен сам должен был им рассказать. Не мне это делать.

— Но от меня-то вы не скрыли.

— Вы — другое дело. Вы сами заговорили со мной на кладбище. Сказали мне: "Вы — сестра Коулмена". Я ответила — да. Я просто сказала правду. *Мне* нечего скрывать.

Это было самое жесткое, что я услышал от нее за весь день. Самое жесткое в адрес Коулмена. До сих пор она аккуратно распределяла сочувствие между смертельно раненной матерью и обиженным младшим братом.

Она вынула из сумочки бумажник, раскрыла его и показала мне одну из фотографий, засунутых под прозрачный пластик.

— Мои родители, — объяснила она. — После Первой мировой. Он только вернулся из Франции.

Молодая пара перед кирпичным крыльцом: миниатюрная женщина в широкополой шляпе и длинном летнем платье, высокий молодой человек в полной военной форме — фуражка, кожаный нагрудный патронташ, кожаные перчатки, высокие блестящие кожаные сапоги. Лица хоть и светлые, но негритянские. Что об этом говорило? Очень немногое помимо того, что им нечего было скрывать.

— Он прямо красавец. Особенно в этом обмундировании, — заметил я. — Кавалерия?

— Нет, обычная пехота.

— Вашу мать не так хорошо видно. Шляпа затеняет лицо.

— В этих пределах мы можем управлять своей жизнью, — сказала Эрнестина. Произнеся эту итоговую фразу, исполненную всей философичности, на какую она была способна, она положила бумажник обратно в сумочку, поблагодарила меня за ланч и, почти зримо втягиваясь обратно в организованное, обычное существование, строго отграничивающее себя от любых причуд белой, черной или неизвестно какой мысли, вышла из машины. Я не стал сразу возвращаться домой, а поехал через весь город на кладбище; оставив машину на улице, вошел в ворота. Не понимая толком, что происходит, стоя в густеющей темноте над неровным холмиком рыхлой земли, я весь был охвачен историей Коулмена, ее развязкой и ее завязкой, и там-то, тогда-то я и начал эту книгу.

Я начал с того, что задался вопросом: как он сказал Фауни правду об этой завязке — если предположить, что он это сделал; если предположить, что ему *вообще надо было* это делать. Если предположить, что о том, чего он, ворвавшись ко мне чуть ли не с криком: "А ну пишите мою историю, черт вас возьми!", не мог мне откровенно сказать, о том, чего он не мог мне сказать, когда ему пришлось (из-за секрета, как я теперь понял) оставить мысль написать свою историю самому, он в конце концов должен был поведать ей, уборщице колледжа, ставшей его товарищем по оружию, первому и последнему человеку после Элли Маги, в чьем присутствии он мог раздеться, повернуться и продемонстрировать торчащий из голой спины механический ключик, которым он завел себя для своей великой эскапады. Элли, до нее Стина, под конец — Фауни. Единственной из близких ему женщин, которая так и не узнала его секрета, была та, с кем он прожил всю жизнь, — его жена. Почему Фауни? Насколько естественно для человека иметь секрет, настолько

же естественно рано или поздно им поделиться. Пусть даже, как в этом случае, с женщиной, которая не задает вопросов, которая, казалось бы, сущий клад для владельца секрета. Но даже и с ней. С ней даже скорей, чем с кем бы то ни было. Потому что ее незадавание вопросов — не от тупости и не от нежелания видеть вещи как они есть; оно, в понимании Коулмена, напрямую связано с ее достоинством. С достоинством растоптанной.

— Допускаю, что это может быть и не так, — сказал я своему полностью преображенному другу. — Допускаю. И тем не менее: когда вы пытались узнать, не была ли она раньше проституткой... Когда вы пытались выведать *ее* секрет...

Стоя над его могилой, где все, чем он когда-либо был, казалось сведенным на нет самим объемом и весом кладбищенской земли, даже если забыть обо всем прочем, я ждал, и ждал, и ждал, пока он заговорит, и наконец услышал, как он спрашивает Фауни, какая из ее работ была хуже всех. Потом я опять ждал, и вот мало-помалу стал улавливать дерзкие, откровенные эманации ее речи. Так-то все и началось — с моего одинокого стояния на темнеющем кладбище, с моего вступления в профессиональное противоборство со смертью.

— После детей, после пожара, — услышал я ее рассказ, обращенный к нему, — я бралась за любую работу. Не знала вообще, где нахожусь. Полный туман. Ну, и случилось это самоубийство. Там, в одном доме в лесу, около Блэкуэлла. Из дробовика. Мелкой дробью. Труп уже увезли. Женщина одна знакомая, Сисси, сильно пьющая, попросила меня помочь. Ей надо было все там вычистить. "Знаю, знаю, — Сисси говорит, — просьба странноватая, но ты же крепкая, ты стерпишь. Не пособишь мне?" Там жили мужчина, женщина и дети, ссора какая-то вышла, он в другую комнату, взял ружье и раз — все мозги вон. "Убирать теперь — сама понимаешь", — Сисси мне говорит. Ну, я с ней и поехала. С деньгами было туго, да я и вообще не понимала, кто я, что делаю и зачем, так что поехала. Запах смерти. Очень хорошо помню. Металлический. Кровь. Вонючая. Завоняло только когда мы начали мыть. Пока кровь в горячей воде не размокла, казалось, что ничего. Дом был бревенчатый. Кровь на стенах повсюду. Бабах — и размазал себя по всему, что там было. Как горячей водой с дезинфектантом начали... бр-р. Я принесла резиновые перчатки, маску тоже пришлось надеть, потому что даже *мне* стало невмоготу. На стенах в кровь влипли осколки костей. Он в рот себе. Бабах! Осколки, зубы — все как есть. Смотри, любуйся. Помню, поглядела на Сисси — она качает головой. "Какого хрена мы это делаем? Да сколько бы ни платили". Мы старались как могли. Сто долларов в час. Мало — я и сейчас так думаю.

— Сколько было бы не мало? — услышал я голос Коулмена.

— Тысяча. Сжечь все это к чертям. Тут сколько ни плати, все будет мало. Сисси стало нехорошо, она вышла. А я... Дети сгинули, чокнутый Лестер за мной по пятам день и ночь, что мне терять? Я принялась совать всюду нос. Бывает со мной такое. Захотелось понять, какого черта он это сделал. Это всегда мне было интересно. Из-за чего люди кончают с собой. Откуда берутся серийные убийцы. Смерть вообще. Просто интересно. Стала смотреть фотографии — есть в них какая-нибудь радость или нет? Всюду стала смотреть. Наконец дошла до шкафчика с лекарствами. Таблетки. Пузырьки. Вот уж где точно никакой радости. Его личная аптека. Психиатрические, так я поняла. Ему прописали, но он не

принимал. Ясно было, что он обращался к врачу, но не мог исполнять. Не мог пить лекарства.

— Откуда ты знаешь? — спросил Коулмен.

— Я так думаю. Знать — не знаю. Это моя история, моя собственная.

— Может быть, он принимал и все равно покончил с собой.

— Может быть, — сказала она. — Кровь. Цепкая штука. Никак с пола не ототрешь. Тряпка, другая, третья — а цвет все держится. Только и сумела, что довести до светло-розового. Как будто что-то еще живое. Терла сильным дезинфектантом — без толку. Сладкая вонь. Металлическая. Блевотная. Я правду говорю. Старалась отвлечься. Но не могла.

— Долго пришлось там быть?

— Пять часов примерно. Я строила из себя сыщицу-любительницу. Ему было лет тридцать пять. Не знаю, чем он зарабатывал. Может, торговлей. Лесовик такой с виду. Житель холмов. Бородища. Ворох волос. Она маленькая. Милое личико. Кожа светлая. Волосы темные. Глаза тоже. Настоящая мышка. Запуганная. Больше ничего я не смогла выудить из фотографий. Здоровенный сильный лесной дядя и маленькая мышка при нем. Не знаю. Но хочу знать. Кто я была? Вольная малолетка. Послала школу подальше. Терпения не стало ходить. Кроме всего прочего, скукотища. У людей, в их домах чего только не происходит на самом деле. В моем блядском доме уж точно. И после этого я должна сидеть в школе и учить столицу Небраски? Я хотела *знать*. Хотела выбраться и осмотреться. Вот и дернула во Флориду, вот и стала туда-сюда мотаться, вот и начала совать там нос по всему дому. Просто хотела осмотреться. Хотела знать самое скверное. Что хуже всего? Ты вот знаешь? Она ведь была в доме, когда он это сделал. Когда мы пришли, ее уже забрали в психушку.

— И это была худшая из твоих работ? Худшее из всего, чем тебе приходилось заниматься?

— Да. Кошмар. Я много всякого видела, но это... Кошмар, но не только. Притягивало... Я хотела знать, почему он это сделал.

Она хотела знать, что сквернее всего. Не лучше всего — хуже. Что хуже, то и есть правда. Какова она? Вот Коулмен и сказал ей правду. Первой после Элли. Потому что он любил ее в ту минуту, представляя себе, как она оттирает кровь. Он был ближе к ней, чем когда-либо. И даже — возможно ли? — ближе, чем к кому-либо за всю свою жизнь! Он любил ее. Потому что когда мы начинаем любить человека? Когда видим его спокойствие перед лицом наихудшего. Не храбрость. Не героизм. Просто спокойствие. У него не было никаких сомнений на ее счет. Ровно никаких. Он не размышлял, не рассчитывал. Инстинкт, и только. Несколько часов спустя этот шаг, может быть, покажется ему грубой ошибкой — но не теперь. Он ей доверяет — вот в чем дело. Доверяет: она оттирала кровь с пола. Она не религиозна, она не ханжа, она не искривлена сказками о чистоте, какие бы другие извращения ни наложили на нее отпечаток. У нее нет потребности никого судить — она слишком много всего навидалась для таких глупостей. Она не убежит, как Стина, что бы я ни сказал.

— Что бы ты подумала, — спросил он, — если бы узнала, что я не белый человек?

Если ее взгляд выразил изумление, то лишь на какую-нибудь долю секунды. Потом она разразилась своим фирменным хохотом.

— Что бы я подумала? Что ты мне сообщаешь то, о чем я и сама давно уже догадалась.

— Не может быть.

— Здрасте, не может быть. Да знаю я, кто ты такой. Слава богу, жила на Юге. Всяких видела. Знаю, конечно. Чем, по-твоему, ты меня взял? Тем, что профессор? Да я бы скорее сдохла.

— Что-то я не верю тебе, Фауни.

— Как тебе угодно, — сказала она. — Ну, ты кончил свои расспросы?

— Какие расспросы?

— Насчет самой поганой из моих работ.

— Конечно, — ответил он. И стал ждать ее расспросов. Но не дождался. Похоже, ей действительно было безразлично. И она не убежала. Историю свою он все-таки ей рассказал, и она слушала, слушала внимательно, но не находила в ней ничего невероятного и даже странного. И уж конечно не видела в его поведении ничего предосудительного. Нет. Просто жизнь как она есть.

В феврале Эрнестина мне позвонила — может быть, потому, что настал месяц афроамериканской истории и она вспомнила, как объясняла мне, кто такие Мэтью Хенсон и доктор Чарльз Дрю. Может быть, она решила, что пора снова взяться за мое просвещение с упором на то, от чего отрезал себя Коулмен, — на полный до краев, дарованный ему в готовом виде мир Ист-Оринджа, на эти четыре квадратные мили, битком набитые самыми что ни на есть стойкими земными подробностями, на это лирически-незыблемый фундамент правильного детства и отрочества. Поддержка общины, твоя лояльность, справедливая борьба, сыновство, отцовство — все это принимается как данность, принимается на веру, и в этом не видят ничего теоретического, внешнего, иллюзорного... Все то драгоценное, что окружает счастливое начало полнокровной, горячей, исполненной здравого смысла жизни, которую ее брат Коулмен перечеркнул.

К моему удивлению, Эрнестина, сообщив мне, что в воскресенье к ней приедут из Асбери-Парка Уолтер Силк и его жена, сказала затем, что, если я не прочь совершить путешествие в Нью-Джерси, она будет рада увидеть меня на воскресном обеде.

— Вы хотели познакомиться с Уолтом. И я подумала, что вам, может быть, будет интересно посмотреть дом. У нас есть фотографии, я вам покажу комнату Коулмена, где они спали с Уолтером. Потом это была спальня моего сына, но старые кленовые кровати так там и стоят.

Итак, я получил приглашение в семейное гнездо Силков, которое Коулмен отверг как место своей неволи, чтобы жить в среде, соразмерной его ощущению своего масштаба, чтобы обрести новое, более подходящее ему лицо — и чтобы под конец над ним взяла верх иная сила. Отверг все скопом, весь этот разветвленный негритянский мир, думая, что иначе ему не вырваться. Столько пламенного стремления, столько тайных планов, страсти, хитрости, маскировки — и все для того, чтобы оставить родной дом и перемениться.

Стать другим существом. Заново родиться. Вот она, драма, лежащая в основе американской повести, высокая драма ухода и оставления позади. Вот она, жестокая энергия, питающая этот восторженный порыв.

— Приеду с удовольствием, — сказал я.

— Я не могу ничего гарантировать, — предупредила она. — Но вы взрослый человек и сумеете о себе позаботиться.

Я рассмеялся.

— Что вы хотите этим сказать?

— Уолтеру восьмой десяток, но он по-прежнему большая, раскаленная, ревущая топка. Он будет говорить такое, что вам не понравится.

— Про белых?

— Про Коулмена. Про расчетливого лжеца. Про бессердечного сына. Про предателя своего народа.

— Так вы сказали ему, что брат умер?

— Да. Решила все-таки. Мы одна семья. Я все сказала Уолтеру.

Несколько дней спустя я получил по почте фотографию, которую сопровождала записка от Эрнестины: "Я наткнулась на эту карточку и вспомнила о нашей встрече. Примите как память о Вашем друге Коулмене Силке". Это был выцветший увеличенный черно-белый снимок размером примерно четыре на пять дюймов, сделанный, скорее всего, на чьем-то заднем дворе простеньким аппаратом "брауни" и представляющий Коулмена той самой боксерской машиной, с какой сталкивался после стартового гонга любой его противник. Ему здесь никак не могло быть больше пятнадцати, но те самые некрупные черты точеного лица, что в пожилом возрасте придавали ему неотразимое мальчишеское обаяние, подростку помогали выглядеть не по годам мужественным и зрелым. Он уставил в объектив недобрый неотпускающий взгляд боксера-профессионала — взгляд хищника, наметившего жертву, взгляд, из которого изгнано все, кроме желания победы и вредоносного расчета. Взгляд-приказ, ничуть не менее властный из-за маленького подбородка, остро уткнувшегося в худое плечо. Перчатки приведены в классическое положение готовности и словно бы заряжены не только его кулаками, но и всем совокупным импульсом полутора мальчишеских десятилетий — причем каждая больше в окружности, чем лицо. Невольно создается впечатление парня о трех головах. *Я боксер,* – дерзко заявляет сама эта грозная поза. — *Я их не нокаутирую – я устраиваю им избиение. Делаю с ними что хочу, пока они не прекращают бой.* Да, верную характеристику дала ему сестра. "Сама непреклонность" — так и было написано на обороте снимка выцветшими синими чернилами. Судя по всему, ее невзрослой рукой.

А она тоже будь здоров какая, подумал я и, отыскав для юного боксера пустую рамку, поставил его на мой письменный стол. Храбрость в этой семье не с Коулмена начинается и не на нем кончается. Это смелый подарок, подумал я, от смелой женщины — каково бы ни было первое впечатление о ней. Что, интересно, кроется за ее приглашением? Что, интересно, кроется за моим согласием к ней приехать? Странно, что нас с сестрой Коулмена так потянуло друг к другу, хотя не так уж и странно, если помнить, что все касающееся Коулмена было в десять, в двадцать, в сто тысяч раз страннее.

Приглашение Эрнестины, фотография Коулмена — вот из-за чего в первое воскресенье февраля, после решения сената не смещать Билла Клинтона с должности, я поехал в Ист-Ориндж, и вот почему я оказался на проложенной среди холмов глухой местной дороге, по которой я практически никогда не езжу, но которая быстрей всего должна была вывести меня на 7-е шоссе. Вот как вышло, что я вдруг заметил стоящий у дороги на краю широкого поля, мимо которого я иначе промахнул бы не глядя, видавший виды пустой серый пикап с наклейкой на бампере: "Военнопленные и пропавшие без вести". Несомненно, пикап Леса Фарли — я сразу это понял и, не в силах ехать дальше как ни в чем не быва-

ло, затормозил. Пикап был уже позади меня, и, подав машину обратно, я встал прямо перед ним.

Видимо, я не вполне сознавал, что делаю, — иначе разве я сделал бы это? — но к тому времени прошло почти уже три месяца, в течение которых жизнь Коулмена Силка была мне ближе, чем моя собственная, и поэтому нечего было и думать, чтобы я поступил по-другому, чтобы я не вышел на зимний холод Беркширских холмов и не положил руку в перчатке на капот той самой машины, что вечером накануне семьдесят второго дня рождения Коулмена понеслась как бешеная по встречной полосе дороги и вынудила Коулмена, рядом с которым сидела Фауни, резко повернуть и, пробив ограждение, упасть в реку. Вот оно, орудие убийства, — а раз так, и сам убийца должен быть недалеко.

Когда я вспомнил, куда направляюсь, когда я снова подумал о том, как все это, в сущности, удивительно — звонок Эрнестины, приглашение на встречу с Уолтером, неотступные мысли весь день, а нередко и добрую часть ночи о человеке, которого я не знал и года, с которым хоть и дружил, но не так уж безумно близко, — ход событий показался мне закономерным. Когда пишешь книги, так оно и бывает. Мало того, что какая-то сила заставляет тебя до всего докапываться, — эта же сила принимается выкладывать все на твоем пути. Вдруг оказывается, что нет такой богом забытой дороги, которая не вела бы тебя прямиком в твою навязчивую идею.

И ты делаешь то, что сделал я. Коулмен, Коулмен, Коулмен — ты, которого больше нет, стоишь теперь в центре моего бытия. Еще бы ты мог сам написать книгу. Твоей книгой стала твоя жизнь. Писать о себе — значит, выставляться и таиться в одно и то же время, но ты только и мог, что таиться, и затея была обречена. Сама твоя жизнь стала твоей книгой — и твоим искусством? Искусством быть белым человеком, быть, по словам твоего брата, "белее белых". Твой неповторимый акт вымысла: каждое утро просыпаться тем, кем ты себя сделал.

Снега на земле уже почти не было, только заплатами там и сям на пустом, утыканном стерней поле, так что следов он не оставил, и я наудачу двинулся туда, где виднелась реденькая цепочка деревьев, сквозь которую проглядывало следующее поле. Я пересек и его, прошел через другую, более широкую и плотную полосу деревьев, на сей раз хвойных, и по ту сторону мне сияющим оком открылось замерзшее озеро, продолговатое и заостренное с обоих концов, окруженное коричневатыми, пятнистыми от снега холмами. На отдалении плавными ласковыми линиями вырисовывались более высокие холмы. Отойдя от дороги на каких-нибудь пятьсот шагов, я вторгся — да, именно вторгся, чувство было такое, словно я посягнул на чьи-то владения, — в ту безмятежную первозданность, что порой окружает внутренние водоемы Новой Англии. Такие места — за что их и ценят — наводят на мысль о мире, каким он был до появления человека. Природа подчас оказывает дивно успокаивающее действие, и здесь было именно так: уже не думалось о пустом и обыденном, и в то же время тебя не подавляло ощущение крохотности нашего жизненного промежутка и безмерности уничтожения. Ничем величественным здесь и не пахло. Этой красотой можно проникаться, не чувствуя себя маленьким и не испытывая страха.

Почти на середине замерзшего озера я увидел одинокую фигуру в коричневом пухлом комбинезоне и черной шапочке. Сидя на невысоком желтом ведре и держа в руках короткую удочку, человек склонился над

лункой. Я ступил на лед, только когда увидел, что он поднял глаза и заметил меня. Я не хотел ни заставать его врасплох, ни создавать у него впечатление, что намеревался это сделать. Если рыбак действительно Лес Фарли, всякую внезапность лучше исключить.

Разумеется, я думал о том, чтобы повернуть обратно. Дойти до дороги, сесть в машину, доехать до 7-го шоссе, по нему на юг через Коннектикут, там на 684-е и, наконец, на Гарден-Стейт-паркуэй. Посмотреть на спальню Коулмена. Посмотреть на его брата, не переставшего ненавидеть Коулмена за то, что он сделал, даже после его смерти. Только об этом я и думал, пока шел по озерному льду к убийце Коулмена. До того самого момента, как пришло время сказать: "Здравствуйте. Как ловля?", я думал: врасплох, не врасплох — какая разница? Так или иначе, враг. На этой пустой белой ледяной сцене — *единственный* враг.

— Клюет? — спросил я.

— Так себе, средненько.

Коротко взглянув на меня, он опять сосредоточил внимание на лунке, одной из двенадцати-пятнадцати, хаотически разбросанных примерно по сорока квадратным футам твердого как камень льда. Судя по всему, они были просверлены орудием, лежавшим в нескольких шагах от его желтого ведра, которое оказалось семигаллоновой емкостью из-под моющего средства. Орудие представляло собой металлический стержень примерно четыре фута длиной, кончавшийся широким цилиндрическим "штопором". Серьезный, мощный инструмент, чья винтовая рабочая часть, приводимая в движение коленчатой рукояткой, блестела на солнце как новенькая. Бур.

— Да нормально, — пробормотал он. — Время провести, чего еще надо.

Можно было подумать, я не первый, кто посреди этого замерзшего озера в пяти сотнях шагов от глухой дороги в сельской холмистой местности спрашивает его, как рыбалка, а по крайней мере пятидесятый. Черную шерстяную матросскую шапочку он низко натянул на лоб и уши, и поскольку он носил вдобавок темную седоватую бороду и густые усы, незащищенная часть лица представляла собой подобие узкой горизонтальной ленты, чем прежде всего и привлекала внимание — не физиономия, а пустая вытянутая равнина. Темные, густые, длинные брови, голубые широко расставленные глаза, а по центру лица над усами — недоразвитый детский носик без переносицы. Полоса, которую Фарли оставил между волосяной порослью и шерстяной шапочкой, являла взору разнообразные начала, как геометрические, так и психологические, — причем ничто ни с чем не вязалось.

— Красивое место, — сказал я.

— Почему я и здесь.

— Спокойное.

— Близко к Богу, — заметил он.

— Да? Вы чувствуете?

В какой-то момент его настроение изменилось — он скинул внешнюю броню, в которой сначала меня встретил, и, казалось, решил сделать общение со мной более содержательным и тесным. Поза его осталась той же — скорее, позой рыбака, чем собеседника, — но ауру антисоциальности в какой-то мере рассеивал теперь тон его голоса, более богатый и раздумчивый, чем я мог ожидать. Я бы даже назвал этот тон глубокомысленным, пусть и в некоем чрезвычайно отвлеченном роде.

— Тут ведь холмы, высокое место, — сказал он. — Домов никаких нет. Никто не живет. Никаких коттеджей на берегу. — За фразой неизменно следовала многодумная пауза: веское заявление сменялось сверхнасыщенной тишиной и оставалось только гадать, кончил он беседу или нет. — Тут вообще мало чего делается. И шума почти никакого. Озеро — тридцать акров. И нет этой публики с бензиновыми бурами. Треск, вонь — ничего этого нет. Семьсот акров пустой хорошей земли и леса. Просто красивое место. Тишина, покой. И чисто здесь. Никакой грязи. Ни тебе суеты, ни суматохи, ни сумасшествия этого вечного.

Наконец — взгляд наверх. Увидеть меня, оценить. Быстрый взгляд, на девяносто процентов непроницаемый, на остальные десять пугающе прозрачный. Я не мог разглядеть в этом человеке ни крупицы юмора.

— Главное — в секрете это держать, — сказал он. — Тогда и дальше можно пользоваться.

— Разумно, — заметил я.

— Понастроили себе городов. Живут в суете и суматохе. Работа, работа. Утром на службу — сумасшествие. Днем на службе — сумасшествие. Вечером домой — то же самое. Транспорт. Пробки. Они во всем этом по уши. А я не хочу.

Можно было не спрашивать, кто такие "они". Пусть я не городской житель, пусть я не пользуюсь бензиновым буром, все равно я — "они", все мы — "они", все, кроме одного человека, сидящего на ведре посреди озера, покачивающего короткое удилище и говорящего в лунку, пробитую в толще льда. Сознательно обращающегося не столько ко мне (то есть к "они"), сколько к стылой воде под нами.

— Бывает, турист какой-нибудь пройдет, или лыжник, или кто-то вроде вас. Увидит мою машину и найдет меня, как-то они меня здесь находят, спустится ко мне, и, когда ты сидишь на льду, люди вроде вас, которые не рыбачат... — Тут он опять посмотрел на меня, мистически прозревая мою непростительную принадлежность к "они". — Вы, думается, не рыбачите.

— Нет. Увидел просто ваш пикап. Хороший день, решил покататься и погулять.

— Вот и они то же самое, — сказал он таким тоном, словно, когда я только показался на берегу, ему все уже со мной было ясно. — Увидят рыбака и обязательно подойдут, любопытство разбирает, и начинают спрашивать, сколько наловил. А я как делаю... — Тут ход его мысли, казалось, внезапно прервался, словно он подумал: "Что я говорю? О чем это я, к чертям собачьим?" Когда он снова начал, сердце у меня застучало от страха. Я подумал: теперь, раз рыбалка так и так испорчена, он решил со мной поразвлечься. Устроить маленький спектакль. Уже не рыбак, а Лес Фарли и все то многое, чем он является и чем не является.

— А я как делаю, — повторил он. — Положим, рыба у меня вся на льду. Я тогда как сегодня, когда вас увидел, всю рыбу в пластиковый мешок и под ведро, на котором сижу. Вот рыбки-то и не видно. Человек подходит, спрашивает: "Ну как?" А я ему: "Никак. Похоже, здесь вообще нет рыбы". А я уже штук тридцать вытащил. День отличный. Но я говорю: "Без толку, домой уже собираюсь. Два часа сижу, и ни одной поклевки". Ну, они поворачиваются и уходят. И другим потом скажут, что на этом пруду делать нечего. Вот как я секрет берегу. Может, и нечестно маленько. Но место того стоит.

— А я-то знаю теперь, — заметил я. Но мне было ясно, что никакими силами не заставить его заговорщически рассмеяться или улыбнуться хотя бы, вспоминая свои игры с такими же, как я, нарушителями его владений. Нечего было и пытаться смягчить его таким образом — и я не стал пытаться. Я вдруг понял, что, хотя ничего подлинно личного между нами сказано не было, мы если не моим, то его решением уже поставлены по отношению друг к другу в такое положение, где не помогут никакие улыбки. Наш разговор в этом удаленном, морозном, безлюдном месте внезапно приобрел колоссальную важность.

— И еще я знаю, что в этом ведре уйма рыбы, — сказал я. — Сколько сегодня?

— Вроде на вид вы из тех, что умеют хранить секрет. Штук тридцать — тридцать пять. Да, похоже, вы честный человек. Кажется, я вас узнал. Писатель?

— Он самый.

— Знаю, знаю. А живете у болота, где цапля. В доме Дюмушеля.

— Точно. Так была фамилия человека, который мне его продал. Но скажите мне, раз уж я умею хранить секреты, почему вы сидите здесь, а не вон там, к примеру? Как вы на этом большом озере выбираете место, где ловить?

Даже если он не прилагал всех усилий, чтобы я побыл здесь подольше, я, казалось, сам прилагал к этому все усилия.

— Наверняка никогда нельзя знать, — сказал он. — Для начала пробую, где в последний раз рыба брала. Если в ту ловлю был порядок, там же и начинаю.

— Ясно теперь. А то меня давно уже это интересует.

Все, уноси ноги, подумал я. Поговорили — и хватит. Более чем. Но представление о том, кто он такой, удерживало меня. Фарли как *факт* — вот что удерживало. Не умозаключения. Не медитация. Не писательское размышление. Нет — сама реальная штука. Закон самосохранения, который за пределами моей работы так строго управлял моей жизнью последние пять лет, вдруг перестал действовать. Как я не мог повернуть назад, когда шел к нему по льду, так и теперь я не мог прервать разговор и дать дёру. Храбрости тут не было никакой. Рассудка, логики — тоже. Он передо мной! Вот и все, что тут было. Плюс страх. В плотном коричневом комбинезоне, в черной шапочке, в резиновых сапогах на толстой подошве, в надетых на большие руки охотничьих или солдатских камуфляжных перчатках без кончиков пальцев передо мной сидел человек, убивший Коулмена и Фауни. В этом у меня не было сомнений. Просто так они не вылетели бы с дороги и не упали бы в реку. Вот он, убийца. Он самый. Как же я уйду?

— А всегда потом клюет? — спросил я. — Всякий раз, как возвращаетесь на старое место?

— Да нет. Рыба, она стаей ходит. Там, подо льдом. Сегодня она на северном краю пруда, а завтра уже на южном. Бывает, два дня подряд стоит на одном месте. Стоит и стоит. Рыба, она как: держится стаей и не очень много сейчас движется, потому что вода холодная. Они подстраиваются под температуру воды, и когда вода холодная, замирают и мало едят. Но если ты наткнулся на стаю, можно до черта рыбы поймать. А бывает, приходишь на тот же самый пруд, весь его ведь не истыкаешь лунками, и пробуешь в пяти, в шести местах — без толку. Ни одной. Значит, бьешь мимо стаи. Ну и сидишь себе просто.

— Близко к Богу, — сказал я.

— Во-во.

Я ожидал от него чего угодно, но только не разговорчивости — она поразила меня, как и его рьяное желание объяснить мне, что делается в пруду в холодное время года. Откуда, интересно, он знает, что я писатель? Знает ли он также, что я был другом Коулмена? Знает ли, что я был на похоронах Фауни? Можно было предположить, что в его сознании сейчас роится столько же вопросов обо мне и о цели моего появления здесь, сколько в моей голове — о нем. Громадное светлое обведенное дугами пространство, холодные округлые берега, обступившие большой овал чистой воды под слоем твердого, точно камень, льда, извечная жизнь озера — образование льда, обмен веществ у рыб, множество беззвучных, древних, неуклонно действующих сил — все это создавало картину встречи двух людей на вершине мира: неслышно тикают два скрытных недоверчивых мозга, и вся интроспекция, какая тут есть, — это наша взаимная ненависть и паранойя.

— И о чем же вы думаете, — спросил я, — когда рыба не клюет?

— Да вот хотя бы сейчас, перед тем как вы пришли. Я много о чем думал. Например, о президенте нашем, о Проныре Билли. О том, как ему везет, гаду. О том, как ему всё, а кому-то шиш с маслом. О тех, кто не уклонялся от призыва и получил шиш с маслом. Не больно-то справедливо.

— Вьетнам, — сказал я.

— Да. Мы там на вертолетах, пропади они пропадом, — во второй срок я был стрелком. Думал сейчас про тот случай, когда мы рванули в Северный Вьетнам забирать двух наших пилотов. Сидел вот только что и думал про это. Проныра Билли. Тварюга. Думал сперва, как этот говнюк на наши с вами денежки дает ей сосать в Овальном кабинете, а потом перешел на этих двух пилотов — они летали на Хайфонский порт, ну их и подбили, мы по рации приняли сигнал бедствия. Мы-то были не спасатели, но оказались близко, они сообщили по рации, что дело плохо и они будут прыгать — высота уже такая, что либо прыгать, либо разбиться вместе с машиной. А мы даже не спасатели, мы на боевом вертолете, просто захотелось выручить ребят. Разрешения даже никакого не спрашивали — просто полетели туда. Инстинкт, больше ничего. Просто посовещались между собой и согласились — два стрелка, пилот и второй пилот, хотя шансы были не очень, потому что без прикрытия. Но мы решили, что попытаемся их забрать.

Неспроста, подумал я, он рассказывает мне военную быль. Он знает, что делает и зачем. Хочет кое-что мне внушить. Хочет, чтобы я кое-что унес с собой на берег, в свою машину, в свой дом, который он знает где находится — он намеренно дал мне это понять. Унес в качестве "писателя"? Или в качестве человека, которому известен другой его секрет, более важный, чем секрет этого озера? Он хочет мне внушить: не все видели то, что он видел, были там, где он был, делали то, что он делал и, если понадобится, может сделать опять. Он убивал людей во Вьетнаме, и вьетнамский убийца теперь здесь, в Беркширах — прибыл вместе с ним из страны, где царили война и ужас, в эти ничего не подозревающие мирные края.

Бур на льду. Что может быть откровенней? В чем может явственней воплотиться наша взаимная ненависть, чем в этом безжалостном винтовом лезвии, лежащем посреди ледяной пустоты?

— Мы думаем — ладно, погибнем значит погибнем. Летим туда, пеленгуем их сигнал, видим один парашют, садимся на ровное место и спокойно берем парня на борт. Подбегает, мы его втаскиваем и сразу взлетаем, никакой пока что стрельбы по нам. Спрашиваем: "Где второй?", он отвечает: "Вон туда отнесло". Как поднялись в воздух, так они сразу нас и заметили. Мы сунулись было в ту сторону поискать другой парашют, но они открыли такой дикий огонь, что волосы дыбом. Ад кромешный. Второго, в общем, забрать не смогли. По корпусу жарило так, что страшное дело. Бах-бабабах-бах. Из пулеметов. Нам только развернуться и драпать оттуда, пока живы. И тут парень, которого мы спасли, начинает плакать. К чему я все это и стал говорить. Он был из морской авиации, с "Форрестола". Понял, что второго либо убьют, либо возьмут в плен, и поднял вой. Ужас для него был. Его дружок. Но мы не могли вернуться — слишком рискованно для всех пятерых. Одного забрали, уже хорошо. Прилетели на базу, вышли, стали осматривать машину — сто пятьдесят одна пробоина. Топливопроводы и гидравлика, слава богу, целы, но лопасти винтов все были избиты, пуль в них попало черт-те сколько. Слегка покорежены в этих местах. Если в хвостовой винт, машина падает, но нам повезло. Знаете, сколько они сбили вертолетов за всю войну? Пять тысяч. Реактивных истребителей мы потеряли две тысячи восемьсот. Бомбардировщиков B-52 — двести пятьдесят штук во время налетов на Северный Вьетнам. Но правительство шиш вам в этом признается. Какое там. Они говорят нам то, что им выгодно говорить. Проныра Билли из всего выходит сухим. Достается тому, кто честно свое отслужил. Всегда и везде. Справедливо это? Знаете, про что я думал? Я думал, будь у меня сын, он бы здесь был со мной сейчас. Ловил бы рыбку. Вот про что я думал, когда вы подошли. Поднял глаза, вижу — человек, а я вроде как замечтался и думаю: а мог бы мой сын. Не вы, не такой, как вы, а мой сын.

— У вас нет сына?

— Нет.

— И женаты не были?

На этот вопрос он не ответил сразу. Сначала посмотрел на меня — запеленговал, как будто от меня исходил сигнал, подобный радиосигналу от двух попавших в беду вертолетчиков. Посмотрел, но не ответил. Знает, подумал я. Знает, что я был на похоронах Фауни. Кто-то сказал ему, что видел там "писателя". Каким, интересно, писателем он меня считает? Автором книг о преступлениях вроде того, что он совершил? Автором книг об убийствах и убийцах?

— Обречен, — проговорил он наконец, опять уставившись в лунку и мелко подергивая удилищем. — Брак был обречен. После Вьетнама слишком много у меня было злости и обиды. У меня ПТС нашли — посттравматический стресс. Так врачи сказали. Вернулся — никого знать не хотел. В цивилизованную жизнь никак войти не получалось. Так долго был на войне, что гляжу и ни в чем не вижу смысла. Носить чистую одежду, здороваться, улыбаться, в гости друг к другу ходить, на машинах культурно ездить — не мог я в это войти. Не знал, как с людьми разговаривать, не знал, как "здрасте" сказать. Надолго отключился. Садился в машину, гонял вокруг без толку, в лес заходил, бродил по лесу — чудны́е дела. Я и от себя-то самого отключился. Ни черта не понимал, что со мной творится. Приятели мне звонят — я не отзваниваю. Они боялись, что я убьюсь на машине, боялись, что...

Я перебил его.

— Почему они боялись, что вы убьетесь на машине?

— Пил потому что. Пьяный садился за руль.

— Дорожные происшествия были?

Он улыбнулся. Не стал брать паузу и пришпиливать меня к месту взглядом. Не стал принимать угрожающий вид. Не вскочил, не схватил меня за горло. Легкая добродушная улыбка — я и не думал, что она есть в его арсенале. Пожал плечами с нарочитой беззаботностью:

— Экий вы мне вопросик. Да не знал я, что со мной творится, *понимаете вы?* Происшествия? Да случись что, я и не почувствовал бы. Может, и не было. У меня нашли посттравматический стресс, так врачи это называют. Значит, к тебе в подсознание то и дело лезет всякая дрянь вроде того, что ты опять во Вьетнаме, опять воюешь. А я ведь без образования, я и не понимал даже этого. Люди на меня злились за всякое, а сами понятия не имели, что со мной творится, и я тоже понятия не имел — вот оно как было. У меня нет образованных друзей, таких, которые в этом разбираются. У меня не друзья, а дерьмо. Точно вам говорю, не друзья, а самое настоящее стопроцентное дерьмо, слово даю. — Опять пожал плечами. Что, хочет произвести комический эффект? Да нет, скорее уж выглядеть этаким зловеще-бесшабашным. — Ну и как мне быть прикажете? — спросил он с ноткой беспомощности.

Развлекается. Играет со мной. Потому что знает, что я знаю. Вот мы встретились, вот мы одни на этих холмах, и я знаю, и он знает, что я знаю. И бур знает. В его стальном винтовом лезвии заключено "знанье все и все, что надо знать"[1].

— Как вы узнали, что у вас ПТС?

— От одной врачихи цветной в ветеранской больнице. Извиняюсь, от афроамериканки. От очень умной молодой афроамериканки. У нее диплом магистра. У вас есть диплом магистра?

— Нет, — сказал я.

— Ну вот, а у нее есть, и от нее-то я и узнал, что у меня такое. А то и посейчас бы не знал. Вот когда я начал понимать, что со мной творится. Она мне объяснила. И я не один такой. Не воображайте, что я один. Тысячи и тысячи переживали то же самое. Тысячи и тысячи просыпались посреди ночи и думали, что они опять во Вьетнаме. Тысячи и тысячи не отвечали на звонки друзей. Тысячи и тысячи мучились из-за поганых снов. Я про все про это рассказал афроамериканочке, и она поняла, что со мной такое. Диплом магистра ведь не зря дают, вот она и объяснила, как все это лезет ко мне в подсознание, и то же самое у тысяч и тысяч таких, как я. Подсознание — над ним ведь никакого контроля нет. Это как правительство. Это *и есть* правительство. Снова и снова правительство, оно самое. Заставляет тебя делать то, чего ты не хочешь делать. Тысячи и тысячи женятся, и брак у них обречен, потому что в подсознании сидит злость и обида из-за Вьетнама. Она все мне разобъяснила. Из Вьетнама меня хоп — на Филиппины на С-41, на военном самолете, потом оттуда на "Уорлд эйруэйз" на базу Тревис, там тебе двести долларов в зубы, и вали домой. Так что от Вьетнама до дома получилось дня три, около того. Вот ты и опять внутри цивилизации. И ты обречен. И жена твоя об-

1. Из "Оды греческой вазе" Дж. Китса: "'Краса — где правда, правда — где краса!' — / Вот знанье все и все, что надо знать". Перев. И. Лихачева.

речена, пусть даже и десять лет прошло. Обречена, а в чем, спрашивается, она виновата? Да ни в чем.

– И что, до сих пор у вас ПТС?

– Я же вот все один да один, примечаете? Зачем, по-вашему, я сюда пришел?

– Но пьяный за руль больше не садитесь, – услышал я свой голос. – Дорожных происшествий больше не случается.

– Не было никаких происшествий. Я же вам сказал. Вы слушаете, нет? Если что было, я про то не знаю.

– И брак был обречен.

– Это да. Моя вина. На сто процентов. Она была очень славная. Ничего мне плохого не сделала. Всё я. Только я. Разве она такого мужа заслуживала?

– Что с ней произошло? – спросил я.

Он покачал головой. Вздохнул, печально пожал плечами – спектакль, нарочито *явный* спектакль.

– Понятия не имею. Сбежала, так я ее напугал. До чертиков напугал. Я ее никогда не забуду, где бы она сейчас ни была. Совсем безвинная.

– Детей, значит, нет?

– Нет. А у вас?

– Нет.

– Женаты?

– Был, теперь нет, – ответил я.

– Ну, мы с вами два сапога пара. Свободны как ветер. Книги-то какие пишете? Детективы?

– Нет, я бы не сказал.

– Истории из жизни?

– Вроде того.

– Про что? Про любовь? – спросил он, улыбаясь. – Надеюсь, что не порнография. – Он сделал вид, что ему даже вообразить такое неприятно. – Я очень надеюсь, что наш местный писатель в доме Майка Дюмушеля не тем занят, чтобы распространять порнографию.

– Я пишу о людях вроде вас, – сказал я.

– Да неужто?

– Да. О таких же людях. Об их проблемах.

– А название какой-нибудь книги можно узнать?

– "Людское клеймо".

– Занятно. Она есть в продаже?

– Пока нет. Еще не закончена.

– Я бы ее купил.

– Я вам пришлю. Как ваша фамилия?

– Фарли. Лес Фарли. Да, пришлите, пожалуйста. Как закончите, пришлите через городской гараж: "Городской гараж, дорога номер 6, Лесу Фарли".

Опять меня подстрекает, подначивает, как и всех вообще – себя, своих друзей.

– Наш местный писатель, – сказал он со смешком. – Сам прочту и парням дам почитать.

Он не столько смеялся в голос, сколько покусывал наживку хохота, подкрадывался к нему и ходил вокруг да около, не запуская в него зубы по-настоящему. Поблизости от крючка, на который насажено опасное веселье. Но глотать не глотает.

– Надеюсь, вам понравится, – сказал я.

Я не мог в этот момент просто повернуться и уйти. Только не сейчас, не на этой ноте: ведь он начал по чуточке раскрываться, отказываться от эмоционального инкогнито, и это сулило возможность заглянуть в его внутренний мир еще немного дальше.

– А каким вы были до армии? – спросил я.

– Это вам для книжки нужно?

– Да. Угадали. – Тут не кто иной, как я, разразился громким смехом. И неожиданно для себя с глупым грубоватым вызовом добавил: – Это *всё* мне для книжки нужно.

Теперь и он засмеялся более развязно. Не озеро, а психушка какая-то.

– Вы раньше были общительный парень?

– Да, – ответил он. – Был когда-то.

– От людей не бегали?

– Нет.

– Любили поразвлечься в компании?

– Да. Куча друзей. Быстрая езда. Ну и всякое такое, вы понимаете. Вкалывал, конечно. Но в свободное время – само собой.

– А теперь что, все вьетнамские ветераны занимаются подледным ловом?

– Не знаю.

Опять эта смеховая поклевка. Ему легче, подумал я, кого-нибудь убить, чем отпустить вожжи и развеселиться по-настоящему.

– Я не так уж давно, – сказал он, – начал зимой удить. Когда жена от меня ушла. Я снял домишко в лесу, на Стрекозином пруду. В лесу, у самой воды, на Стрекозином – так этот пруд называется. Летом я ловлю всю жизнь, но зимой раньше никогда. Мне всегда казалось – холодно, ну вы понимаете. Когда я первую зиму жил на пруду, я был сам не свой – все ПТС этот чертов, – и я смотрел на одного рыбака, который выходил на лед ловить. Пару раз на него посмотрел, а потом оделся потеплее и пошел к нему. Он кучу рыбы в тот день наловил – желтый окунь, форель, все что хочешь. Ну я и увидел, что зимняя рыбалка не хуже летней, а то и лучше. Только надо одеваться как следует и снасть иметь подходящую. Я поехал в магазин и купил бур, отличный бур, – сказал он с ударением, – удилище, приманки всякие. Сотни разных приманок есть в продаже. Сотни сортов и видов. Все размеры, какие хочешь. Сверлишь во льду лунку, опускаешь туда свою любимую приманку и шевелишь вот так рукой – вверх-вниз, вверх-вниз. Потому что там у них темно подо льдом. Очень темно, – повторил он и в первый раз за весь разговор посмотрел на меня почти открыто, почти без маски, почти без двуличия. В голосе появилась недобрая ледяная звучность: – Тьма-тьмущая. – Ледяная, повергающая в дрожь звучность, не оставляющая никаких сомнений насчет причин гибели Коулмена. – Так что если какой проблеск, – добавил он, – рыба реагирует. Она приспосабливается к темноте.

Нет, он далеко не глуп. Он зверюга и убийца, но ума ему не занимать. Если чего недостает, то явно не соображения. Какой бы личиной он ни прикрывался.

– Потому что им надо как-то питаться, – пустился он в научные объяснения. – Они там пищу себе находят. Тело привыкает к этой холоднющей воде, глаза к темноте. Они реагируют на движение. Видят проблеск или, может, чувствуют колыхание воды от твоей приманки и плывут к ней. Раз движется, значит, живое и съедобное. Но если не шевелить уди-

лищем, в жизни не клюнет. Был бы у меня сын — вот, вы спрашивали, о чем я думаю, — я бы учил его правильно шевелить удилищем. Учил бы наживлять. Наживок разных очень много — по большей части личинки мух и пчел, их специально разводят для подледного лова. И мы бы с ним, с Лесом-младшим, ездили в рыболовный магазин и покупали наживку. Ее продают в таких маленьких стаканчиках. Будь у меня сейчас маленький Лес, сынишка, а не этот ПТС проклятый на всю жизнь, я бы всему его тут учил и все ему показывал. Научил бы буром работать. — Он показал на орудие, лежащее на льду в нескольких шагах позади него. — Я пользуюсь пятидюймовым. Вообще бывают диаметром от четырех дюймов до восьми. Я лично люблю пятидюймовые лунки. Самое лучшее. Никогда еще не было проблемы вытащить рыбу через пятидюймовую. Шесть — чуть широковато. Я объясню, в чем дело. Кажется, что дюйм — разница небольшая, но если посмотреть на пятидюймовый бур — вот, дайте я вам покажу. — Он встал, подошел к буру и взял его. Несмотря на сапоги и пухлый комбинезон, из-за которых он, коренастый от природы, выглядел чуть ли не грузным, он перемещался по льду проворно, и бур в его руке размашисто двигался, как бита в руке бейсболиста, трусящего к скамейке после хорошего высокого удара и перебежки. Он подошел ко мне и поднес длинное блестящее лезвие прямо к моему лицу. — Вот.

Вот оно, самое-самое. Первооснова. Вот она.

— Пятидюймовый бур и шестидюймовый, — продолжал он, — это большая разница на самом деле. Когда сверлишь слой льда от фута до восемнадцати дюймов толщиной, шестидюймовый требует гораздо больше усилий. Этим я могу просверлить полтора фута за двадцать секунд. Если, конечно, лезвие острое. Тут все зависит от заточки. Оно всегда у тебя острым должно быть.

Я кивнул.

— А холодно тут на льду, — сказал я.

— Еще бы.

— Только сейчас почувствовал. Мерзнуть начал. Лицо. И вообще пробирает. Я пойду, пожалуй.

Я сделал первый шажок назад — прочь от него и от его лунки, окруженной валиком ледяной крошки.

— Ладно, бывайте. Ну, вы все теперь знаете про подледный лов. Может, книжку про это написать заместо детектива?

Мелко пятясь, я уже отошел на четыре-пять футов в сторону берега, но Фарли по-прежнему высоко держал бур одной рукой — винтовое лезвие поблескивало на уровне моих глаз. Полностью побежденный, я отодвигался все дальше.

— И место мое секретное знаете. Вы все теперь знаете, — сказал он. — Но вы ведь никому не скажете, да? Это очень большая выгода, когда у тебя есть секретное место. Кто удит, никому про свои места не говорит. Учишься этому.

— Я буду молчать, не волнуйтесь, — сказал я.

— С горы тут ручей течет, с уступа на уступ. Я вам не говорил? — спросил он. — Не знаю, где он начинается. Получается, что озеро проточное. На южной стороне другой ручей из него вытекает. — Он показал где. Показал все тем же буром, который крепко держал одной здоровенной лапой в перчатке без кончиков пальцев. — Плюс масса ключей там, на дне. Вода снизу поднимается и крутится все время. Озеро само себя чистит. Рыба в такой воде растет крупная, здоровая. Все, что ей нужно, здесь

имеется. И все Богом сделано. Люди тут ни при чем. Потому здесь и чисто, потому я здесь и ужу. Где люди замешались — оттуда держись подальше. Вот мое правило. Правило человека, у которого все подсознание забито этим ПТС. От людей подальше, к Богу поближе. Так что не проговоритесь насчет моего секретного места. Секрет, мистер Цукерман, остается секретом, пока рот остается на замке.

— Я понял вас.

— Да, мистер Цукерман! Про книгу не забудьте.

— Про какую книгу?

— Про вашу. Прислать мне обещали.

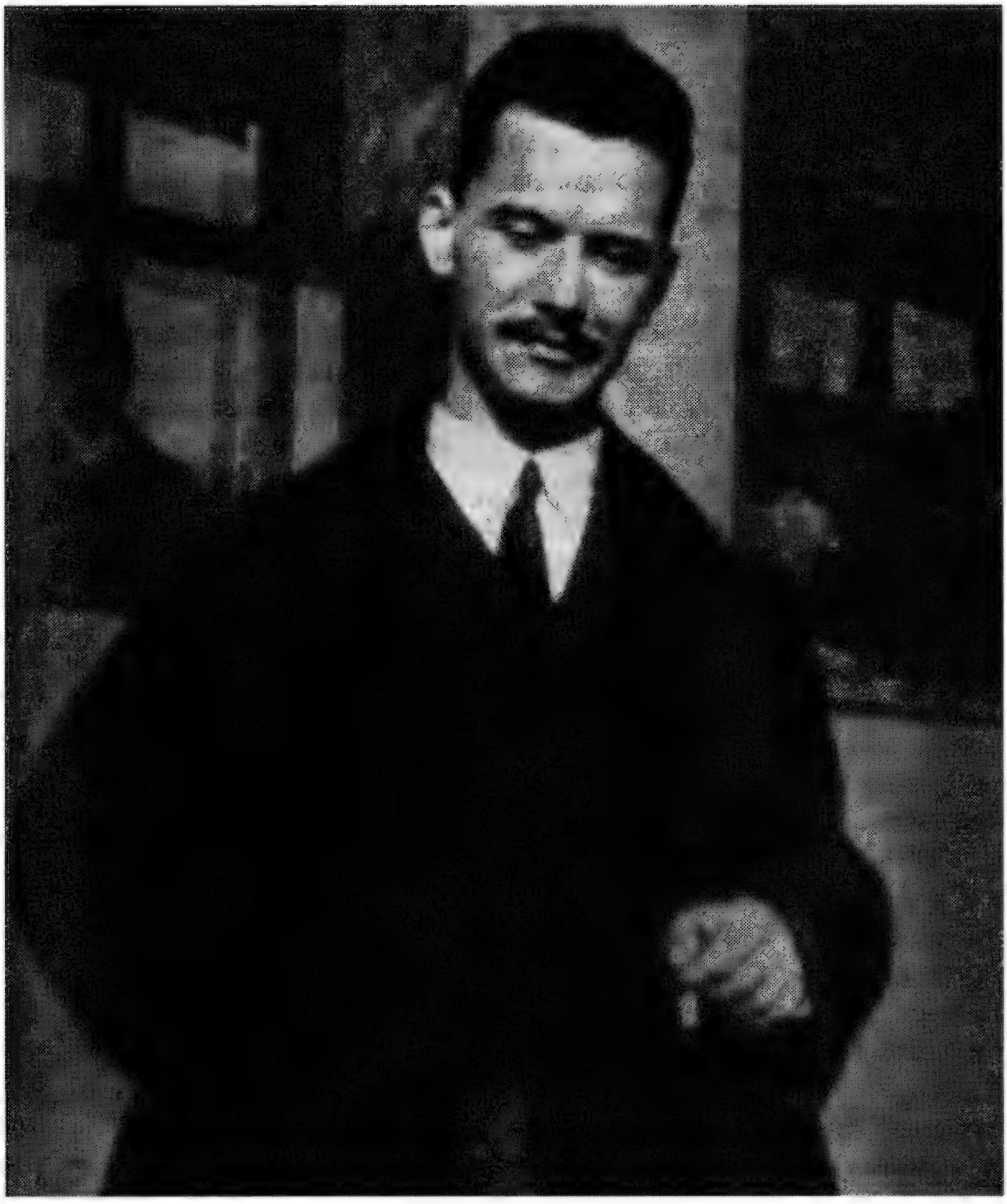
— Не волнуйтесь, — сказал я. — Получите обязательно.

И я двинулся по льду обратно. Он стоял позади меня, все еще держа в руке бур. Я шел медленно. Идти было неблизко. Я знал, что, даже если я дойду без происшествий, моей жизни в доме, где я провел в одиночестве пять лет, можно считать, пришел конец. Когда я допишу эту книгу — если допишу, — мне придется куда-нибудь уехать.

Благополучно поднявшись на берег, я оглянулся посмотреть, не идет ли он следом, чтобы разделаться со мной в лесу; если так, то не судьба мне войти в дом, где Коулмен Силк провел детство, не судьба сидеть, как некогда Стина Палссон, белокожим гостем на воскресном обеде у его ист-оринджской родни. Сам вид Фарли заставил меня вновь почувствовать ужас бура — хоть он и сидел уже снова на своем ведре. Крохотное человеческое пятнышко посреди ледяной белизны озера — единственное во всей округе, что говорило о людском присутствии, — было похоже на косой крестик, поставленный неграмотным вместо подписи на чистой странице. Это была если не вся история, то вся картина. Крайне редко в конце нашего века жизнь являет взору настолько чистый и мирный образ: одинокий человек на импровизированном сиденье, удящий рыбу сквозь восемнадцатидюймовую толщу льда на озере, чьи воды неторопливо и вечно крутятся среди идиллических холмов сельской Америки.

Аттила Йожеф
Стихи

Переводы с венгерского. Вступление В. Середы



© В. Середа. Вступление, 2004
© Н. Горская. Перевод, 2004
© М. Бородицкая. Перевод, 2004
© К. Ситников. Перевод, 2004
© М. Калинин. Перевод, 2004
© Д. Анисимова. Перевод, 2004
© М. Липкин. Перевод, 2004

Если спросить сегодняшних венгров, кто для них ассоциируется с понятием "классик венгерской поэзии XX века", то большинство из опрошенных скорее всего назовет Аттилу Йожефа. Наверное, не случайно и День поэзии в Венгрии отмечается 11 апреля — в день рождения Йожефа. Как не случайно и то, что больше всего диссертаций венгерские литературоведы до сих пор защищают о творчестве этого поэта, и работы, посвященные Йожефу, в сотни, если не в тысячи раз превышают объем всего им написанного.

Разумеется, этот факт не гарантия мировой известности. Чувство непреодолимой оторванности от литературы "большой", европейской и мировой, так или иначе испытывали все крупные венгерские писатели и в особенности поэты. Именно о нем, этом чувстве, в первую очередь рассуждал венгр по происхождению Артур Кёстлер, лично знакомый с поэтом, своим ровесником, — в некрологе, который он написал для европейских читателей, узнав о трагической гибели Аттилы Йожефа. "Быть может, беспрецедентное одиночество этого народа, — писал Кёстлер, — объясняет особую интенсивность его бытия, ту частоту, с которой он извергает из себя вот таких необузданных гениев. На нешироком горизонте этого народа гении рвутся, будто снаряды, — успевай собирать осколки. Безнадежное одиночество нации взращивает их таланты, волю к самореализации и — истеричность. Быть венгром — коллективный невроз... Здешние гении — Чоконаи, Ади, Аттилы Йожефы — для внешнего мира рождаются глухонемыми. Поэтому мне так трудно решиться на то, чтобы произнести — ибо, с одной стороны, меня обвинят в преувеличении, а с другой — ведь читатель не может проверить мои слова, — что человек, которого звали Аттилой Йожефом, о котором мир до сих пор не слыхал, да и в будущем вряд ли много услышит, что этот поэт, бросившийся недавно под поезд, был величайшим европейским лириком. Сказать все это меня заставляет мое идиотское чувство долга, хотя смысла в том никакого: стихи погибшего от этого не заговорят, и поезд не остановится".

Две карикатуры на Аттилу Йожефа. Авторы рисунков – Андраш Янович и Липот Гедё

Чтобы стихи поэта, столь захватывающе глубоко, как Аттила Йожеф, отразившего трагизм личного бытия в XX веке, "заговорили" на другом языке, обычно нужна временна́я дистанция. Так было и с переводом поэзии Йожефа на русский язык. На родине первый сборник Йожефа "Попрошайка красоты" вышел в 1922 году, когда поэту было семнадцать, последние же стихи — потрясающие свидетельства разлада душевно надломленного поэта с собою и с миром — были написаны незадолго до смерти, последовавшей 3 декабря 1937 года. В Советском Союзе в это пятнадцатилетие триумфально звучала совсем другая музыка и официально поддерживалась совсем другая поэзия — наподобие, например, боевых пролетарских маршей соотечественника Йожефа Антала Гидаша. Так что до Йожефа очередь дошла спустя много лет, лишь к концу 50-х.

Однако в тех нескольких сборниках (наиболее полный вышел в 1962 году в будапештском издательстве "Корвина"), к работе над которыми подключились советские переводчики Л. Мартынов, Н. Чуковский, Д. Самойлов, С. Кирсанов, В. Корни-

лов, В. Корчагин, В. Левик, если называть только самые яркие имена, Аттила Йожеф, увы, так и не заговорил по-русски. Вернее, заговорил, но лишь в некоторых стихах или отдельных, нередко блестящих строфах. Сказалось неосознанное, может быть, упрощение поэзии, нагруженной экзистенциальной проблематикой; обманчивая простота и строгость формы, удивительным образом сочетающаяся у Йожефа с причудливостью образов и ассоциаций, со сложным движением мысли, свободно оперирующей не только понятиями диалектики, а также эстетики Бенедетто Кроче или теорией основателя психоанализа Зигмунда Фрейда, тоже не облегчали задачу переводчиков.

Еще один важный момент, для прояснения которого стоит вновь обратиться к процитированному некрологу Кёстлера: "Подобно лучшим представителям своего поколения, — пишет автор "Слепящей тьмы", — Аттила Йожеф был коммунистом. Но отшатнулся от движения, деформация которого стоила жизни или рассудка многим из числа как раз самых лучших. Как и многие из этих лучших, он также не смог преодолеть это разочарование. Не смог освободиться от той амальгамы ненависти и любви к партии, точно так же, как не освободился от этого чувства никто из нас, кому довелось его испытать". Известно, что в 1930—1933 годах поэт состоял в нелегальной компартии, союз этот не удался, после чего Аттила Йожеф сблизился с творческими кругами венгерской социал-демократии, а последние два года жизни вместе с несколькими единомышленниками редактировал беспартийный либеральный журнал "Сеп со" ("Изящное словцо").

К сожалению, в советское время составители переводных сборников Йожефа, ориентируясь на культурную политику венгерских властей, приспособившую творчество поэта к своим партийно-пропагандистским нуждам, пытались представить его как крупнейшего пролетарского поэта — без единого слова об упомянутой Кёстлером и отразившейся в поэзии позднего Йожефа "амальгаме".

Поэтический мир Аттилы Йожефа, чрезвычайно своеобразный, невозможно понять, не учитывая опыта европейского модернизма, прежде всего того его направления, которое принято связывать с идеалом "чистой поэзии", с именами Бодлера и Поля Валери. Испытав влияние европейского модернизма, экспрессионизма, сюрреализма, Аттила Йожеф создал свой вариант современной поэзии, в котором новое мировосприятие потерянного поколения сочеталось с психологическими концепциями Фрейда, с фольклоризмом таких новаторов в музыке, как Кодай и Барток, и непривычной для экспериментальной поэзии межвоенного двадцатилетия строгостью формы. В венгерском литературоведении поэтика Йожефа поэтому получила достаточно точное, на мой взгляд, определение "классического модернизма".

И еще об одном. Как-то в разговоре с друзьями Аттила Йожеф сравнил стихотворение с казначейским билетом, золотое обеспечение которого состоит в страдании. "У меня это обеспечение есть, — добавил он не без гордости, — причем высшей пробы". В самом деле, если окинуть мысленно жизненный путь поэта, то взору представится беспросветная череда несчастий, раннее сиротство, вечная нужда, полуголодное существование, тоска по любви и товариществу и — в конце жизни — отчаянная борьба с душевным недугом. "Гений боли" — назвал поэта после его смерти известный венгерский критик Дёрдь Балинт. "Очень больно" — так назывался последний сборник стихов Йожефа, опубликованный в конце 1936 года. Но боль, выразившаяся в поэзии Аттилы Йожефа, имела не только биографические и даже не только национальные корни. В ней отразилась общечеловеческая боль — от невозможности гармонического переустройства мира, от недостатка в нем разума и любви, от избытка насилия и страданий.

Нет ничего удивительного в том, что к творчеству крупных поэтов нередко возвращаются следующие поколения переводчиков, пытаясь прочесть заново, от-

крыть в них что-то, не прочтенное предшественниками. Весной прошлого года по инициативе Культурного, научного и информационного центра Венгерской Республики в Москве и редакции журнала "Иностранная литература" в связи с приближающимся столетием поэта, которое будет отмечаться в 2005 году, состоялся конкурс переводов произведений Аттилы Йожефа. Это еще одна попытка приблизить творчество выдающегося поэта к русскому читателю, попытка, принесшая, на мой взгляд, ряд творческих удач. Часть работ, победивших на конкурсе, и составили публикуемую ниже подборку.

Зимняя ночь

Держись всему вопреки!

Сожжено
лето давно.
Легли на обугленные комки
тускло-серой золы мазки.
Земля замерла.
Поскребла
острой ветки игла
воздуха тоненькое стекло.
Чары безлюдья. Лишь серебрится
ленты обрывок — ткани тряпица, —
мертвою хваткой вцепившись в куст.
Вот так же на ветках-сучках бытия
виснут обрывки чувств.

Мосластые дряхлые горы вдали
мускулы напрягли,
словно держат в ладонях с трудом
круглую тишь земли,
хутор, одетый дымком,
заката огонь над шуршащим мхом.

Пахарь идет домой. Тяжелы ноги,
как вросшие в землю стволы.
Мотыга бредет на плече домой,
на трещинах ржавь кровавой каймой.
Он с поля бредет, как из жизни самой,
и все тяжелее ступать по стерне,
все тяжелее кладь на спине.

А ночь уж восходит дымом печным,
искры звезд даря вышине.

С волной колокольного звона льется
ночь в синеве стальной.
В сердце сбой-перебой, как будто бы бьется
нечто иное в клетке грудной –
не бренный комок, а простор ледяной.
И мнится: зимняя ночь, зимняя даль, зимняя сталь
колоколом гудят,
и стал языком литой расшатавшийся шар земной.
А в сердце – набат.

Память озвучена. Всплеск моментальный:
зима ударяет по наковальне,
чтоб заковать в небесах окно,
в которое сыпало лето солому,
плоды, лучи и зерно.

Ярче мысли – терпеть невмочь –
блещет зимняя ночь.

Серебристая мгла тишины
мир запирает замком луны.

Ворон мелькнул над стужей пустыни.
Чуют ли кости, как стынет космос?
Как с хрустом молекулы кружат в стыни...

Увидишь ты зимнюю ночь такую –
где, на какой картине?

Стужу пронзило ветки копье,
и воронье –
словно ад дохнул чернотой –
вьется фантомом над пустотой.

Зимняя ночь. И вдруг возникая
во мраке, как малый мрак,
по равнине ползет товарняк,
и звездная стая,
в дыму порхая,
в микровселенной медленно тает.

По мерзлому полю вагонных крыш
свет то и дело снует, как мышь,
зимней ночи призрачный свет.

На городские дома
еще дышит паром зима.
Но по сверкающим рельсам к ним
мчится с холодом голубым
желтой ночи призрачный свет.

По-хозяйски всюду шурует
и шипы страданья штампует
стылой ночи призрачный свет.

Мерцает фонарь вверху —
словно сыплет соломенную труху.
А на земле
плащ задубелый дрожит во мгле —
как природа сама,
сжался, съежился человек,
но жжет его ноги зима.

Среди ржаволистых дерев,
где сумрак слегка поредел,
зимнюю ночь мерю взглядом я,
эта ночь — моя,
мой исконный надел.

Перевод Натэллы Горской

Я в поисках объехал шар земной

Я в поисках объехал шар земной,
а Бог стоял все время за спиной.
.....
.....

Я ползал на карачках. Бог смотрел
и не подумал протянуть мне руку.
Я понял, что свободен, и посмел
подняться сам. Спасибо за науку.

Так Он помог мне — тем, что не помог.
Он был огнем и стать не мог золою.
Всяк любит как умеет, вот и Бог
меня оставил, чтобы быть со мною.

Плоть немощна, и страх — защита ей,
Но, преданности полон неизменной,
с улыбкою я жду судьбы своей
на шатком шаре, в пустоте вселенной.

Мама

Все время думаю о маме.
Она, обняв двумя руками
корзину мокрого белья,
взбиралась на чердак. А я,

отнюдь не сдерживаясь, маме
я вслед орал, стуча ногами,
белье разбухшее кляня,
чтоб на руки взяла — меня!

Но мама мне не отвечала
и словно бы не замечала,
лишь хлопающее белье
взлетало из-под рук ее.

Теперь не то. Что проку в плаче?
Ведь маму вижу я иначе:
с летящим светом в волосах,
в слепящих синькой небесах.

Перевод Марины Бородицкой

11 *апреля*[1]

Разворошив жнивье и косо
на воробьев взглянув, под вечер
вдруг подхватил меня однажды
апрельский оголтелый ветер.

Всех сыновей своих он свистом
сзывал — и на меня наткнулся.
Взревел, ликуя. Я ж с улыбкой
к нему ручонками тянулся.

И где нас только не носило —
в полях, в грязи, во тьме кромешной,
пока он с хохотом малютку
не поволок в трущобы Пешта.

А там шпана хмельная шлялась,
чуть что — за нож. Ах, как мы влипли!
Они орали — мы в ответ им,
пока бедняги не охрипли.

1. 11 апреля 1905 г. — день рождения поэта. (*Прим. перев.*)

И был в тот день великий праздник,
спешили в церковь прихожане,
святые бледными перстами
их на вечерню провожали.

Сердца людей покоем полня,
плыл долгий благовест — и шатко
из подворотни в переулок
бежал убийца, сдернув шапку.

Вот так в году девятьсот пятом
и был я принят всенародно
(не без участья повитухи) —
певец тюльпана и свободы.

Отец — рабочий и картежник,
мать — прачка, ей — стирать и плакать,
а сыну — рощей стать, и грязью,
и страстью, и мечтой в заплатах.

Давно уж мать моя в могиле,
но сына не покинул ветер —
в ночном лесу мы вместе стонем
и засыпаем на рассвете.

Усталый человек

С полей бредут крестьяне молчаливо.
Мы знай себе лежим — река и я.
И дремлют сладостные травы
под сердцем у меня.

Река полна великого покоя,
заботы, как росу, рассеяв по траве.
Не муж, не брат, не венгр — кто ж я, прилегший
здесь отдохнуть? Усталый человек...

На всех по-братски каравай безмолвья
разделит вечер. Я — краюха в нем.
На небе тишь, расселись звезды чинно
на водах Мароша — и на лице моем.

Перевод Константина Ситникова

Г*оре*

Шагает горе почтальоном
С потертой сумкой на плече.
Выходит в сумерки — из страха
Растаять в солнечном луче.

В худой груди не умолкает
Дешевых ходиков тик-так.
Почтарь бредет по тротуару.
Ныряет в подворотни мрак.

Стучится и письмо вручает.

Перевод Максима Калинина

В*от и родину обрел я...*

Ну вот и родину обрел я,
Желанный и последний дом,
Где имя скромное напишут
На сером камне гробовом.

Земля — огромная копилка —
Меня сожрет. Кому нужны
Гроши, железные монеты
С далекой, сумрачной войны?

Кольцо железное с девизом
“Любить свободу!” — ни к чему,
Сейчас все кольца золотые,
Но жизнь похожа на тюрьму.

Как долго был я одиноким,
Как поздно я обрел друзей.
И счастлив мог я быть лишь с ними,
Но не вернуть прошедших дней.

Так жизнь влачил я понапрасну,
В ней смысла, право, не найти,
И даже смерть моя едва ли
Смогла бы пользу принести.

С тех пор как я живу на свете,
Со страшной бурей спор веду,
И обижаю сам не больше,
Чем от других обиды жду.

Весна и лето дышат светом —
Теперь зима милее мне.
И я желаю людям счастья,
Завидев свет в чужом окне.

Перевод Дарьи Анисимовой

Мой итог

Всем обязанный лишь себе самому,
Я всегда понимал: ничего никому
Я не должен или должен не более,
Чем скотина, что умирает в поле,
Я боялся, но жил — иначе нельзя:
Появился, смешался, выделился
И отдал всем то, что им причиталось:
За доброту — любовь, за жадность — жалость.
Женщины мной играли зло и мило,
А я им верил: чтоб им приятно было.
Я палубы мыл, якоря выбирал,
Перед умными глупого изображал,
Я продавал все то, что продавалось:
Хлеб, игрушки, статьи — и стихов малость.
Не хочу смерти в петле или в бою —
Я приду умирать на кровать свою.
Мой итог: жил, в радости и печали.
Что ж, ведь и другие так умирали.

Перевод Михаила Липкина

Аманда Лир
Дали глазами Аманды

Главы из книги

Перевод с французского О. Захаровой

11 мая 2004 года исполняется 100 лет со дня рождения Сальвадора Дали. Он был великим художником, спасавшим, по собственному признанию, "живопись от ничтожности современного искусства", и очень интересным писателем. Но не менее значительным явлением XX века стали личность Дали и история его жизни. Он творил себя, творил миф о себе, одновременно пытаясь активно воздействовать на окружающую действительность, то есть в известной степени творил историю своего века. И делал это не волей безумной прихоти, как может показаться, а следуя логично выстроенной программе. Так что эксцентричность нередко являлась лишь внешним проявлением трагического внутреннего разлада или попыткой наладить контакт с миром, который тоже отнюдь не всегда блистал здравомыслием.

За последние годы российские читатели получили возможность многое узнать о Сальвадоре Дали. Были переведены автобиографические книги "Тайная жизнь Сальвадора Дали, написанная им самим" ("ИЛ", 1991, № 12, 1992, № 5—6, 8—9) и "Дневник одного гения", замечательная работа "50 магических секретов мастерства" и другие его сочинения. Безусловный интерес представляют воспоминания современников о Дали. К их числу принадлежит и книга, фрагменты из которой мы начинаем печатать в этом номере. Ее автор — знаменитая поп-звезда и художница Аманда Лир. Дружба Аманды Лир с Дали продолжалась более двадцати лет — с осени 1965 года до смерти художника, 23 января 1989 года. Ценность мемуаров певицы, на наш взгляд, в том, что в них воссоздаются очень разные по масштабу события и детали, из которых только и может сложиться правдивое представление о Великом Лицедее.

Сальвадор Дали и Аманда Лир

© 1984 by Pierre-Marcel Favre, Publi SA
© О. Захарова. Перевод, 2004

Первая встреча – Людовик XIV и прочие придворные

Я верховный боров. Символ совершенства — боров. Этот символ учрежден самим Карлом V, дабы заменить им все прочие символы совершенства. Боров движется вперед коварно, по-иезуитски и никогда не отступает назад по отбросам нашей эпохи. Я же кормлю далинианцев своими отбросами. И все довольны. У Дюпона все отлично. В сущности, подобные карьеристы — наилучшее из того, что только бывает в нашем мире.

Дали

ОСЕНЬЮ 1965 года мне, в те времена студентке лондонской Школы изящных искусств, случилось познакомиться и подружиться с руководительницей парижского модельного агентства Катрин Арле. Желая помочь мне платить за уроки живописи и за небольшую квартиру на Слоун-авеню в районе Челси, она пригласила меня в Париж и предложила принять участие в показе коллекции высокой моды. Ближайшая подружка Катрин, молоденькая немка по имени Анита, была в ту пору по уши влюблена в гитариста из группы "Роллинг стоунз" Брайана Джонса. Она только о нем и говорила, и меня приводили в восторг как он сам, так и его эксцентричная манера одеваться. Тогда же я сама безумно увлеклась молодым ирландцем с женским именем Тара, приятелем Брайана. У него была жена и двое маленьких детей. Вскоре Анита бросила своего гитариста и перебралась к другому музыканту из той же группы. Стремясь утешить друга, Тара увез беднягу Брайана в Париж к своей богатой матушке. В первый же вечер, как они там появились, мы договорились поужинать вместе в ресторане "У Кастеля" на улице Пренсес.

Брайан, понятно, вырядился, как и полагается рок-звезде: черные очки, шейный платок, бусы, широкополая шляпа. Не уступал ему и Тара: он щеголял в фиолетовом бархатном костюме времен английской Реставрации и в рубашке с кружевным жабо. На мне была вызывающе короткая мини-юбка и очень высокие сапожки. Наше появление не прошло незамеченным. Меня сразу же узнали двое лондонских дружков, близнецы Джон и Деннис, оба красивые и загорелые — они только что вернулись из Испании. Близнецы пригласили нас присоединиться к ним. Они сидели за длинным столом, во главе которого в кресле, напоминающем трон, в окружении угодливых придворных, жеманных юношей и дам-фавориток восседал Сальвадор Дали.

Как уже упоминалось, я была студенткой Школы изящных искусств и всерьез увлекалась сюрреализмом, особенно Де Кирико и Магриттом. Мои родители развелись, и я росла одиноким ребенком, поэтому на меня сильно действовали как мучительно-тревожные, похожие на театральные декорации города́ первого, так и поэзия одиночества, рожден-

ная вторым. Большинство моих наставников не очень жаловали Дали, считали его сумасбродом, слишком озабоченным коммерческой стороной дела, хотя и отдавали должное его безупречному мастерству. И я, само собой разумеется, находилась под их влиянием. Что не мешало мне проводить долгие часы в галерее Тейт, любуясь некоторыми полотнами Дали, переданными туда по завещанию Эдварда Джеймса, — прежде всего его "Нарциссом", который превращается в руку, держащую яйцо. В то время в моде была марихуана, и я тоже покуривала, как и все мои друзья. И подолгу в экстазе простаивала перед картинами английских прерафаэлитов — благодаря наркотикам их краски представлялись мне еще насыщенней. Особенно нравилась мне "Смерть Чаттертона" Генри Уоллеса. Первые хиппи, появившиеся у нас из Соединенных Штатов, просто бредили Дали. Они находили его "психоделическим", несмотря на буржуазный образ жизни и меркантильность. Короче, он считался одним из "наших".

Понятно, что тем осенним вечером "У Кастеля" я не могла побороть искушение увидеть его собственными глазами, так сказать, во плоти. Он поднялся, приветствуя нас, изобразил, будто приложился к моей ручке, и высокопарно воскликнул:

— О, приветствую вас! Вижу, Диоскуры не дремлют! — Не спрашивая наших имен, он представил нас своим придворным: — Мадемуазель Хинеста, господин Роллингстоун, месье виконт де... гм... вы ведь виконт, не так ли?

Тара прыснул. Брайан изумленно вытаращил глаза под темными очками. А у меня было такое чувство, будто из нас делают мартышек.

— Мое имя Аманда, а вовсе не Хинеста, — возразила я. — Его зовут Тара — и никакой он не виконт, а Роллингстоун — это Брайан Джонс, полагаю, его имя вам известно.

— А как же! Это ведь знаменитый поп-музыкант, — сказал Дали. Его английский был ужасно потешным, он сильно раскатывал звук "р". — Аманда, — вновь заговорил он, — но это же прелестно! У нас при дворе пока еще не было ни одной Аманды. Есть Святой Себастьян, есть Красногвардеец, есть один Кардинал, есть Единорог... Прошу вас, пожалуйста, присядьте рядом с Людовиком XIV, — обратился он ко мне. — Она свободно говорит по-английски. Знаете, в Нью-Йорке Людовик XIV даже беседовала по-английски с самой Гретой Гарбо.

Людовик XIV на самом деле был увешанной драгоценностями белокурой дамой, которая действительно задала мне несколько вопросов по-английски.

Дали был лысоват, с небольшим брюшком. Он показался мне претенциозным и даже, по правде сказать, смешным — с этими его нафабренными усами и в шитом золотом жилете. При каждой фразе он потрясал тростью с золотым набалдашником. "Двор" его в основном состоял из профессиональных девственниц и педерастов типа мальчиков-парикмахеров. Вскоре он поднялся, объявил, что ему пора спать, "потому что Гала́ не любит, когда я ложусь слишком поздно", и напомнил, что мы можем продолжить ужин в качестве его гостей. Людовик XIV и одна из девиц поднялись вместе с ним.

Проходя мимо меня, он снова изобразил, будто целует мне ручку, и поинтересовался, свободна ли я завтра днем. После чего, не дожидаясь ответа, добавил:

— Можете взять с собой своего дружка. Жду вас "У Ласерра", вы ведь знаете, где это, да? Стало быть, договорились, ровно в час.

И исчез в облаке аромата тубероз: один цветок красовался у него за ухом, а "девственница" несла за ним целую ветку, словно церковную свечку.

Брайан был в полном восторге: "Да он же совсем не в себе, ну просто псих ненормальный!" Близнецы рассказали нам, что познакомились с Дали в Кадакесе, на побережье Коста-Брава, когда случайно проходили мимо его дома. Увидев их из окна, он пригласил их позировать. Близнецы считали Дали совершенно полоумным, но вполне cool[1]. Одной из его маний было давать людям прозвища, ибо настоящие имена казались ему чересчур банальными и труднопроизносимыми. Так близнецы превратились в Диоскуров — героев-близнецов из греческого мифа. Все белокурые девушки звались Хинестами[2] — в честь золотисто-желтых цветов, которые распускаются весной по берегам Средиземного моря; тощие девицы и юноши именовались Святыми Себастьянами, китайцы — Красноармейцами, бледноватые манекенщики — Христосами, а молодые люди из хороших семейств, но заурядной внешности — Филе Камбалы.

Почему у Дали возникло желание познакомиться с нами поближе? Думаю, потому что мы были молоды, к тому же англичане и выряжены, словно на маскарад. Дали нравилось окружать себя спутниками эксцентричной внешности, которые привлекают всеобщее внимание; он обожал быть на виду, играть роль монарха в сопровождении боготворящей его свиты. Недаром ведь он и сам величал себя Божественным Дали.

Мне все это казалось просто смешным. Как мог столь большой художник так ребячиться, водиться с какими-то придурками, вести себя так претенциозно?

Тем вечером мы засиделись допоздна, и я провела ночь с Тарой в его парижской квартире, где стены были увешаны картинами Магритта. Его мать не слишком-то жаловала невестку и всячески потворствовала нашему роману, а я лишь безмерно благодарила судьбу за то, что накануне события повернулись именно таким образом.

На следующий день, когда мы собирались идти завтракать к "Ласерру", Тара, казалось, заранее предвкушал потеху. Я тщательно наложила макияж, выбрала шелковую фиолетовую мини-юбку, сапоги до колен и нацепила приносящие удачу перстни-талисманы. В те годы все мы были ужасно суеверны. Ресторан "У Ласерра" слыл фешенебельным заведением, его посещали богатенькие буржуи с тугим кошельком. Такая парочка, как мы с Тарой, была там совсем не ко двору, к тому же явились мы с большим опозданием. Впрочем, мы всегда и всюду опаздывали.

Дали опять сидел во главе длинного стола, спиной к окну, в самой глубине зала. При свете дня он выглядел загорелым, но лицо его казалось каким-то осунувшимся. Теперь было хорошо видно, что усы свои он подкрашивал черным. За его столом сидели Близнецы, Людовик XIV и белокурая девица, которую он представил нам как Адвокатессу. На нем был неизменный бархатный костюм цвета бронзы и тот же броский жилет, что и накануне. На парчовом галстуке красовался какой-то значок, который я не заметила накануне.

1. Зд.: что надо (*англ.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. От ginesta (*исп.*) — дрок.

— Прошу извинить меня, дрожайшая, мы уже приступили, но я заказал вам ортоланов. Надеюсь, вы любите ортоланов?

Перспектива есть что-то незнакомое мне ничуть не улыбалась.

— Присаживайтесь, прошу вас. Я не встаю, вы уж простите великодушно — у меня нога после Санкт-Морица[1]...

— Как, опять? — всполошилась Людовик XIV. — Что-то она никак не уймется, эта ваша нога. Видно, все-таки придется прислать вам своего доктора.

Эта "нога после Санкт-Морица" была чистейшей воды выдумкой. Дали ненавидел горы и еще больше — снег, о чем я узнала много позже.

Людовик XIV сидела по левую руку от него, Адвокатесса — по правую, а мне он оставил место прямо перед собой.

— Поглядите-ка, а ведь на ней платье цвета аметиста, видите? — заметил Дали. — Весьма мила, дивно сложена...

Я сидела как раз напротив окна, и он мог внимательно разглядеть меня при дневном свете.

— Вы случайно не китаянка?

— Нет, я англичанка.

— У вас прелестный череп. Поглядите, ваше величество, какой высококачественный у Аманды скелет.

Этот комплимент сразил меня наповал. Никто и никогда не говорил мне, что у меня прелестный череп и высококачественный скелет. Дали запомнил мое имя, а вот Тару на протяжении всего застолья называл не иначе как "ваш друг". Людовик XIV сгорала от любопытства и засыпала меня вопросами. В беседе Дали с Адвокатессой то и дело упоминались такие имена, как Дадо, Кардинал, Персик, Дельфин, — некий код, тайна которого была известна лишь посвященным. Постепенно Дали объяснил мне: Дадо — знатный итальянский дворянин, князь Дадо Русполи, Капитан Мур — секретарь Дадо, который занимается всеми его делами, Филипп Кардинал — молодой писатель, а Персик с Дельфином — дочки Людовика XIV. Все они составляли ближайшее окружение Дали, так сказать, его бессменную почетную свиту. Кроме того, имелись еще и просто придворные, с которыми он обращался более или менее бесцеремонно — в зависимости от титула. Дали был убежденным роялистом.

— Я монархист и папист. Вы ведь узнали булавку Альфонса XIII, не так ли? — спросил он меня, указывая на заколку в галстуке — монограмму из бриллиантов, сверху украшенную королевской короной.

Я понятия не имела, кто такой Альфонс XIII, и чувствовала себя полной невеждой. Однако у Дали не было привычки смущать гостей своим превосходством. Конечно же, он обожал поразглагольствовать, послушать себя любимого, процитировать какие-нибудь редкие изречения, но при этом не отказывался любезно растолковать непосвященному, что имелось в виду. Он охотно смеялся, особенно умела развеселить его Людовик XIV. Внезапно, ни с того ни с сего, он спросил меня в упор, не лесбиянка ли я. В полном замешательстве, я не нашлась, что ответить.

— Все девушки немного лесбиянки, а каждый юноша по-своему педераст. Полагаю, и вашему другу тоже нравятся мальчики, как и всякому породистому англичанину из хорошей семьи.

Тара нервно засмеялся. Что же до меня, то я никак не могла понять стремление Дали любой ценой шокировать людей, и хотя это вполне ук-

1. Санкт-Мориц — курорт в Швейцарии, в Ретийских Альпах, центр зимнего спорта.

ладывалось в сюрреалистические традиции, все-таки подобные выпады казались мне совсем уж неуместными в кругу друзей. Дали между тем вновь обратил внимание на мою худобу, пояснив, что "скелет — вещь наиважнейшая, ведь только он один сохраняется после нашей смерти". Вот откуда его любовь ко всяким ракообразным, которые в отличие от *человекообразных* носят свои скелеты снаружи, поверх плоти. Девицам, чтобы быть в его глазах "доброкачественными", непременно полагалось иметь выступающие наружу бедренные кости. Быть "доброкачественной" — или "высшего качества" — для Дали это имело жизненно важное значение, и я задавала себе вопрос: соответствую ли этим строгим критериям? Престарелый чудак обладал столь неотразимым обаянием и обольстительным шармом, что я уже начинала подпадать под его чары.

Он толковал о наркотиках, утверждая, что сам сроду их не пробовал, и подробно пересказывал, что говорил ему Пикассо, который ими увлекался. Якобы для Пикассо понятие времени становилось относительным: ему казалось, будто протекают целые часы, пока он наливает себе воду из кувшина в стакан. Дали же хвастался тем, что он единственный "художник ЛСД", который сам ни разу не прикоснулся к наркотикам.

— Мои картины выглядят будто видения наркоманов, они похожи на галлюцинации, но мне для этого не надо принимать никакой отравы. Кто же не знает, что ЛСД ужасно вреден для здоровья? Вы помните, ваше величество, Нена ослепла, потому что злоупотребляла этой дрянью, когда жила с тибетским монахом? А вот вы, крошка, вы ведь всерьез пристрастились к наркотикам, признайтесь!

В тот раз он впервые назвал меня "крошкой". По правде говоря, никто прежде не называл меня так, очень уж это не вязалось с моим ростом модной манекенщицы — 1 метр 76 сантиметров.

— Да, балуюсь, — пробормотала я. — У нас в Лондоне все этим грешат.

Я вдруг вспомнила, что на груди у меня приколот переливающийся всеми цветами радуги перламутровый значок, на котором написано: "ЛСД действует на вашу голову, но не на руки". Дали конечно же его заметил.

— Но вы же сами рекламируете ЛСД, — упорствовал он. — И что же является вам в видениях? Вот Изабель говорит, будто видит маленьких китайчат, а однажды ей даже пригрезился медведь.

Он имел в виду Изабель Дюфрен по прозвищу Ультрафиолетовая — именно такая боевая кличка была ей дана. Она жила в Нью-Йорке и входила в круг Энди Уорхола. Я бы с удовольствием рассказала, что тоже видела снующих вокруг моей чашки китайчат, но ничего подобного со мной не случалось. А потому я попыталась — и довольно сбивчиво — описать краски, цвета и ощущение какого-то глубочайшего прозрения, блаженства... Дали рассмеялся.

— Краски, цвета, надо же! Все только об этом и говорят. Принимать наркотики, чтобы в результате увидеть краски... Вы ведь были в музее Гюстава Моро?

Нет, и в музее Гюстава Моро я тоже не была.

— Вам бы очень понравилось. И там вы могли бы познакомиться с настоящими видениями Гюстава Моро. Как-нибудь заставьте себя пораньше уйти от "Кастеля" и наутро отправляйтесь в этот музей.

Я с аппетитом принялась за поданного мне ортолана — вообще эта птичка называется садовой овсянкой, и она пришлась мне весьма по вку-

су. Но тут Дали начал рассказывать, как им свертывают шею, чтобы мясо было нежнее. Описание подобных жестокостей доставляло ему явное наслаждение. К концу трапезы он испустил крик, от которого все буквально подскочили, и громко процитировал что-то по-испански.

— Это "Дон Хуан Тенорио", вы поняли?

Нет, я не поняла. Господи, и сколько же еще мне предстояло узнать от этого странного человека!

Не было никаких сомнений: он был существом необычайным, забавным и, конечно, гениальным, о чем он сам не уставал говорить.

Выйдя от "Ласерра", и прежде чем нырнуть в поджидавший его огромный черный "кадиллак", он спросил, свободны ли мы завтра вечером и не хотим ли поужинать вместе с ним и его друзьями.

Он как-то особенно крепко пожал мне руку и, глядя прямо в глаза, проговорил:

— Знайте, теперь мы с вами уже никогда не расстанемся.

И он оказался прав.

Леонор Фини – Магия – Деревяшка, приносящая удачу – Фрейд – Гала

Я согласен с Мигелем де Унамуно, автором "Трагического ощущения жизни". Когда его спрашивали, что такое любовь, он отвечал совсем просто: "Любовь — это моя жена! Случись ей вдруг почувствовать боль в левой ноге, как и у меня незамедлительно начинает ныть та же самая левая нога". Нечто похожее происходит и со мной всякий раз, когда Гала страдает или радуется. Меня могут окружать миллионы людей — среди них найдутся и большие любители секса, и сторонники куртуазной любви; но умри они, заболей, мне будет все равно. Мало того, я бы даже испытал своего рода удовлетворение, соответствующее моему садистскому инстинкту. Гала — единственное исключение.

Дали

Знакомство с Дали привело меня в полнейшее замешательство. До тех пор Тара был самым важным человеком в моей жизни. Таким он и оставался. И все же у меня возникло ощущение, что за пределами моего мирка, ограниченного рок-музыкой, наркотиками и модой, существует и другой мир, который мне предстоит познать, — и дверь туда приоткрыл передо мной Дали. То и дело в памяти вперемешку возникали обрывки из того, что он говорил про видения и галлюцинации, уточняя при этом, что самый любимый его наркотик — минеральная вода; и еще этот

его вопрос, не лесбиянка ли я, и, наконец, вызывающие тревожные чувства рассуждения о сексе. Он обожал фиолетовый цвет, литургический и церемониальный, но терпеть не мог кошек, в которых я души не чаяла. Он рассказывал, как с ними расправляются в Кадакесе, когда их становится слишком много. Он был убежденным сторонником монархии, любил роскошь.

Я подумала, что за весь вечер мы и двух слов не сказали о живописи, я так и не набралась духу "признаться", что учусь в лондонской Школе изящных искусств. А ведь мне очень хотелось узнать, каких художников он любит, что думает о прерафаэлитах, которыми я восхищалась, бродя по галерее Тейт. И еще: занимается ли он живописью сейчас или работает исключительно в Испании? Смогу ли я задать ему все эти вопросы нынче вечером?

Тара не испытывал особого желания идти на ужин в отель "Мёрис". В тот день ему предстоял, мягко выражаясь, непростой разговор со своим адвокатом. Он хотел во что бы то ни стало получить развод и вынудил меня подписать нужные ему свидетельские показания. Я сделала это вопреки собственному желанию. У него было двое детей, и он решил добиться права опеки над ними, для чего требовалось доказать безответственное поведение их матери. А я была влюблена в него по уши и готова на все, только бы ему угодить.

В гостинице "Мёрис" портье проводил нас на второй этаж в люкс номер 108, который занимала чета Дали. Там уже было полно гостей: женщины в изысканных вечерних туалетах, и среди них миниатюрная дамочка со странным акцентом, Мафальда Дэвис, — она занималась продажей произведений Дали. Конечно, я тотчас увидела там и Людовика XIV, и Близнецов, и князя Русполи — очень высокого господина, чрезвычайно любезного, который слишком громко смеялся любой шутке мэтра. Мы с Тарой и на этот раз были одеты не так, как остальные гости, и Дали с гордостью представил нас в качестве своего нового открытия. Я увидела, что в комнате полно цветов (как всегда, сплошь туберозы) и стоит шампанское для всех приглашенных. Бросалось в глаза, что Дали явно неравнодушен ко всякого рода позолоте. Когда настало время идти в ресторан, он взял меня под руку, повел к лифту и, пока мы спускались, сказал:

— Вы заметили, что стоило вам появиться, как все дамы сразу же стали казаться старомодными? Они рассматривали вас в упор, не спускали глаз с вашей коротенькой юбчонки и прямо задыхались от ярости.

Он откровенно наслаждался ревностью, которую я вызвала при его дворе. При любом дворе всегда имеется фаворитка. Я ломала себе голову: неужели здесь эту роль играет Гала, та самая таинственная Гала, которую я до сих пор не видела, но о которой говорят, будто она совсем старая и очень злая. Я поинтересовалась у Дали, удастся ли мне в ближайшее время с ней встретиться. "Гала приезжает завтра, — был ответ. — Вы сами убедитесь — это совершенно необыкновенная, исключительная женщина, и я не мыслю своей жизни без нее". Он не уточнил, что она в Цюрихе, где занимается их финансовыми делами. Гала была деловой женщиной, Дали же развлекался в Париже, ожидая ее возвращения. Останется ли он таким же, когда она вернется? В тот вечер фавориткой почувствовала себя я и была польщена тем, что он взял меня под руку. В другой руке он всегда держал трость, размахивая ею, точно жезлом. Людовик XIV и мы с Тарой залезли в его "кадиллак", чтобы ехать в

ресторан "Ледуайен", который располагался на Елисейских Полях с тыльной стороны дворца Пти-Пале. Там были салфетки из настоящих кружев, форель в аквариуме при входе, — в общем, обстановка еще шикарней, еще изысканней, чем "У Ласерра".

К нам присоединилась Леонор Фини[1], которая в свою очередь привела с собой собственных придворных. В экстравагантности она ничуть не уступала Дали. Длинное платье едва позволяло видеть кончики туфель, плащ как у мага-волшебника, звезды в волосах и что-то наподобие скипетра в руке. Судя по всему, она спросила, кто я такая. Я заметила, как Дали наклонился к ней и долго что-то вполголоса объяснял. Вне всякого сомнения, речь шла обо мне: Леонор Фини пристально разглядывала меня и время от времени кивала головой, явно одобрительно. Вскоре Дали сообщил мне, что ей нравятся женщины, о чем я и сама догадалась. Еще он добавил, что у нее дома полно кошек. Чуть позже она пригласила нас к себе на обед и очень настаивала, чтобы Дали непременно привел меня с собой.

Тара чувствовал себя не в своей тарелке и поэтому дулся. Фотограф без устали ловил нас в объектив и щелкал. Пианист наигрывал какие-то очень печальные мелодии. Дали говорил, что просто обожает такую музыку, такую восхитительную, мрачную музыку, и попросил исполнить для него "Искателей жемчуга" Массне, любимую мелодию его отца, нотариуса из Фигераса. Дали говорил о нем с гордостью, словно забыв, что тот выгнал его из дома после женитьбы на Галé. Дали нравился мне все больше и больше. Восхищенная его речами и растроганная любезным обхождением, я без труда забывала о смешных нафабренных усах и украшенных дешевыми блестками костюмах. В какой-то момент я вдруг решилась признаться, что тоже собираюсь стать художницей.

— Как, вы занимаетесь живописью? — в полном изумлении переспросил он. — Но это же просто ужасно! Нет ничего хуже художниц. У женщин не бывает ни малейшего таланта. Талант — качество исключительно мужское.

— А как же Леонор Фини? — понизив голос до шепота, поинтересовалась я.

— И она не исключение. Возможно, чуть-чуть получше прочих. И все же, талант-то, он ведь в яйцах, а у женщин яиц нет, согласны?

Я была согласна.

— Случалось ли вам когда-нибудь слышать хоть об одной великой художнице, равной Веласкесу или Микеланджело? Сплошь одни мужчины... Нет-нет, талант, творческая потенция таятся только в мужских яичках. Без них творить невозможно. Для женщин творчество — это производить на свет потомство, они рожают детей, но им ни за что на свете не расписать своды Сикстинской капеллы!

Сидевшая напротив Леонор Фини делала вид, будто ничего не слышит. Справа от нее сидел Русполи, и Дали счел необходимым добавить:

— А знаете, такого большого члена, как у Дадо, вы никогда не видали!

Я была шокирована таким поворотом разговора.

1. Леонор Фини (1908—1996) — французская художница; близка к сюрреализму.

– Кстати, это я его женил, – продолжил Дали. – Я представил ему Нанси де ла Шарбоньер, и благодаря мне он на ней женился. А знаете, я ведь пригласил Нанси позировать, когда делал иллюстрации к Библии.

– Правда? Надо же! И кого же она изображала? Святую?

– Она изображала ангела. С ее-то задницей! Получился просто отличный ангел! У Нанси такая красивая задница! Так вот, я заставил ее сесть на тушь, потом посадил на лист бумаги – и у полученных отпечатков были очертания ангельских крыльев. Я включил рисунок в Библию, которую, кстати, благословил сам папа римский. Когда я рассказал об этом Дадо, он воскликнул: "Потрясающе, я должен жениться на этой женщине!" Дадо всегда говорит: "Потрясающе!", вы заметили?

Я уже успела заметить, что римский князь легко приходит в восторг по любому поводу. В тот вечер он был облачен в черный бархат, на груди – массивная золотая цепь. Он любил Восток, Таиланд, все таинственное и сверхъестественное. Как, кстати, многие в окружении Дали, видевшие в нем мага-провидца, посвященного в тайны бытия. Дадо был первым, кто задал мне традиционный вопрос:

– А ты, Аманда, под каким знаком родилась ты?

– Я Скорпион, родилась в ноябре.

– Вот как! – воскликнул Дадо. – Так я и думал! С такими пронзительными глазами ты и вправду настоящий Скорпион. Будьте осторожны, Дали, она вас ужалит, эта девушка!

В ответ Дали со вздохом поднял глаза к потолку и промолвил:

– Ну вот, опять он за свое! Прямо мания какая-то! Дадо без этого никак не может обойтись! Знаки Зодиака! Чушь какая! Пустая болтовня! На любой нью-йоркской вечеринке и шагу нельзя ступить, чтобы тебя не спросили: "What is your sign?"[1] Будто это имеет хоть какое-нибудь значение. – Потом, повернувшись ко мне, добавил: – Аманда, запомните, я – *Toro*[2], Гала – Дева, Людовик XIV – Лев, Дадо – Стрелец. И если хотите остаться моей подружкой, никогда больше не возвращайтесь к этой теме.

– Вот еще! С чего это вы взяли? Никакой я не Лев, я Водолей! – высоким, пронзительным голосом возразила Людовик XIV.

– Какая разница! – отрезал Дали. – Людовик XIV был Львом, и Наполеон тоже. Это знак королевского величия.

Для человека, презирающего астрологию, он был неплохо информирован.

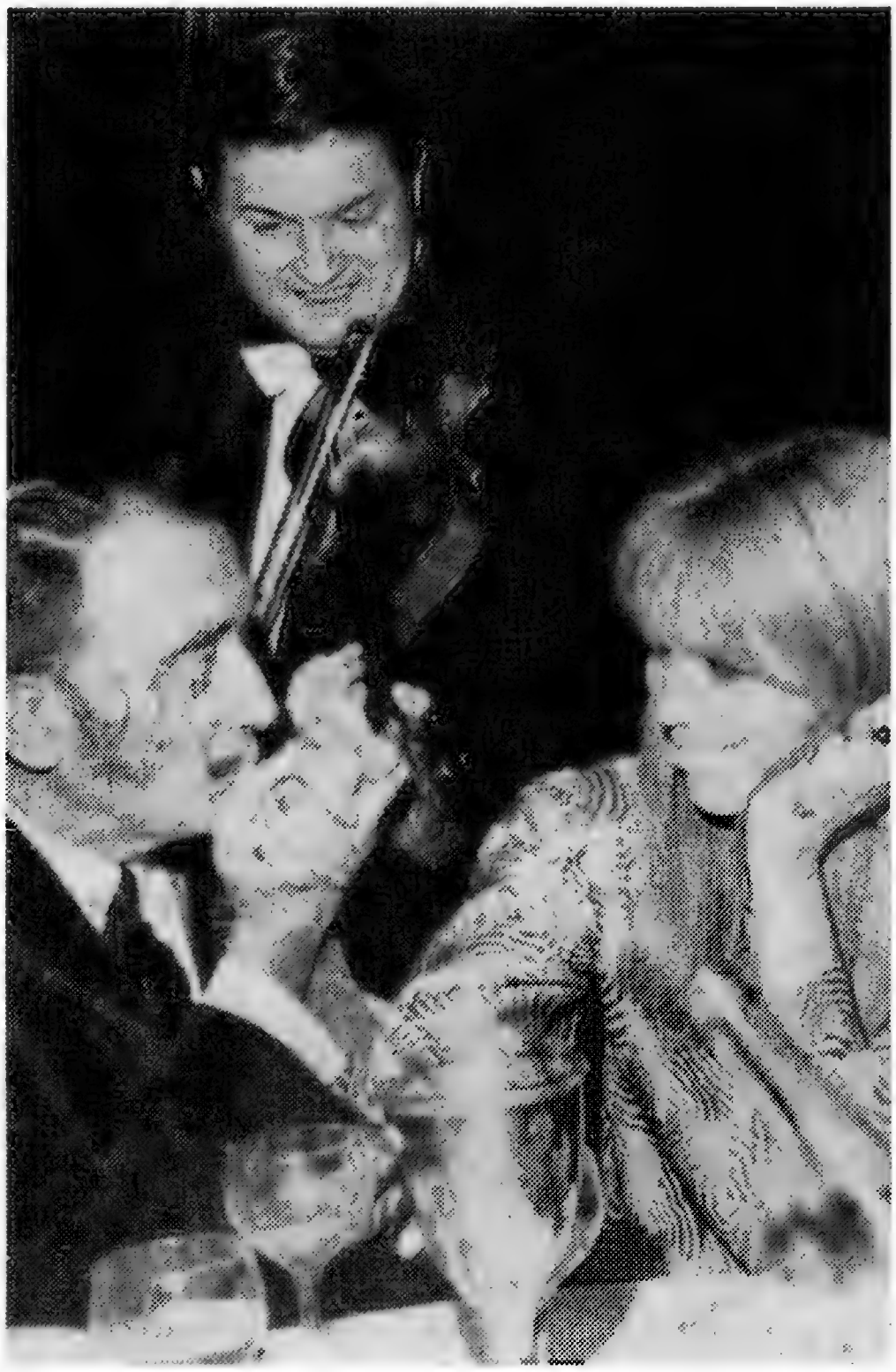
– Но ведь верите же вы в магию! – вмешалась Леонор Фини.

– Ах, в магию – да, верю, но это совсем другое дело! Надо читать книги по магии... Раймунда Луллия[3], основы каждодневной магии Джанбаттисты Делла Порта, герметистов и даже Фрейда... Вам известны теории Фрейда насчет суеверий, вы ведь читали "Тотем и табу"?

Само собой разумеется, никакого Фрейда я не читала. Круг моего чтения ограничивался литературными вкусами моих лондонских сверстников: Герман Гессе, Толкин, "Пророк" Халиля Джубрана, легенды двора короля Артура. Но и магия мне была отнюдь не безынтересна.

– Это самая примитивная и самая древняя из всех религий, – продолжал тем временем Дали. – Человек всегда нуждался в магии. Суеве-

1. Под каким знаком вы родились? (*англ.*)
2. Телец (*исп.*).
3. Раймунд Луллий (1235–1315) – каталонский поэт, философ, миссионер.



Сальвадор Дали и Аманда Лир

рие есть каждодневное применение магии к событиям текущей жизни. Например, вы просыпали соль и тут же, дабы отвести злой рок, бросаете щепотку через плечо. На самом деле оплошность, из-за который вы опрокинули солонку, была предупреждением. Вы просыпали соль, потому что озабочены мыслями о каком-то важном для вас деле, и ваше подсознание таким манером послало вам предупреждение: будьте осторожны сегодня, не подписывайте контракта, который собираетесь подписать, там что-то не так, лучше подождать до завтра. Вот в чем смысл суеверий!

Я пообещала себе прочитать Фрейда и сказала Дали, что вообще-то довольно суеверна: стараюсь избегать приставных лестниц, боюсь вторников тринадцатого числа и не люблю носить зеленое.

— Ах уж это зеленое! Никогда никакого зеленого! Вот вы, Людовик XIV, вы помните катастрофу, случившуюся в тот вечер, когда вам вздумалось нацепить чудовищный попугайно-зеленый тюрбан, как у Кармен Миранды[1]? Что же касается вторника, то у нас в Каталонии говорят: "El martes no te cases ne t'embarques"[2].

Дали частенько пересыпал свою речь каталонскими поговорками. Родная провинция оказала на него сильное влияние, и я восхищалась этой смесью изысканности и местного колорита. Он обожал цитировать некоего Пухоля, поэта из Ампурдана, и присказки рыбаков с Коста-Брава.

— Как бы там ни было, — заключил он, — но у меня есть своя деревяшка. — И извлек из кармана брюк какой-то мятый, перевязанный веревочкой сверток. Оказалось, что это серый полосатый носок, в котором он держал некий твердый предмет. Он помахал им у меня перед лицом со словами: — Вот самая драгоценная вещь, какой я обладаю, этот маленький кусочек дерева всегда приносит мне удачу. Он всегда со мной и охраняет от любого зла. У Галы тоже есть свой кусочек. Возьмите, поцелуйте его, ну поцелуйте!

Мешочек был довольно омерзительный, но я подчинилась, после чего Дали снова засунул его в карман.

1. Кармен Миранда (1909—1955) — американская актриса.
2. По вторникам не женись и не выходи в море (*каталанск.*).

Ужин подходил к концу. Дали, который никогда не прикасался к вину и не пил кофе, обвел присутствующих строгим взглядом и повелительным, не терпящим возражений тоном бросил:

— Кофе не надо? Надеюсь, никто не желает кофе?

И ни один из гостей не осмелился заказать себе кофе.

Поинтересовавшись, не собираемся ли мы в какой-нибудь ночной кабачок, Дали предложил нам свой лимузин с шофером. Таре предстояло завтра возвращаться в Лондон, и мы, высадив Дали у отеля "Мёрис", решили сразу же ехать к себе на бульвар Сюше.

Мы обсудили минувший вечер. Я в общем и целом неплохо развлеклась. Тара — не очень, потому что едва говорил по-французски. Он находил этих людей старомодными и одновременно слишком развязными. Дали пылко восхищался сексуальными подвигами своего двора, хотя сам объявлял себя импотентом. Эротика занимала важное место в его разговорах, похоже, он был вуайеристом, то есть любителем тайно подсматривать любовные сцены. Он попросил меня позировать для него, и мне было немного не по себе: казалось, это лишь повод для чего-то непристойного. Во всяком случае, именно так думал Тара, который начал отпускать шуточки касательно того, что́ со мной случится, как только я разденусь перед мэтром в его роскошном номере отеля "Мёрис". Меня немало смутило поведение Близнецов: они не проронили ни слова, позволяя разглядывать себя, будто неодушевленные предметы, которые оценивают и обсуждают, прежде чем использовать.

Конечно, наша философия молодых "поклонников новой моды" основывалась на свободной любви, сексуальной доступности и прочих теориях антибуржуазного толка, и все же некоторые привычки моих друзей-единомышленников не могли меня не шокировать. Я была настолько влюблена в своего прекрасного принца, что мне было трудно представить себя в постели с кем-то другим, а уж тем более со старцем Дали, которому перевалило за шестьдесят. В глазах моего поколения тридцать лет считались началом заката, и я дала зарок покончить с собой ровно в тридцать, потому что не могла даже вообразить себя престарелой безработной манекенщицей и мечтала умереть красивой. Мне хотелось жить в полную силу, развлекаться, страстно любить, заниматься живописью и танцевать. У меня не было ни гроша за душой, и я едва сводила концы с концами. Тара слыл богатым наследником, и кто знает, может, он и поддержал бы меня материально, останься мы вместе...

А пока он отправился в Лондон, где поселился у Брайана Джонса, пытаясь добиться развода. Я осталась работать в Париже и жила у Катрин Арле. Тара часто мне туда звонил.

Тогда, в ноябре, я не раз встречалась с Дали и благодаря ему открывала для себя новый, неведомый мне дотоле мир.

Он принялся названивать мне прямо в агентство, и там на всех производило большое впечатление, когда он спрашивал: "Могу ли я говорить с мадемуазель Амандой Лир?" (Он произносил "Лихрр".) Однажды после полудня он пригласил меня на чай к себе в отель "Мёрис" и представил Гале. Она была невысокого роста, узкоплечая, с широкими бедрами и в красном бархатном костюме выглядела совсем молодо. Прическа точно такая же, как на полотнах Дали, где он изображал ее в виде Мадонны. Уложенные валиком волосы поддерживала черная бархатная лента с бантом, подаренная ей Коко Шанель. Вплоть до кончины Галы в 1982 году я ни разу не видела, чтобы она была причесана иначе. Шею ее

украшало колье из поддельных камней, поверх него лежал воротничок белой блузки. Настоящих драгоценностей она не носила никогда. Дали рассказывал, как однажды в Нью-Йорке продал за очень большие деньги свою картину и решил подарить Гале желтый бриллиант, который приметил в витрине лавки Гарри Уинстона на Пятой авеню. Бриллиант стоил целое состояние. Но Гала возразила: "Если тебе и вправду хочется доставить мне удовольствие, лучше исполни самое большое мое желание – подари свою 'Корзинку с хлебом'". Это была небольшая картина, которую Дали считал шедевром. Для Галы она была бесценной, дороже любых бриллиантов на свете. И Гала, несомненно, не ошиблась. Всю жизнь она хранила картину в личной коллекции.

Первое знакомство с Галой повергло меня в ужас. Она уставилась на меня своими блестящими глазками – а взгляд ее мог просверлить даже крепостные стены – и протянула руку со словами "Здравствуй, дорогая".

Она произносила звук "р" еще раскатистей, чем Дали, и я сразу вспомнила фильмы с участием Эльвиры Попеску. Гала была русской, родом из Казани, и бежала со своей родины во время революции. Долгое время она провела в санатории в Швейцарии, потом вышла замуж за Поля Элюара. Взгляд у нее был инквизиторский, и казалось, будто от нее трудно что-либо скрыть. Я почувствовала себя как на экзамене. Потягивая жидкий чай, она прощупывала меня взглядом и время от времени задавала вопросы. Забавляясь этой очной ставкой, Дали обратил внимание Галы на то, какие длинные у меня волосы, какие изящные руки, какие перстни на пальцах. Тут он слегка переборщил. Можно было подумать, что он продает пылесос.

– Ну да, конечно, она очень красива, – с легким раздражением откликнулась Гала. – Как любая девица, работающая фотомоделью.

– Нет, она не из тех, сама убедишься, Гала, она очень одухотворенная, большая умница, вот увидишь, моя маленькая *olivona*.

Дали часто называл жену этим ласковым именем – *olivona* по-испански означает "оливка".

– А еще, – продолжил Дали, – у нее очень красивый жених, юный английский князь, он тебе понравится, вот увидишь, Галю́шка. Кстати, когда он возвращается в Париж?

– Скоро, – ответила я.

Гала часто кашляла каким-то сухим, нервным кашлем. Она жаловалась на холод в их апартаментах: при тех счетах, что они оплачивают, в отеле могли бы топить и получше. "Настоящие ворюги эти французы!" Мы втроем пошли ужинать в ресторан "У Ласерра". Гала терпеть не могла вычурности, царящей в "Ледуайене", а еще больше – расшаркиваний, с которыми клиентов встречали в шикарном ресторане "Ла Тур д'аржан" ("Серебряная башня").

Она удовольствовалась легким бульоном. Дали старался заставить ее поесть, всячески расхваливая блюда, но ничто не могло пробудить в ней аппетита, и все казалось непомерно дорогим. Она жаловалась на сквозняки, делала вид, будто задыхается даже от легкого намека на сигаретный дым. Дали во всем, что касалось Галы, проявлял поистине ангельское терпение. С ней он вел себя как ребенок со строгой мамашей, а случись ему в присутствии жены заговорить на слишком вольные темы, она тотчас делала вид, что оглохла.

Мне она показалась просто несносной. У нее не нашлось для меня ни одного любезного слова: она вела себя так, будто я – пустое место.

Создавалось впечатление, что она живет за миллионы световых лет от мира Дали и говорит лишь о вещах сугубо практических: пора ремонтировать "кадиллак", шофер обходится им чересчур дорого, она позвонила в Кадакес – отопление там не работает. Она рассуждала о том, как организовать их отъезд в Нью-Йорк. Они, как правило, на автомобиле добирались до Гавра, а там садились на судно "Франция". Я и понятия не имела, что Дали обычно проводит зиму в Нью-Йорке.

– Это самый estimulante[1] город в мире. Вам надо непременно там побывать. Нью-Йорк – единственное место, где я заключаю контракты. И потом, там дантисты.

Каждый год Гала с Дали использовали свое пребывание в Нью-Йорке, чтобы посетить дантистов и проверить состояние зубов. Они не сомневались, что американские врачи – самые лучшие в мире. Оба панически боялись болезней и свято верили в чудодейственность американской медицины. Вскоре Гала сменила "кадиллак" на автомобиль более современной марки.

Когда назавтра мы снова встретились в "Мёрисе" за чаем, Дали поинтересовался, как мне понравилась его жена. У меня не хватило духу сказать правду, и я ограничилась вежливой отговоркой.

– А Гала сочла, что вы очень нарциссичны. Она сказала, что вы все время смотритесь в зеркало.

Я в изумлении запротестовала.

– Знаете, – продолжил он, – она на редкость верно судит о людях и никогда не ошибается. Впрочем, быть влюбленным в себя – это ведь очень важно. Вы же англичанка, так что читали Оскара Уайльда.

Я была обескуражена. Когда я встречала Галу в гостиной, она нарочито ни с кем не была любезной. Порой вела себя агрессивно, начинала отпускать злые шутки по поводу длинных волос какого-нибудь юноши или груди какой-нибудь манекенщицы. Главное, не следовало заводить с ней разговор о современной литературе – все было плохо, очень плохо. Зато она не упускала случая подчеркнуть гениальность Дали. Только он один владел кистью, пером и был наделен истинным талантом. На свете не существовало никого, кроме него, и преданность ее была поразительна.

Тем временем в Париж, чтобы провести несколько дней со мной, вернулся Тара. Поскольку мне пришлось остаться во Франции на более долгий срок, чем планировалось, я переехала вместе с другой девушкой из агентства Катрин Арле в небольшую квартирку на улице Вано. Дали часто отвозил меня на своем автомобиле, но зайти не согласился ни разу: он предпочитал рисовать себе мое обиталище мысленно, чтобы не испытать разочарование, увидев вполне прозаическую обстановку. Зато я имела право на другое: он целовал мне ручку с церемонным "Благодарю вас за то, что вы даровали мне этот вечер!".

Однажды после полудня он пригласил меня в музей Гюстава Моро и стал показывать картины, комментируя каждую. Благодаря ему я смогла увидеть то, что ускользало при первом взгляде. Он объяснял технику живописи, рассказывал подробности из жизни художника, о котором я знала лишь понаслышке. Стоя перед "Саломеей", он сказал:

– Вот, взгляните! Это вы. Вам бы тоже не помешало сделать себе на теле татуировку, как у нее.

1. Стимулирующий, возбуждающий (*исп.*).

В самом деле, у персонажей Моро было много общего с новым движением хиппи, которое в то время набирало силу в Европе: девушки-цветы, Саломеи, украшенные восточными драгоценностями, наряды, отливающие всеми цветами радуги, и позы – мистичней не придумаешь.

Дали пояснял мне, что его вожделенная мечта – смешение полов. Он обожал женственных юношей и без конца возвращался к идее Гермафродита. Кстати, именно по этой самой причине он давал мужские имена женщинам из своего окружения, начиная с Людовика XIV.

Вечером он пригласил меня поужинать с ним в ресторане "У Максима". Гала собиралась в театр в сопровождении некоего молодого человека "из хорошей семьи", которого Дали окрестил Единорогом, ведь Единорог был тем самым мифическим животным, что составляло компанию средневековым девственницам, охраняя их целомудрие.

Млея от восторга, я уселась на обитый малиновым бархатом стульчик за лучшим столиком этого знаменитого ресторана. Дали наслаждался, наблюдая мой искренний восторг, – этакий Санта-Клаус, сумевший порадовать неискушенного ребенка. Он показал мне Онассиса, который ужинал за соседним столиком, чуть подальше – баронессу Ротшильд в компании с Алексисом де Реде.

– Знаете, это ведь я познакомил его с Артуро Лопесом, – пояснил мне Дали. – Ах, какая жалость, что вы не были знакомы с Артуро! Изысканнейший вкус! Видели бы вы его коллекцию Бенвенуто Челлини...

И он рассказал мне, как этот южноамериканский миллиардер приютил их с Галой и они прожили несколько месяцев в его особняке, пока он не оплатил им пребывание в отеле "Мёрис". Его дом украшали потрясающие букеты, которые по замыслам Артуро составляла его жена. На самом деле эти букеты делал мажордом по имени Папийон. Всеми этими воспоминаниями и байками Дали пробудил во мне интерес к истории давно минувших лет. Ужины, роскошные празднества, интриги... Княгиня де Фосиньи Люсенж, Натали Палей, семейство Бестейгуи, Крошка Берар, виконт де Ноай – казалось, все они были здесь, рядом. Эпоха Коко Шанель и Скьяпарелли... Дали скандализовал публику, оставаясь при этом любимцем всех парижских салонов. Он рисовал портреты красавиц и проводил вечера "У Максима".

К нашему столику подошел скрипач, и Дали попросил его сыграть "Миллионы Арлекина" – кисловатую мелодию, вызывающую воспоминания о Венеции и карнавальных гондолах. Я пожалела, что опоздала родиться.

В декабре я провожала Дали до Гавра, где он должен был сесть на корабль, отплывающий в Нью-Йорк. Вместе с нами совершила это путешествие Людовик XIV, которая развеивала мою грусть беззаботной болтовней и воспоминаниями об их общих с Дали проделках и похождениях. Она была уроженкой Мадрида и нередко вставляла в разговор испанское словечко. Разлука с Дали привела меня в полное уныние, а Гавр показался городом печальным и тревожным. Суждено ли мне вновь увидеть Дали? Вспомнит ли он меня, когда вернется в апреле? Ведь вокруг него вечно толпится столько прелестных девиц. Он подарил мне огромный старинный агат, серый с фиолетовыми прожилками, образующими концентрический узор. Стоило агат чуть встряхнуть, и чувствовалось, что в сердце камня, словно в темнице, заключена вода. Дали купил его в лавке Дероллля на улице Бак.

— Смотрите-ка, точно в такой же цвет вы подкрашиваете свои глаза. Этому агату не один миллион лет. Подумать только, вода у него внутри осталась с самого начала существования Земли.

На обратном пути и Людовик XIV загрустила не меньше меня. Мы говорили о наших планах. Она тоже собиралась вскорости отправиться в Нью-Йорк, чтобы повидаться там с дочкой. А мне через несколько недель предстояло отплыть на Берег Слоновой Кости — позировать для фотографий, заказанных модным журналом "Мари-Франс". К Рождеству я хотела попасть в Лондон, чтобы провести праздники вместе с Тарой. Людовик XIV пригласила меня приехать в любое удобное время в Малагу, где она обитала. Коста-дель-Соль приятна даже зимой, и там всегда полно англичан. Мы с ней расстались подругами.

Скрепя сердце я снова вернулась к своей работе — тогда я позировала для рекламной кампании бюстгалтеров; мои фотографии должны были появиться на парижских автобусах. Путешествие в Африку было ужасным. Долгие часы в парике и гриме под палящим солнцем...

Я приехала в Париж совершенно без сил и узнала страшную новость. Только что в автомобильной катастрофе погиб Тара.

Перпиньянский вокзал – Порт-Льигат

Он нашел фильм скверным, но признал, что мне удалось показать: Дали всегда и везде ведет себя не так, как все остальные. Это можно считать комплиментом. Съемки превратились для меня в непрерывную борьбу — достаточно сказать, что Дали отказался читать сценарий. Но лучше уж бороться с Дали, чем с каким-нибудь идиотом.

Жан-Кристоф Аверти о съемках в Кадакесе

Я решила устроить себе небольшие каникулы и поехать на несколько дней к своим друзьям, у которых был загородный дом неподалеку от Перпиньяна. Я позвонила Дали и сообщила, куда направляюсь. Он воскликнул:

— Так вы на Перпиньянском вокзале? Это же просто потрясающе!

Правда, до Перпиньяна я еще не добралась, но как раз собиралась сесть в поезд и доехать до Фигераса, ближайшей железнодорожной станции, откуда можно попасть в Кадакес.

— А Перпиньянский вокзал вы должны рассмотреть как следует! Это ведь центр мира. Жду вас завтра в семь в Порт-Льигате. Обнимаю. — И повесил трубку.

Чуть позже я действительно постаралась внимательно осмотреть Перпиньянский вокзал. Но не обнаружила в нем ни малейших признаков центра мира. Это был небольшой, вполне заурядный вокзальчик, где останавливались все поезда, отправлявшиеся в Испанию. Ничего да-

линианского ни в архитектуре, ни в красках. Туристы с покрасневшими от солнца лицами, скандинавы с рюкзаками за плечами... Почему, по какой такой причине вздумалось Дали провозгласить его центром Вселенной?

Когда поезд остановился в Фигерасе, родном городе Дали, пейзаж ничуть не изменился, тем не менее я уже находилась в Ампурдане, на далинианской территории. Солнце палило нещадно, а мне еще пришлось самой нести свою сумку к допотопному автобусу. Единственная разница, которая сразу же привлекла мое внимание, заключалась в том, что каталанский язык звучал куда мрачней и агрессивней французского, в нем даже чувствовались отголоски своего рода ксенофобии. Я говорила по-испански, и мне удалось самостоятельно добраться до Кадакеса. Горная дорога, змеясь, карабкалась вверх, сердце у меня замирало при каждом крутом вираже, а попутчики-каталонцы бросали на меня хмурые взгляды. Путь в три десятка километров занял целый час. В Кадакесе мне сообщили, что Дали живет не здесь, а в бухте Порт-Льигат. Дальше автомобильной дороги не было, и остаток пути мне пришлось проделать по извилистой тропинке пешком. Для меня это было сущим адом! Я совсем упала духом, ибо, разумеется, ожидала маршрута полегче.

На главной площади этого небольшого поселка, ослепительно белого на фоне ярко-синего моря, располагалось кафе "Осталь" — сюда пришвартовывалась молодежь. Я знала, что где-то здесь должны околачиваться Близнецы, и спросила длинноволосого юношу, не знаком ли он с ними. Их зовут Джон и Деннис. Разумеется, он их знал, видел утром на пляже — они появятся с минуты на минуту. Кафе "Осталь" было местом сбора молодых людей с богемными замашками, а также "интеллектуалов" из Барселоны, приезжавших на выходные в Кадакес. Здесь их прозвали "божественными левыми". Они с нескрываемым скептицизмом относились к Дали, считая, что его развратила тяга к деньгам и буржуазной роскоши. Появлялся в "Остале" и писатель Жан-Франсуа Рей. Некоторые сцены из фильма "Механическое пианино", сценарий которого был написан по его роману, снимались прямо здесь. Это же кафе облюбовали туристы.

Заметно загоревшие Близнецы появились в сопровождении девицы с пышным бюстом. Они рассказали мне, где можно снять комнату всего за несколько песет, и дали покурить травки, чтобы быть high, то бишь в форме, когда мы к семи вечера отправимся к Дали. Вся компания, как и местные рыбаки, была обута в эспадрильи, холщовые туфли на веревочной подошве и с черными тесемками, которые завязывались вокруг лодыжек. Я купила себе пару таких же на рыночной площади и с тех пор не расставалась с ними, обновляя запасы каждый год. Кроме того, я приобрела плетеную кошелку и соломенную шляпку, которая как нельзя лучше подходила к моему цветастому платью, купленному на лондонском рынке Портобелло-Роуд, а к корсажу приколола стрекозу и несколько украшенных разноцветной эмалью крошечных бабочек.

Близнецы, Тони (танцор с подведенными черным карандашом глазами), две-три девицы и я — компания получилась весьма колоритная. Мы решили устроить экскурсию и принялись карабкаться вверх по узкой каменистой тропинке. Картина, открывшаяся нам с вершины холма, застала меня врасплох и поразила своей красотой: бухта, чуть выше — маленькое белое кладбище, позади — Кадакес с его прижавшимися друг к

другу домиками, над которыми царит колокольня; а с другой стороны, прямо у нас под ногами, — самая крошечная бухта в мире, Порт-Льигат, небольшой полуостров, который кольцом окружал кусочек моря, превращая его в некое подобие озера. Дом Дали, защищенный от любопытных глаз высокими, беленными известью стенами, казался очень большим. Он тоже был совершенно белым, крышу самым причудливым образом украшали огромные яйца. Вокруг кипарисы, оливы, а вдали — словно застывшая на синей морской глади золотисто-желтая лодочка.

Вниз мы спускались по высеченной в скале лесенке, перепрыгивая со ступеньки на ступеньку. Лестница вела к отелю "Порт-Льигат", весьма уродливому сооружению из бетона, рядом с которым располагался нелепый бассейн с трамплином олимпийских размеров! Чуть дальше мы увидели вереницу рыбацких домишек — ветхих, но исполненных какого-то невыразимого очарования; перед каждым непременно стояла каменная скамейка. Фасад одного дома украшали старинные солнечные часы. Старая, выброшенная на берег лодка служила колыбелью для царственно высокого кипариса, но та же лодка стала еще и приютом для бездомных кошек, которые кормились остатками рыбы, которые бросали им рыбаки. Мы прошли мимо небольшой группы женщин, они сидели кружком прямо на земле и чинили сети, *remendaires* по-каталански. Увидев нас, они дружно засмеялись. Не было ни малейших сомнений, что их язвительные комментарии касались наших странных и неуместных здесь нарядов. Лицом к лицу столкнулись два мира: с одной стороны, мир искусственный и поверхностный, с другой — мир, основанный на вековых традициях и исполненный истинного благородства. У меня было такое ощущение, будто все наши шарфики, бусы, яркие тряпки выглядят фальшивым оперением рядом со строгими черными одеждами этих женщин, сидевших у подножия столетнего кипариса.

Невысокая обсаженная кипарисами лестница вела к дверям дома Дали. Мы позвонили. Служанка во всем розовом отворила нам и спросила наши имена. У нее были коротко стриженные с проседью волосы, она окинула нас неодобрительным взором и приказала подождать. Стены небольшого помещения, служившего прихожей, были выкрашены белой краской. Старинный испанский шкаф служил для верхней одежды, на маленьком столике стоял телефон. На стене висела репродукция "Грозы" Джорджоне. Рядом со старым вытертым диваном в форме женских губ возвышалось огромное набитое соломой чучело медведя. На шее у медведя висело множество бус, он держал в поднятых кверху лапах лампу. Тут же стояла подставка для зонтов, которую заполнили трости всех сортов. Слева от входа открывалась анфилада необычных и странных комнат, одну от другой, как правило, отделяли две-три ступеньки. Прямо перед собой мы увидели покрытую веревочным половиком лестницу.

Тут вновь появилась служанка в розовом и с явной неохотой сообщила, что сеньор Дали ждет нас в патио. Позднее я узнала, какую важную роль играла здесь эта знаменитая служанка по имени Роса, которая отсеивала визитеров по своему усмотрению, в зависимости от их внешнего вида и ее собственного настроения. Когда Дали интересовался, что́ за люди стоят у его дверей, чаще всего она отвечала: "Противные". А если Дали все-таки приказывал их впустить, Роса неодобрительно поджимала губы, всем своим видом показывая, что́ она по этому поводу думает. Роса обожала Дали и горела желанием оградить его от непрошеных нахалов. Никто не должен был мешать ей холить и лелеять хозяина.

Следуя за Росой, мы прошли по лабиринту из небольших лесенок, миновали буфетную, где плотного сложения мажордом открывал бутылки, и, наконец, добрались до патио. У беленных известью стен росли кусты — прямо из вымощенной серыми плитками земли. А вдоль одной из стен, извиваясь, тянулась выложенная такими же плитками скамья. Дали восседал в простом деревянном кресле, а рядом с ним в точно таком же кресле сидела Гала. Они беседовали по-каталански с каким-то седовласым господином.

— Привет! — устремился нам навстречу Дали.

Он был улыбчивый, спокойный, загорелый, с цветком жасмина за ухом и деревянной тростью в руке. Вышитую голубую рубашку, судя по всему, он купил в одном из магазинов Техаса; она была вся перепачкана красками, как, впрочем, и полотняные брюки. На ногах у него были сандалии, какие носят каталонские рыбаки. Он вяло пожал всем руки, а меня поцеловал в лоб.

— Вы знакомы с Галой?

Гала с улыбкой кивнула. На голове у нее красовалась неизменная бархатная лента с торчащими в стороны, словно пара беличьих ушек, концами. На ней были узенькие, не доходившие до щиколоток брючки в корсарском стиле и эспадрильи.

— Познакомьтесь, это сеньор Пуигналь, мэр Кадакеса. Мы как раз обсуждали с ним, как бы нам соорудить здесь бассейн, ведь сеньор Пуигналь у нас еще и предприниматель. Он построил все это...

"Все это" было сработано добротно и на славу, особенно если учесть, что занимался строительством человек с такой невзрачной внешностью, хоть он и был мэром Кадакеса.

Над патио возвышалось огромное, высотой не менее трех-четырех метров, картонное изображение двух персонажей с картины Милле "Анжелюс". Оно успело полинять и выцвести от дождей и солнца. Заметив мой взгляд, Дали пояснил:

— Это "Анжелюс" Милле, вы ведь его узнали, да? А если вы читали мои книги, вам должно быть известно, какую важную роль этот миф играет в моей жизни. Впрочем, на самом деле далинианцы никогда не читают моих книг! Что ж, тем лучше, у меня будет повод потолковать с вами об этом. Хотите шампанского?

Лакей-мажордом-шофер, он же мастер на все руки, появился с большим подносом, уставленным бокалами с шампанским.

— Артуро, — представил его Дали. — А это сеньорита Аманда.

Артуро поздоровался со мной без всякого энтузиазма. Я взяла с подноса бокал. Это оказалось восхитительное розовое шампанское, единственное вино, каким Дали потчевал своих гостей, — он получал его ящиками прямо от винодела из замка Перелада. Потом Дали подошел ко мне и внимательно оглядел.

— Какая очаровательная стрекозка! Посмотри-ка, Гала! Ты видела этих бабочек?

— Ну да! Разумеется! — слегка усталым тоном ответила жена. — Ты же знаешь, я все всегда вижу, они весьма милы.

— У Галы была целая коллекция малюсеньких пчелок, она, как и вы, прикалывала их к корсажу. Жаль, не осталось ни одной! Они мне так нравились. Гала и сама похожа на пчелку. Прилетит, укусит и тут же умчится прочь.

Гала и вправду вскорости исчезла, не скрывая раздражения: ее явно бесила серость нашей компании и банальность беседы. Дали спросил меня, что там происходит в Лондоне, знакома ли я с группой "Битлз" и правда ли, будто Йоко Оно такая сюрреалистка, как о ней говорят. Вскоре откланялся и мэр Кадакеса. Дали тотчас спросил, заметила ли я, как тот похож на Гитлера.

— Прядь волос на лоб — и вылитый Гитлер. Странно, что вы не обратили на это внимания — с вашими-то большими глазами, от которых ничто не должно ускользать.

Однако в тот миг мысли мои были весьма далеки от Гитлера. В доме царила какая-то восхитительная безмятежность. Опускающиеся на белый патио сумерки давали приятное ощущение тепла, ни единое дуновение ветра не касалось отливающих розовым лавровых веток. Прямо у нас над головами пролетела ласточка. Дали пояснил мне, что по-испански их называют *golondrinas*. Каким счастливым выглядел он здесь!

— Но я ведь всегда счастлив, всегда! У меня есть такой термостат, нечто вроде внутреннего устройства, которое не позволяет нарушать мое блаженное состояние. Как только на горизонте появляется хоть малейшая неприятность, тотчас включается этот мой внутренний термостат — и защищает от любых огорчений. — Потом, слегка поразмыслив, он добавил: — Иногда от наслаждения у меня даже слюни текут. Иногда я бываю так счастлив, что боюсь, как бы не умереть от восторга.

Я призналась, что очень ему завидую, ведь я-то ни разу в жизни не чувствовала себя по-настоящему счастливой.

— Думаю, вы просто невеселы по природе. Было бы трудно научить вас быть счастливой, ведь вам на самом деле нравится чувствовать себя несчастной. Кстати, в этом вы похожи на Рене Кревеля[1]. А знаете, вы даже внешне немного на него смахиваете. Это Гала обратила мое внимание на такое сходство. Тот же упрямый, чуть менингитный лоб, прямой нос, полные губы...

Он взял меня за руку и заглянул в глаза.

— Как бы мне хотелось видеть вас счастливой. Уверен, вы представляете собой некий архетип, вы единственная в своем роде.

Здесь глаза его казались светлей, чем в Париже; они были серо-зеленые, оливкового цвета, и ярко блестели. Когда я собралась уходить, он пообещал, что завтра покажет мне свою мастерскую.

— Я работаю над большим полотном, на котором изображается ловля тунца. Увидите, вам это тоже будет близко. Картина психоделическая, в ней полно всяких оптических эффектов. Сейчас я как раз пишу рыб, которые переливаются всеми цветами радуги, и эта ваша стрекозка могла бы оказать мне неоценимую услугу.

Провожая меня до дверей, он объяснил, почему в доме столько всяких ступенек.

— Когда мы с Галой впервые приехали сюда, у нас не было ни гроша. Мы купили лачугу у замечательной женщины по имени Лидия la ben plantada, что означает "крепко стоящая на ногах". Мы жили вот в этих двух комнатенках, — он махнул рукой в сторону прихожей с чучелом медведя и смежной с ней столовой. — Спали мы прямо здесь и были на седьмом небе от счастья. Потом, когда у нас появилось немного денег, Гала

1. Рене Кревель (1900—1935) — французский писатель-сюрреалист, судьба которого во многом остается загадкой; покончил жизнь самоубийством.

купила у одного рыбака соседний домик, потом еще один, так мало-помалу образовалась эта анфилада комнат. Каждый раз нам приходилось проламывать в стенах дыры, так что весь наш дом — просто ряд вплотную примыкавших друг к другу рыбацких лачуг. Меня вечно спрашивают, какой архитектор придумал все это, а ведь имя архитектора — его величество случай.

Он поцеловал меня на прощание и добавил:

— Носик у вас чуть-чуть порозовел. Это хороший знак.

Как всегда, я задавала себе кучу вопросов. Почему он не захотел показать нам свою мастерскую? Что думала Гала о бесцеремонных визитерах, которые мешают ее мужу работать? Ревнует ли она, когда он в ее присутствии говорит комплименты другим женщинам? А может, для Дали мы всего лишь причудливо наряженные и словно сошедшие с картин Гюстава Моро персонажи? Хотя, судя по всему, его должно было притягивать благородство скорбных темных тонов Веласкеса. С другой стороны, безумная пестрота наших одеяний могла в какой-то мере стимулировать его воображение. Или же он принимал нас у себя в доме, желая еще больше шокировать добропорядочных местных жителей?

Правда, как я заметила, в этом городке мы уже никого не могли по-настоящему шокировать — похоже, здесь уже навидались всякого. Гостиница "Осталь" была пристанищем людей искусства всех мастей. Принимали там и хиппи, не обращая внимание на их своеобразные повадки. Рядом с гостиницей стояло здание ужасной *Guardia civil*[1], и лучше было, конечно, не попадаться на глаза жандармам, если ты куришь травку. Мы могли отправиться потанцевать, но только за пределы Кадакеса — к примеру, в "Rach'Dingue". Машины ни у кого из нас не было, и нам приходилось целыми днями слоняться между "Осталем", кафе "Маритим", которое располагалось прямо напротив пляжа, и угловым кафе "Мелитон". Мы прогуливались вдоль морского берега, ужинали в дешевой харчевне и, прежде чем идти на боковую, сидели на холодном ночном песке, уставившись в звездное небо. Больше из страха одиночества, чем из сексуальных потребностей я спала со своими случайными дружками. Мне нравилось, что у них длинные волосы и узкие бедра, к тому же я всегда питала слабость к блондинам. Наверное, я видела в них нечто ангелоподобное. И напрасно... Кадакес притягивал множество голландцев и англосаксов, так что мне было из кого выбирать. Курортные романы почти никогда не имеют продолжения, а у меня к тому же и не появлялось ни малейшего желания влюбиться по-настоящему.

По утрам мы завтракали на городской площади, завтрак наш состоял из cortado (кофе со сливками) и сдобных булочек. Там же бродил торговец, продающий вразнос *churros* — жаренные в оливковом масле пирожки, жирные и сладкие. От них я была просто без ума. На террасе кафе, всегда на одном и том же месте, сидел невысокий, опрятного вида человек — Марсель Дюшан[2], который уже не первый год уединенно жил в Кадакесе. С Дали они виделись лишь изредка. Дюшан часто играл в шахматы и при этом неизменно хранил молчание. Днем мы ходили купаться в скалах, потому что на небольшом кадакесском пляже буквально яблоку негде было упасть. Вечерами Дали приглашал нас к себе в патио.

1. Жандармерия (*исп.*).
2. Марсель Дюшан (1887—1968) — французский художник, скульптор и литератор, крупнейший представитель авангардного искусства.

Иногда я ходила туда одна. Надо ли говорить, что предпочитала я именно последний вариант, когда можно было неторопливо шагать к его дому по дороге под стрекотание кузнечиков.

Знакомство с мастерской Дали стало для меня настоящим откровением. Она была защищена от посторонних глаз прекрасной старинной дверью испанской работы, и надо было спуститься на несколько ступенек вниз, прежде чем вы попадали в захламленную всевозможными предметами студию – в это волшебное святилище, где Дали встретил меня в рабочем облачении. На носу очки – чистые! – и палитра в руке. Слева я увидела лесенку, ведущую наверх – там было что-то вроде антресолей, где кучами громоздились самые диковинные вещи: витринные манекены, гигантский макет какой-то молекулы, отливающий всеми цветами радуги кусок картона, венецианская маска, явно сохранившаяся от сюрреалистического бала Бестейгуи. Полки были завалены книгами в старинных и совсем новеньких переплетах, растерзанными огромными альбомами по искусству, научными журналами... Свет в мастерскую лился через широкие, расположенные по двум стенам окна – они выходили на бухту Порт-Льигат. Еще там стояла большая гипсовая копия "Гермеса" Праксителя – в фехтовальной маске и колпаке Дэвида Крокетта. Рядом – старинный, тоже заваленный книгами сундук и кресло в белом полотняном чехле. А еще – столы с множеством красок, кистей, угломеров и угольных карандашей. Я увидела большую картину. Маленького роста загорелый человек, сидя на скамейке, писал что-то в углу полотна.

– А это Беа, – представил его Дали, – он помогает мне справиться с картиной. Он очень полезен для мелких работ.

Позднее я выяснила, что на самом деле малыш Беа делал куда больше, чем сказал Дали. Иногда ему доводилось писать и довольно большие фрагменты картин, работа над которыми вызывала у Дали скуку. Именно Беа всегда подготавливал фон, прописывал небо и большинство "фотографических" частей, копируя снимки. Кстати, одна из таких фотографий-заготовок, с которой предстояло рисовать центральную фигуру, и теперь была скотчем прикреплена к полотну. Дали подвел меня к креслу и усадил.

– Присядьте-ка здесь и поглядите на полотно. Это кресло Галы, она всегда располагается в нем, когда приходит сюда почитать мне.

На подлокотнике кресла и вправду лежала книга со старательно заложенной страницей – Святой Августин.

– Посмотрите на рыбу, вон там, – с пафосом комментировал свое полотно Дали. – Какие краски, а? Все цвета радуги. Это *guiulas*, рыба, которую ловят именно здесь. А струей бьющая кровь, какая мощь, правда? Завтра я займусь ножом. Надо, чтобы все внимание было сконцентрировано именно на ноже. Гала считает, что это шедевр.

Покинув мастерскую, мы прошли через маленькую гостиную – в огромном окне, словно в раме, сияло море. Эту комнату Дали называл *caracol* (по-испански улитка) из-за стоявшей на столе лампы в форме улитки. Когда мы вышли из буфетной, Дали указал мне на маленькую незаметную дверку в углу:

– А вот там спит Беа.

Вряд ли можно было представить себе более скромное пристанище для человека, который, как ни посмотри, собственной рукой написал немалую часть на тех картинах, что украшают самые знаменитые музеи мира!

– Подите-ка сюда! – позвал меня Дали. – Я хочу показать вам своего Христа.

И увлек меня на узенькую тропинку, что вела куда-то за пределы патио. Только тут я смогла оценить огромные размеры их владений. Сад простирался до холма и спускался до самого моря. Мы миновали башню, потом голубятню и очутились перед неким сооружением, которое на первый взгляд показалось мне обычной кучей мусора: на территории в несколько квадратных метров были разбросаны старые автомобильные шины, куски дерева, кирпичи, ржавый железный лом.

"Я хочу показать вам своего Христа..."

– Какая красота, правда? – прошептал Дали.

В конце концов он снизошел до объяснений: всю эту груду он собрал специально для одного из эпизодов документального фильма, который снимал Жан-Кристоф Аверти, про жизнь Сальвадора Дали в Порт-Льигате. Дали забавлялся как сумасшедший: он дал волю своей безудержной фантазии, покрасил зеленой краской форель, прежде чем выбросить ее обратно в море, а на длинноногую чернокожую фотомодель Дониэль Луну надел пару крылышек и велел вставить золоченые контактные линзы, чтобы она в таком виде позировала на фоне скал мыса Креус. Изобретал он и другие эксцентричные фокусы. Гигантские яйца на крыше и фигуры из "Анжелюса" Милле тоже были придуманы для этого фильма. С вертолета планировалось снимать Христа, чей торс был сделан из каркаса старой рыбацкой лодки, а руки и ноги – из всякого хлама.

Издалека – например, с террасы гостиницы – груда мусора и вправду немного напоминала трагическую фигуру Христа, но вблизи понять замысел Дали было совершенно невозможно. Я обошла вокруг этого нелепого сооружения, потом забралась в лодку и села.

– Вот-вот! – окинув меня взглядом, восторженно воскликнул Дали. – Инстинктивно вы выбрали место в самом сердце моего Христа, вы истинная душа этого творения! Подите же сюда, позвольте мне вас расцеловать за то, что вы существо ангельской породы!

И он поцеловал меня в лоб так крепко, что на коже остались следы от его подкрашенных черной краской усов.

Отец – История искусства глазами Дали – "Paradise Now" – Возвращение в "swinging London" – Одни в Кадакесе

Как знать? А вдруг Дали нарочно изображает из себя сумасшедшего только для того, чтобы спастись от побивания камнями и не стать мучеником? Ведь чудаков-то не преследуют. И вот, вырядившись таким манером, он безнаказанно может изрекать истины, которые идут вразрез со всеми нашими устоявшимися представлениями и условностями.

Гийом Аното. *Из интервью, взятого им у Дали для журнала "Пари-матч". Опубликовано 19 октября 1968 г.*

Всю ту зиму, что я провела вдали от него, я размышляла о наших отношениях. Судя по всему, Дали был в меня влюблен. Или он притворялся, потому что я казалась умней других его придворных? А может, я просто вовремя подвернулась ему под руку, когда Гала, устав от светских развлечений, пожелала немного побыть в одиночестве и оставила его на мое попечение? Так чего же он ждал от меня? Само собой разумеется, я вовсе не строила планов выйти за него замуж, даже спать с ним не собиралась. Он отнюдь не осыпал меня подарками и денег не давал. Напротив, это я тратила свои, чтобы встретиться с ним. Стоил ли он того? Он был жесток с друзьями, со мной вел себя по-хозяйски. Он олицетворял многие вещи, которые были мне ненавистны: деньги, роскошь и главное – лицемерие. Я бы даже не сказала, что меня так уж притягивает его гениальность. Я в меру ценила его картины, да и то не все. Теории Дали часто представлялись мне не слишком-то стройными. По логике, у меня не было ни малейших причин искать с ним новых встреч. Если, конечно, исключить возможность, что я и сама в него влюбилась.

Он был несколько староват, чтобы заменить мне отца, которого я давно лишилась. Когда Дали был рядом, у меня появлялось ощущение, будто он имеет надо мной большую власть и дает чувство уверенности. Мне хотелось, чтобы он утешал меня, когда я попадаю в тяжелые ситуации. Мне хотелось, чтобы он занимался моим воспитанием. Он знал множество вещей, которые я мечтала узнать. Мало того, порой ему случалось предугадывать научные открытия – то есть он был чем-то вроде пророка от Науки. И еще он меня смешил. Я пришла из мира, где принято принимать самих себя всерьез, из города, где вела очень и очень скромную жизнь после романа, который скверно кончился. Дали был постоянным источником развлечений. Его комизм частенько оказывался непроизвольным, но именно этот комизм помог мне вновь обрести радость жизни. Может, и мне суждено научиться быть счастливой, хотя прежде я видела жизнь лишь в черном свете? Поди знай, а вдруг я перестану быть насупленным Моисеем, с которым сравнивает меня Дали?

В тот год снимался документальный фильм о его великих Тревогах. Он попросил всех друзей принять в нем участие — чтобы было побольше народу. Первый эпизод делали в музее Гюстава Моро. По этому поводу Дали собрал множество хиппи — косматых, размалеванных и разряженных кто во что горазд, а также своих придворных вроде Адвокатессы (которая, кстати, позже вышла замуж за какого-то посла) и князя Русполи. Мускулистый парнишка, раздевшись догола, изображал святого Себастьяна — очередного. Еще там были нимфы в венках, прибывшие накануне из Норвегии. Я надела фиолетовую юбку и такой же корсаж — этот цвет всегда был для меня вроде талисмана — и спускалась следом за Дали по винтовой лестнице. Перед камерой он принялся объяснять, что нынешняя молодежь олицетворяет возврат к визионерской живописи Моро и что мы рано или поздно вновь откроем для себя путь к искусству традиционному, банальному. Этому искусству Дали воздавал хвалы при каждом удобном случае. Самым ненавистным своим врагам — Сезанну и Мондриану — он противопоставлял монументальные фрески представителей традиционной школы — Месонье и Люмине[1], прежде всего полотно последнего "Взволнованные из Жюмьежа". Эта картина находилась в Руане, и мы отправились туда. Дали произнес просто блестящую речь про муки юношей, чей плот уносит течением. Они взволнованы только потому, что не хотят, чтобы истолковали превратно причину их крайнего возбуждения — "на пределе нервного срыва". Это не страх перед плаванием, как всегда полагала я, а нетерпение. Прежде я видела только репродукцию и теперь была поражена размерами картины.

Мы прекрасно позавтракали в гостинице "Жанна д'Арк" и в тот же вечер вернулись в Париж.

Последний эпизод фильма снимался в парижском Доме инвалидов, в большом Зале знамен, перед выставленным в застекленной витрине головным убором Наполеона. Я была одета во все белое и сопровождала Дали в его торжественной прогулке среди наполеоновских трофеев, пушек и знамен. Он снова рассуждал про Месонье и про его батальные полотна, про скульптуры Ришфе, про эпические фрески и про того волшебного архитектора, который так резко порвал с современным искусством и с "ошибками Мондриана, Джексона Поллока и даже Шагала".

Дали был блистателен, и я сказала ему об этом.

— Ах, какая жалость, что вас не было со мной в Сорбонне, когда я произнес там свою знаменитую речь! — воскликнул он. — Вот в тот день я был воистину неподражаем! Мне так аплодировали — оглохнуть можно. Я явился на "кадиллаке", наполненном цветной капустой, а когда наглядно показал им, что "Кружевница" Вермера состоит из носорожьих рогов, мне устроили настоящий триумф. Впрочем, я описал это в книге "Дневник одного гения", хотя, конечно, вы ее не читали. Надеюсь, вы хоть "Кружевницу"-то видели?

И тут он решил на следующий же день повести меня в Лувр. Предупредил, что позавтракает пораньше, и назначил встречу в полдень. Я явилась в гостиную "Мёриса" точно в назначенный час. Как и каждое утро, это было время деловых переговоров и контрактов. Капитан, который уже много лет занимался его делами, вел переговоры с издателями,

1. Эрнест Месонье (1815—1891) — французский художник; Эварист Виталь Люмине (1822—1896) — французский художник.

пришедшими, чтобы получить подписи под литографиями или предложить какие-нибудь новые сделки. Тут же находились месье Форе, маленький человечек, который работал с Дали над "Апокалипсисом" – самой толстой и тяжелой книгой в мире, и месье Ларжийе, владелец галереи, готовившей выставку "Хиппи Дали". А также красотка с шевелюрой огненного цвета, позволившей ей сменить фамилию Лансель на Л'Этенсель[1], которую заботили иллюстрации к книге Фрейда. Какой-то американец явился заказать серию гравюр. Все они спорили, торговались и уходили с подписанными бумагами под мышкой. Я спрашивала себя: какая толпа – эта или собирающаяся к чаю – больше действует мне на нервы? Утренняя по крайней мере имеет то преимущество, что помогает Дали зарабатывать деньги!

Капитан сказал мне, что Дали у себя и ждет меня. Но когда я вошла в комнату, он натягивал брюки и был без пиджака, так что я успела разглядеть его подтяжки. Доктор Рукот только что сделал ему очередную инъекцию гаммаглобулина. Я извинилась за вторжение, но Дали, схватив пиджак, уже выталкивал меня вон.

– Боже! Какой ужас! Там жуткий беспорядок! Вы не должны были этого видеть! Но самое страшное то, что вы увидели мое "домашнее лицо". Я вот никогда не видел вашего "домашнего лица", возможно, это бы все испортило. Впрочем, наверняка у вас и нет никакого "домашнего лица".

Для него быть застигнутым врасплох и в таком виде – непричесанным и в шлепанцах, не готовым к появлению на публике – означало серьезную неприятность. Все равно что женщине показать лицо без макияжа. "Домашнее лицо" символизировало для Дали то, что он больше всего ненавидел в буржуазии. Он чувствовал себя приниженным... Иначе говоря, мне ни в коем случае не следовало видеть его таким.

Может, у меня и вправду не было "домашнего лица", ведь у меня и дома-то не было. Я сказала Дали, что гостиница "Луизиана" наводит на меня тоску, и он пообещал приехать туда, но предупредил, что внутрь заходить не станет, потому что хочет по-прежнему ощущать некую "тайну". Он просто поглядит на улицу и фасад гостиницы.

Мы завтракали вдвоем "У Ласерра". Он до небес превозносил достоинства гаммаглобулина в борьбе против излишеств в еде, которые позволял себе в Париже. На самом деле к половине подаваемых блюд он не притрагивался, но при этом строго следил, чтобы я ела как следует, потому что у меня якобы снова бледный нос и круги под глазами. Он заказывал мне самые вкусные яства и советовал взять на десерт "королевского лебедя", потому что ему нравилось название.

Разглядывая за завтраком потолок, расписанный Мари Лорансен[2], он уже в который раз обратил мое внимание на то, как плохо и слащаво рисуют женщины. Добавлю кстати, что я уже давно перестала говорить с ним о своих занятиях живописью.

Сидевший каждый день за одним и тем же столиком Андре Мальро[3] поприветствовал нас, когда мы проходили мимо. С ним был Морис Шевалье[4], который элегантно поцеловал мне руку и сделал комплимент мо-

1. L'Étincelle – искра (*франц.*).
2. Мари Лорансен (1883–1956) – французская художница.
3. Андре Мальро (1901–1976) – французский писатель, сторонник де Голля, в 1959–1969 гг. был министром культуры Франции.
4. Морис Шевалье (1888 – 1972) – французский шансонье, снимался в кино.

ему туалету. Мальро процедил сквозь зубы, что было бы весьма мило, если бы Дали как-нибудь вечерком зашел поужинать к Луизе де Вильморен[1]. И пусть непременно приведет с собой меня. Узнав, что мы собираемся посетить Лувр, Мальро, прищурившись больше обычного, сказал:

– Вы должны непременно поделиться со мной своими впечатлениями!

Едва мы оказались в лифте, Дали отпустил по адресу Мальро пару очень нелестных замечаний. Он не мог ему простить историю с потолком Оперы, расписанным Шагалом.

Посещение Лувра началось неудачно. Нам пришлось немного постоять в очереди, и у Дали конфисковали трость – исключительно из опасения, как бы он, жестикулируя, не повредил какое-нибудь полотно. В результате он ругал большинство картин, которым, по его мнению, не место в этом музее. Потом одним презрительным жестом перечеркнул все египетское искусство.

– Обратите внимание на их торсы! Это дыхательный тип – прямая противоположность грекам, которые являются наивысшим воплощением типа пищеварительного. Прямо пловцы, да и только!

Он не пожелал останавливаться перед импрессионистами, которых терпеть не мог. Его пристрастия в ту пору ограничивались Рафаэлем, Веласкесом и Вермером. Он рассказал мне про "Кружевницу" и ее невидимую иглу, историю про копию картины, которую он сделал из носорожьих рогов, и про рекламное шоу, устроенное им в клетке Венсенского зоопарка, где он позировал перед фотокамерами вместе с настоящим носорогом.

– Гала утверждает, будто из любви к рекламным представлениям я кончу тем, что заставлю себя убить. Она всегда умирает от страха, когда я совершаю подобные глупости, желая привлечь к себе внимание.

Уже уходя, мы все же бросили взгляд на "Джоконду".

– Нет, вы только взгляните на эту ее двусмысленную ухмылочку! – негодовал Дали. – Она выглядит просто шлюхой, которая заманивает вас. Неудивительно, что какой-то тип, безумно влюбленный в свою мать, пытался убить ее, продырявив картину!

По правде говоря, я немного испугалась, как бы он сам этого не сделал, до такой степени он разгорячился. Когда мы вышли из Лувра, нас атаковала толпа молодежи, требовавшей автографы. Дали расписывался шариковой ручкой в диком раздражении – порой он даже протыкал насквозь листки бумаги, которые ему протягивали.

Он настоял на том, что должен довезти меня до гостиницы на своем "кадиллаке". А я всю дорогу в тревоге представляла, как стану вылезать из шикарного сверкающего лимузина на узенькой улочке, где живет полно студентов. Однако у Дали и в мыслях не было шокировать леваков, ему просто захотелось увидеть гостиницу "Луизиана", и он попросил шофера остановиться прямо перед входом. Понятно, "кадиллак" перегородил всю улицу Сены с ее односторонним движением. В тот день там как раз раскинулся рынок – было много торговцев овощами и зеленью, прилавков с фруктами и сырами. Прямо напротив гостиницы располагалась мясная лавка, где висели колбасы всех оттенков красного, чуть дальше –

1. Луиза де Вильморен – французская писательница, в те годы была спутницей жизни А. Мальро.

бакалейная лавка и булочная. Все уставились на Дали, а такси, вставшие за его автомобилем, не переставая гудели. Сам он поначалу даже рот раскрыл от изумления, но быстро вновь обрел дар речи.

— Но это же просто восхитительно! — в полном экстазе пролепетал он. — Тысяча и одна ночь... Настоящий персидский базар... Сокровища Аравии. Вы никогда не говорили мне, милая Аманда, что живете в таком уголке, в настоящем магометанском раю!

Тем временем затор делался все больше. Зеваки со смехом наблюдали за Дали, которому и в голову не приходило, что он кому-то мешает. Как же мне хотелось в тот миг надавать ему пощечин! А он пребывал в нирване. Толпа, фрукты, запахи — именно это он любил больше всего на свете, и все это здесь шевелилось, смешивалось, жило собственной жизнью. В конце концов он снова сел в "кадиллак", а я, умирая от смущения, нырнула к себе в гостиницу. Потом он рассказывал друзьям и знакомым, будто я живу в каком-то волшебном месте, и старался как можно чаще провожать меня до "Луизианы".

Благодаря этому обстоятельству, я приобрела немалую популярность среди торговцев квартала, а на управляющего гостиницей мои светские знакомства произвели такое впечатление, что мне даже предоставили кредит. Тем временем я подружилась с актерами "Living theatre" ("Живого театра"), которые жили в той же гостинице. Они показывали пьесу "Paradise now" ("Рай — сейчас") по всей Европе и вскоре собирались отправиться в Лондон. Некоторые участники труппы были весьма хороши собой, у всех — очень длинные волосы. Порой они выходили на сцену нагишом, — короче, воплощали в себе нонконформизм нашей молодежи. Их шеф Джулиан Бек, женатый на Джудит Малина, пригласил Дали посмотреть "Антигону". Моими друзьями стали Сэнди, Черный Руфус, итальянец Лео, невысокий блондинчик по имени Эшнатон...

Незадолго до моего отъезда Дали повел меня на открытие выставки, устроенной им в честь Месонье в гостиных первого этажа отеля "Мёрис". Так что достаточно было опуститься этажом ниже, чтобы смешаться с толпой расталкивающих друг друга локтями далинианцев и арткритиков. Дали задумал воздать должное не только Месонье, но и всей традиционной живописи — тому вышедшему из моды искусству, которое последними словами поносили искусствоведы и которому, желая их подразнить, он теперь воскурял фимиам. Он никогда не упускал случая похвалить Альма-Тадема и его античных нимф, Бугеро[1] (которого наконец-то, с опозданием в пятнадцать лет, признали, что снова доказало — и далеко не в первый раз — прозорливость Дали) и прочих художников "почтовых календарей". При виде колоритной толпы своих почитателей-хиппи он обратил мое внимание на то, что среди них нет ни одного в turtle-neck (свитера с высоким воротником типа водолазки), которые он ненавидел лютой ненавистью, считая символом леваков и псевдоинтеллектуалов.

По правде сказать, образ жизни, который я вела рядом с Дали, слишком уж отличался от того, к какому я привыкла. Роскошные завтраки, "замаскированные" фрукты, лимузин с шофером... Впрочем, мне и не следовало ко всему этому привыкать, ведь я собиралась вскоре вернуться в Лондон.

1. Лоуренс Альма-Тадема (1836—1912) — английский художник неоклассик, главной темой его творчества была античность; Бугеро (1825—1905) — французский художник.

И вот я снова в Лондоне. Движение хиппи развернулось в полную силу. У восточных философий никогда прежде не было столько адептов. Тимоти Лири[1] проповедовал ЛСД как средство постигнуть истину, по мнению других, те же самые результаты можно достичь при помощи медитации. Мне все уши прожужжали всякими инь и ян, макробиотическими диетами и мудрыми гуру. Каша в мозгах была полная. Я успевала лишь регистрировать в уме бесконечные новшества, не вникая в их суть. Мы собирались на Кингз-роуд, в кабачке под названием "Летучий дракон", на фасаде которого действительно был изображен огромный дракон. Город был наводнен туристами, которые приезжали посмотреть на "swinging London"[2] и на хиппи с Кингз-роуд. Хиппи были погружены в мистические искания или в изучение кельтского искусства. Они собирались в Гластонбери или в Стонхендже. Мои приятели не пренебрегали возможностью попозировать перед фотокамерами или подзаработать, участвуя в показах психоделической моды. Некий отпрыск лорда по имени Марк Палмер, которого я хорошо знала, даже открыл своеобразное "модельное агентство", специализирующееся именно на таком look[3]. Все юноши у него были смазливые, а девицы отличались мечтательным видом, как героини картин прерафаэлитов. Начинание имело шумный успех. Вскоре про нас стали делать репортажи, фотографировать для модных журналов, приглашать участвовать в показах моды, – разумеется, исключительно нонконформистской. Вот так и случилось, что "Дейли телеграф" пригласила меня позировать для фоторепортажа... из дома Дали. Дело в том, что мэтр любезно согласился принять фотографа и манекенщицу у себя в Кадакесе при условии, что этой манекенщицей будет Аманда Лир.

Так что в июне я вылетела в Жерону, откуда мы на автомобиле двинулись в Кадакес. Остановились мы в отеле "Порт-Льигат". Я была до глубины души растрогана, снова оказавшись в доме Дали и встретившись со слугами, которые хорошо меня помнили, а также с друзьями, которых я когда-то завела в поселке.

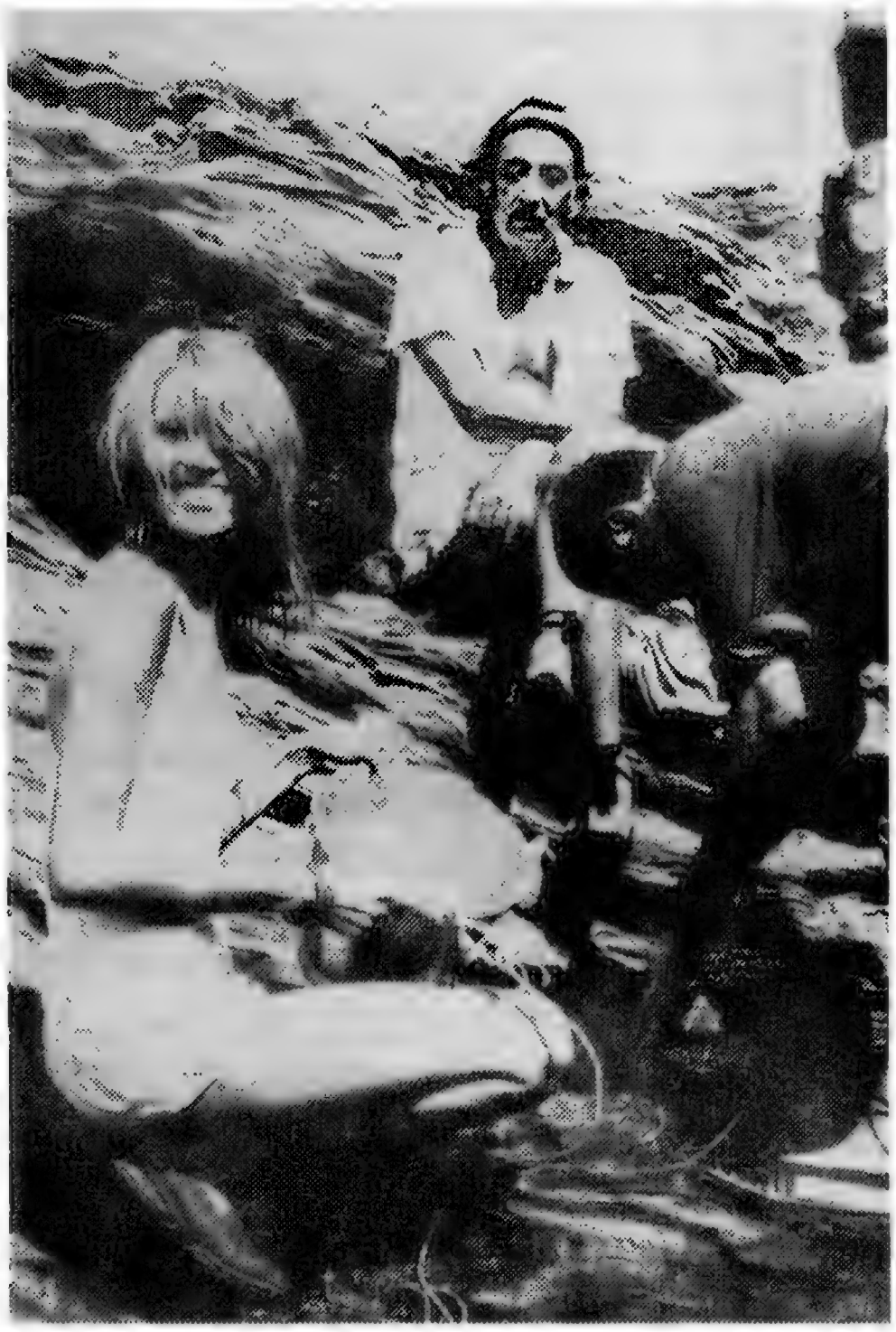
Несколько дней мы работали над фотографиями, которые Дали намеревался преобразить с помощью ретуши. Он не на шутку расстраивался, когда со мной в его присутствии обходились как с профессиональной натурщицей, и переживал, видя, что я послушно принимаю нужные позы по приказу бесчувственного и взыскательного фотографа. А ведь мне приходилось часами сидеть в воде у мыса Креус, изображая сирену. В результате репортаж, увидевший свет несколько месяцев спустя, получился не таким уж плохим.

Дали угостил шампанским улетавшего в Лондон фотографа. Он был в восторге, что я могу еще на несколько дней остаться с ним. В Порт-Льигате меня поселили в комнате Людовика XIV, – по сути, это был отдельный домик, расположенный в нижней части владений Дали. Завтрак мне приносили прямо туда, а потом я целый день проводила с Дали. Он продал Полю Рикару свою "Ловлю тунца" и приступил к новому полотну такого же размера – "Галлюцинации тореро". Этот тореро привиделся ему, когда он рассматривал одну из фотографий Венеры Милосской. Он соби-

1. Тимоти Лири (1920) – американский психолог, философ; скандальную славу в 60-е годы ему принесли эксперименты с наркотиками.
2. "Веселящийся Лондон" (*англ.*) – популярное в 60-е годы название города.
3. Зд.: направление (*англ.*).

рался нарисовать на картине множество мух, так что все это лето нам было суждено беседовать о мухах.

Поток отпускников еще не докатился до побережья, и однажды утром Дали пригласил меня совершить морскую прогулку на лодке Галы. Лодкой управлял Артуро, а мы вдвоем расположились, вернее развалились, на подушках. Мы плыли вдоль берега, и Дали называл мне по имени каждую скалу: La Farnera на выходе из Порт-Льигата, чуть подальше небольшие островки — La Blanca и La Rateta[1], очертаниями похожая на мышку, и наконец голубой грот, где можно искупаться, вода здесь была прохладной, словно в речке. Он объяснил мне геологию этих причудливых по форме скал, благодаря ему я увидела в них очертания Христа, головы всадников, обнаженных женщин, орла... Настоящее волшебство! Артуро обратил наше внимание на плывущего за лодкой дельфина. Дали признался, что очень любит этих умных мифологических животных. Под голубым небом, с непокрытой головой он казался мне таким красивым! Он зажмурился, подставляя загорелое лицо солнцу, морской ветерок растрепал ему волосы... Это уже не был играющий на публику фигляр, он не старался никого эпатировать, произвести впечатление. У него был счастливый вид, и он откровенно наслаждался падающим на него дождем из водяных брызг. Артуро бросил якорь в небольшой бухточке, и Дали скинул халат, намереваясь искупаться вместе со мной.



Аманда Лир и Дали в Кадакесе

— Не смотрите на меня, — попросил он. — Мне надо снять своих астронавтов!

Так он называл ортопедические пояса, которые вынужден был носить с тех пор, как у него нашли грыжу. Они состояли из хромированных пластин и напоминали доспехи или, как он говорил, костюм астронавтов. Я тоже разделась, оставшись в одних трусиках.

— Артуро вы можете не стесняться. Имейте в виду, он много чего повидал на своем веку, — бросил мне Дали. — Фредерика, та вообще купалась в чем мать родила.

Фредерика была молоденькой блондинкой, которая не одно лето провела в обществе Дали, пока не исчезла окончательно. Она вышла замуж и не пожелала больше видеться с Дали из страха, что он найдет ее подурневшей. Ведь даже Хинестры стареют — и это неотвратимо. Я бла-

1. Белая, Мышка (*каталанск.*).

женно погрузилась в прозрачную воду. Дали неподвижно лежал на спине. Виднелись только его усы, торчащие из воды и устремленные в небо. Я плавала под водой, резвилась, словно дельфин. Артуро отправился за морскими ежами. Я уцепилась за скалу и начала карабкаться вверх.

– Осторожно! Смотрите не поцарапайтесь! Камни могут порезать не хуже бритвы!

Он присматривал за мной, точно заботливый дедушка. В тот миг я не делила его ни с кем. Все внимание Дали принадлежало мне одной, и он не сводил с меня глаз.

– Я вижу, вы что-то там отыскали, – нараспев проговорил он. – Что это?

– Ракушка, их здесь полно.

– Берегитесь морских ежей, они ужасно колючие!

Я растянулась на уступе скалы. Было восхитительно чувствовать, как жаркое солнце высушивает влажную кожу, через все поры проникая внутрь. Как далек был Лондон! В те секунды для меня не существовало больше ничего, кроме мерного постукивания волн о борт лодки, пролетевшей мимо чайки и устремленного ко мне взгляда Дали.

Тут и Артуро вернулся с полным ведром черных блестящих морских ежей.

– В полдень мы устроим пир! – предвкушал Дали. – Морские ежи с хлебом и сливочным маслом – это завтрак, достойный олимпийских богов!

Я снова нырнула, а потом он помог мне вскарабкаться в лодку. Когда я выпрямилась, стараясь сохранить равновесие, он взял меня за руку, крепко сжал ее и, глядя мне прямо в глаза, прошептал:

– Я люблю вас!

Гала поручает мне Дали – Ле Аннетон – Пруст – Барселона

Дали с Галой успели убраться из Парижа до майских событий 1968 года. Он прихватил с собой чемоданчик с трагедией, над которой неустанно работал в последнее время, приковав его цепочкой себе к запястью. Новенький темно-синий, цвета ночи "кадиллак", купленный в Нью-Йорке, домчал их до Авиньона, где в тот год, учитывая сложившиеся обстоятельства, они не стали задерживаться. Торопясь поскорей добраться до Испании, они не останавливались по пути даже в излюбленных своих "гастрономических" местах – ни у "Мамаши Пи" в Лионе, ни в "Пирамиде", ни в "Солье", нигде. В Авиньоне одна моя старая подружка, Режина де Шивре, поинтересовалась у него, где я и как у меня дела. Он ответил, что я только что уехала из Парижа в Лондон и что дела у меня лучше не бывает. Она может не волноваться, он лично заботится о моей безопасности. На самом деле единственное, что он сделал, это попросил молодого спортсмена по имени Арно де Росне, заглянувшего к нему на чай, отвезти меня на автомобиле в Лондон. Тот придумывал разные отговорки, лишь бы не выполнять обещание, и в конце концов я просто приехала на площадь Республики, где села на автобус, направлявшийся в какой-то аэропорт к северу от Парижа, в надежде достать билет на самолет и

улететь в Англию. Это оказалось отнюдь не так легко, и я на все лады проклинала Дали. Если бы не он, я бы преспокойно оставалась дома, а не шаталась по Парижу в мае 1968-го. Дали и в голову не пришло посадить меня к себе в автомобиль и увезти подальше от французской столицы. Вместо этого он цинично заметил:

— Ведь кому-кому, а уж вам-то, милочка, этих студентов бояться нечего! Вы среди них вроде как своя. Но если случится, что вас арестуют, не забудьте сказать, что вы знакомы с Мальро!

В Лондоне я увиделась с Брайаном Джонсом, ужинала с ним и с сыном Балтуса[1], Станисласом Клоссовским по прозвищу Сташ, а также с Полем Гетти-младшим, чья молодоя жена Талита была беременна. Своего сына они назвали Тарой, в память о моем покойном друге.

Тем временем "Живой театр" уже прибыл в Авиньон. Я встретилась с ними несколько недель спустя, когда в Париже улеглись страсти и обстановка стала поспокойней. Труппа расположилась в заброшенном школьном здании в самом центре города. Я была рада вновь увидеться с Сэнди, Голландцем, Эшнатоном и остальными актерами. Они занимались йогой, медитациями и практиковали очистительные омовения, куда входил и странный ритуал очищения носовых протоков с помощью скрученного жгутом платка! Я наблюдала, как исполнял упражнение чернокожий актер Руфус, и на меня это произвело отталкивающее, даже болезненное впечатление.

Надо заметить, все было далеко от совершенства в их сообществе, якобы построенном на любви и терпимости. Одну девушку обокрали; другая, с макияжем в бледных тонах и с подведенными черным карандашом глазами, была, на мой взгляд, весьма предприимчивой лесбиянкой и донимала меня своими ухаживаниями. Вдобавок среди них началась эпидемия чесотки — всем пришлось пройти дезинфекцию, а некоторых даже побрили наголо. К тому же они не поладили не только с местной полицией, но и с организаторами фестиваля. Паразиты и жандармы заметно охладили мои дружеские чувства. Моя подружка Режина приютила меня у себя. Я по-прежнему держала зло на Дали и поэтому послала ему почтовую открытку, на которой написала только три слова: "Miam Miam Figuas!", что означало примерно следующее: "Досада, раж, ем фураж!" Устав от Авиньонского фестиваля со всеми его неприятностями, я вскоре отправилась в Перпиньян, чтобы отдохнуть и поправить здоровье в тихом домике у своих друзей. Узнав об этом, Дали пришел в восторг и спросил меня по телефону:

— Вы уже видели Канигу[2]? А Баниуль? Я ведь отлично знаю эти места. Был в Праде[3], видел Пабло Казальса[4], там есть потрясающая платановая аллея. Это все еще Каталония. А Сере[5], этот вишневый край? Я ведь уже рассказывал вам, как рисовал вишни. Постарайтесь приехать поскорей. Гала к празднику Mare de Deu[6] собирается в паломничество в Сантьяго-де-Компостела. Мы с вами восхитительно проведем лето!

1. Балтус (наст. имя и фамилия Балтазар Клоссовский; 1908–2001) — французский художник; см. о нем: А. Мокроусов "Музыка молчания, или Время зеркал" ("ИЛ", 1999, № 12).
2. Канигу — гора в Восточных Пиренеях.
3. Баниуль, Прад — небольшие города в Восточных Пиренеях.
4. Пабло Казальс (1876–1973) — испанский виолончелист, композитор, дирижер, с 1939-го по 1956 г. жил во Франции, в Праде.
5. Сере — небольшой город в Восточных Пиренеях.
6. Mare de Deu (*каталанск.*) — Успение, 15 августа.

Он попросил меня приехать хотя бы за пару дней до отъезда Галы, чтобы не создалось впечатления, будто мы с ним встретились в Кадакесе тайком от нее. Он хотел, чтобы отношения в нашем трио оставались ясными и гармоничными. Тем более что на сей раз инициатива пригласить меня – чтобы я составила компанию Дали – исходила от Галы. И на сей раз мне даже предложили пожить в их владениях. Людовик XIV, возможно, присоединится к нам по возвращении из Соединенных Штатов, куда она отправилась выдавать замуж дочку по прозвищу Дельфин.

По дороге в Кадакес я перебирала в памяти историю с вишнями. В юности Дали как-то заперся на мельнице в Фигерасе, чтобы научиться рисовать вишни. Вскоре он обнаружил, что для каждой вишенки ему требуется три краски: красная, карминная для темной части плода и, наконец, белая, чтобы передать блики. Если он работал достаточно быстро, ему удавалось накладывать каждую краску за то время, пока мельничное колесо делало очередной поворот: "ток" – красная, "ток" – карминная, "ток" – белая. Он начинал новую вишенку, подлаживаясь под эти "ток-ток-ток", и в результате написал их несколько десятков.

С тех пор вишни всегда напоминали ему про мельницу и еще про любовную историю, которая случилась у него на той же самой мельнице с девушкой из соседней деревушки. Так вишни стали частью далинианской мифологии. Окрестности Фигераса были наполнены детскими воспоминаниями Дали, он пытался оживить их, передавая мне. Водопад, куда он отправлялся, захватив с собой хлеба и шоколад, маленькое озеро Вилабертан, которое он всегда считал "невероятно романтичным", Старая башня, которая была местом его эротических мечтаний... А еще крепость, где он служил солдатом, и тюрьма, где он провел некоторое время за решеткой. Его воспоминания в какой-то мере стали моими, и, проезжая через Ампурдан, я неотрывно думала о нем. Только как следует узнав эти места и то, что́ ему пришлось здесь пережить, а также людей, которые его окружали, и книги, которые он читал, можно было понять его поступки.

Дорога, извиваясь, поднималась в горы. На обочинах я увидела огромные написанные на скалах белой краской слова – приглашение посетить "Night Club Picasso" или дискотеку "Rach'Dingue". Совсем еще ребенком Дали, отправляясь со своей сестрой на двухколесной тележке на каникулы, с замиранием сердца поджидал, когда наконец появятся первые скалы Кадакеса. Он всегда первым видел маленький островок в форме колпачка посреди залива. Тогда он радостно кричал: "Кукурукум!", и у меня тоже едва не сорвалось с уст то же восклицание, так я была рада вновь увидеть Кадакес.

Гала уехала на другой день в сопровождении нового Единорога, молодого студента, прибывшего из Экс-ан-Прованса. Она была со мной чрезвычайно любезна и поручила хорошенько заботиться о Дали. Хотя ее не на шутку встревожили слухи об эпидемии чесотки в Авиньоне:

– Надеюсь, вы уверены, что не заразились? Не хватало только занести к нам сюда эту гадость!

Услышав наш разговор, Дали едва не попятился назад: его приводил в ужас даже намек на какую-нибудь заразу.

– Да не бойтесь вы, – успокоила я его. – Впрочем, насколько я знаю, у вас тут есть все необходимое, чтобы защититься от любых микробов.

В прошлом году мне понадобилось обработать царапину, которую я получила, карабкаясь по скале, и служанка открыла передо мной аптечный шкафчик.

– Думаю, тем, что здесь имеется, можно вылечить все на свете, – заметила она, – кроме разве что аппендицита. А пожалуй, даже аппендицит! Сеньора обновляет запасы лекарств всякий раз, когда бывает в Нью-Йорке.

Гала обладала качествами предусмотрительного, организованного муравья, что весьма устраивало Дали, который был большим путаником и страшно непрактичным.

– Здесь поблизости есть прекрасный врач, доктор Вергара, – добавила Гала. – И потом, вы ведь и сами сможете хоть отчасти исполнять обязанности медсестры, вы же не безрукая!

Когда я уходила после ужина, она обняла меня и поблагодарила за то, что я согласилась приехать.

Начиная со следующего дня Дали стал применять новую тактику обольщения. Каждое утро на подносе с завтраком я находила записочку или какой-нибудь загадочный знак. Так, Роса, которой надо было лишь миновать лодку с кипарисом, чтобы попасть в мое пристанище, однажды в десять утра принесла фотографию огромной мухи, на спине которой было тщательно заглавными буквами выведено: "Севодня Аннетон"[1]. То, что Дали неправильно написал слово "сегодня", ничуть меня не удивило, его орфография всегда была ужасающей. Но что мог означать этот "Аннетон"?..

Прежде чем отправиться к нему, я немного поболтала с Бабиано, румынским скульптором, который жил по соседству. Рыбаки поздоровались со мной, показали только что выловленных осьминогов и спросили, люблю ли я их. Чтобы не тревожить Росу звонками у парадного входа, я теперь, как прислуга и Капитан, проходила в дом через кухню. Пакита, кухарка, как раз готовила макароны. Когда я, здороваясь, обняла ее, она проговорила:

– Сеньора, уезжая, велела мне готовить то, что вам нравится. Я знаю, вы любите запеканку из макарон, да? А на десерт я сделаю *planchadas*[2].

Я и вправду обожала этот каталонский ванильный крем, который прижигали сверху чем-то вроде железного утюга, чтобы сверху образовался слой карамельной глазури.

Дали был у себя в мастерской вместе с Беа и Капитаном.

– Они много чего обещают, но никогда не держат слово, – говорил Капитан. – Я имею в виду обложку журнала "Пари-матч", они делают ее не такой, как мы договорились.

– Вы получили мое послание? – поспешил ко мне Дали.

Я призналась, что не понимаю, что он хотел сказать. Может, намекал на мух из "Галлюцинации тореро"?

– Нет-нет, дорогая, ничего подобного.

Он увлек меня за собой в патио, и лишь когда мы с ним уселись на солнце в креслах с каннелюрами, пояснил:

– "Пари-матч"! Сегодня вечером мы ужинаем с Аннетоном из "Пари-матч".

Речь шла о журналисте Гийоме Аното. Желая поразить его, Дали задумал следующее: в пять часов, сразу после сиесты, я начну читать ему вслух "Сто двадцать дней Содома" маркиза де Сада...

1. От hanneton (*франц.*) – майский жук.
2. От planchar (*исп.*) – гладить, утюжить.

Вид у Дали был весьма довольный. Гала позвонила ему из Барселоны, сказала, что любит его сильней, чем когда-либо прежде, и еще он узнал, что Рейнолдс Морз, которому уже принадлежала очень большая коллекция его картин, изъявил желание приобрести "Галлюцинацию тореро". Дали наблюдал, как я двигаюсь по патио под лучами солнца. Я нарвала букет жасмина, сорвала одну, еще зеленую, оливу, наклонилась, чтобы поправить завязки на эспадрильях.

– Что это там у вас в волосах? – спросил он вдруг. – Один волосок сверкает словно золотой!

Это была золоченая ниточка от коробки из-под торта, которую я вплела в прядку, как средневековая принцесса.

– Ну-ка, дайте ее мне! Эта золотая ниточка в ваших белокурых волосах делает меня по-настоящему счастливым! Вы даже представить себе не можете, какое это для меня наслаждение!

Я вытащила из волос золотую ниточку и протянула ему.

– Ах, благодарю вас, спасибо вам бесконечное! – нежно прижимая ниточку к губам, проговорил он. – Я повешу ее на абажур своего ночничка!

Сколько уже раз я была свидетельницей проявлений его фетишизма: он бережно хранил одну из моих старых соломенных шляп и разрисованные сапоги, которые я больше не носила. Чтобы не остаться в долгу, я попросила его подарить мне свою старую ковбойскую рубашку. Он отдал мне ее со словами:

– Учтите, эта вещь дорогого стоит! В ней я писал лучшие свои полотна. Это коллекционная штучка!

В тот день после полудня Дали пригласил меня войти в круглую комнату Галы. Я на пару минут замешкалась в гардеробной, где дверцы шкафов были увешаны фотографиями мировых знаменитостей: герцога Виндзорского, несравненной Каллас, братьев Маркс, Коко Шанель, Бунюэля... Была там и фотография, которую Ман Рэй[1] сделал для обложки журнала "Таймс" (Дали произносил "Тиме", делая ударение на последнем "е"), и знаменитая фотография Филиппа Хальсмана: струя воды бьет вверх и затем падает на кошек – и на Дали тоже. На некоторых снимках можно было узнать молодого Артуро и Хуана, мальчишку, который какое-то время жил вместе с ними, но потом женился и теперь обитал отдельно.

Гийом Аното ждал нас в круглой комнате, которая казалась куда просторней, чем была на самом деле. Окрашенная в светлые тона, она производила впечатление башни с куполом – стены ее, плавно изгибаясь, переходили в потолок. Мягкий желтый диванчик служил центром, и соперничать с ним мог только камин с двумя слоновьими бивнями по бокам. Одно напротив другого располагались два окна с подоконниками, заставленными маленькими русскими шкатулочками и всякими другими предметами, – там, например, красовался хрустальный канделябр. Повсюду были разбросаны разноцветные подушечки, а в середине комнаты лежал красивый ковер. В небольших стенных нишах помещались статуэтки, а также освещенный сзади хрустальный бюст римского императора. Увидела я и плюшевых зверьков Галы: собачек, которые,

1. Ман Рэй (наст. имя и фамилия Эммануэль Реденски; 1890–1976) – американский художник, фотограф; приехав в 1921 г. в Париж, примыкает к группе дадаистов, позднее участвует во всех сюрреалистических выставках.

если их тронуть, виляют хвостиками, обезьянок, бьющих в барабаны, белых овечек.

Дали принес увесистый том произведений де Сада, и я, смиренно усевшись, принялась за чтение — этакая примерная девочка в скромном платье в цветочек, воплощение целомудрия. Я прочитала самые кошмарные сцены из "Ста двадцати дней Содома" ровным и бесстрастным тоном, изо всех сил стараясь придать голосу наинежнейшее звучание, особенно в тех местах, где описываются чудовищные пытки. Мне приходилось делать над собой неимоверные усилия, дабы совладать с чувствами, охватывавшими меня от этих гнусных мерзостей, ведь я никогда не читала ничего подобного прежде и испытывала самый настоящий ужас.

У Гийома Аното был вид человека, пораженного до глубины души, а Дали откровенно наслаждался моим смущением и гордился своей выдумкой. Наконец он остановил меня и обратился к собеседнику:

— А она прелестно читает, не так ли?

Аното нервно откашлялся, прежде чем кивнуть, а Дали перешел к другим темам, ни разу более не упомянув про маркиза де Сада. Несомненно, журналист должен был задаться вопросом, как оказалась в покоях Галы некая персона, которая читает Божественного Маркиза так, будто декламирует нравоучительные сочинения графини де Сегюр[1]. Ужин, как и полагалось, включал лангуста в шоколаде и розовое шампанское. После ужина Дали предложил посмотреть в библиотеке кино. Артуро запустил видавший виды кинопроектор. Экран сильно пожелтел от времени. Это были фильмы с участием старых комиков: Чарли Чаплина, Гарольда Ллойда, Гарри Лангдона — любимцев Дали. Он показал старые ролики с новостями и изрядно заезженную копию "Андалузского пса". Дали комментировал фильмы, рассказывал Гийому Аното связанные с ними забавные истории.

Когда Артуро вновь зажег свет, они заметили, что я сплю непробудным сном, свернувшись калачиком на небольшом белом диване с веткой туберозы на груди.

— Нет, как хотите, но это ни в какие ворота не лезет! Ну и молодежь нынче пошла! — возмущенно воскликнул Аното. — Такое счастье — общаться с гением, внимать его речам — выпадает раз в жизни! А она взяла и заснула!

— Да, тут уж ничего не поделаешь! — с усмешкой парировал Дали. — И самое печальное, что она конечно же с удовольствием прочтет о сегодняшнем вечере в вашем журнале "Пари-матч"...

Который, заметим по ходу дела, так и не вышел в свет с обещанной обложкой.

Дали отвел меня купаться в дальний уголок парка, на крошечный, принадлежащий ему пляж, которого я еще не знала. Чтобы добраться до него, надо было пройти мимо старого кипариса — он рос в той части спускающегося вниз террасами сада, который стал их первым роскошным приобретением, когда они купили дом у Лидии. Самая верхняя терраса нависала над морем, там тянулась к небу белая голубятня. Внизу росли оливы. Через увитые плющом стены иногда можно было разглядеть

1. Софья Федоровна де Сегюр (1799—1874) — французская детская писательница, дочь графа Ф. В. Ростопчина.

древнеримские бюсты. Ни дать ни взять сад из фильма Кокто "Красавица и чудовище". Позже они с Галой прикупили всю землю вокруг сада, включая и маленький пляж. Гала велела зацементировать дорожку, идущую вдоль морского берега и обсаженную гранатовыми деревьями и розовым лавром. Дорожку побелили, по ней можно было прогуливаться вечерами, посидев немного на старой скамье у края сада.

Перед старым-престарым каменным домиком, над дверью которого красовался потускневший от дождей слоновый череп, Дали с обычной для него высокопарностью изрек:

— Вот здесь, на этом самом месте пописала Анита Экберг[1]!

Сей исторический факт не помешал мне заглянуть внутрь домика: я увидела пресс для оливок, какой-то мусор, следы костра. Тут еще недавно ночевали хиппи, пока Артуро их не разогнал.

Море в этом месте было мелким, и, чтобы поплавать, требовалось отойти подальше от берега, но там плавать мешали водоросли, так что мы с удовольствием барахтались на мели, освежаясь перед обедом. Выходя из воды, Дали сказал: "Пойдет дождь", — хотя небо сияло голубизной.

— Видите те облачка вон там, наверху, похожие на башенки? Так вот, они предвещают, что нынче после полудня будет дождь. Весьма сожалею!

Он умел читать по небу, как заправский рыбак, предсказывать погоду по форме облаков и следить за полетом ласточек, угадывая, пойдет дождь или нет. И правда, под конец обеда начало накрапывать.

Пока у Дали была сиеста, я устроилась в библиотеке. Белые занавески, темная мебель, купленная Галой в Олоте, сухие желтые цветы на шкафу — все делало эту комнату идеальным местом для размышлений. Я принялась рыться в книгах, аккуратно переплетенных и выстроенных на полках строгими рядами. Там были толстые подшивки "L'Illustración catalana", изданные в начале века с прелестными гравюрами, которые я с удовольствием рассматривала. Энциклопедия "Эспаса" показалась мне куда лучше "Ларусса". А дождик все шел и шел. Через окно я видела лодки, которые раскачивались на волнах; бухта Порт-Льигат теперь сделалась серой, а омытые дождем плитки патио блестели, словно зеркальные.

После сиесты Дали пришел ко мне в библиотеку.

— А знаете, вы мне снились, — сообщил он. — Вы были совсем-совсем крошечная, вся такая нарядная и сверкали, будто золотая. Это, конечно, из-за той золотой ниточки, которую я созерцал, прежде чем заснуть. Итак, что же вы здесь раскопали?

Я показала ему тома "L'Illustración catalana".

— Вы просто прелесть! — воскликнул он. — Умудриться отыскать самые дивные книги моего детства! Вот уже больше пятидесяти лет я не видел этих гравюр, а вы, словно сказочная фея, взяли да и вытащили нужную книгу! Спасибо вам, теперь я буду весь вечер чувствовать себя Прустом. Вы ведь, надеюсь, читали Пруста?

Нет, не читала. Хотя и заметила полное собрание его сочинений на одной из полок.

— Что ж, сегодня идеальный день, чтобы открыть для себя Пруста, — решил он. — Дождь будет лить весь вечер. Пойдемте-ка в мастерскую, и почитайте мне вслух, как это каждый день делала Гала.

Итак, устроившись в кресле, покрытом белым чехлом, я принялась читать "Под сенью девушек в цвету". Дали сперва рассматривал полот-

1. Анита Экберг (р. 1931) — американская актриса.

но, выбирал кисти, потом нацепил на нос очки и уселся на деревянный стул. Он работал над частью скалы, подсвечивая ее пастельными тонами, дабы избежать отсветов от окружавшей скалу воды. Переворачивая страницу, я незаметно глянула в его сторону, он делал мазок, пятился назад, стараясь оценить результат, потом добавлял еще чуть-чуть краски. Я находила его безнадежно медлительным.

Беа суетился в мастерской, чистил кисти, подавал по первому требованию Дали льняное масло или чистую тряпку. Я не знала, слушает Дали то, что я читаю, или ему просто-напросто нужен какой-то звуковой фон.

— Вы не слишком утомились, детка? — прозвучал на всю мастерскую его голос. — Вы уж скажите, когда устанете. Я велю подать чаю.

В тот день служанка принесла нам две чашки горячего шоколада и печенье. Дали указал мне пальцем на мою открытку из Авиньона, которая была приколота на стене подле полотна, там угольным карандашом прописными буквами он нацарапал: "АМАНДА — ЛОНДОН 352 01 65". Это был номер моего телефона.

— Признайтесь, вам ведь куда приятней проводить время со мной, чем с этими вашими друзьями из "Живого театра"?

А поскольку я не сразу ответила, он принялся вытягивать из меня признание:

— Ну скажите же правду Арабу. Будьте откровенны! Ведь там вам наверняка не подавали шоколад в час five o'clock tea, а? Здесь вы у себя дома. Это Гала так сказала! — Потом он растроганно взглянул в мою сторону. — Подумать только, благодаря вам я вновь обрел "Illustración" — журнал моего детства! Я должен поблагодарить вас за это.

И поцеловал меня в лоб. Потом я продолжила чтение, а он снова взялся за кисть и кончил работать лишь где-то к половине восьмого. Потоки воды заливали патио и неслись по лестничным ступенькам. Ужинали мы в зимней столовой с большим камином. Дали поведал мне, что в "героическую эпоху" эта комната служила им и гостиной, и мастерской, и спальней.

— А в центре комнаты был подвешен мой молочный зуб, на манер яйца Пьеро делла Франчески, этот зуб я сломал в порыве гнева. Я повесил его там нарочно, чтобы не причинять более огорчений Гале, чтобы он напоминал мне о допущенном безобразии всякий раз, как только я на него гляну.

У Дали очень долго сохранялись молочные зубы, да и вообще всегда были проблемы с зубами. Теперь своих у него больше не оставалось, все вставные — творение знаменитейших нью-йоркских дантистов.

За ужином он рассказывал мне о трудных временах, когда они только начали вить здесь гнездо. Отец считал его сумасшедшим и был уверен, что он кончит "завшивевшим в подворотне". Галу называл русской шпионкой, которая вертит как хочет "этим беднягой Дали". Когда они вернулись из Нью-Йорка с "кадиллаком", все кому не лень принялись чесать языки. Не иначе как наркотиками торгует, ведь не мазней же своей смог он заработать на этакую гангстерскую тачку! Каталонцы злоязычны и ничего не прощают. Он рассказывал мне про Галу, такую нежную, такую терпеливую... Однажды, когда они вдвоем прогуливались среди сосен по берегу — с той стороны кадакесской бухты, Гала бросилась к его ногам и на коленях умоляла: "Поклянись, что убьешь меня!" Гала ненавидела свою жизнь, она часто думала о самоубийстве и даже мечтала закончить дни в монастыре — такой ужас внушал ей род человеческий и царящее вокруг варварство. Дали дал клятву, что поможет ей умереть, когда

она того пожелает, и сегодня в тайнике в стене по-прежнему хранится смертельный яд.

– Кстати, он вон там, как раз у вас за спиной.

Мне с трудом верилось в эти истории, и я постучала по гладкой стене в том месте, куда он мне указал. Звук был такой, будто там и вправду пустота. Дали добавил, что яд хранится очень давно и, может, уже утратил силу, но спрятан он именно там, за портретом Хосе Антонио[1]. Гроза тем временем продолжала бушевать, только что отключилось электричество, и мы сидели при свете свечи, отчего комната внезапно показалась мне мрачной, похожей на склеп. В вестибюле Дали, уже прощаясь, кивнул на репродукцию "Грозы" Джорджоне.

– Это самое загадочное из творений Джорджоне. Вы заметили, как женщина глядит на солдата?

Роса проводила меня до самой гостиницы. Мы вдвоем укрылись под одним огромным зонтом, и нам пришлось перепрыгивать через бурные потоки, которые бежали с холма, торопясь соединиться с морем.

Дождь лил много дней, и я без жалоб, мужественно проглотила несколько томов Пруста. Дали похвалил меня за терпение. Гала звонила каждый день, и Дали пересказывал мне подробности ее странствий. Мы жили в самой нежнейшей гармонии, и я не понимала, как он мог в то же самое время говорить вещи, которые приводили меня в бешенство. Возьмем, к примеру, его расизм, его полнейшее презрение ко всем тем расам, которые он считал "низшими". Хотя не исключено, что он просто забавлялся таким образом, стараясь меня шокировать. Он от души хохотал, рассказывая, как мальчишкой видел в одной парикмахерской Фигераса объявление: "Здесь продаются парики из человеческих и китайских волос". А в какой-то газете рубежа веков он нашел такие строки: "Сегодня сильный шторм. Дабы облегчить судно, нам пришлось выбросить в море несколько ящиков с апельсинами и пару-тройку китайцев".

Его отношение к некоторым животным было ничем не лучше. Он с наслаждением рассказывал мне, как делал "ходячую мебель": сажал внутрь животных, так что были видны только лапы, и получалось, будто мебель ходит сама по себе! Не меньшее удовольствие доставляло ему использование живого розового фламинго в качестве держателя для лампы в гостиной или черепахи в качестве подставки для пепельницы. Я приручила маленького белого котенка, который каждый день, когда мы садились за стол, являлся за едой. Он просовывал в дверь столовой свою мордочку, потом принимался тереться о мои ноги. Дали находил его отвратительным и предостерегал:

– Послушайте, если вы привадите сюда всех этих *gatitos bonitos*[2], вам от них никогда не избавиться. Начнется настоящее нашествие. Гала рассердится.

И ну рассказывать о том, как принято здесь избавляться от котят, когда их становится чересчур много, – им попросту разбивают головы о стену...

– Артуро прямо ас по этой части. Хватает *gatito* за шкирку и – трах-х-х! – со всей силы швыряет об стену. Единственный эффективный способ!

1. Имеется в виду Хосе Антонио Примо де Ривера (1903–1936) – основатель Испанской фаланги (1933); расстрелян по приговору республиканского суда за террористическую деятельность и подготовку мятежа.
2. Милые котята (*исп.*).

Между тем снова показалось солнце, и мы, усевшись в патио, с наслаждением потягивали чай с медом и, закрыв глаза, слушали "Времена года" Вивальди, ведь теперь я присвоила себе право выбирать пластинки.

Но тут он вдруг снова вернулся к вопросу о животных. Нам надо было посетить барселонский зоопарк, навестить слоненка, которого Дали подарили три года назад. Надо сказать, появление слоненка — в сопровождении погонщика и под звуки фанфар — немало повеселило весь Порт-Льигат. Однако слоненку не понравилось жить в саду, и пришлось отдать его в зоопарк. Я подумала про себя, что там ему безусловно жилось лучше, чем у Дали, который вряд ли смог бы побороть искушение помучить беднягу.

Послезавтра должна была вернуться Гала, и мы отправились в путь, чтобы встретить ее в Барселоне. На подъезде к городу Дали заинтересовался рекламными плакатами, которые, по его словам, информировали его о температуре в городе. Афиши коррид, "Holiday on Ice", "El Corte Inglés" (универсальный магазин типа парижских "Galeries Lafayette", который явно не экономил на рекламе), затем плакат с рекламой носков.

— Это очень хороший знак, — заметил Дали. — Согласно моему параноидально-критическому методу, которому я однажды обучу и вас, носки — очень хороший знак. Впрочем, вам ведь известно, что именно в носке я храню свою священную деревяшку.

Мы проехали мимо собора Саграда Фамилия, незаконченного творения Гауди. Наш автомобиль остановился в пробке, и Дали снова заговорил:

— Только гляньте, как все они спешат, эти каталонцы! Вечно суетятся, вечно в погоне за *pesetas*, за денежками. Они потомки финикийцев, которые обосновались здесь, чтобы заняться торговлей. Обожаю атмосферу этой копошащейся, предприимчивой толпы.

Добравшись до отеля, мы нашли там многих наших друзей: Рикардо Бофиса, архитектора, который проектировал пирамиду для пограничного поста между Испанией и Францией; Корберо, скульптора, работающего со сталью (его жена, кстати, частенько заглядывала ко мне в Лондоне); Вертолета, который получил это прозвище, поскольку возглавлял контору по найму вертолетов. Среди прочих крутились и манекенщицы, на всякий случай присланные местным агентством.

Дали редко раскрывал чемодан, старательно уложенный для него Росой. В чемодане всегда имелось достаточное количество рубашек, носков и несколько смен нижнего белья. Однако Дали был слишком ленив, чтобы распаковывать вещи по прибытии, и по нескольку дней не переодевался.

Ужинали мы в "Виа Венето" — я в конце концов смирилась с чудовищным конфетно-розовым оформлением этого ресторана, — потом Корберо повез нас на Рамблас — квартал с пользующимися дурной репутацией улочками и кабачками, где обычно гуляли матросы. Нам был заказан столик в клубе под названием "Ночная Барселона", замызганном заведении с показывающими стриптиз травести. Дали был их идолом, и они почли за высочайшую честь то, что он собственной персоной присутствует на спектакле. Разумеется, они из кожи вон лезли, чтобы произвести на него впечатление. Порой они выглядели откровенно комично: наклеенные ресницы, гордо выставленные напоказ крошечные грудки... Потом они подсели за наш столик и принялись пылко благодарить Дали

за то, что он дал им возможность насладиться его обществом. Заинтригованные моим присутствием, они спросили у него:

– ¿Quién es la chica tan guapa?[1]

– Ангел, – ответил Дали.

Они окинули меня подозрительным взглядом: до них уже долетели слухи, что Дали повсюду показывается с потрясающей девушкой, которую представляет как юношу и которую молва называет прекраснейшей на свете травести.

– Es un travestito también? – поинтересовались они.

– No, es una chica[2], – ответил Дали.

Если они и поверили, то лишь наполовину, и с тех пор по миру пошли сплетни насчет моего пола – легенды, которые теперь меня даже забавляют.

На следующее утро Дали позвонил мне из своей комнаты, чтобы объявить программу на день:

– Я поведу вас в зоопарк и покажу самую красивую на свете Снежинку. Главное, не влюбитесь в нее, иначе вы пропали!

Как обычно, он изо всех сил старался возбудить во мне любопытство. Я надела фиолетовую мини-юбку и венгерскую блузку, ломая себе голову, что же это за Снежинка такая, в которую я ни за что не должна влюбляться.

– Угадай-ка, угадай-ка! – напевал Дали, когда я встретилась с ним в гостиной. – Скоро наша крошка Аманда увидит существо куда привлекательней, чем все роллингстоуны, вместе взятые...

– Это еще надо посмотреть, – ответила я.

– Никогда не говорите: "Родник, мне не надо твоей воды", – смеясь, парировал он.

Le Fioco di Neve, Снежинка, к которой сразу же отвел нас директор барселонского зоопарка, оказалась маленьким, без единого темного пятнышка гориллой-альбиносом; едва появившись, он стал гордостью этого заведения. У него были голубые глаза и бледно-розовая мордашка, он отличался той несколько тревожной красотой, какая свойственна всем существам, лишенным пигментации. Директор позволил нам войти в клетку, и обезьянка запрыгала от радости. Дали отпрянул, чтобы избежать любых прикосновений, и явно забеспокоился:

– Он злой? Никогда не знаешь, чего ждать от обезьян. Вот вы, Аманда, можете его потрогать, вам он ничего не сделает.

Хранитель подтвердил, что Снежинка предпочитает женщин. Малыш вцепился мне в ноги, схватил за руку, потащил сперва направо, потом налево – прямо ребенок, которому хочется поиграть. Но он оказался слишком тяжелым, чтобы я смогла взять его на руки.

– Вот видите, как он вас любит, – заметил Дали.

Я нашла маленького альбиноса очень трогательным, тем более что он сидел один-одинешенек в своей клетке – собратья по племени отнеслись к нему враждебно, и его пришлось поместить отдельно. Лишь несколько игрушек помогали ему скрасить одиночество. Он казался весьма сообразительным. А в том, что касается сравнения с группой "Роллинг стоунз", Дали был не так уж далек от истины. Благодаря слегка приплюс-

1. Кто эта очень красивая девушка? (*исп.*)
2. – Она тоже травести?
   – Нет, она девушка (*исп.*).

нутому носу Снежинка и вправду напоминал Мика Джаггера, а светлые глазки и белая шерсть делали его похожими на Брайана Джонса.

И тут я опомнилась. Дали снова, вот уже в который раз, сыграл со мной злую шутку: он готовил меня к встрече с красивым существом, а на самом деле подсунул изрядного уродца. Тем временем Снежинка выхватил у Дали трость и с восторженными воплями бросился к себе в домик. Я поймала его, пытаясь отнять трость, но ему явно не хотелось расставаться с новой игрушкой. Дали был ужасно обеспокоен судьбой трости, "похожей на автомат Калашникова", которая, по его словам, стоила целое состояние, и при этом ему было совершенно наплевать на то, что обезьяна порвала рукав моей блузки и ущипнула меня за руку. Сторож успокоил Снежинку, и мы вышли из клетки.

Уцепившись лапами за прутья, обезьянка провожала нас взглядом покинутого ребенка. На прощание я помахала Снежинке рукой.

— Если бы вы читали мои книги, — пробурчал сквозь усы Дали, — вы бы знали, что такое кледализм. Это форма страстной любви, которую я показываю на примере моей героини Соланж: она влюбляется в мужчину, хотя никогда в глаза его не видела. Нечто подобное случилось и с вами нынче утром. Я заставил вас влюбиться в Снежинку, утаив, что это всего лишь детеныш гориллы!

— Ага! Вы снова сделали из меня идиотку, — вздохнула я.

— Я ведь не раз говорил вам, что обожаю идиотов, но только "высококачественных", — ответил он.

Прежде чем покинуть зоопарк, мы нанесли краткий визит слоненку. Как мы потом узнали, через несколько дней после нашего посещения его пришлось убить — он сделался слишком свирепым.

У нас еще оставалось время до обеда, и Дали увлек меня в узенькую улочку позади кафедрального собора, которая называлась Carre de la Paja, где он покупал краски, кисти и все, что было ему нужно для работы, а также всякие антикварные вещи. Он подарил мне перламутровый веер. И еще показал церковь рыбаков, где было полно записочек с обетами и благодарениями Деве Марии за спасение жизни моряков. Чуть подальше, перед магазинчиком, где продавались ножи, он указал мне на наваху с острым лезвием и сказал:

— Бунюэль всегда носил при себе такую же.

У входа в отель "Ритц" к нам подошел темноволосый, небольшого роста молодой человек и протянул свою карточку: неподалеку расположен его бар, и он счел бы для себя за огромную честь принять там Дали. Пока мы обедали, пианист с печальным обликом наигрывал давно вышедшие из моды мелодии, которые с трудом можно было узнать. Дали попросил его сыграть "Мак". И чем больше тот калечил мелодию, тем больше удовольствия это доставляло Дали. Мы уже покончили с восхитительной черной икрой — хотя на самом деле она была сероватого цвета, — когда он вдруг решил надеть очки и прочитал визитную карточку молодого хозяина бара.

— Ах нет, это уж слишком! Не может быть! — ликуя, воскликнул Дали. — Вы даже представить себе не можете, как называется бар. Это материал для параноидально-критического метода, который я сейчас разрабатываю. Пораскиньте-ка мозгами, Аманда, зачем мы с вами приехали в Барселону?

— Поглядеть на слона, — ответила я.

– Вот именно! А этот бар носит название... "Слон", – торжественно провозгласил Дали. – Нет-нет, слишком много совпадений разом! Носки, моя Аманда со Снежинкой, Гала, которая пообещала вот-вот вернуться и сказала, что влюблена в меня сильней, чем когда-либо прежде, слоненок из зоопарка, а теперь еще вдобавок ко всему этот совершенно неузнаваемый "Мак"... Полный восторг! Никаких сомнений: мне предстоит заработать кучу денег!

Возвращение Брайана Джонса – Дали пишет мой портрет – "Ванночки"

Благодаря своему лицемерию я веду себя как истинный джентльмен и, случись кому-нибудь из людей моего окружения всерьез заболеть, тут же посылаю им лекарства, доктора и все такое прочее. Я встретил девушку, которая так накачалась наркотиками, что жизнь ее оказалась под угрозой. Она была дивной красоты, и я сказал себе: если она и вправду ослепнет, это будет потрясающе... Что не помешало мне позвонить самому знаменитому испанскому окулисту, который взялся ее лечить. Иными словами, я вел себя безупречно, хотя в глубине души предпочел бы, чтобы она пострадала куда серьезней.

Дали

Я с радостью вернулась в Лондон и встретилась с друзьями. Я привезла им кошельки со статуей Свободы, футболки с надписями, забавные открытки в стиле китч. А еще трехмерное изображение Христа: создавалось впечатление, будто глаза его то открываются, то закрываются. Когда позднее я показала картинку Дали, он воскликнул:

– Вы принесли мне третье измерение! То, что я всегда искал!

И, обращаясь к Капитану, добавил:

– Немедленно найдите адрес людей, которые делают такие рельефные фотографии.

Мои нью-йоркские прегрешения требовали покаяния, и, чтобы наказать себя, я подрезала волосы – сделала каре – и не носила ничего, кроме длинного шерстяного платья цвета ржавчины. Когда в Париже мы снова встретились с Дали, я переживала пик своего мистического кризиса. Меня больше не интересовали никакие ночные заведения, я перестала краситься, мода представлялась мне пустейшей тратой времени, и я снова серьезно занялась живописью.

Он же, исходя из правила, что клин клином вышибают, собрал для меня целую коллекцию женихов – начиная с танцора, который голым выступал в "Фоли Пигаль", и кончая декоратором Жаком Гранжем. Но я никак не могла смириться с крахом всех своих надежд и испытывала стойкое отвращение к той среде, в которой вращалась прежде, как и к

наркотикам, которые рано или поздно разрушают все. Дали был прав в своем стремлении очистить мою душу от плохо переваренной мешанины из разных восточных философий. Мир не изменился. Чтобы бороться против существующей системы, нужно иметь Власть и Деньги. Они были у Дали и давали ему право на самые эксцентричные выходки. Его "богемность" была организованной и продуманной до мелочей. Его гениальность заставила традиционное общество принимать самые экстравагантные чудачества. В свое время — после появления "Андалузского пса" и "Золотого века" — он был отлучен от церкви, а теперь его принимали в Ватикане и он иллюстрировал Библию. В двадцать лет он отказывался стричь волосы и стремился шокировать буржуазию. Сегодня он ужинает с Ротшильдами и пишет портреты респектабельных матрон-миллиардерш. Так можно ли сказать, что он продался? Предал дело сюрреалистов, в чем его часто обвиняют? Нет! Не дав обета бедности, он ясно сознавал, что способен осуществить свои безумные идеи, не умирая при этом от голода. Благодаря Гале он накопил немало денег, что позволило ему дурачить сирых и великих мира сего. Он не устраивал голодовок, не орал на улицах в надежде быть услышанным; он терпеливо трудился, стараясь добиться признания.

А я тем временем проводила время в кругу своих соотечественников — с молодыми бездельниками, наряженными, как на маскарад, которые слонялись по улицам Челси в ожидании того часа, когда мир изменится к лучшему. Я даром растрачивала себя. Наркотики помогали отогнать мысли о настоящих проблемах. Явно мазохистские наклонности толкали меня заводить любовные романы — заранее обреченные. Тара, Алексис, Брюс или Диринг никогда не смогли бы сделать меня счастливой. Только один Дали умел удовлетворить мою потребность в нежности и придать мне ту интеллектуальную энергию, в которой я так нуждалась. С каждым днем он становился все великолепнее, а мои друзья казались мне все более пустыми и бездарными.

Весной Дали получил приглашение в Елисейский дворец от президента Помпиду, который благоволил к художникам. Во время встречи, организованной мадам Альфан, Дали преподнес президенту Республики очень красивую маску Наполеона, украшенную носорожьми рогами. В тот день он был просто неотразим, надев свой самый шикарный костюм и, разумеется, заколов галстук булавкой Альфонса XIII. В петлице — Крест Изабеллы Католической. Его хотели наградить орденом Почетного легиона, но он согласился принять лишь награду, которая соответствовала бы по значимости Кресту Изабеллы Католической, то есть Большой крест Почетного легиона, но у такого решения нашлись противники.

Светские события, происходившие во время моего краткого пребывания в Париже, не оставили у меня в душе никакого следа. Ни торжественное открытие Иранского дома на Елисейских Полях, где нас угощали черной икрой, ни ужин у Поля-Луи Вейера, ни удивительный обед с Коко Шанель, чьи остроумие и крутой нрав заставили прикусить языки всех, даже Дали.

Мне не терпелось дождаться лета, чтобы вновь оказаться в Кадакесе. Я была сыта по горло легкомысленным окружением Дали. Это сблизило нас с Галой, которая после истории с Дирингом стала очень мила со

мной. Она тоже ненавидела парижскую жизнь, мечтала вернуться в свой испанский дом и всячески старалась сократить срок пребывания во Франции. Она надрывно кашляла, входя в накуренную гостиную, и находила, что рестораны здесь неимоверно дороги.

Однажды Дали, на цыпочках войдя в комнату, где мы с ней сидели бок о бок, мирно беседуя, долго не мог оторвать от нас взгляда. Он признался, что видеть, как мы секретничаем, доставляет ему бесконечное удовольствие. Именно тогда он решил, что вновь обрести радость жизни мне поможет талисман — по его мнению, это должен быть карбункул, камень цвета огня, описанный в древних текстах. Ювелиры, с которыми мы консультировались, ни о чем подобном не слышали. Если это не рубин, то, наверное, нечто вроде граната — из тех, что встречаются в Азии... Дали знал, что по материнской линии во мне течет русская и монгольская кровь, и его захватила идея найти камень, который относился бы ко временам Чингисхана. В конце концов ему пришло в голову, что нужный карбункул мы найдем во Дворце открытий. Там были собраны все существующие в природе минералы, возможно, обнаружится и то, что мы ищем. По каталогу мы выяснили, что скорее всего речь должна идти о гранате из Шри-Ланки, который называется гранат-альмандин. От альмандина до Аманды всего один шаг. Так что нам оставалось лишь напасть на след этого полудрагоценного камня. Но тщетно обходили мы ювелиров с Вандомской площади и антикварные лавки — мой талисман был неуловим. Новая игра забавляла меня, хотя бы как способ отвлечься от хандры. Кроме того, это занятие полностью отвечало моим мистическим настроениям: после того как я принесла в жертву свои волосы, начались поиски некоего духовного символа. Дали купил мне книги Франсиско Кеведо и Святой Тересы Авильской[1]. "Я умираю от того, что все никак не умираю", — жаловалась она. Это был и мой случай.

Я возвратилась в Лондон без малейшей надежды на то, что в душе моей когда-нибудь вновь вспыхнет пламя. Однако тут появился Брайан Джонс, гитарист, порвавший с группой "Роллинг стоунз", он снова начал мне звонить. Я давно не видела Брайана, но следила по публикациям в прессе за его бесконечными стычками с властями, историями с наркотиками, скандальными судебными процессами о признании отцовства. "Роллинг стоунз" заменили его новым гитаристом, и Брайан в одиночестве отправился в Атласские горы изучать марокканскую музыку. Я увиделась с ним у фотографа Дэвида Бейли, который жил вместе с моей подружкой Пенелопой Три. Брайан купил себе в окрестностях Лондона дом с бассейном и сказал, что навсегда покончил со своим дурным прошлым.

Он не раз заезжал за мной на Челтнем-террас и вез ужинать. Судя по всему, у него больше не было "постоянной невесты", и мне казалось, будто он искренне нуждается в нежной привязанности. Жизнь за городом пошла ему на пользу, ведь в Лондоне его слишком влекли к себе заведения сомнительного толка, и он ночи напролет проводил в "Спик-изи" — месте встречи музыкантов, ищущих подружку на ночь. Брайан поклялся мне всеми богами, что навсегда завязал с наркотиками, что он в порядке и начал работать со своей собственной группой, которую намеревал-

1. Франсиско Кеведо-и-Вильегас (1580—1645) — испанский писатель, автор плутовского романа "История жизни пройдохи по имени дон Паблос" (1626), а также философских трактатов, памфлетов и сатирических стихов. Святая Тереса Авильская (Санта Тереса де Хесус; 1515—1582) — испанская писательница, религиозный деятель, реформатор ордена кармелитов.

ся сделать знаменитой, чтобы отомстить Мику Джаггеру, и что он непременно снова окажется на плаву и добьется славы. Он выглядел таким обиженным, таким беззащитным, что я не раз оставляла его у себя на ночь. Спал он плохо и дышал с трудом, потому что страдал астмой — ему приходилось постоянно носить с собой небольшой ингалятор. Порой он просыпался среди ночи, мучимый кошмарами, весь в поту, не понимая, где он.

— Где я? В Нью-Йорке? — едва переводя дух, шептал Брайан.

Мне приходилось успокаивать и утешать его. Когда он уходил, я давала ему свой фен, чтобы он мог тщательно уложить падающую на глаза белокурую челку.

Однажды вечером он пригласил меня в "Аннабел", самый модный из лондонских клубов, на шоу Тины Тернер, чернокожей певицы, которую он просто обожал. Поскольку он был без галстука, швейцар отказался нас впустить. Последовала чудовищная сцена, Брайан орал благим матом, что он де "роллингстоун" и что перед ним должны распахиваться все двери. После долгих переговоров и вмешательства директора заведения мы оказались в зале, за лучшим столиком в первом ряду. Но едва начался концерт, как Брайан, который мешал свои снотворные "снадобья" с алкоголем, заснул глубоким сном. Мне пришлось буквально тащить его на себе до машины — с помощью швейцара, корчившего при этом весьма презрительные гримасы.

Однажды Брайан предложил мне погостить несколько дней в его доме с бассейном. Он обещал заехать за мной вечером на своем голубом "роллсе". В тот же день Близнецы, которые, желая сменить обстановку, решили провести июль месяц в Марбелье в обществе своей очаровательной темноволосой подружки Хосе, начали уговаривать меня лететь вместе с ними вечерним рейсом. По их мнению, мы вчетвером здорово повеселимся в Марбелье, у Хосе там тьма друзей, а потом я смогу заглянуть в Кадакес. Весь остаток дня я провела в сомнениях, не зная, что выбрать: Брайана Джонса или Марбелью, возврат к прошлому и жизнь с неприкаянным гитаристом, другом Тары, или нечто новое, смену среды и знакомство с Андалусией.

"Роллс" Брайана прибыл, и мне в дверь позвонил шофер. Брайан ждал меня в своем доме, где собрались его друзья, чтобы послушать записи, сделанные им в Марракеше. Это был тот же самый шофер, что три года назад сопровождал меня в суд. Он пробудил во мне слишком неприятные воспоминания. И я попросила его отвезти меня в аэропорт. Через несколько часов мы приземлились в прекрасной солнечной Малаге. Я была вне себя от счастья, сумев перевернуть эту страницу. На другой день по испанскому радио мы узнали, что Брайан Джонс утонул минувшей ночью.

После диковатых и замкнутых каталонцев я открыла для себя очарование и беззаботность андалусцев Марбельи. Мы неспешно прогуливались по белым цветущим улочкам, наслаждались звуками цыганских песен. Я лучше понимала счастливый характер нашего Людовика XIV, у которой была прелестная вилла в Торремолиносе, в нескольких километрах от Марбельи. Она пригласила меня погостить у нее. Удачно выдав замуж трех дочерей, Людовик XIV безмятежно наслаждалась жизнью, ничего не принимая всерьез и над всем потешаясь. Естественно, разговор у нас зашел о Дали. Более светская, чем я, она была куда лучше приспособлена к беспорядочной и шумной обстановке, царящей в его гостиной отеля "Мёрис", и жизнь эту находила очень забавной. Роль

Короля-Солнца сделала ее весьма популярной, и она относилась к ней вполне серьезно, хотя и предпочла бы не демонстрировать свой профиль всякий раз, когда Дали кивал на нее со словами: "Просто вылитый Людовик XIV, вы только поглядите на этот бурбонский нос и вьющиеся волосы. Ведь похожа как две капли воды, согласны?"

Когда я прощалась с ней, направляясь в Кадакес, она как раз собиралась в Мадрид, но пообещала приехать и провести с нами пару дней, скорей всего в Барселоне, на празднике Мерсед, который отмечают в сентябре. В тот год Гала собиралась в Грецию – сперва на автомобиле, чтобы не торопясь пересечь Италию, потом на пароходе через Адриатическое море. Путешествие планировалось долгое, и перед отъездом она дала мне практические наставления касательно прихотей и привычек Дали.

Вот уже третье лето подряд я останавливалась в одном и том же номере гостиницы "Порт-Льигат". Однако на сей раз Гала отдала соответствующие распоряжения, и несколько дней спустя мне было предложено поселиться в комнате для ее личных друзей, которую она называла своей "лачугой" – это было просторное отдельное помещение из двух комнат с камином и ванной, расположенное на первом этаже. Квартира имела собственный вход, и окна ее смотрели на кипарис, возвышающийся над старой лодкой. Дали заметил, что Гала сделала для меня редчайшее исключение, ибо она взяла за правило почти никого и никогда не селить у них в доме. Она была очень привязана к своей "лачуге" и частенько уединялась там, чтобы перебирать бумаги или писать. Старый гардероб был битком набит платьями и костюмами, которые они уже больше не носили, однако Дали настаивал на том, чтобы сохранить их. Роясь там, он отыскал великолепный белый, украшенный серебряными блестками костюм клоуна.

Он облачился в него на следующее утро, когда принимал меня на садовой террасе с видом на море, и преподнес мне только что сорванную красную розу со словами: "No la tocas más que así es la rosa". (Не прикасайтесь к ней, ибо эта роза столь совершенна, что ее невозможно сделать прекрасней.) Потом расцеловал меня и посмотрел на мое лицо.

– Нос у вас чуть-чуть порозовел, теперь он получше, чем в Париже. Скажите, а вы нашли карбункул?

По правде говоря, я не очень-то его и искала, зато стала носить на шее маленький посеребренный бубенчик, который весело позвякивал при малейшем моем движении.

– Какая прелесть! – прикоснувшись к нему пальцами, воскликнул Дали. – Это же *cascaballet*, бубенчик моего детства. По-каталански его называют *cascaballet de plata*. Итак, вы будете счастливы этим летом, милая Аманда, вот увидите. Перво-наперво, мы с вами займемся кино.

В самом деле, в Кадакесе тогда снимали фильм по Жюлю Верну, которого Дали, кстати, терпеть не мог. Это был фильм "Маяк на краю света", где снимались Кёрк Дуглас, Юл Бриннер, рыжеволосая Саманта Эггар и француз Жан-Клод Друо. Поселок наполнился киношниками, статистами... Натурные съемки велись неподалеку от Средиземноморского клуба, в фантастических декорациях мыса Креус. Кёрк Дуглас оказался нашим соседом, он поселился на вилле Фоскель в Порт-Льигате. Юл Бриннер жил у Капитана, на прелестной вилле, которая возвышалась на вершине скалы – прямо над морем. Каждый день нам приносили вести о каких-нибудь происшествиях на съемках: установленный на скале картонный маяк снесло ветром – северный средиземноморский

ветер порой дует так сильно, что сметает все на своем пути. Или, скажем, сгорели три мачты на корабле. Все это невероятно забавляло Дали, хотя на самом деле он презирал кино и еще больше киношников.

Он часто рассказывал мне о своих приключениях в Голливуде. Хичкок предложил ему сделать сцену кошмара в фильме "Завороженный" с Ингрид Бергман. Дали придумал: игла гигантской швейной машинки пронзает глаз актрисы. Его вежливо поблагодарили, вручив чек на солидную сумму. Он познакомился с Сэмюэлем Голдвином и его знаменитым "Мой ответ уместится в четырех слогах: "Не-воз-мож-но!". Орсон Уэллс, Рэндольф Хэрст со своей римской виллой, Марлен Дитрих и Жан Габен, Уолт Дисней, наконец, на которого Дали тоже поработал. Дисней предложил ему контракт: Дали должен изучить в диснеевских студиях технику мультипликации, и они вместе сделают сюрреалистический мультфильм. Проект этот так и не удалось осуществить.

Обо всем об этом Дали повествовал во время ужина, который он устроил в честь актеров. Юл Бриннер, самый старший и самый образованный из них, от души хохотал над голливудскими анекдотами Дали. На вечно обнаженной груди Бриннера красовалась тяжелая золотая цепь. Кёрк Дуглас, специально для съемок отрастивший бороду, слушал его с нескрываемым интересом. Друо не проронил ни слова и не сводил с меня глаз. Он был буквально пропитан философией дзен и тратил целые часы на попытки сосредоточиться, прежде чем выйти на площадку и сыграть сцену, которая требует полной концентрации энергии.

Дали тем временем перешел к непристойным историям, рассказав, что у добрейшего папаши Диснея была одна из самых больших эротических коллекций, какую ему когда-либо доводилось видеть, и, конечно, коллекция не выпущенных в прокат порнографических мультфильмов. Уходя, гости пригласили нас заглянуть на съемки, а Юл Бриннер попросил разрешения как-нибудь сфотографировать Дали за работой.

Тем летом, в изнуряющую августовскую жару, когда под оливами поют сверчки, Дали решил написать меня в образе "Анжелики, избавляющейся от дракона". Полотно было задумано большое — высотой в два с половиной метра.

Аманда Лир позирует Дали для "Анжелики"

Дракон символизировал некое зло — или некое окружение, — от которого я должна избавиться: дракон должен пасть к моим ногам. Беа подготовил очень темный фон — пещера, сплошные камни. Дали придумал мне позу: поднятые над головой руки прикованы к воображаемому кольцу, одна нога слегка согнута, вся тяжесть тела падает на другую. Это была утомительная поза, и мне приходилось часто опускать руки, чтобы восстановить кровообращение. Дали, которому не нравилась моя короткая стрижка, заставил меня надеть длинный белокурый парик — именно такая прическа была у меня прошлым летом.

Работал он быстро, напевал адажио Альбинони и время от времени прерывался, обращаясь ко мне с вопросом:

— Вы в порядке? Не слишком устали? Можем сделать перерыв, когда пожелаете. Все равно потребуется не меньше дюжины лет, прежде чем это полотно будет доведено до истинного совершенства!

Потом мы с ним пошли в патио и, когда опустился вечер, слушали в темноте летевшую ввысь музыку Вагнера или Вивальди. Я ходила по саду и искала светлячков, поймала одного и, зажав в ладони, принесла Дали. Он объяснил, что это самка, которая зажигает свой фонарик, подавая знак самцу: она готова его принять. Потом он попросил меня "засветить умывальник". Свой замечательный умывальник он отыскал в каком-то магазинчике в Фигерасе, где тот был выставлен в витрине в качестве элемента оформления. Плоский, украшенный лишь скупыми рельефными узорами, он был отлит из матового пластика. Найдя умывальник достаточно "китчевым", Дали велел вмуровать его в стену, возвышающуюся над патио, а скрытая сзади неоновая лампа освещала его изнутри, и он горел каким-то странным, призрачным светом, похожий на плывущую за облаками луну. Кроме того, издали он казался причудливым лепным украшением, словно парящим над патио.

— "Потрясающе!", как сказал бы Дадо, — восторгался Дали. — Самый настоящий лунный свет. Поставьте-ка поскорей "Тристана и Изольду".

Я спустилась на кухню, где находился проигрыватель. А когда снова поднялась в патио, там уже звучала, потрескивая, — из-за ветхости аппарата — музыка. Дали был на седьмом небе от счастья. Он наслаждался музыкой, нюхая цветок жасмина, потом молча взял меня за руку...

В тот вечер он дал мне книгу Реймона Русселя "Locus Solus"[1], старое издание, проиллюстрированное самим автором. Дали очень дорожил этой книгой. Я улеглась в постель в "лачуге" Галы, пропахшей йодом и жидкостью против комаров, которой служанка опрыкивала ее каждый вечер, и погрузилась в это таинственное сочинение. Где-то совсем рядом слышался шум моря. По вечерам мое обиталище с темными углами немного пугало меня. Но особенно я боялась всяких ползающих насекомых, ибо однажды обнаружила в ванной крошечных скорпионов и с тех пор каждый вечер тщательно осматривала все вокруг, даже заглядывала под кровать — не прячется ли там кто.

Несколько дней спустя я сменила "Locus Solus" на "Африканские впечатления". Эта книга, которую обожал Дали, послужила нам поводом для долгих бесед о странной личности автора — Реймона Русселя. Даже оче-

1. Реймон Руссель (1877—1933) — французский писатель; получив богатейшее наследство, вел жизнь эксцентричного денди; автор романов "Африканские впечатления" (1910) и "Locus Solus" (1914), а также посмертно опубликованного сочинения "Как я писал некоторые из моих книг" (1935).

видным вещам в его книгах не хватало логики, а колдовское очарование описываемых событий превращало его произведения в некое подобие грез, которые Дали противопоставлял своим "мечтаниям". Ведь в его "мечтаниях", пояснял он, можно управлять ходом действия по собственной воле, как делает режиссер в кино. "Мечтание", чтобы быть правдоподобным, должно содержать элементы реальности. Взяв их за основу, Дали начинал фантазировать, приукрашивать, давал волю воображению и воспарял к вершинам — порой эротическим, но чаще всего удовлетворяющим его жажду власти. Он видел себя карающим одних и вознаграждающим по заслугам других, оказывающим влияние на сильных мира сего и определяющим политические судьбы. Надо заметить, что наилучшие отношения в таких "мечтаниях" складывались у него с Франко.

Вот уже не первый год Дали вынашивал план открыть в своем родном городке Фигерасе большой музей, где не только будут собраны его картины, но также реализуются самые бредовые идеи: заполненное живыми улитками такси, гостиная-будуар в форме лица Мэй Уэст[1] и тысячи прочих выдумок, которые превратили бы музей в нечто вроде далинианского Диснейленда. Для этого нужно было разрешение *generalissimo*, поэтому в ближайшем будущем планировалась поездка в Мадрид. Там Дали надеялся удостоиться высочайшей аудиенции и один на один побеседовать со всесильным главой государства. А пока он мечтал и строил тысячи планов — по большей части невыполнимых.

Одним солнечным утром Дали решил отвезти меня на лодке посмотреть, как снимается фильм. Гала только что позвонила ему из Италии, она была в восторге от путешествия и уже в который раз благодарила мужа за то, что тот "доставил ей такое удовольствие". Ее спутник Pastouret (Пастух) был весьма мил, так что все шло как нельзя лучше. Артуро довез нас до острова a Rateta, который имел форму мышки и располагался прямо напротив искромсанных природой скал мыса Креус. На фоне этого величественного пейзажа был воздвигнут фальшивый маяк, и теперь его приступом брали статисты в костюмах пиратов. Дали никак не мог понять, зачем надо было тратить силы на возведение маяка, когда всего в сотне метров оттуда стоял самый настоящий маяк. Эпизод по сценарию происходил глубокой ночью, но снимали его при ярком солнце — с темными фильтрами на объективах камер. После трех-четырех дублей, ни один из которых не удался, Дали занервничал и стал сокрушенно качать головой.

— Вот уж поистине кретинское занятие! Только поглядите на этих бедолаг, они вынуждены тридцать шесть раз подряд изображать одно и то же! Ни за что на свете не хотел бы я увидеть, как вы, милая моя Аманда, снимаетесь в кино! Вы потеряли бы свою неповторимую индивидуальность. Что нужно вам, именно вам, так это благопристойный муж, богатый-пребогатый импотент, а еще лучше — "высококачественный" педераст, по возможности с титулами. Вы начнете одеваться в платья от Баленсиаги, станете хозяйкой салона, и у вас появится туча любовников — вы будете очень счастливы.

Меня прямо затошнило от такой приторной перспективы. Я ответила Дали, что не люблю ни аристократов, ни педерастов, ни платья от Баленсиаги.

1. Мей Уэст (1892–1980) — американская актриса.

— Но согласитесь, детка, вы ведь никогда не сможете быть счастливой с нормальным мужчиной! Вам нравятся только юноши хиппи — средневековые, длинноволосые, изнеженные, слегка женоподобные... А вовсе не мускулистые мужики вроде Друо, который снимается в этом фильме!

Как раз в тот самый момент пресловутый Жан-Клод Друо, обернувшись в нашу сторону и размахивая руками, кричал с носа картонного трехмачтового корабля: "Эй, Аманда! Аманда!" Съемочная группа пригласила нас отобедать вместе с ними, и мы отправились на их стойбище, расположенное у самой дороги. Там было два автофургона, где гримировали актеров, и специальный тент — временная столовая для полуденных трапез. Мы сидели вместе с Кёрком Дугласом, Друо и другими актерами, не было только Юла Бриннера, который в тот день не снимался. Разумеется, нам не подавали изысканных яств, которые нравились Дали, к тому же еду раскладывали на пластиковые тарелки... Так что он практически ни к чему не притронулся. Сидя подле Кёрка Дугласа, я болтала с ним, пока Дали последними словами поносил Жюля Верна, обращаясь к Друо, внимавшему ему с улыбкой. Когда мы возвращались в Порт-Льигат, чтобы Дали успел исполнить непременный ритуал сиесты, он признался, насколько киношная среда кажется ему прозаической и неинтересной.

После сиесты я снова приняла позу Анжелики. Дали заметил, что ему больше нравится, когда кожа моя лишь чуть-чуть тронута загаром, когда она не слишком бронзовая (*tostada*, как говорят по-испански), "как у этих кошмарных туристов из Средиземноморского клуба".

Мэр Фигераса вошел в мастерскую, не подозревая, что я позирую обнаженной, и, извинившись, хотел быстро ретироваться. Однако Дали пригласил его остаться и как ни в чем не бывало принялся болтать о том о сем. Время от времени мэр украдкой бросал взгляды в мою сторону.

— Да чего уж там, глядите, — подбодрил его Дали, — не стесняйтесь! Заметили, как восхитительно выступает у нее бедренная косточка, да-да, вон там, а какова линия ног?

Наконец мэр раскланялся и ушел.

— Ну вот, — ликовал Дали, — уж теперь-то он разнесет по всему поселку, что никакой вы не мальчик. Что-что, а слово мэра здесь не подвергают сомнению!

Следом явился Юл Бриннер, он воспользовался свободным от съемок днем, чтобы сфотографировать Дали. Он снял нас обоих, пообещав мне, что не будет публиковать фотографии без моего согласия. Разговор зашел о красоте женского тела, и Дали рассказал ему о визите мэра.

— Знаете, кадакесские рыбаки — народ, на который трудней всего произвести впечатление. Их ничем не удивишь, ни яхтой Артуро Лопеса, ни Верушкой, которая как-никак признана идеалом женской красоты, если, конечно, доверять "Вогу". Так вот, Верушка фотографировалась здесь со своим Рубартелли в купальном костюме, а потом я поинтересовался у местных рыбаков, как она им понравилась, и знаете, что они мне ответили? "Ну что, по правде сказать, девушка она, конечно, пригожая, только вот, если посмотреть на нее без ничего, так между ляжками свет видать..." Уму непостижимо! Этот крошечный просвет между сомкнутыми ногами представляет собой, по их мнению, серьезный эстетический недостаток! А еще, когда мы принимали здесь Виндзоров, те угостили слуг черной икрой, которые сроду ее не пробовали. И что бы вы думали? Те скривили рожи, поморщились и вынесли приговор: "Могло быть и противней, для чаечьего-то дерьма..."

Юл Бриннер хохотал во всю глотку. Дали обожал подтрунивать над своими земляками, считая при этом, что у них истинно крестьянская душа.

На другой день прибыл Вертолет, молодой человек из Барселоны, который должен был обеспечить съемки с воздуха. Каталонец, как и Дали, он заглянул к нам выпить бокал шампанского и предложил прокатить нас над Кадакесом. Дали, который смертельно боялся летать, сперва наотрез отказался, но я принялась его уламывать, да и Вертолет поклялся, что риска нет никакого и он гарантирует нашу безопасность. Дали удостоверился, что деревяшка-талисман при нем, и залез в машину, которая стояла перед бассейном у гостиницы "Порт-Льигат". Вертолет сразу набрал высоту, и мы глазом моргнуть не успели, как оказались над нашим домом.

Немного успокоившись и расслабившись, Дали начал восхищаться видами, которые открылись под нами.

— Поглядите-ка, Аманда, это ведь наш патио! — как ребенок, радовался он. — А вон мой Христос! Ах, как же замечательно он выглядит сверху! А вон там, смотрите, наша Пакита! Надо же, какая крошечная! Пошла в огород за базиликом, нас даже не замечает!

Он получал такое удовольствие от новых впечатлений, что ему уже не хотелось возвращаться на землю. Далеко внизу лежала бухта, дома Капитана и Фарнера. Мы пролетели над белеющей дорогой и над кладбищем, где был похоронен отец Дали, потом стали постепенно снижаться над лугом и приземлились плавно и без тряски. Дали поблагодарил Вертолета и расцеловал меня со словами:

— В первый раз в жизни я увидел Порт-Льигат сверху. А все благодаря вам! Вы помогли мне открыть для себя нечто такое, чего я не знал прежде. Я изготовлю себе из этого восхитительное "мечтание", чтобы лучше заснуть нынче вечером!

Потом несколько суток дул *гарби*[1]. Стало невозможно выходить в море. Дали прервал работу над "Анжеликой", потому что явился Капитан и напомнил: через два дня надо представить дюжину акварелей с лошадями — для литографий. Дали ответил, что они будут готовы вовремя, но к работе все никак не приступал. Он ненавидел заказы такого рода, которые приходилось выполнять точно к сроку, однако в данном случае был связан контрактом и даже получил чек на внушительную сумму.

Лишь в тот день, когда Капитан должен был прийти за акварелями, он наконец решился.

— Сейчас будем делать ванночки, — заявил он.

"Ванночками" назывались акварели особого рода: сначала он наносил на бумагу краски, а потом ополаскивал листы под краном в ванной. Вода оставляла длинные цветные следы, направление которых Дали слегка варьировал, меняя положение листа под струей. В результате получалась разноцветная размывка, где краски причудливо смешивались, создавая то более яркие пятна, то произвольные "накаты". Вдвоем мы закрылись в ванной Галы, куда Артуро принес нам большие листы белой бумаги. Одним движением руки выдавливая на бумагу краску из тюбика, Дали изображал силуэт лошади. Он мало заботился о пропорциях, и поэтому лошадиные ноги казались мне чересчур длинными и какими-то негнущимися. Сделанные таким манером наброски тут же оказывались под струей воды. Затем Дали брал двумя руками лист и, нагнувшись над ванной, размывал рисунки. Вода окрашивалась всеми цветами радуги,

1. От garbino (*исп.*) — юго-западный ветер.

разноцветные брызги не только покрывали саму ванну, но и попадали даже на стены.

– Увидела бы Гала, во что я превратил ее ванну, – с видом заговорщика заметил Дали, – рассердилась бы не на шутку.

Не прошло и четверти часа, как двенадцать акварелей были готовы. Оставалось лишь высушить их. Потом Дали прошелся рукой мастера, придав им окончательно далинианский вид. Расскажу, как он придумал "трюк с бабочками". Верному Беа было поручено вырезать из книг по естественной истории пестрых бабочек, что он и делал весьма старательно. Потом расклеивал бабочек по бумаге, а Дали тушью добавлял где тень, где костыль или растекающиеся часы. Оставалось лишь удостоверить работу высочайшей подписью, к которой он часто добавлял имя Галы, и поставить дату.

После полудня Капитан забрал лошадей, не преминув заметить:

– Похоже, на сей раз вы не слишком себя утруждали...

– Что вы хотите сказать? – изобразил удивление Дали. – Да ведь это просто шедевры! Разве нет? Сколько недель я провел в напряженнейших размышлениях, прежде чем пришел к такому космическому извержению фантазии!

– Ну и горазд же он сочинять! – уходя с рулоном под мышкой, усмехнулся Капитан, а потом, словно поддразнивая меня, поинтересовался:

– Чем это вы его нынче накормили, Аманда, уж не кониной ли? Что-то он у нас бодр, как никогда.

– Это все благодаря Аманде, – ответил за меня Дали, – она меня невероятно вдохновляет.

Так, между солнцем и мастерской, мы провели несколько замечательных дней. Но однажды утром я проснулась в тревоге: перед глазами маячили какие-то пятна, и я смутно различала находившиеся в комнате предметы. Я пришла в ужас от мысли, что слепну, и подняла с постели Дали.

– Нельзя терять ни минуты, – осмотрев меня перед окном, всполошился он. – Немедленно едем в Барселону, там я отведу вас к крупнейшему во всей Европе специалисту по глазным болезням!

В клинике "Барракер" нас принял профессор, буквально разрывавшийся на части из-за обилия пациентов, однако он сделал исключение для Дали, который объяснил, что именно со мной случилось. При этом он не скрыл, что я баловалась ЛСД и что одна из его приятельниц, Нена, уже ослепла из-за наркотиков.

– Да-да, действительно, – кивнул головой доктор, – мне известны случаи, хоть и довольно редкие, когда вследствие употребления ЛСД сгорала сетчатка. Что ж, а теперь давайте-ка займемся вашей девушкой. Скажите, вы носите на солнце темные очки? – обратился он ко мне.

Нет, я сроду их не носила, потому что была уверена: они уродуют лицо, а проку от них мало.

Доктор закапал мне в глаза какое-то лекарство.

– Не бойтесь, – успокоил он меня. – Эта жидкость расширяет зрачки, так я смогу осмотреть вашу сетчатку. Лекарство действует недолго, через пару часов все пройдет.

Я видела все хуже и хуже. Окружающие предметы расплывались. Дали был встревожен, однако пытался меня успокоить.

– Не забывайте, он лучший специалист в своем деле. К нему даже американцы за консультацией приезжают. Я ему полностью доверяю.

Доктор тем временем с помощью какого-то инструмента внимательно осмотрел мои глаза, сделал что-то еще... и посоветовал носить на солнце темные очки.

Потом, обернувшись к Дали, сказал ему по-испански:

– Ничего страшного. Это расстройство кровообращения, что оказывает влияние на капиллярные сосуды, которые питают сетчатку. Проблемы с кровеносными сосудами плюс, возможно, чересчур много солнца. Я дам ей таблетки, пусть попринимает несколько дней.

Мы вышли оттуда с чувством большого облегчения.

– Итак, похоже, поводырь моей Аманде не потребуется, – изрек Дали. – Только вы уж, пожалуйста, больше не пугайте меня так!

Аманда Лир и Дали в Барселоне

Чтобы окончательно избавиться от страхов, Дали показал мне то, чего я еще не знала в Барселоне. И прежде всего Гауди. Творчество гениального архитектора отнюдь не ограничивалось домами на Пасео-де-Грасиа; были еще кованые решетки с когтистыми воинственными драконами на Каса Мила, парк Гуэль и Саграда Фамилия. Парк привел меня в полнейший восторг. Волнообразные скамейки, склоненные набок колонны – все это напоминало декорации какой-то эпической пьесы, рожденные фантазией гениального безумца. У меня в голове крутились мысли о Реймоне Русселе, я вспомнила Почтальона-Лошадь и прочие иллюстрации, показанные мне Дали. Камины в форме шлемов средневековых рыцарей, мозаичные бабочки, словно выпорхнувшие из волшебных галлюцинаций, страшно мне понравились. Почему мои английские друзья не спешат сюда, чтобы приобщиться к идеям великого гения? Почему вместо этого они рвутся в Индию и ищут там каких-то гуру?

Потом Дали показал мне Дворец каталонской музыки, украшенный барельефами с прелестными музами на хорах и в концертном зале, провел по улочкам старого города, мы полюбовались на светящиеся фонтаны Монтжуика и Испанскую деревню, где обожают бывать и местные жители, и туристы. Мы сфотографировались с ним, просунув головы в дырки, проделанные в картонном панно с изображением испанской танцовщицы и идальго.

Дали забавлялся больше меня. Он заставил меня выпить *horchata de chufa* – миндальное молоко с фисташками, противное до рвоты, и заказал на обед мерзких крошечных белых угрей, по виду похожих на тошнотворные личинки мясной мухи, хотя, по правде говоря, приготовленные с чесноком, они оказались весьма изысканными на вкус.

Возвращаясь в "Ритц", мы заглянули к ювелиру по имени Санс, который изготавливал по заказу Дали некое сюрреалистическое украшение. Разумеется, мы не упустили случая поинтересоваться, нет ли у него карбункула. Оказалось, и у него тоже ничего подобного не было, но, желая доставить нам удовольствие, он предложил мне в подарок очаровательный, украшенный маленькими рубинчиками перстень, который я постеснялась принять. Дали тем временем любезно раскланивался, поспешно уводя меня прочь со словами:

— Любые подарки надо всегда принимать с благодарностью. Кроме павлиньих перьев — они приносят несчастье.

После полудня он вызвал своего парикмахера Льонгераса и велел завить себе щипцами волосы. Увидев его, я не смогла сдержать смеха.

— Что-нибудь не так? — всполошился он.

Голова его была сплошь покрыта крутыми кудряшками, и мне пришлось пригладить ему волосы гребнем. Тем не менее, признался он, если однажды ему захочется по-настоящему хорошо выглядеть, он наденет парик, изготовленный все тем же Льонгерасом, и уж тогда-то мне больше не будет стыдно показываться с ним на людях.

— Знаете, сейчас я не очень слежу за собой, но настанет день, и я непременно подтяну себе лицо. Вот — почувствуйте разницу!

Он двумя ладонями сильно оттянул кожу на щеках назад. Теперь он напоминал китайского старца. Мне подумалось, что подобные проявления мелкого тщеславия были ниже его достоинства.

— Сегодня, — объявил он, — я собираюсь показать вам одного человека, который куда старше меня. Он был танцовщиком при дворе русского царя. Вернее, он был скорее платным танцором или, попросту говоря, альфонсом. Так или иначе, но, покидая родину, он прихватил с собой сокровища, которые все еще находятся здесь, в Барселоне, в его апартаментах на Пасео-де-Грасиа, где он живет с двумя старухами. Надо будет непременно нанести ему визит, кстати, уже много лет он обещает сделать мне подарок. Пора бы ему наконец и расщедриться!

Все-таки удивительный город эта Барселона, таящая в себе подобные сокровища. Я не уставала поражаться ее чудесам. Дверь нам отворила древняя испанка, которая окинула нас подозрительным взглядом. Она была наполовину лысая и с ног до головы одета в черное. Старуха пошла за хозяином дома. Он появился в красном шелковом халате с обтрепанными рукавами, на ногах — поношенные шлепанцы, а прилизанные волосы с сиреневым отливом туго стягивала сетка... Его легко можно было принять за женщину, настолько бесполым казалось его бледное, лоснящееся от крема лицо.

Явно обрадованный нашим визитом, этот колоритный тип повел нас по узенькому коридорчику. У каждой двери, которую он отворял, Дали восторженно охал и ахал. Комнаты были завалены чуть ли не до потолка самыми немыслимыми предметами: консолями, столиками, креслами с позолотой, фарфоровыми раковинами, канделябрами, зеркалами... Хозяин тем временем переходил в следующую комнату, а крошечная старушка поспешно гасила свет и закрывала за нами двери. Так мы, нигде особенно не задерживаясь, миновали пять или шесть комнат. Куда мы попали, в магазин театральной мебели или на склад скупщика краденого? Тут нашлось бы достаточно всего, чтобы целиком обставить дворец. Правда, многие из его ваз эпохи Мин показались мне слишком новыми, чтобы быть подлинными, а большинство люстр выглядели яв-

но современными. Дали же был ошеломлен, и прежде всего безумным количеством всякого барахла и тем, что предметы мебели в стиле барокко буквально громоздились друг на друга... Не раз он останавливался перед какой-нибудь статуей и спрашивал:

— Но откуда все это?

Человечек понимающе улыбался и, понизив голос, отвечал:

— Видите ли, они были очень щедры. Настоящие принцы крови.

Я так и не поняла, кого он имел в виду.

Дали глаз не мог оторвать от одной кровати необъятных размеров, которая занимала почти всю комнату. Это было пышное ложе, украшенное раковинами и тритонами, с лебедями по всем четырем углам и позолотой повсюду, где только можно.

— Ложе я хочу заполучить во что бы то ни стало! — воскликнул Дали. — Оно станет гвоздем моего музея в Фигерасе!

Человечек не сказал ни да ни нет: мол, увидим, когда планы, связанные с вашим музеем, обретут реальность, вернемся к этому разговору позже... Желая сменить тему, он обратился с вопросом ко мне:

— Вы любите платья? У меня тут есть кое-что, вот здесь...

И отворил старый шкаф, похоже, хранивший гардероб какой-нибудь принцессы или султанши. Бальные платья в кружевах, ничем не уступающие драгоценным нарядам мадам Помпадур... Может, он и сам иногда наряжался в женское платье? Он указал мне на один костюм, обшитый крупными перламутровыми чешуйками, и не моргнув глазом пояснил:

— Это мой купальный костюм.

Стоило нам выйти на улицу, как Дали расхохотался:

— Просто не верится, что все это хранится здесь, на Пасео-де-Грасиа! Вы видели кровать? Прямо вавилонское сооружение, достойное самого Навуходоносора! А старушка, которая выключала за нами свет? Нет, картина совершенно фантастическая...

За ужином он рассказал мне историю одного русского князя, влюбленного в танцовщицу, которую тот пригласил к себе на ужин. Он приказал устлать путь от дома своей Дульсинеи до собственного дворца ковром из живых фиалок. Фиалки на белом московском снегу... Мне, по правде говоря, во все это не очень-то верилось, но Дали упорно стоял на своем, расписывая, какая безудержная роскошь окружала аристократов в старой России. Если верить ему, там не было ничего, кроме роскошных дворцов, пышных праздников, пиров и драгоценностей.

— Вот почему мебель этого педераста, возможно, и вправду подлинная. И подумайте только, он ведь ничего не хочет мне отдать! А я так люблю всякие бредовые нагромождения!

Потом он в восхищении замер перед магазином, где продавали люстры и канделябры.

— Какая красота, а? Прямо "Тысяча и одна ночь"... Вы только представьте, что будет, если содержимое этого магазина перевезти ко мне да еще умножить на десять! Великое собрание дурного каталонского вкуса! Воистину фантастическое зрелище!

Прежде чем мы возвратились в Кадакес, мне довелось впервые воочию увидеть, как Дали оплачивает гостиничные счета.

— Гала будет гордиться мной, — заметил он. — Я докажу ей, что способен сам заплатить по счету в гостинице, да еще наличными!

Он вытащил из кармана перетянутую резинками пачку банкнот по тысяче песет и сделал вид, будто внимательно изучает поданный счет. Потом старательно отсчитал банкноты, остальные снова засунул в карман и застегнул его большой английской булавкой. Увидев, что я, не сдержавшись, расхохоталась, он пояснил:

— Это чтобы не потерять. Я ведь рассказывал вам историю про улетевшие банкноты? Это случилось, когда у нас впервые появились какие-то деньги. Мы с Галой приехали на автобусе из Парижа в Порт-Боу, дул сильный северный ветер с гор. Я держал наши бумажные деньги, крепко зажав их в кулаке. Гала без конца твердила, что лучше положить их в карман, не то потеряю, но мне из суеверия хотелось чувствовать их в руке. Выбравшись из автобуса, я тут же разжал ладонь — и все банкноты до одной разлетелись в разные стороны. У нас не осталось ни гроша. Гала, она так рыдала, бедняжка! С тех пор она вечно боится, что я потеряю деньги, и умоляет меня носить с собой чековую книжку. Но вот уж сегодня я докажу ей, что способен заплатить сам — и наличными.

Он был сущим ребенком. Гала оставалась для него не только женой и личным менеджером, который занимается всеми делами, но еще и любимой мамочкой — которой непременно хочется сделать что-нибудь приятное и никогда не причинять никаких огорчений.

Дали от души радовался возвращению Галы из Греции. Он готовил праздник: приказал поставить в патио покрытый белой скатертью длинный стол с графинами, фруктами и свечами, который напоминал алтарь с дарами. Иначе говоря, все, как обычно, сводилось к некоему подобию литургии, наполнялось торжественным смыслом...

Накануне приезда Галы после полудня разразился сильный ливень, и мы работали в мастерской.

— В это время года всегда собираются огромные тучи, — заметил он, — весь Кадакес бывает буквально затоплен водой. Собаки тонут, и видно, как их относит в море. Настоящее эпическое бедствие. А завтра приедет Гала, и вновь засверкает солнце, вот увидите. Все будет чистым, вымытым, блестящим. И снова вернется лето — для сладостной поры супружеского счастья.

Мэрия Барселоны недавно заказала Дали расписать потолок в Паласето Альбенис — этот небольшой дворец служил официальной резиденцией для высокопоставленных гостей города. Паласето находился в Монтжуике, на холме с видом на Барселону, неподалеку от Испанской деревни, куда водил меня Дали. Роспись должна была иметь форму круга диаметром около четырех метров. Пока Дали плохо представлял себе сложную архитектуру зала. Он поручил Беа сделать точные расчеты, потом написал восхитительное небо в стиле Тьеполо с растекающимися часами, подвешенными за край тянущейся к центру щели. Это круглое полотно затем было наклеено на потолок в зале, а первым гостем дворца несколько лет спустя стал молодой король Хуан Карлос. (Работа над этим потолком навела Дали на мысль заново расписать другой свод — куда большего размера, в главном зале своего музея-театра в Фигерасе.)

Время после полудня мы провели, занимаясь живописью под негромкие звуки стоявшего в мастерской маленького транзистора. Дали напевал "Гуантанамеру"... Я работала над маленьким полотном — писала голову ангела, вдохновленная Леонардо да Винчи. Я пользовалась красками Дали фирмы "Блок" и его куньими кистями.

– Мне нравится то, что вы делаете, – заметил он, бросив взгляд на мою работу. – Но лучше оставить все как есть, незаконченным. Вы рискуете испортить картину, если будете продолжать. Да, сразу видно, что вы учились живописи. – Он одобрительно покачал головой. – Этот ваш ангел очень понравится Гале. Идея! Вы должны подарить картину ей.

У меня не было ни малейшего желания расставаться с ангелом, но и выбора тоже не было. В результате я лишилась своего полотна, и Гала хранила его у себя.

– Гала находит, что вы хоть и женщина, но не лишены некоторого таланта, – признался мне позже Дали. – Она считает, что вам следовало бы куда больше писать с натуры.

Полагаю, это был комплимент. Так или иначе, но Дали пообещал к следующему моему приезду найти мне натурщиков.

Гала вернулась из Греции слегка усталая, но в прекрасном расположении духа. Она привезла подарки, в том числе искусно отделанную маленькую пудреницу для меня.

– Вы ее положите в сумочку в тот день, когда наконец выбросите вон свою чудовищную котомку, которую, говорят, таскаете с собой даже к "Максиму".

Дали буквально осыпал ее знаками внимания, с гордостью показывал свои новые приобретения и представлял друзей, явившихся в патио поприветствовать хозяйку дома. Заметив, как она болтает с Друо, он наклонился ко мне и, понизив голос, заметил:

– Она довольна. Она сделала вам подарок. Знаете, вы ей нравитесь, а это большая редкость.

Но Гала уже пристально смотрела в нашу сторону.

– Эй, вы там! – резко бросила она. – Что за перешептывания такие... Сплетничают, как две сороки. Если хотите, я могу завтра же снова уехать.

Она притворялась, будто сильно гневается. Смеясь, Дали крепко обнял ее, но она с деланым отвращением оттолкнула его, приговаривая:

– Надеюсь, ты по крайней мере не подхватил от нее блох, от этой своей Аманды? Она ведь вечно якшается с хиппи и актерами из того театра, как его бишь, ну того, где была чесотка. Я и названия-то не запомнила...

Вечер завершился сарданой – каталонскими танцами под звуки небольшого оркестрика из флейт и тамбуринов. Танцевал даже Артуро, и я тоже попробовала, хотя сардана лишь на первый взгляд кажется простой. Дали обожал сарданы, легко узнавал любую мелодию и называл мне: "Girona Aimada" ("Любимая Жерона"), незабываемые композиции Пепы Вентуры, "El cant dels ocells" ("Пение птиц") и "Per tu ploro" ("О себе плачу"). Для достойного завершения праздника не хватало разве что фейерверка.

Окончание в следующем номере

Дж. М. Кутзее

Он и его слуга

Нобелевская лекция

Перевод с английского Сергея Ильина

Нобелевская премия 2003 года

Но возвращаюсь к моему новому товарищу. Он мне очень нравился, и я вменил себе в обязанность, научить его всему, что могло быть полезным ему, а главное говорить и понимать меня, когда я говорил. Он оказался таким способнейшим учеником...

Даниэль Дефо. *Робинзон Крузо*[1]

Бостон, что на побережье Линкольншира, город красивый, пишет его слуга. В нем можно видеть высочайшую колокольню Англии — корабельные штурманы прокладывают с ее помощью курс. Вкруг Бостона расстилаются топи. Здесь множество выпей, зловещих птиц, издающих мощные стенания, настолько громкие, что их слышно и за две мили, точно пушечный выстрел.

В болотах, пишет его слуга, немало и прочих птиц — уток и крякв, чирков и свиязей, для поимки коих жители болотного края, болотные люди, воспитывают уток ручных, которых они называют обманками, или обутками.

Топи суть пространства болот. Такие пространства разбросаны по всей Европе, по всему миру даже, только там они называются иначе, чем здесь: не "фенами" — *fen* слово английское и к перемещеньям не склонное.

Этих линкольнширских обуток, пишет его слуга, держат в особых заводях и приручают, кормя с руки. Потом, когда приходит время, их шлют за границу, в Голландию и в Германию. В Голландии и в Германии они сводят знакомство с себе подобными, и, увидев, сколь жалкое существование влачат голландские либо немецкие утки, как промерзают их реки, как землю их покрывает снег, немедля осведомляют их — на языке, каковой они делают им понятным, — о том, что в Англии, откуда сами они родом, все совершенно наоборот: у английских уток имеются побережья, полные питательной пищи, приливы, привольно всходящие вверх по рекам; у них есть озера, ручьи, заводи открытые и заводи прикрытые, а земля там усыпана зерном, которое оставляют сборщики колосьев; и никаких тебе снегов и морозов, ну разве что самые легонькие.

Таковыми россказнями, пишет он, излагаемыми все сплошь на утином языке, они, утки-обманки, или обутки, сбивают воедино огромные стаи дичи и, так сказать, похищают их. Они проводят эти стаи из Голландии и Германии через моря и высаживают на обманные заводи в топях Линкольншира, все время тараторя

© The Nobel Foundation, 2003
© С. Ильин. Перевод, 2004

1. Перев. М. Шишмаревой. Цитируется по изданию "ACADEMIA", 1935.

и треща на их языке, уверяя, что это и есть те самые заводи, о коих они говорили и в коих теперь все будут жить в безопасности и довольстве. И пока они занимаются этим, обманные люди, хозяева обманных уток, прокрадываются в построенные ими из камыша укрытия, или прикрытия, и, оставаясь незримыми, пригоршнями сыплют на воду зерно; а утки-обманки, или обутки, плывут к ним, ведя за собою зарубежных гостей. И так, дня за два или три, они заводят своих гостей в протоки все более и более узкие, — неизменно крича им: смотрите, что за жизнь у нас в Англии, — покамест не приведут туда, где расставлены сети.

После этого обманные люди спускают обманную же собаку, каковая отменно обучена плавать за птицами, гавкая на плаву. Утки, до крайности перепуганные этой ужасной тварью, вспархивают, но дугою растянутые по воздуху сети принуждают их снова садиться на воду и там плавать, а то и гибнуть под сими сетями. Сети же все стягиваются и стягиваются, точно мошна, а на конце их стоят обманные люди, вынимающие пленниц одну за другой. Уток обманных они поглаживают и хвалят, что же до гостий, то тех бьют прямо на месте дубинками по головам, и ощипывают, и продают их сотнями, если не тысячами.

Обо всех этих новостях из Линкольншира слуга его пишет рукой опрятной и скорой, перьями, кои он затачивает перочинным ножом каждодневно, перед тем как схватиться с новой страницей.

В Галифаксе, пишет его слуга, стояла, пока ее не убрали во время правления короля Якова Первого, казнительная машина, работавшая так. Приговоренный укладывал голову на устроенное на плахе перекрестье из брусьев или же чашу, а палач выдергивал шпынек, удерживавший на месте тяжелое лезвие. Лезвие опадало по раме, высокой, как церковные двери, и сносило человеку голову — чисто, точно мясницкий нож.

В Галифаксе существовал, впрочем, обычай, согласно которому, если в промежутке между выдергиванием шпынька и падением лезвия, приговоренный успевал вскочить на ноги, сбежать по холму и переплыть реку, оставшись при этом не пойманным палачом, ему даровали свободу. Однако за все те годы, что простояла в Галифаксе эта машина, такого не приключилось ни разу.

Он (не слуга его, а сам он) сидит в своей комнате в Бристоле, на берегу, и читает все это. Он постарел, почти уже можно сказать, что человек он годов преклонных. Кожа его лица, едва ли не почерневшая под тропическим солнцем, пока он не изготовил, чтобы дать себе тень, зонтик из листьев пальмы или пальметто, теперь поблекла, но все осталась сухой, как пергамент; на носу же заметна причиненная солнцем язва, которая так и не зажила.

Парасоль та все еще с ним, в его комнате, стоит в углу, а вот попугай, с которым он вернулся домой, скончался. "Бедный Робин! — клекотал, сидя на его плече, попугай. — Бедный Робин Крузо! Кто спасет бедного Робина?" Жена его не выносила попугаевых причитаний — "Бедный Робин", и так день за днем. "Я ему шею сверну", — грозилась она, да все, видать, храбрости не хватало.

Когда он вернулся со своего острова в Англию, — с попугаем, и парасолью, и с набитым сокровищами сундуком, — то поначалу жил со своей старухой-женой достаточно спокойно — в поместье, которое купил в Хантингдоне, ибо он стал человеком богатым, еще и больше разбогатевшим после того, как издал книгу о своих приключениях. Однако годы, проведенные на острове, а после и годы странствий с лакеем его, Пятницей (бедный Пятница, сетовал он про себя, клёк-клёк, ибо попугай имени Пятницы не произносил никогда), отбили у него охоту жить жизнью джентльмена-домоседа. Да, если правду сказать, и жизнь супружеская тоже оказалась разочарованием. Он обнаружил, что все чаще и чаще сбегает в конюшню, к своим лошадям, которые, благослови их Господь, не болтали, но тихо ржали, когда он входил, показывая, что узнают его, а после помалкивали.

Ему, вернувшемуся с острова, где он до появления Пятницы жил в безмолвии, представлялось, что в мире слишком много разговоров. Лежа рядом с женой в постели, он чувствовал себя так, точно на голову ему сыплет-

ся дождик из гальки, бесконечно шурша и постукивая, между тем как он желал лишь одного — мирного сна.

И потому, когда жена испустила дух, он оплакал ее, но не опечалился. Похоронив ее, он выждал приличное время, а после занял эту комнату в трактире "Веселый матрос", что в бристольской верфи, предоставив сыну управление хантингдонским поместьем и взяв с собой лишь островную парасоль, прикрепленное к насесту чучело попугая да несколько самых необходимых вещей, и с той поры жил здесь один, днем гуляя по верфи и причалу, вглядываясь в море, на запад, ибо зрение у него еще оставалось острым, да куря трубку за трубкой. Что до еды, то ее приносили прямо в комнату — общество людей ему, свыкшемуся на острове с одиночеством, никакой радости не доставляло.

Он утратил вкус к чтению, однако описание собственных приключений оставило в нем привычку к писательству, досугу довольно приятному. Засветив вечерами свечи, он вынимает бумагу, вострит перо и исписывает страницу-другую от имени своего слуги, человека, посылающего отчеты касательно обуток Линкольншира и огромной машины смерти из Галифакса, от которой можно и уклониться, если успеть вскочить на ноги и сбежать по холму, и проделать много чего еще. Где бы он ни появлялся, этот занятой слуга, первое его занятие — прислать описание того места.

Прогуливаясь вдоль стены гавани, размышляя о машине из Галифакса, он, Робин, которого попугай привык называть бедным Робином, роняет в воду камушек и вслушивается. Проходит секунда, меньше секунды, прежде чем галька ударяется о воду. Милость Господня быстра, но не может ли огромное лезвие из закаленной стали, которое будет потяжелее да еще и салом смазано, оказаться быстрее? Как нам вообще от него уклониться? И представителем какой породы должен быть человек, рыщущий по стране взад и вперед, от одного смертоубийства к другому (дубинкой по затылку, голову долой) и посылая о них отчет за отчетом? Деловой человек, думает он. Пусть будет деловым человеком — торгует зерном или кожей, допустим, а то и производит либо поставляет кровельную черепицу из каких-нибудь мест, в которых довольно глины, из того же Уоппинга, скажем, и много разъезжает в интересах дела. Пусть процветает, дадим ему жену, которая любит его и не болтает слишком много, и вынашивает его детей, все больше дочек; пускай он будет счастлив в разумных пределах, а после пусть его счастье возьмет да и оборвется. В одну из зим взбухнет Темза и смоет печи, в которых обжигалась его черепица, или склады его зерна, или кожемятни; и вот он разорен — этот его слуга, — и кредиторы слетаются к нему, точно мухи или вороны, и ему приходится бежать из дома, бросив жену и детей, и искать прибежища в самых убогих кварталах улицы Нищих, под чужим именем, изменив обличие. И все это — натиск воды, крушение, побег, безденежье, отрепья, одиночество, — все это будет аллегорией крушения корабля, аллегорией острова, на котором он, бедный Робин, провел оторванным от мира двадцать шесть лет, пока почти не сошел с ума (да, собственно говоря, кто же сказал, что и не сошел, в определенной-то мере?).

Или вот еще, пусть будет он шорником — дом, лавка и склады в Уайтчепеле и бородавка на подбородке, и жена, которая любит его и не болтает, и вынашивает его детей, все больше дочек, и дает ему столько счастья, пока на город не обрушится чума — это год 1665-й, великий пожар Лондона еще впереди. Чума обрушивается на Лондон что ни день, на один приход за другим, и счет мертвецов все возрастает, богатых и бедных, ибо чума к положению в обществе безразлична, и все мирское богатство этого шорника не сможет его спасти. Он отсылает жену с дочерьми в деревню, он хочет бежать и сам, но потом передумывает и не бежит. "Не убоишься ужасов в ночи, — читает он, открывши Библию наугад, — стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится".

Сочтя это знамением, знамением безопасности, он остается в пора-

женном чумой Лондоне и садится писать отчеты. На улице, пишет он, я увидел толпу, и женщина посреди нее указывала в небеса. "Смотрите, — кричит она, — ангел, весь в белом, грозит нам огненным мечом!" И вся толпа кивает в согласии. "И верно, — говорят люди, — вон он, ангел с мечом!" Однако шорник не видит ни ангела, ни меча. Он видит лишь странного обличья облако, светящееся с одной стороны ярче, чем с другой — от сверкания солнца.

"Это иносказание!" — кричит на улице женщина, он же, хоть убей, никакого иносказания тут не усматривает. Так говорится в его отчете.

На следующий день, проходя в Уоппинге вдоль реки, слуга его, бывший прежде шорником, но ныне оставшийся без дела, замечает, как женщина кричит из двери своего дома мужчине, плывущему в плоскодонке: "Робин! Робин!" — зовет она; и как мужчина подгребает к берегу и, взяв из плоскодонки мешок, укладывает его на прибрежных камнях, и отплывает опять дальше, женщина же, спустившись к воде, поднимает мешок и с видом прегорестным тащит его домой. Он окликает мужчину, Роберта, и заговаривает с ним. Роберт сообщает, что женщина эта — его жена, а мешок вмещает недельный запас пропитания для нее и детей: мясо, масло, грубого помола муку; вот только он не смеет приблизиться к ним ко всем, к жене и детям, потому что их поразила чума, и это разрывает его сердце. И все это — мужчина по имени Роберт, и жена, перекликающаяся с ним над водой, и мешок, оставляемый на берегу, — значительно, разумеется, и само по себе, но обозначает также и его, Робинзона, одиночество на острове, где он в темнейший час отчаяния своего взывал над волнами к Англии, к возлюбленным своим, чтобы те спасли его, а в другие времена плыл к остову корабля, чтобы поискать там припасов.

А вот и еще рассказ о том времени скорби. Не способный долее сносить страдания, кои причиняют ему вздутия в пахах и под мышками, каковые суть признаки чумы, человек, подвывая, выбегает в чем мать родила на улицу, на Харроу-аллей в Уайтчепеле, скача, и подпрыгивая, и производя тысячи странных жестов, а тот, шорник, видит его и видит, как жена мужчины и дети, стеная, бегут за ним и умоляют его вернуться. И эти прыжки и подскакивания суть аллегория собственных его скачков и прыжков, когда он, пережив кораблекрушение, рыскал в поисках товарищей по плаванию, и, не сыскав ничего, кроме пары ботинок, да и те с разных ног, понял, что очутился один на диком острове и, скорее всего, погибнет без всяких надежд на спасение.

(Но о чем же еще, гадает он, втайне поет этот несчастный, пораженный чумой человек, о котором он прочитал, — о чем, помимо безысходного своего одиночества? К кому взывает он через воды и годы из скрытой от всех пещеры своей?)

В прошлом году он, Робинзон, заплатил матросу две гинеи за попугая, которого тот вывез, по словам его, из Бразилии, — за птицу, не столь величавую, как его возлюбленное создание, но все-таки великолепную, с зелеными перьями, алым хохолком и к тому же, если верить матросу, весьма говорливую. И вправду, птица сидела на жердочке в комнате трактира, прикованная за ногу цепочкой, чтобы не улетела, и повторяла слова: "Бедный Попка! Бедный Попка!" — раз за разом, пока он не накрыл ей голову клобучком; однако, чтобы выучиться каким-то иным словам — "Бедный Робин!", к примеру, — она, наверное, слишком стара.

Бедный Попка, вглядываясь через узкое оконце в верхушки мачт и за верхушками мачт в серый, взбухающий Атлантический океан: "Что это за остров, — спрашивает Бедный Попка, — на который меня занесло, столь холодный, столь мрачный? Где ты, Спаситель мой, в час великой моей нужды?"

Человек, напившись пьян и припозднившись (еще один рассказ его слуги), засыпает у ворот Криппгейт. Мимо едет телега, наполненная мертвыми телами (мы еще не покинули год чумы), и тамошние жители, решив, что человек этот мертв, кладут его на телегу, к покойникам. Все дальше и дальше влачится телега, близясь к яме для мертвецов, к той, что в Маунтмилле, и возница, чье лицо обвязано тряпьем, дабы уберечься от миазмов, ухватывает человека, на-

мереваясь свалить его в яму, а тот, очнувшись, противится и вскрикивает в изумлении: "Где я?" — вопрошает он. "Тебя вот-вот похоронят меж мертвых", — отвечает возница. "Но разве я умер?" — спрашивает человек. И это тоже аллегория — его жизни на острове.

Кое-кто из обитателей Лондона так и бегает по делам, почитая себя здоровым, полагая, что все обойдется. Однако втайне они носят в крови чуму, и когда зараза достигает сердец их, падают замертво на месте — так сообщает его слуга, — словно пораженные молнией. А вот это уже аллегория жизни, жизни в целом, как она есть. Должное приготовление. Нам должно приготовляться к смерти, иначе нас поразят там, где мы стоим. Так и он, Робинзон, внезапно постиг это на острове, когда в один прекрасный день увидел в песке отпечаток ступни человека. То был отпечаток, а следовательно, и знак — ступни, человека. Но и не только их. "Ты не один, — сказал отпечаток, и еще: — Куда бы ты ни заплыл, где б ни укрылся, тебя все равно найдут".

В год чумы, пишет его слуга, люди из одного только страха бросали все: дома, жен и детей и бежали так далеко от Лондона, как только могли. Когда же чума миновала, бегство их осудили как трусость — все. Но, пишет его слуга, мы забываем, какого рода отвага нужна, чтобы противостоять чуме. Не просто отвага солдата, вцепившегося в оружие и бросившегося на врага: тут приходилось бросаться на Смерть саму на бледном ее коне.

Даже в лучшие минуты свои попугай, любимейший из двоих, не произносил ни слова сверх тех, каким обучил его хозяин. Как же тогда случилось, что *этот* его слуга, тоже ведь попугай, да и не такой уж любимый, пишет не хуже, если не лучше, хозяина? Ибо он, слуга его, превосходно владеет пером, в этом сомневаться никак не приходится. "Тут приходилось бросаться на Смерть саму на бледном ее коне". Собственное его мастерство, приобретенное в счетной конторе, сводилось к подбиванью итогов и сведенью счетов — не к владению слогом. "Смерть саму на бледном ее коне" — подобной фразы он и придумать бы не сумел. Только когда он отдается слуге своему на милость, такие слова и приходят к нему.

Да те же обманные утки, или обутки: что знает он, Робинзон, про обманутых уток? А ничего, и не знал ничего, покамест слуга его не стал присылать ему сообщения.

Обутки линкольнширских топей, огромная машина для казней в Галифаксе: отчеты о проведенном, похоже, его слугой обширном обследовании британского острова, которое есть аллегория обследования собственного его острова, совершенного в построенном им челноке, обследования, показавшего, что у острова есть другая, дальняя сторона, темная, скалистая, негостеприимная, каковой он впоследствии избегал, хотя, если в будущем явятся колонисты, они, быть может, исследуют ее и осядут на ней, и это тоже станет аллегорией — темной стороны души и света.

Когда первые шайки плагиаторов и подражателей налетели на историю его острова и начали скармливать публике подложные рассказы о жизни людей, потерпевших кораблекрушение, они представлялись ему ордой каннибалов, кормившихся собственной его плотью, а вернее сказать, жизнью, о чем он не преминул заявить. "Когда я сражался с каннибалами, кои искали повергнуть меня погибели, и зажарить, и сожрать, — писал он, — то думал, будто сражаюсь с явлением как таковым. В те времена я не ведал, — писал он, — что каннибалы эти лишь аллегория ненасытности более дьявольской, способной вгрызаться в самую плоть истины".

Впрочем, теперь, после долгих раздумий в грудь его начинает прокрадываться что-то вроде сочувствия к подражателям. Ибо ему представляется ныне, что в мире и есть-то всего лишь горстка настоящих сюжетов, и если юным запретить кормиться от стариков, им, юным, так и придется просидеть весь век свой в безмолвии.

Вот так же в рассказе о своих приключениях на острове он говорит о том, как однажды ночью проснулся в ужасе, уверенный, что сам дьявол улегся к нему в кровать в образе огромного пса. И он, вскочив на ноги, схватил тесак и стал рубить им налево-направо, пока бедняга попугай, спавший рядом с его ложем, не

завопил в тревоге. И только многие дни спустя он понял, что ни пес, ни дьявол на него не налегали, а дело все было в некоторой форме недолгого паралича, из-за которого он не мог пошевелить ногой — оттого и решил, будто кто-то разлегся поверх него. Урок же, из этого случая проистекающий, сводится, надо думать, к тому, что любые недуги, включая и паралич, исходят от дьявола, что они-то самый дьявол и есть; что явленье недуга может быть аллегорией явления дьявола или пса, каковой есть и сам аллегория дьявола — и наоборот, явлением, каковое есть аллегория недуга, как в рассказе шорника о чуме, а потому ни от кого, кто пишет рассказы о них — о дьяволе или чуме, — не следует сразу отмахиваться, как от лжеца или проходимца.

Когда много лет назад он решился предать бумаге историю своей жизни на острове, то обнаружил, что слова к нему не идут, перо не бежит по листу и самые пальцы его коченеют, не желая трудиться. Но день за днем, шаг за шагом, он осваивал писательское ремесло, пока приключенья его и Пятницы не покатились с закоченевшего севера страницы все дальше — легко и даже бездумно.

Эта давняя легкость сочинительства, увы, оставила его. Когда он садится теперь за письменный столик у окна, выходящего на бристольскую гавань, руки его оказываются столь же неловкими, а перо — орудием столь же чуждым, как прежде.

Легче ли управляться с писательством тому, другому, — его слуге? Рассказы его об утках, машинах смерти и Лондоне во время чумы довольно гладки, однако и сам он когда-то писал не менее гладко. Возможно, он неверно судит о нем, об этом маленьком франте с бородавкой на подбородке. Возможно, в самую эту минуту тот одиноко сидит в некой комнате, снятой им где-то в пространном королевстве, и макает перо в чернила, и макает опять, исполняясь сомнений, и колебаний, и запоздалых мыслей.

Как можно изобразить их, его и его слугу? Как братьев, братьев-близнецов? Как товарищей по оружию? Или как недругов, врагов? Какое имя даст он этому безымянному сотоварищу, с которым делит свои вечера, а порою и ночи, который отсутствует только днями, когда он, Робин, прохаживается по причалу, вглядываясь в новоприбывших, а слуга его носится по королевству, составляя заметки?

Заедет ли этот его слуга, совершая свои объезды, когда-нибудь в Бристоль? Он хочет увидеть его во плоти, пожать ему руку, пройтись с ним вместе по молу, послушать рассказы о наездах на темный север острова, о приключениях в писательском деле. Но он боится, что встретиться им не придется, во всяком случае в этой жизни. Если бы он попытался описать их двоих, своего слугу и себя, он написал бы, что они подобны двум кораблям, идущим друг другу навстречу — один на запад, другой на восток. Или, вернее, матросам, которые возятся с такелажем — один на судне, что идет на восток, другой на том, что на запад. Суда их проходят бок о бок, достаточно близко, чтобы обменяться приветствиями. Но море бурно, погода штормовая, глаза их залеплены брызгами, ладони горят от снастей, и они минуют один другого, и им недосуг даже махнуть друг другу рукой.

Лев Аннинский
Переобретение свойств

О книгах Петера Эстерхази “Harmonia cælestis” и “Исправленное издание”. Приложение к роману “Harmonia cælestis”

Грех творит веру.

Петер Эстерхази.
Harmonia cælestis

1

Если бы о Петере Эстерхази можно было сказать только то, что он включил (вернул?) венгерскую словесность в мировой литературный контекст, предъявив миру “оригинальную, не эпигонскую версию постмодернизма центральноевропейского образца”[1], — то одно это уже есть событие!

“Центральноевропейский образец” — вызов не только восточноевропейской тотальности (нам с вами, нашему “соцреализму”), это вызов и тотальности западноевропейской (англо-американскому атлантизму как очередному образцу жизни для “всего человечества”).

Что же там, в “Центре Европы”? Как это у Музиля... *Человек без свойств?*

Именно. Эстерхази сам говорит: “Мы вернулись к тому, чем кончил Музиль: человек без свойств ищет собственную идентичность”.

Все это заставляет нас, стоящих у врат Европейского Дома, вслушаться в то, что говорит знаменитый венгр.

Хотя есть и другие удивительные вещи.

2

Знаете, что помогло Петеру Эстерхази, мучившемуся над концовкой романа, с честью завершить его, окончательно найдя “форму”?

Чтение “Бесконечного тупика” нашего Галковского!

Ну, фантастика.

Живой классик, увешанный премиями, наследник самой, может быть, громкой венгерской фамилии всех времен, роман которого уже признан книгой десятилетия, публицист, обогнавший на российском конкурсе эссеистов года таких властителей дум, как Бродский, Вайль, Сонтаг и Гойтисоло, — называет в качестве образца нескончаемую интеллектуальную паутину Галковского, оценить прелесть которой могут только изощренные почитатели Розанова...

А ведь понятно. Наш Галковский чем взял? Не стал наводить видимость логики в хаосе ирреальности, которая сама знает, что она ирреальность, а пронумеровал фрагменты порядковыми числами до бесконечности. Тупик оказался преодолен эстетически.

Пронумеровал свои эпизоды и Эстерхази, превратив роман “Harmonia cælestis” в симфонию фрагментов, по-видимости безотчетных, но запрограммированных именно в этой безотчетности.

Я нумерую свои заметки — из жанровой солидарности: энергетика заражает.

3

Блестящий переводчик и тонкий комментатор романа Эстерхази Вячеслав Середа замечает, что внешняя “несостыкованность” кусков есть прием, позволяющий романисту обозначить структуру там, где по определению структуры нет.

Если бы я не боялся аналогий, то вспомнил бы Куинджи, который писал небо, закрывая на полотне землю, и землю — закрывая небо, — так он избегал той априорной заданности, той пошлости заранее известных

1. Формулировка переводчика, В. Середы. “ИЛ”, 2002, № 10, с. 124.

"свойств", которые подменяют реальность. Вернуть зрению первозданную чистоту через "фасеточность" глаза — отрешившись от мнимой "объемности", идейной предосмысленности, окаменелой "познанности" мира. Передать "деконструктивность" Вселенной через "деконструктивность" текста. Отчаянную дисгармонию земли — через чаемую гармонию неба.

Правая рука как бы не ведает, что делает левая. В первой части романа — "модель бытия", во второй части — "история семьи", ничего не ведающей про "модель".

Судьба отвечает автору недоброй шуткой: едва он завершает роман, из архивов сваливаются на его голову такие материалы (о которых он, автор, конечно, не знал ничего), что приходится ему писать третью часть: "Исправленный вариант".

Эта стереофония "свойств" реальности (контрапункт, расстыковка) настолько хороша для передачи ее невменяемости, что я и здесь подхвачу прием: сначала оценю вариант неисправленный, как бы не зная об исправленном, а потом решу (вместе с читателем), верить или не верить исправленному.

4

Вариант неисправленный:
человек освобождается от реальности и от ее "свойств"

Свойства этой окаменело-невменяемой реальности видны из того, что время от времени являются насильники. Немцы. Русские. Или, беря другой прицел: коммунисты, гэбэшники (в тексте: "коммуняки", "гэбня" — последнее слово побуждает меня оценить усилия переводчика).

Комментируя описанные таким образом свойства проклятого двадцатого века, я должен признаться, что нахожусь в некотором сомнении. Должен ли я, сын русского коммуниста, отвечать за всех "русских" или за "коммунистов" как таковых? Сам Эстерхази все время нейтрализует свойства этих коллективных монстров с помощью "тотальной иронии", как бы освобождая меня от необходимости отвечать всерьез. Однако поливает он их иронией именно потому, что непрерывно возобновляет в качестве раздражителей. Он же не говорит о себе только как о носителе мирового духа, лишенного свойств, — он охотно вспоминает также "пастушьи костры праотцов".

Ну, раз так существуют с праотческих времен *венгры* как одно из свойств мировой реальности, то позволительно всмотреться и в других. В немцев. В русских.

Читаем:

"Немцы и русские в сорок пятом занимали замок поочередно, причем первые вывозили мебель, предметы искусства, картины и вазы весьма аккуратно, с пиететом к культурному достоянию, по реестру, последние же..."

О "последних" чуть ниже, а пока оценю точность немецкого портрета. Немцы вовсе не грабят, не воруют, не присваивают чужое и поэтому не прячутся: они просто инвентаризируют ценности, прибирают в единый реестр. И Европу они вовсе не завоевывают, Европа — их собственность изначально, они просто наводят в ней порядок — "Новый порядок в Европе".

5

А русские?

Продолжаю цитату:

"...Последние же поступали больше по велению сердца, блюли чистоту — к примеру, нужду справляли не на полу, а приспособив для этой цели разбитые, раскуроченные печи с херендскими, в стиле рококо, изразцами, украшенными вензелем Эстерхази с зелеными веточками, а когда обнаружили во дворе нужник, то грязную глинистую дорожку к нему опрятно выложили фолиантами в толстых кожаных переплетах подходящего для сей цели формата — томами Энциклопедии, а кроме того, неделями, изо дня в день, жарили в горящих роялях барашков, тщательно укладывая полутуши на струны..."

Картинка тоже весьма проницательная. Понимаешь, что в томах Энциклопедии, укладываемых вокруг нужника, русские не могут прочесть ни строчки, и, стало быть, эти фолианты для них не попираемые духовные ценности, а предметы чисто физические...

И рояли тоже?

Я вынужден задать Петеру Эстерхази встречный вопрос: а гунны, двигавшиеся с востока на запад в V веке, шли по пустому месту? Или им все-таки приходилось натыкаться на жилье местных жителей: скифов, славян, хозар, римлян, германцев, летописцы которых и окрестили Аттилу бичом Божиим? И что, эти гунны жарили барашков, сообразуясь с правилами местных культов? Многое ли они могли прочесть на тех идолищах, деревянные остовы которых удобно было укладывать в "топи блат", пролагая дорожки к нужникам?

"Китайцы", – подумал маленький Петер о русских, которые в 1956 году пришли обыскивать дом и для забавы пристрелили в огороде козла.

"Не китаец, а азиат, – поправила... мать, но мы посмотрели атлас, Китай оказался в Азии. Мать, качая головой, вынуждена была с этим согласиться. Сестренка, конечно, пыталась умничать. Китай – это Азия, но Азия – не Китай. Что за глупость! А вот и не глупость: все китайцы – азиаты, но не все азиаты – китайцы. Этого мы не поняли. Ну, как же, все, кто находится в комнате, – люди, но не все люди находятся сейчас в комнате, например тетя Клотильда сейчас у себя наверху, хоть это-то вам понятно? Понятно, соврали мы".

Если брать эту реальность как заведомый фрагментарий, то и нам все понятно: хочу – помню, что гунны из Китая, хочу – не помню. Но если держать в уме *свойства* исторической реальности как целого, то приходится все-таки помнить, в ходе каких событий (бог с ними, с гуннами) русские оказались в Венгрии после 1945 года. И почему дальний родственник Эстерхази (допустим, четвероюродный брат какой-нибудь всеми уважаемой тетушки) "погиб на Дону"? Его туда звали? Что он там делал? Может, спросить об этом какую-нибудь тетю из казачек, а заодно прояснить сравнительные свойства оккупантов-мадьяр и, скажем, оккупантов-румын – не все же валить на немцев и русских?

Говоря о свойствах венгерского национального характера, Петер Эстерхази упоминает "мадьярскую истовость". Очень хорошо: когда у "человека без свойств" обнаруживаются свойства, это уже приглашение к диалогу. И можно эти свойства обдумывать.

Оставим "немцев", "русских", "китайцев", "гуннов" и разных прочих шведов. Повернемся от коллизий национальных к битвам социальным, где действуют "коммуняки".

6

Все, что сказано Петером Эстерхази о коммунистах, осложнено, оттенено, а часто и опровергнуто его "тотальной иронией". И, однако, он все время повторяет это опровергаемое представление, непрерывно вживляя его в свой художественный космос.

Коммунист – "человек той породы, которой для меня не существовало, а если она и существовала, то как воплощение террора, гнусности и коварства, как нечто, о чем и думать не следует; человек не может быть коммунистом, коммунист не может быть человеком, он не такой, как мы, а бандит, уголовник, продажный наймит, и нечего им заниматься, а если и заниматься, то только по одной причине: он тоже ведь занимается нами, хочет нас погубить, в этом лишь смысле он и заслуживает внимания – как бешеная собака, как крыса или, допустим, вошь".

Иногда "коммуняки" с копытами, иногда нет; это неважно. Иногда они что-то говорят, иногда молчат, но и это ничего не меняет: чем более пусты их разговоры, тем ощутимее угроза. Во все это лучше не вникать – оно само о себе заявит: придут "взломать ворота усадьбы, потребовать у хозяйки, беременной женщины, драгоценности, расстрелять не задумываясь ее мужа, вышедшего в ночной рубашке узнать, что за шум, расстрелять четырехлетнего малыша, также вышедшего в ночной рубашке на шум, а затем, двумя выстрелами, и женщину, которая чудом все же спаслась и столь же чудесным образом родила младенца, раненного в утробе, – поэтому когда дед неожиданно, прямиком из кутузки, целый и невредимый, но обовшивевший и мечтающий только о ванне, вошел в гостиную, он сразу понял, что в доме беда".

Насчет усадьбы, ванны и прочих атрибутов аристократизма поговорим ниже, а пока оценим чисто *худо-*

жестве́нный ри́тм выхода навстречу пулям жертв в ночных рубашках – все-таки недаром Петер Эстерхази признан одним из лучших писателей Европы. И еще: то, что страшней пуль – гогот головорезов. Их дикость.

Там есть маленькая ремарка: *на самом деле* головорезы не стреляли, но они ржали, грабя усадьбу. Попробуй вынеси.

Когда жить в усадьбе стало невыносимо, некоторые ее обитатели "отселились в охотничий замок, приспособленный под усадьбу".

7

Террор от эпохи к эпохе меняет стилистику, но можно уловить и лейтмотив.

В 1919 году, когда коммунизм потерпел фиаско, то первыми, поджав хвосты, пришли целовать барину ручку самые отъявленные смутьяны.

"Барин и барский дом считались в селе неприкосновенными. Словами это не объяснишь, но даже во время коммуны мне доводилось слышать от возмущенных егерей и охранников, такой-то, мол, – ужасный коммунист, потому как осмелился громко свистеть или кричать рядом с усадьбой...

– А я и не знала, что у нас революция, – рассмеялась графиня... Деду и бабушке пришлось ютиться в трех-четырех комнатах... Это тоже вопрос глазомера (ютиться)".

Последнее замечание рассказчика побуждает меня очередной раз оценить его "тотальную иронию".

Читаем дальше.

"Хотя с экспроприаторами тетя Мия и бабушка были на "вы", те вели себя будто члены семьи. В самом деле, поди отличи их от родственников: приходят когда им вздумается, и, рады мы им или нет, в любом случае встречаем с хорошей миной, потому как это в наших же интересах. Глянь-те-ка, еще один родственничек, встречали очередных незваных гостей бабушка с тетей Мией".

И бабушку с тетей не гнали прикладами в столыпинский вагон? Не клали ничком под автоматами? Не вталкивали в барак зоны, наскоро огороженной колючей проволокой посреди пустой степи?

Прошу прощения за эти азиатские параллели: потомок гуннов сам вызвал их из моего подсознания. Постараюсь свести их к минимуму и вообще уберу в скобки.

Следим далее. Вихрь исторических событий влечет нас вперед в 50-е годы. Героев романа коммуняки ссылают из усадьбы в деревню. Поскольку это не очень далеко, "отец принимает решение вызвать для бабушки с тетей Мией такси. Интересно, что даже впоследствии никому это не казалось странным. В ссылку – но все-таки на такси!". (А не в вагонзаке, не в собачьем ящике, не в трюме баржи. – *Л. А.*)

"Столичных переселенцев определили в особую бригаду – для слабосильных... плохая работа, плохая оплата, да и работали они плохо... но отца очень быстро перевели в нормальную бригаду, для своих". (Не на лесоповал, не в урановый рудник – *Л. А.*)

"Работать отец умел, хотя никогда этому не учился... С огромным навесом пшеницы на вилах нужно было с разбегу подняться по лестнице на вершину скирды". Потом он работал паркетчиком и, наконец, переводчиком – "поначалу только с немецкого, затем с английского, с французского, потом также на немецкий, и на английский, и на французский, а там как придется, с любого языка на любой... сперва под псевдонимом – иначе не дозволялось... а трудовая книжка тем временам лежала у кустаря-паркетчика..." (А не у охранника-вохровца – *Л. А.*)

Огрубевших рук своих отец, этот бывший аристократ, не стеснялся. (Между прочим, признак настоящего аристократа. – *Л. А.*)

Далее – потрясающий штрих из биографии крестьянина, в дом которого подселили депортированных. (У крестьян – никакой классовой ненависти: приняли ссыльнопоселенцев, как родных. – *Л. А.*) Так вот: "Посадили... дядю Пишту по пустячному ложному обвинению – заметим, впрочем (тут Эстерхази делает весьма проницательное наблюдение – *Л. А.*), что диктатура нуждается не столько в ложных обвинениях – они ей нужны крайне редко, – сколько в ложных законах, исполнять которые невозможно, ну а уж контролировать их исполнение...

Дали ему год, и когда дядя Пишта вышел, то уже не смеялся, а плакал:

— Поглядите-ка... что со мной сотворили... — вытянул старик руки, показывая их отцу. Тот ничего особенного не заметил, руки как руки, крестьянские, крепкие. — Посмотрите, как побелели... Это ж надо, такой позор!"

Вы можете себе представить нашего русского мужика, "азиата", "китайца", который обиделся бы на власть за то, что она выдернула его с тяжелой физической работы и заставила сидеть сложа руки?

Ладно... Вернемся от этих удручающих параллелей в ситуацию чисто венгерской драмы.

Суть в том, что диктатуре не важно, за дело или не за дело "ущучила" она дядю Пишту, тетю Мию или самого Петера, — диктатуре важно, чтобы ложными были не конкретные дела, а сами законы. "Простор открывается невероятный..."

В конце концов он назовет этот "невероятный простор" вожделенным европейским словом *свобода* (у нас в Азии это *воля*. — *Л. А.*).

Попытаемся осознать эту невероятность и вернемся к истокам.

8

Усадьба еще не потеряна.

"...Мой отец с моей матерью прогуливались по сомлевшему от жары перелеску (предгорья Вертеша), и ни один из них не думал о том, что все вокруг, насколько хватает глаз, достанется моему отцу. Отец — потому, что когда человеку принадлежит все, то думать обо всем этом ему *не с руки*, да к тому же и незачем; а мать..."

Мать "вдруг задумалась о том, что все вокруг, насколько хватает глаз, принадлежит молодому отпрыску графской семьи, а также о том, нужно ли ей, ее глазам, это *все вокруг*".

Важнейшее место. Ключевая категория. *Всё* – главное свойство реальности.

Есть что-нибудь близкое в ру́сской ментальности?

Есть. Вселенский расплыв и размыв — от неощутимости границ. Толстовское: "Всё во мне и я во всем!" Нечто, обязывающее ко всему или не обязывающее ни к чему. "Кто был ничем, тот станет всем" — *всем* именно потому, что *ничем* конкретно. А если "конкретно", то с гоголевской горькой усмешкой: ближе границы всё мое, а дальше... тоже мое (тоже ведь тотальная ирония, "хохлацкий" юмор при взгляде на русскую безграничную дурь).

Мадьярское "всё" предметно ощутимо, озязаемо, освоено. Потерять это невозможно: "...ведь нельзя же, в конце концов, потерять все, потерять можно много, но ежели от всего отнять много, опять же останется все, а значит, останется то, что и было".

Очень рациональный взгляд на иррациональность.

Ну, а если коммунисты всё отняли?

Это они говорили, что отняли. На самом деле они врали. Дело не в том, что "одна половина страны угрожает другой или так называемая власть угрожает всем остальным, а в том, что все это непременно окутано душераздирающе жуткой неопределенностью, когда тот, кто угрожает, тоже боится, а запугиваемый — пугает, когда четко расписанные роли до крайности перепутаны, все угрожают и все дрожат..."

То есть все, что делается, — это такая умопостигаемая игра. "Игра — это *всё*, и помимо *всего* в мире нет *ничего*".

Ни "коммуняк", ни гогочущих "азиатов", ни застреленного козла?

Если смотреть на все сквозь *всё*, то этого нет *ничего*.

"Страна принадлежит коммунистам (рассуждает народ), и надо быть дураком или циником, чтобы думать о достоянии коммунистов, пропади они пропадом, и коль уж нельзя отобрать, то мы у них украдем все, что можно..."

То есть в перспективе — *всё*.

Иначе говоря: живем так, как если бы их вообще не было. Ни "их", ни их "свойств". Потому что они так же пережидают самих себя, как мы пережидаем их. Проходим сквозь стены и живем дальше.

Мадьярский менталитет?

9

Мадьярская тут — только "истовость". А сама способность видеть землю сквозь небо и небо сквозь землю, ощущать надмирную неведомую гармонию там, где неистовствует всем

ведомая земная "деконструкция", – это откуда?

У Эстерхази промаркировано четко:

"Мы не протестанты".

Вот именно. Православные христиане с их древним благочестием, с духом, который дышит, где хочет, со святостью по ту сторону плоти – могут сюда вообще не встревать: не с ними тяжба. У них (то есть у нас) небо на кусочки размечено автокефалиями церквей, а тут хотят объять *всё,* и не запредельным подвигом любви, как Платон Каратаев или Пьер Безухов, а в практическом деянии всемирного масштаба.

Противостоит этой кафоличности – протестантизм.

Для протестанта дважды два – четыре, мир прост, прям, однозначен.

Католик же смотрит одновременно "и с изнанки". Он воспринимает *весь* Божий мир и лишь потом – явления. Там, где другие видят лес, маскирующийся под парк, он видит парк, маскирующийся под лес. Или наоборот. Мир свойств – это игра масок, ролей. Если протестант извлекает из-под масок практический результат, то для католика это *ничего* не значит. Потому что есть Harmonia cælestis – небесное *всё,* в свете чего можно перетерпеть, переждать, перетереть и перемолоть любую напасть "свойств".

В том числе и появление гэбэшника, который, обыскав дерзкого венгерского школяра, отпускает его на все четыре стороны и цедит вслед:

– Сучонок...

Но даже это оскорбление – *ничто* в сознании того, у кого есть *всё.*

10

А если так, то неважно, черное оно или белое, или черно-белое – серое. Была Венгрия триста лет назад и через триста лет тоже будет. "Страна – это не кондитерская, где можно сожрать за полдня все пирожные; захватить и присвоить страну совсем не так просто, и припадки вроде этого коммунизма... долго длиться не могут".

Выскальзываем из "свойств": вы думаете, что страна – ваша? А она – наша. "Она наша, даже если на самом деле не наша, даже если дела ее обстоят скверно, и чем дальше, тем отвратительней, но не потому что становится все труднее жить, нет, жить легче, кое-что уже начинает людям перепадать, а потому что страна, ее состояние, атмосфера потакают самому мерзкому, что есть в людях, и в мерзости этой живет страна, в нашей собственной, но при этом безличной и постоянно растущей, общенародной мерзости, вот почему мы должны желать всяческого преуспеяния стране – в своих собственных интересах, а вовсе не из какого-то полуискреннего (полупритворного) преклонения перед умозрительными и возвышенными идеями".

А если так, то переступаем идеи. В гробу видим режим, навязанный стране, – это все равно наша страна. Режим думает, что ты служишь ему, а на самом деле, служа ему, ты служишь стране.

Нам бы, русским, такой твердокаменный квиетизм – при наших расколах и раздраях.

– Забрали, забрали всё! – веселится отец, бывший граф, которого превратили в "ничто". – Кто забрал? Да нету здесь никого, кроме нас, всё, что есть, – это мы...

И спев скабрезную частушку, он пляшет, вспоминая пастушьи костры праотцов времен Аттилы...

Сын смотрит на отца с восхищением.

Тут-то на сына и обрушиваются из спецхрана ГБ четыре архивных папки, так что роман о плясуне-отце надо переписывать заново.

11

Вариант исправленный: "человек без свойств" возвращается в объятья реальности

Переписывание романа состоит в переписывании секретных досье госбезопасности, где собраны отцовы доносы (то ли он осведомитель, то ли уже сотрудник, то есть убежденный доброхот).

По русской (советской) аналогии я жду, что архивисты начнут отфутболивать просителя, прятать документацию, шипеть насчет государственной тайны... но в венгерском варианте все совершается несколько проще:

сотрудники госбеза приносят папки, чуть не соболезнуя исследователю; правда, цель исследования предварительно запрашивают.

Цель — самая благородная: исправить роман об отце, написанный тогда, когда Петер Эстерхази еще не знал, что его отец — агент органов.

Вариант исправленный — такого же объема, как и вариант первоначальный[1].

Как критик вынужден сказать, что в чисто литературном отношении этот второй вариант несколько проигрывает первому. Там была сшибка концепций, судеб, эмоций; реальность, хоть и "деконструированная", корчилась в поисках смысла; версии сталкивались, спорили, куда-то вели...

А здесь — параллельное течение двух струй: цитаты из доносов отца и слезы сына. Довольно однообразно, и никуда не ведет. Кое-где даже стопорит читательские эмоции. Понимая это, опытный рассказчик сокращает ремарки, пишет "с.", "ж. с." вместо "слезы", "жалость к себе"; он вроде бы облегчает нам чтение, а на самом деле затрудняет, потому что к искренним этим слезам все время примешивается чисто литературное красование; иногда посреди плача автор успевает взглянуть на удачную фразу глазами мастера: а неплохо!

И все же новое знание об ускользнувшей от "свойств" реальности накапливается и в этой исправленной части.

12

Собственно, вопрос в том, каким невероятным образом честный человек становится доносчиком и притом не выказывает никаких признаков раскаяния, а напротив, ощущает себя в полном праве.

Наивные русские читатели привели бы в утешение горюющему венгру великие образцы саморазъедающего анализа из нашей родимой классики, но венгр явно и сам осведомлен о "загадочной метафизике" русской литературы. Фраза героя Эстерхази: "Я не эта дрожащая тварь" — свидетельствует о том, что мысленно он уже побывал у старухи-процентщицы вместе с Родионом Раскольниковым, а цитата из горьковского рассказа "Карамора" вообще закрывает вопрос. То есть — вопрос о том, помогут ли автору "Исправленного варианта" аллюзии из мировой литературы. Не помогут. Он свою боль должен изжить сам. С чистого листа.

13

Иногда кажется, что он нарочно отсекает то, что способно сцепить факты в причинно-следственную нить.

Каплями свинца эти "голые" факты падают в поток повествования.

"Казнен Иожеф Силади из группы Имре Надя..."

За что казнен?

"Казнены... приговоренные к смерти по делу о самосуде на площади Кёзтаршашаг..."

Что за самосуд был на той площади? Кто были его жертвы?

"Казнен Янош Сабо, командир кечкеметских повстанцев..."

Что наделали повстанцы?

"Казнены Ласло Никельсбург, Лайош Ковач и Иштван Хамори, осужденные на процессе по делу повстанческой группировки с площади Барош".

Что за дело было на площади Барош?

Каждый раз эмоция должна стартовать с нуля. Отряхнувшись от свойств, приклеенных к ней этой скотской реальностью.

14

Старт стукача описан с пронзительностью спасительного неведения:

"Мне кажется, что стать стукачом может каждый. И, читая доносы этих несчастных созданий, я понимаю, что на их месте мог бы оказаться любой из нас, ибо хрупкость и слабость присущи всем нам. Нужно немного, достаточно неудачного стечения нескольких обстоятельств; например, если взять с потолка: одиночество, сверхчувствительность плюс, допустим, алкоголичка мать, некоторые амбиции и подростковая фрустрация из-за неуверенности в своем таланте, который, может, и есть, но не того масшта-

1. Во всяком случае, как его композиция, опубликованная в журнале "Иностранная литература", 2002, № 10.

ба, да хорошая оплеуха, в которую следователь вложил весь свой опыт".

Хорошая оплеуха взята отнюдь не с потолка, а из реальности: сцена избиения отца гэбэшниками в романе "Harmonia cælestis" врезана в сознание так, что не забудешь. Однако там она никак не ведет к сотрудничеству с органами. И это правильно: сопутствующих обстоятельств может быть сколько угодно, но Матяш Эстерхази не тот человек, который им подчинится.

Он становится сексотом *не поэтому.*

15

Доносы, которые он пишет, часто просто мнимые: он старается писать о том, "что они знают и так". Не желая себя компрометировать, он уклоняется от подачи письменных донесений и предпочитает устные; иногда он просто гонит туфту, так что власти начинают подозревать, что он их дурачит. Он не просто старается "не навредить", но и пытается "помочь людям, попавшим из-за него в беду" (то есть в разработку).

Зная цену этим попыткам, Петер Эстерхази в свойственной ему "тотально-ироничной" манере пересказывает "одну историю": "...муж годами шпионил за своей женой, донося на нее в штази, однако сегодня он... пытается всех убедить, что (всего лишь) пытался объяснить штази мотивы поведения своей радикально настроенной спутницы жизни, то есть фактически защищал ее".

"Тысяча чертей!" – Петер Эстерхази не находит для этой истории других комментариев.

Тысяча чертей найдет тысячу оправданий, но для окончательного объяснения потребуется один черт, он же бес, он же дьявол, он же "карамора" в русском варианте.

А в венгерском?

А в венгерском отец, избегающий "лишнего зла", отлично понимает, что сам факт доноса – любого доноса – вредит, неизбежно вредит, не может не вредить. И это понимание отнюдь не побуждает его к покаянию! Он нисколько не чувствует себя виноватым. А если чувствует, то не более, чем Камю, сказавший, что "человек всегда хоть немного, но виновен".

И Петер Эстерхази, более года (читая досье) находившийся в состоянии шока, в бессилии опускается на тот же камень: не надо никакого прощения! Попросишь – и тотчас затопчут праведники!

Так что же можно?

Только одно: рассказать все, как есть. Искренне.

Фантастическим образом это бессильное решение разрешает проблему. Ибо оно точно соответствует состоянию мироздания, как оно есть.

16

"Непосредственный реализм", каковым методом написан роман "Harmonia cælestis", опосредует реальность в свете опыта, ранее казавшегося невероятным. А теперь? Деструкция жизни есть начало конструкции на новом основании. Если нет тверди под ногами, поищи твердь над головой.

"Ведь легче же тому, кто стремится к небесной гармонии", – резюмирует автор "Небесной гармонии". И спохватывается: "Шутка!"

17

За шутками копится ощущение, нащупанное еще в "Небесной гармонии", но теперь оно утяжелено архивными свидетельствами, припечатано документами, подперто фактами.

"История пожрала всё и вся".

"В "Harmonia caelestis" я творил миры из всего – теперь же из всего приходится творить ничто".

"Как это за что?!. Да за все! За все!.."

Последняя фраза – ответ на вопрос: за что же ты обижен на коммунистов?

Проследим в "Исправленном варианте" этот мотив.

"Коль всё было лживым, а это было именно так, то что можно сказать о нас самих?"

"И я не могу считать себя невиновным, думать, что виноваты "другие", что это *отдельные* игры гнусных коммунистов и гнусных стукачей; нет, это касается всех, хотя не все были, являются (гнусными) коммунистами или стукачами".

Спасибо, что не все, но даже если бы все — мало что изменилось бы.

"Привычный для венгров самообман... что ужасы всегда совершали *другие:* немцы, русские, нилашисты и коммунисты. Ну, а мы, с одной стороны, ничего не могли поделать, а с другой — все, что было возможно, мы делали".

Так можно ли различить *ту* и *эту* стороны?

Нельзя.

"Он... так радовался *всему* сущему, что не делал различия между добром и злом".

Он — это родной отец. А *другие*?

"И даже когда они говорят правду, то кажется, что они врут".

Они — врут. А ты?

"Я не верил своим глазам, но знал: это правда".

Из неопровержимых элементов правды складывается непроходимая ложь, и эта ложь неотвратимо оказывается правдой.

18

Всё это можно было бы счесть очередной эффектной версией постмодернизма, если бы не тот факт, что перед нами версия "оригинальная", то есть "не эпигонская".

Перейдя с литературных определений на жизненные, можно сказать, что под ложно закольцованным виртуальным сюжетом (философским, умозрительным, мнимым) открывается такая драма, что уже не столь важно, как все это завершится в сфере чистого разума.

Закольцовано, собственно, вышеупомянутое открытие Музиля: спастись может только человек, отрешившийся от "свойств". Он освобождается от скверны, навязанной ему коммунистами, нилашистами, фашистами и прочими носителями "свойств".

Аристократ, граф, владелец усадьбы, носитель знаменитой фамилии — теперь ничто. Ноль. Или, как скажут демократы, чудесным образом не запятнавшие себя сотрудничеством с режимом, — "кусок дерьма".

Этим праведникам отвечено:

"Дерьму пощечину не влепишь".

Перейдя, по обыкновению, на родную почву, я многое мог бы сказать о той мягкости, бесформенности и самоотреченности русских людей, которые за самый большой грех почитают гордыню и за самую сладкую добродетель — ожидание второй пощечины. Если, конечно, первую им влепить удалось.

На почве венгерской "истовости" этот парадокс приобретает свойства, побуждающие сына задать отцу очередной нериторический вопрос:

"Как мог человек бесхребетный дать нам человеческую осанку?"

Что тут ответишь? Возвращая себе "свойства", человек неизбежно возвращает себе и всю ту жуть, сквозь которую хотел пройти незапятнанным.

Сказано: "Невозможно не прийти соблазнам; но горе тому, через кого они приходят".

19

Соблазны твердеют, переобретаясь в свойства.

20

Горе своей судьбы Петер Эстерхази преодолевает как истинный писатель: он это горе перевоплощает в слова.

Несколько блестящих суждений еще раз подтверждают каленую остроту его пера и вводят нас в сердцевину драмы:

"Быть проституткой наполовину не значит быть наполовину порядочной — это значит быть плохой проституткой".

И еще вот это:

"Если в 1956 году страна стряхнула с себя режим, как собака стряхивает воду... то потом уже было не разобрать, где заканчивалась собака и где начиналась вода".

Кажется, лучше не скажешь.

Но еще лучше сказал когда-то священник, который обнаружил маленького Петера в костеле и спросил, что произошло. Петер ответил, что зашел помолиться, и вдруг густо покраснел.

Священник сказал:

— Грех творит веру.

И погладил мальчика по головке.

Жестокий реализм Марио Варгаса Льосы

Варгас Льоса М. *Нечестивец, или Праздник Козла* / Перев. с исп. Людмилы Синянской. — М.: ООО "Талькарт", 2004

"Диктатор — это единственный законченный типологический образ, который дала Латинская Америка", — со знанием дела утверждал когда-то Габриэль Гарсиа Маркес[1]. В самом деле, мало кто из крупных латиноамериканских писателей прошел мимо вечно животрепещущей темы: деспот и зачарованные его абсолютной властью подданные.

В начале семидесятых во время конференции латиноамериканских писателей то ли Гарсиа Маркеса, то ли Карлоса Фуэнтеса осенила необычная мысль: создать книжную серию "Отцы родины", посвятив ее наиболее колоритным тиранам Латинской Америки: "Каждый известный к тому времени романист должен был писать о диктаторе своей страны. Мигель Отеро Сильва взялся написать о Хуане Висенте Гомесе, Хулио Кортасар хотел писать о трупе Эвиты Перон, Карлос Фуэнтес — о Санта-Ана, Алехо Карпентьер — о Мачадо, Хуан Бош — о Трухильо, Аугусто Роа Бастос — о докторе Франсиа..."[2]. Далеко не все авторы воплотили свои замыслы, и многие "пламенные реакционеры" Латинской Америки остались без жизнеописаний, однако идея не повисла в воздухе. Практически одновременно на свет божий появились "Превратности метода" (1974) Карпентьера, "Осень патриарха" (1975) Гарсиа Маркеса, "Я, Верховный" Роа Бастоса (1974) — уже этого достаточно, чтобы считать задуманную серию состоявшейся. А совсем недавно, в 2000 году, серия пополнилась еще одной книгой. Знаменитый перуанский прозаик Марио Варгас Льоса (после неудачных для него президентских выборов 1990 года — гражданин Испании), и раньше обращавшийся к социально-политической проблематике (например, в романе 1969 года "Разговор в 'Соборе'"), написал "антидиктаторский" роман, посвященный доминиканскому диктатору Рафаэлю Леонидасу Трухильо Молине (1891—1961).

Трухильо железной рукой правил Доминиканской Республикой на протяжении 30 лет (даже тогда, когда, играя в демократию, формально отстранялся от власти и, наподобие Ивана Грозного, прятался за спины марионеточных правителей: своих родственников или подкаблучных протеже). О таком сильном лидере у нас многие мечтали в середине девяностых, во времена ельцинского правления. Буржуазный реформатор, правоверный рыночник, благодаря финансовым вливаниям Штатов он оздоровил рахитичную доминиканскую экономику, добился неслыханно высокого для Латинской Америки уровня жизни, драконовскими методами искоренил преступность, а заодно и политическую оппозицию: всех недовольных либо скормил акулам, либо вытурил из страны (с тем, чтобы позже избавиться от них с помощью

1. Гарсиа Маркес Г. "Многое я рассказал Вам впервые..." // Латинская Америка, 1980, №1, с. 108.
2. Там же. С. 109.

наемных убийц); проблему незаконной миграции решил радикально: чернокожие гаитяне, наводнившие страну, в один прекрасный день были просто-напросто перебиты. Воспитанник американской учебки для морпехов, люто ненавидевший коммунизм и социализм, Трухильо рьяно защищал интересы своих североамериканских покровителей, поэтому те до поры до времени благодушно закрывали глаза на кровавые безобразия его режима. "Да, он сукин сын... Но это наш сукин сын!" — пафосная, ставшая крылатой фраза госсекретаря Корделла Халла относилась именно к Трухильо. Лишь к началу шестидесятых, после целого ряда скандальных политических провалов — неуклюжих заказных убийств диссидентов, ставших гражданами США, неудачного покушения на венесуэльского президента Бетанкура, спровоцировавшего бойкот со стороны всех южноамериканских стран, разрыва с церковными лидерами — вашингтонские политики отвернулись от былого ставленника и начали подумывать о подходящей замене. Сотрудники ЦРУ даже косвенно поучаствовали в заговоре, созревшем в ближайшем окружении диктатора: от щедрот своих выделили заговорщикам пару автоматических винтовок да пообещали в случае форс-мажорных обстоятельств высадить морскую пехоту.

О последних днях дряхлеющего тропического сталиниссимуса, о его убийстве заговорщиками, о провале мятежа, жестоко подавленного Трухильо-младшим, и рассказывает книга Варгаса Льосы, балансирующая на зыбкой грани между беллетристикой и тем, что Варлам Шаламов называл "прозой живой жизни, которая в то же время — преображенная действительность, преображенный документ".

Почти все персонажи "Праздника Козла" — реально существовавшие лица: соратники, жертвы, убийцы диктатора, информацию о которых писатель скрупулезно собирал начиная с 1975 года, когда впервые побывал в Доминиканской Республике и заинтересовался все еще вызывавшей благоговейный ужас фигурой Трухильо — Козла, как прозвали того в народе за чудовищное сладострастие. Сексуальная вседозволенность издавна была атрибутом абсолютной политической власти (случай асексуального Иосифа Виссарионовича скорее исключение, чем правило); что уж тут говорить о горячем доминиканском парне, стремившемся облагодетельствовать едва ли не всех хорошеньких подданных женского пола, будь то жены его клевретов или подобранные на одну ночь уличные девки.

Именно с сексуальными подвигами доминиканского тирана связана одна из сюжетных линий романа, рассказывающая об изломанной судьбе Урании Кабраль, дочери видного "трухилиста", внезапно, по капризу Хозяина впавшего в немилость и решившего поправить положение вполне традиционным для тогдашних доминиканцев способом — четырнадцатилетняя девочка была отправлена на виллу Благодетеля для плотских утех — в надежде, что разлакомившийся старец оценит подарочек и простит папашу. Педофильская затея обернулась настоящим фиаско: престарелый сластолюбец, под конец жизни имевший проблемы с простатой, не смог должным образом возбудиться, но в порыве бессильной ярости все же надругался над обезумевшей от страха "партнершей", дефлорировав ее пальцем. Лишь чудом Урании удалось избежать гибели: с помощью американских монахинь она перебралась в США, где окончила колледж и сделалась преуспевающим юристом, хотя, несмотря на внешнее благополучие, так и не смогла изжить нанесенную ей травму и на всю жизнь возненавидела и отца, и свою родину.

Урания — один из немногих вымышленных персонажей книги (наряду с подобострастным советником диктатора, продажным сенатором Энри Чириносом, получившим имя одного из политических соратников Варгаса Льосы, предавшего его во время президентской кампании и переметнувшегося на сторону главного соперника — Альберто Фухимори). И как бы ни была типична чудовищная история героини — жертвы предательства и насилия, — она все же блекнет, отдает мелодрамой при сравнении с реальными фактами, о которых рассказывается в "Празднике Козла".

Тема насилия, физического и нравственного растления звучит куда более зловеще, когда речь заходит о невымышленных лицах и событиях. Изнасилование сексапильной нимфетки выглядит просто невинной шалостью по сравнению с тем, что сотворил каудильо с душами своих приближенных, готовых на любые унижения и подлости, чтобы добиться его благосклонного внимания и расположения.

Даже заговорщики — бывшие "трухилисты", по тем или иным причинам разочаровавшиеся в Хозяине и решившиеся на его убийство, — оказались фатальным образом отравлены атмосферой идолопоклонства и сервилизма, так что в критический момент, при всей своей храбрости, выказали поразительное отсутствие воли.

Едва не перестреляв друг друга, оставив множество улик, они кое-как прикончили престарелого диктатора, который в сопровождении всего лишь одного охранника мчался на встречу с очередной метрессой. Но на большее — свержение деспотического режима — их не хватило. Подобно Раскольникову, они "только и сумели, что убить", а вот "переступить-то не переступили". Печальный рассказ о доминиканских тираноборцах, используя шаламовскую фразу об узниках ГУЛАГа, можно назвать историей "мучеников, не бывших, не умевших и не ставших героями".

В первую очередь это касается военного министра, генерала Хосе Рене Романа, согласившегося возглавить переворот в том случае, если ему предъявят труп Козла. (По сравнению с Романом даже князь С. П. Трубецкой, так и не появившийся на Сенатской площади, выглядит образцом мужества и благородства.) Получив достоверные сведения о смерти тирана, бравый генерал — истинный латиноамериканский мачо, которого никто не мог упрекнуть в трусости и в руках у которого была вся армия, — вместо того, чтобы действовать и довести дело до конца, впал в прострацию и, обрекая на бесславную гибель себя и остальных мятежников, медлил, колебался, отдавал бессмысленные и туманные приказания, а когда полиция одного за другим стала отлавливать растерявшихся бунтарей, помчался к наследникам Трухильо, чтобы выразить свои соболезнования по поводу случившегося... Из "желеобразного умственного состояния", в котором он находился несколько суток, несостоявшийся революционер вышел лишь в тюремном застенке, где и окончил свои дни после чудовищных четырехмесячных истязаний.

"Между сеансами на электрическом стуле его, голого, отволакивали в сырую камеру и поливали вонючей водой, пока он не начинал подавать признаки жизни. А чтобы он не спал, веки ему приклеили к бровям лейкопластырем. Когда же и при открытых глазах впадал в полубессознательное состояние, его будили бейсбольной битой. Несколько раз забивали рот чем-то несъедобным, однажды он почувствовал экскременты, и его вырвало. Позднее в своем стремительном падении в нечеловеческое состояние он уже мог удерживать в желудке то, что ему давали..."

Главы, в которых нарочито бесстрастно, со спокойной и расчетливой жестокостью повествуется о провале мятежа и расправе над схваченными заговорщиками, производят, пожалуй, наиболее сильное впечатление: жестокий реализм Варгаса Льосы создает "эффект присутствия": автор приоткрывает перед читателем ту чудовищную правду жизни, которую неспособны затмить даже самые извращенные фантазии болезненного воображения.

Я вовсе не хочу сказать, что "антидиктаторский" роман перуанского прозаика — очередной пример того, как нас "возвышающий обман" *беллетризма* отступает перед суровой правдой документа. (Хотя доминиканские читатели восприняли книгу именно как "нон-фикшн" и обрушились на автора с обвинениями во лжи и неточностях; а тамошний историк Бернардо Вега опубликовал даже специальную работу, в которой сварливо указывал на тридцать восемь фактических ошибок, будто бы допущенных автором, — точь-в-точь как ветераны Отечественной войны 1812 года укоряли создателя "Войны и мира" за искажение фактов.)

Чтобы там ни утверждали доминиканские зоилы, "Праздник Козла" — это все-таки не "нон-фикшн", а произведение высокого искусства, в котором документ преображен и освящен огнем подлинного таланта. Другое дело, что творческое преображение проявляется здесь не столько в фабульной выдумке, сколько в виртуозном композиционном мастерстве (полифонии повествовательных точек зрения, сменяющих друг друга без всяких переходов и описательных прокладок, прихотливом временном контрапункте, мгновенно сопрягающем сиюминутное настоящее с давним прошлым), в силе воплощения полнокровных, исполненных высоких и низменных страстей характеров, в той, как сказал бы Павел Муратов, "жизненной зарази-тельности", которая "вовлекает нас кратчайшим путем в опыт иной жизни"[1].

Недаром же роман вызвал целый фейерверк хвалебных отзывов, а многие западноевропейские и американские критики назвали его лучшим произведением Мастера, причем восторженный рецензент из "Спектейтора" даже посулил ему Нобелевскую премию, в чем, увы, оказался плохим пророком[2].

На мой вкус, "Праздник Козла" все-таки нельзя назвать лучшим творением Варгаса Льосы: превзойти свой давний шедевр, роман "Война конца света" (1981), тоже, кстати, построенный на документальном материале, ему не удалось. Однако это обстоятельство не умаляет ценности новой книги латиноамериканского писателя: поднятые в ней темы едва ли когда-нибудь потеряют свою актуальность, а в умении "околдовать читателя: победить его скептицизм, завладеть его вниманием, управлять его чувством" Марио Варгас Льоса, по-прежнему, не знает себе равных.

Николай Мельников

Семь веков спустя

Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь / Перев. В. П. Бетаки. Статья, прим. М. В. Оверченко. — М: Наука, 2003

Серия "Литературные памятники" пополнилась еще одним шедевром — английским рыцарским романом XIV века "Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь". Через семь столетий после появления на свет произведение, без которого английская литература не могла

1. Муратов П. Искусство прозы. В кн.: Муратов П. Ночные мысли. — М., 2000. С. 136.
2. См.: Spectator, 2001, vol. 48, № 19 (November 25), p. 39.

бы стать такой, какой мы ее знаем, стало доступным и русскому читателю во многом благодаря переводчику В. П. Бетаки, чей труд впечатляет уже тем, что в поэме сохранены и ритм, и аллитерация.

Созданный в чосеровском веке и, есть основания полагать, не менее популярный в свое время, чем произведения основоположника английской национальной литературы, "Сэр Гавейн" и в родной стране долгое время пребывал незаслуженно забытым. В отличие от Джеффри Чосера, который писал на лондонском диалекте, ставшем фундаментом национального языка (в чем была и немалая заслуга самого Чосера, разумеется), автор "Сэра Гавейна" изъяснялся на диалекте северо-западномидлендском (примерно юго-восточная часть графства Чешир или северо-восточная часть Стаффордшира), непонятном последующим поколениям читателей.

Аллитеративная поэма "Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь" сохранилась в единственном манускрипте Cotton Nero A.x (тонкий пергамент, приблизительная датировка: конец XIV — начало XV века), находящемся в настоящее время в Британской библиотеке. Первый известный владелец манускрипта — Генри Сэвилл, живший в XVI веке в Йоркшире. Назван же манускрипт по имени выдающегося библиофила XVII столетия сэра Роберта Коттона, в библиотеке которого он хранился под бюстом императора Нерона (отсюда — Cotton Nero) вместе с еще тремя аллитеративными поэмами того же периода. Эти поэмы, как и "Сэр Гавейн", не имели названий, но для первого издания (1864) были условно названы исследователями Фредериком Мэдденом и Ричардом Моррисом "Чистота" ("Purity", или "Cleanness"), "Терпение" ("Patience") и "Жемчужина" ("Pearl"). Факт обнаружения их переплетенными вместе дал ученым возможность приписывать авторство всех четырех поэм одному анонимному автору, но однозначного решения проблемы авторства до сих пор не достигнуто. Едва не погибший в огне в середине XVIII века манускрипт был приобретен Британским музеем.

Воскресший интерес к творчеству автора "Гавейна" в немалой степени был обусловлен деятельностью прерафаэлитов, считавших, как известно, искусство и литературу Средних веков и Возрождения эталоном. Именно в конце XIX — начале XX века образ Гавейна как идеального рыцаря снова появляется в английской литературе и прочно в ней закрепляется, о чем можно судить хотя бы по количеству названий произведений, в которых фигурирует имя рыцаря: "Призрак Гавейна" и "Месть Гавейна" Р. Буканана (1859), "Гавейн и леди с Авалона" (1869) Дж. А. Симкокса, "Ланселот и Гавейн" (1888) и "Последняя любовь Гавейна" (1898) Р. Хоуви, "Гавейн и Марджори" (1906) О. Ф. Адамса, "Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь: Пьеса" (1911) Дж. Йимса и другие.

Следующий всплеск интереса к поэме "Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь", на сей раз преимущественно литературоведческого, наблюдается с конца 1950-х. В 1960—1980-е годы исследователи дают комплексный анализ поэзии XIV века на основе материалов как литературного, так и культурологического характера. Сразу несколько медиевистов (Т. Сильверстайн, Б. Раффел и другие) выпускают комментированные издания "Сэра Гавейна", иногда с подстрочником или поэтическим переводом на современный английский. Одним из самых авторитетных изданий оригинального текста с предлагаемыми вариантами написания и трактовкой темных мест можно считать вышедшую в 1968 году книгу Дж. Р. Р. Толкина и Э. В. Гордона. (Кстати, все, так или иначе связанное с Толкином, обречено стать объек-

том интереса российских любителей жанра фэнтези. Остается надеяться, что появление на книжном рынке произведений, подобных "Сэру Гавейну", в которые фэнтези уходит корнями, постепенно привьет широкому отечественному читателю вкус к литературе средневековой Западной Европы).

Три упомянутые выше десятилетия (1960—1980-е) являются периодом самого подробного изучения этого рыцарского романа. Исследователи снова вернулись и к проблеме авторства, и к вопросу о происхождении главных персонажей (Гавейна и Зеленого Рыцаря), и самой этой поэмы.

Признание поэта, что он, в свою очередь, изложил историю о Гавейне, "как рассказано о том в лучшем романе", дало повод разыскивать "роман", который послужил первоосновой для "Сэра Гавейна". Среди возможных "предков" назывались романы французского поэта XII века Кретьена де Труа "Ланселот, или Рыцарь Телеги" и "Персеваль", где приключения Гавейна описываются параллельно странствиям Персеваля в поисках Святого Граля, и многие другие. Однако автор комментария к русскому изданию М. В. Оверченко утверждает, что "прямая и тесная связь "Гавейна" с каким-либо французским оригиналом представляется маловероятной", и объясняет совпадение некоторых сюжетных ходов тем, что Гавейн был одним из самых популярных персонажей рыцарских романов. При этом "структурная сложность "Сэра Гавейна" и лингвистическая виртуозность, которая позволяет автору из строки в строку контролировать не только сюжетный ход и идею произведения, но и тончайшие оттенки смысла, настолько велики, что исключают любые предметные заимствования".

Кроме того, средневековые авторы в соответствии с традицией достаточно часто ссылались на авторитетные, хотя порой и вымышленные источники. Так, например, Гальфрид Монмутский в "Истории королей Британии" (тоже принадлежащей к богатейшему наследию артурианы), созданной в начале XII века, уверял, что одним из его источников служила "очень древняя книга, написанная на бриттском языке", возможно, для того чтобы придать больший вес своей хронике. Дело в том, что в Средние века, как известно, "новаторство" в нашем понимании этого термина не придавало труду особой ценности. Напротив, чем ближе произведение было к традиции, тем выше ставилось мастерство автора. Вот почему любое упоминание более древних работ обеспечивало интерес современников.

Поиски книг, "по мотивам" которых поэт мог написать свой роман, не увенчались успехом, и это дает исследователям повод считать "Сэра Гавейна" оригинальным, и поэтому тем более важным для английской литературы явлением. Известно, например, что самое популярное произведение английской рыцарской литературы — "Смерть Артура" сэра Томаса Мэлори (XV в.) — было во многом лишь очень удачной компиляцией первоисточников, в основном, французского происхождения (так, доподлинно установлено, что Мэлори пользовался знаменитой "Vulgata" — сводом многочисленных легенд, сказаний и романов, посвященных Артуру, собранных воедино в монастыре Святого Бернарда в Клерво), хотя сюжеты, заимствованные писателем из французских книг, и приобрели некоторые специфичные английские черты — большую реалистичность или, если угодно, историческую достоверность из-за привязки к реальной английской топонимике, местным обычаям и т. п.

Гавейн Мэлори, как впоследствии и Гавейн Теннисона, предстает довольно неприятным персонажем: мстительным, жестоким и склонным к необдуманным

поступкам; кажется странным, что в сознании многих он стал типичным английским героем, иной раз даже более популярным, чем сам король Артур. Эту странность исправляет "Сэр Гавейн" анонимного поэта, сделавшего своего персонажа воплощением пяти рыцарских добродетелей: щедрости, товарищества, чистоты, куртуазности и благочестия. На протяжении всего повествования названные добродетели подвергаются испытанию, благодаря чему роман увлекал аудиторию, на которую он был первоначально рассчитан, не только занимательной интригой, но и идейной актуальностью.

Вышедший из-под пера анонимного автора образ куда психологичнее, чем его предшественники — характерные представители куртуазной культуры, доблестные рыцари, застывшие в своем совершенстве. Если в типичных рыцарских романах конкретные герои не так важны, и одно имя можно заменить другим, что ничуть не повлияет на главную составляющую — само приключение, имеющее абсолютную значимость, то в "Гавейне" внимание сконцентрировано на переживании героем приключения и процессе его духовных изменений. Автор вводит в сюжет романа элемент неожиданности, и Гавейн вынужден защищать перед лицом непредсказуемой судьбы (ее олицетворяет Зеленый Рыцарь) скорее себя, чем ценности общества, к которому он принадлежит. Вот почему в конкретных ситуациях Гавейн действует и думает не так, как того требовал канон рыцарского романа, а естественнее — ближе к реальному опыту аудитории, и это роднит героя с *литературным персонажем* в современном понимании.

В конце концов добродетели рыцаря выдерживают испытание. Он ответил на вызов Зеленого Рыцаря и обезглавил зачинщика стычки (элемент богатырской сказки: тот берет отрубленную голову в руки и спокойно покидает место действия). Но год спустя герой в свой черед должен подставить голову под удар топора. Первые два удара, которые наносит Зеленый Рыцарь, — обманные, а третий лишь оставляет на шее Гавейна неглубокую царапину. Тем не менее Гавейн прошел испытание лишь отчасти: у него достало верности слову, чтобы явиться в назначенный срок, и храбрости, чтобы не противиться ударам, но не хватило честности, чтобы до конца следовать условиям испытания.

Герой романа идеален, но с поправкой на обстоятельства, — вот в чем, видимо, секрет популярности Гавейна; и эту особенность унаследовали от него многие герои английской литературы, в частности, упоминавшегося выше Толкина. В них, как и в Гавейне, противоборствуют и уживаются различные начала: и эпическое "делай что должно, и будь что будет", и заветы христианской морали, и позднейшее "я человек, и ничто человеческое мне не чуждо". Хочется надеяться, что "Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь" не оставит равнодушным российского читателя и поклонника литературы Британских островов.

Ирина Попова

У книжной витрины

с Константином Мильчиным

Хорнби Н. *Мой мальчик*: Роман / Пер. с англ. К. Чумаковой. – М.: Иностранка, 2004. – 335 с. – (За иллюминатором). 5000 экз. (п)

Трогательная история про "двух мальчиков", двенадцатилетнего и тридцатишестилетнего. Первый – затравлен одноклассниками подросток, которого воспитывает мать-одиночка с суицидальными наклонностями. Второй – богатый бездельник. Первый – слишком серьезен для своих двенадцати, второй – слишком беспечен для своих почти сорока. Короче, они созданы друг для друга, а Ник Хорнби предлагает нам посмотреть на процесс укрощения строптивого строптивым.

Таунсенд С. *Номер 10*: Роман / Пер. с англ. А. Егорихина. – М.: Фантом Пресс, 2004. – 320 с. – (Зебра). 7000 экз. (п)

Премьер-министр Англии Эдвард Клэр понял, что оторвался от простого английского народа. Тогда он переодевается в женское платье, берет в помощники констебля по имени Джек Шпрот и отправляется в инспекционную поездку по Великобритании. Народ живет плохо, премьер-министра кроет последними словами, а Эдвард Клэр, или, вернее, шикарная блондинка Эдвина, отважно защищает политику правительства. В лучших традициях английской политической сатиры.

Мензис Г. *1421 – год, когда Китай открыл мир* / Пер. с англ. А. Кашина. – М.: Яуза, Эксмо, 2004. – 640 с. 5000 экз.

Британский моряк пишет о моряках китайских. В XV веке, еще до Колумба и Магеллана, у китайцев был огромный флот. Девятимачтовые китайские корабли бороздили Тихий и Индийский океаны в те времена, когда европейцы еще и не мыслили о дальних плаваньях. Китайцы "открыли" Индию, Африку, Австралию и, возможно, Америку. Книга любопытная, а то, что автор, воспевая подвиги китайцев, слегка увлекается, ничуть ее не портит.

Томас Л. *Девственники в хаки*: Роман / Пер. с англ. В. Гришечкина. – М.: Махаон, 2003. – 416 с. – (Современная классика). 10000 экз. (п)

На дворе конец 1940-х. На краю земли, в далекой Малайе, английский экспедиционный корпус воюет с партизанами-коммунистами. Пока одни солдаты геройски гибнут в джунглях, солдаты гарнизона Пенглин занимаются исключительно бумажной работой. В гарнизоне преобладают солдаты с разного рода отклонениями – горбуны, кривые, косые, одноглазые, есть даже пара идиотов. Впрочем, уроды тоже люди и думают исключительно о сексе...

Джон О'Фаррелл. *Это твоя жизнь*: Роман / Пер. с англ. А. Егорихина. – М.: Фантом Пресс, 2004. – 352 с. – (Зебра). 6000 экз. (п)

Джимми Конвей всю жизнь мечтал о сцене и славе. Но вот ему уже тридцать, а славы нет, есть только масса нереализованных задумок и работа в школе для слабоумных в провинциальной дыре. В один прекрасный день умирает сосед Джимми, знаменитый комик. И выясняется, что Джим-

ми последний, кто разговаривал со звездой. Интервью для ТВ, приглашение на "звездные" похороны. Собственные концерты. И что же, вот она слава? Попытка удержаться наверху оканчивается трагифарсом.

Лодж Д. *Терапия*: Роман / Пер. с англ. Е. Дод; под ред. М. Курганской. — М.: Иностранка; Б.С.Г.-ПРЕСС, 2003. — 493 с. — (Иллюминатор). 5000 экз. (п)

Сначала — дневник старого сценариста Лоренса Пассмора по прозвищу Пузан. Пассмор находится на вершине славы, у него куча денег, хорошая работа, любящая и заботливая жена, дом в пригороде и квартира в Лондоне, спортивная машина, есть даже платоническая любовь. Одна проблема: его мучает непонятная боль в колене. Да еще душу терзает Патология Неизвестного Происхождения. Дневник Пузана уже сам по себе занятен, но на странице 205 Пассмора бросила жена, а рассказывать дальнейшую историю будут уже другие герои книги.

Босуэлл Дж. *Жизнь Сэмюэля Джонсона* / Пер. с англ., сост., предисл. А. Ливерганта. — М.: Текст, 2003. — 191 с. — (Коллекция). 1000 экз. (о)

Не всем великим людям повезло при жизни обзавестись верным биографом. Гёте имел при себе Эккермана. Знаменитый английский писатель XVIII века Сэмюэль Джонсон обрел преданного летописца в лице другого английского писателя — Джеймса Босуэлла. Джонсон сочинил много чего: и "Жизнеописания наиболее выдающихся английских поэтов", и стихи, и пьесы, и афоризмы, составил "Словарь английского языка". А у Босуэлла главная книга одна — "Жизнь Сэмюэля Джонсона". Но и этого ему хватило для того, чтобы войти в историю литературы.

Олбрайт М. *Госпожа госсекретарь*. Мемуары Мадлен Олбрайт / Пер. с англ. А. Лисовского, А. Лисицыной, Е. Китаевой. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. — 688 с. 7000 экз. (п)

От Мадленки Корбель до Мадлен Олбрайт — книга о том, как дочка чешских эмигрантов стала первой в истории женщиной-госсекретарем. Мемуары человека, управлявшего американской внешней политикой с 1997-го по 2000 год. Война в Югославии, талибы, Хуссейн и Ким Чен Ир, попытки достичь мира на Ближнем Востоке, конец эпохи Ельцина и первые годы правления Путина.

Гинзбург К. *Мифы-эмблемы-приметы: Морфология и история*. Сборник статей / Пер. с ит. и послесл. С. Козлова. — М.: Новое издательство, 2004. — 348 с. Тираж не указ. (п)

Сборник статей знаменитого итальянского историка Карло Гинзбурга. Мировоззрение средневековых итальянских ведьм и инквизиторов, нацизм и германская мифология глазами левых французов времен Второй мировой войны, метод Шерлока Холмса как прообраз того метода, которым пользуется историк. И, главное, замечательный рассказ самого Гинзбурга о том, что такое микроистория, и не менее замечательный рассказ переводчика книги и автора послесловия к ней Сергея Козлова о том, что такое итальянская историческая наука XX века.

Великобритания

Непредсказуемые слагаемые успеха

Феноменальный успех книги о пунктуации со странным названием "Ест, стреляет и листья", которое на самом деле отсылает к английскому анекдоту на тему грамматики, явился полной неожиданностью как для автора Линн Трасс, так и для издателей ("Профайл букс").

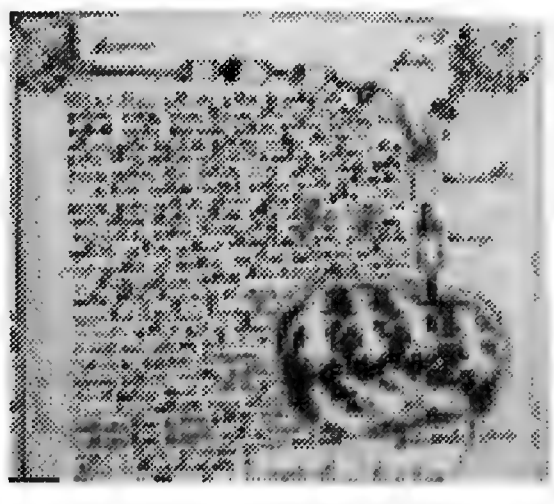
В начале прошлого года практически никому не известная писательница едва сводила концы с концами. Последняя юмористическая книга расходилась туго. Радиопьесы, которые она сочиняла для Би-би-си, приносили сущие гроши. Пришлось перезакладывать дом. Она не смогла купить себе даже новый компьютер взамен сломанного.

Идею написать пособие по пунктуации Трасс подсказал бывший издатель, слышавший ее выступления по радио в образовательной программе.

К предложению писательница отнеслась с энтузиазмом, и полгода спустя труд был завершен. Учитывая весьма специфическую тематику брошюры, "Профайл букс" выпустил первое издание скромным тиражом — пятнадцать тысяч. И тут началось что-то невероятное: один за другим посыпались заказы от книжных магазинов, в прессе замелькали восторженные рецензии, университеты включили "Ест, стреляет и листья" в список обязательной литературы. Всего месяц спустя книга Трасс, общий тираж которой к этому времени составил почти полмиллиона экземпляров, прочно утвердилась на первом месте в списке бестселлеров.

Тайна древнего манускрипта

Специалисты считают манускрипт Войнича одним из самых загадочных рукописных трудов в мире. Он состоит из 234 пергаментных страниц, покрытых странными акварельными рисунками: фантастическими растениями, причудливыми символами и обнаженными женскими фигурами. Но самое примечательное в нем — текст на неизвестном языке.



Манускрипт Войнича

Сведения о манускрипте Войнича весьма скупы. В XVI веке его приобрел за 600 золотых дукатов император Священной Римской империи Рудольф II — книга была выдана за труд философа и естествоиспытателя XIII века Роджера Бэкона. Вскоре, однако, манускрипт исчез и был вновь обнаружен лишь в 1912 году в Италии американским букинистом Уилфредом Войничем. Вернувшись в Америку, Войнич сделал фотокопии документа и разослал их по ряду университетов, полагая, что речь идет о средневековом научном трактате. Так книга попала в поле зрения ученых. В 1961 году манускрипт за 24,5 тысячи долларов приобрел другой нью-йоркский антиквар. Отчаявшись выручить за него солидный куш, он в конце концов подарил книгу Йельскому университету, где она хранится сейчас в отделе редких изданий.

На каком же языке написан манускрипт Войнича? Существует несколько версий. Согласно одной из них, это измененный китайский, по другой — украинский, из которого выкинули гласные, по третьей — тайный код, расшифровать который, однако, не сумел ни один криптограф.

Недавно Гордон Рагг, компьютерный аналитик из университета города Кила, объявил о том, что ему удалось приблизиться к разгадке тайны. По его утверждению, манускрипт Войнича — это мастерская подделка знаменитого афериста елизаветинской эпохи Эдварда Келли, и язык, на котором он написан, не существует в природе.

Для исследования документа Рагг применил один из способов тайнописи, которым предположительно пользовался Келли. Рагг нарисовал таблицу 39 x 40 и заполнил ее слогами, наиболее часто встречающимися в манускрипте. Затем, наложив сверху картонку с тремя квадратными от-

верстиями по диагонали и двигая ее вниз по таблице, выписывал образовавшиеся слова. Сравнение показало, что по своей структуре они походят на слова из оригинального текста. Рагг пришел к выводу, что автор манускрипта соединил в произвольном порядке слоги, создав свой собственный "войнический" язык.

Италия

Комедия Пиноккио

Какие книги больше всего любят итальянцы? "Если не считать Библию, это 'Божественная комедия' Данте, 'Обрученные' А. Мандзони и 'Приключения Пиноккио' Коллоди", — утверждает Глауко Камбон, американский литературовед итальянского происхождения. "Соперничать с создателем Пиноккио могут разве что Данте и Макиавелли", — вторит ему переводчик "Пиноккио" на английский язык Николз Перелла, ставя Коллоди в один ряд с классиками отнюдь не детской литературы.

С чем же связан "феномен Пиноккио"? В сборнике статей "Пиноккио на экспорт" (издательство "Армандо"), подготовленном по заказу Национального фонда имени Коллоди, на этот вопрос отвечают критики и литературоведы из разных стран.

Французский критик Жильбер Борсетти, в частности, считает, что повесть о приключениях Пиноккио ассоциируется с радостями детства, поэтому ее можно перечитывать до бесконечности. Кстати, популярности книги во Франции во многом способствовал прекрасный перевод, выполненный в 1914 году Полем Азаром. Любопытно, что вышедшее практически одновременно испанское переложение отличалось значительной вольностью, а имя автора не было указано ни в первом издании 1912 года, ни во втором. Так что испанцы некоторое время даже думали, что "Приключения Пиноккио" сочинил переводчик Рафаэль Каллейа.

Если критики более или менее единодушны в оценке произведения Коллоди, то их мнения насчет популярного мультфильма, снятого Уолтом Диснеем, разделились. Так, испанец Николас Касельес полагает, что Дисней существенно упростил авторский замысел, в результате получилась примитивная назидательная история. Американский детский писатель и иллюстратор Морис Сендак, напротив, пытается доказать, что Дисней "умело перекроил сюжет и из разрозненных эпизодов составил стройную и цельную композицию". К тому же он восстановил справедливость, изобразив Пиноккио "проказливым, но добродушным мальчишкой". Иначе увидел фильм-сказку литературовед Патрик Рёгес, проанализировав ее бунтарский, анархистский и не столь уж благостный дух.

Канада

В поисках Шекспира

В мае 2001 года в канадской газете "Глоб энд мейл" появилась сенсационная статья журналистки Стефани Нолен. В ней сообщалось, что скромный обитатель пригорода Оттавы хранит у себя дома единственный из ныне известных прижизненный портрет Вильяма Шекспира, который якобы написал предок нынешнего хозяина, некий Джон Сандерс, около четырехсот лет назад. Почти десять лет и практически все сбережения обладатель этой необычной семейной реликвии потратил на то, чтобы доказать подлинность картины. Большинство искусствоведов считает, что портрет, написанный маслом на деревянной доске, действительно относится к началу XVII века (о чем свидетельствует дата "1603", ясно различимая в правом верхнем углу). Однако нет никаких доказательств тому, что запечатленный на нем черноволосый мужчина в елизаветинском костюме — это великий драматург.

Первые сведения о так называемом "портрете Сандерса" относятся к 1908 году: именно тогда Томас Сандерс, его тогдашний владелец, принес показать свое сокровище Мариону Генри Спилману, автору книги "Портреты Шекспира" (1907). Спилман проявил к картине интерес и даже написал о ней очерк для "Британики" 1911 года издания, однако шекспировская версия его не убедила. Не убедила и приклеенная к заднику метка из ткани, на которой значилось:

Портрет Сандерса

"Шекспир / Родился 23 апреля - 1564 / Умер 23 апреля - 1616 / в возрасте 52 / Написано в 1603 году / возраст 39 лет".

О дальнейшей судьбе портрета известно следующее. В 20-е годы он украшал стены универмага в Манхэттене, в 30-е — его чуть не приобрела Шекспировская библиотека, затем на долгие годы картина исчезла из виду, пока в 2001 году не была "обнаружена" в Канаде.

Скепсис, с которым профессионалы встретили сообщение о необычной находке, не помешал Стефани Нолен продолжить изыскания, итогом которых стала книга "Лицо Шекспира, или История недавно обнаруженного портрета" (издательство "Пяткус"). Помимо описания журналистского расследования она содержит очерки шекспироведов, искусствоведов, историков, которые знакомят читателей с биографией Барда, бытом и общественными нравами его времени, научными методами, позволяющими определить возраст произведения искусства, а также приводят интересные факты из истории костюма и другие любопытные сведения.

По мнению критиков, спекуляции вокруг имени Шекспира не в последнюю очередь связаны с тем, что не известно ни одного портрета драматурга, написанного при его жизни. Первые попытки придать Барду облик романтического героя были сделаны еще в XVIII веке.

ФРАНЦИЯ

У истоков абстракционизма

Научный прогресс и искусство — этой теме была посвящена выставка "У истоков абстракционизма. 1800—1914", состоявшаяся в парижском музее Д'Орсе.

"Родоначальниками абстрактного искусства принято считать Кандинского, Малевича и Мондриана, художников, которым было свойственно мистическое восприятие реальности. Однако на абстрактную живопись можно взглянуть и иначе, например, с оптической точки зрения", — говорит Серж Лемуан, директор музея и один из инициаторов выставки.

Абстрактное искусство существовало во все времена, и одна из его разновидностей — орнаменты — встречается практически во всех культурах. Тем не менее оформление абстракционизма в особое направление было предопределено научными открытиями XIX века, главным образом в области физиологии, изменившими отношение художника к окружающему миру.

Никола-Анри Жакоб. Проверка зрения

В экспозиции "У истоков абстракционизма" было представлено 150 произведений — от Тернера и Пикабия до Моне и Мондриана.

Первая ее часть, "Солнечный глаз", посвящена свету и цветовой гамме. Помимо картин и рисунков художников XIX века, посетители смогли здесь увидеть призмы и экраны с цветовыми кругами, которые использовал Гёте во время работы над трактатом "Учение о цвете" (1810). Стоит добавить, что поэт трудился над этим сочинением около двадцати лет и ценил его не меньше "Фауста". Гёте утверждал, что цвет есть результат взаимодействия света и тьмы и рассматривал его как психологический, эстетический и природный феномен. Считая, что восприятие красок мира — процесс сугубо индивидуальный, он придавал огромное значение устройству глаза. "Глаз обязан своим существованием свету... в глазу живет покоящийся свет, который возбуждается при малейшем поводе изнутри или снаружи".

Во второй части выставки, "Музыкальный глаз", показывающей точки пересечения живописи и музыки, представлены полотна Мондриана, Купки, Кандинского, Экстера и других художников — создателей "музыки для глаз".

По материалам газет "Обсервер", "Лондон телеграф" [Великобритания], "Стампа-Туттолибри" [Италия], журналов "Лондон ревью оф букс", "Экономист" [Великобритания], "Кензен литтерер" [Франция].

Ван Мэн
[р. 1934]. Китайский писатель. В 1986–1989 гг. был министром культуры, в настоящее время – заместитель председателя Союза китайских писателей, заместитель председателя китайского ПЕН-клуба, ректор Института литературы Китайского университета Хайян. Лауреат многих национальных и международных премий.

В Китае издано несколько собраний его сочинений. Издательство Жэньминь вэньсюэ в настоящее время выпускает *Архив литературы Ван Мэна* в 23 томах.
Автор романов *Да здравствует юность* [1979], *Марионетки* [1986], *Сезон любви* [1993], *Сезон утрат* [1994] и др., а также многих повестей и рассказов. На русском языке выходили его повесть *Чалый* [в сборнике *Средний возраст*, 1985], *Избранное* [1988] и др. Готовится к публикации сборник рассказов и повестей *Следы на склоне, ведущие вверх.* В *ИЛ* печатались его рассказы [1981, № 11; 1986, № 9].
Публикуемая повесть взята из сборника *Пурпурная шелковая кофта из деревянного сундучка* [Шанхай: Вэньи Чубаньшэ, 1984]..

Елена Григорьевна Макарова
Прозаик, историк, преподаватель истории искусств.

Автор двадцати шести книг, в том числе *Искусствотерапия, или Как преодолеть страх* [1986], *Открытый финал* [1989], *Friedl Dicker-Brandeis: Ein Leben für Kunst und Lehre* [*Фридль Диккер-Брандайс. Жизнь ради искусства и познания*,1999], *Крепость над бездной. Терезинские дневники* [2003] и др. Ее работы в области истории, педагогики и искусствоведения переведены на многие языки.

Аттила Йожеф
József Attila
[1905–1937]. Венгерский поэт. Посмертно удостоен премии им. Кошута [1948].

Автор сборников стихов *Попрошайка красоты* [*A szépség koldusa*, 1922], *Не я кричу* [*Nem én kiáltok*, 1924], *Ни отца, ни матери* [*Nincsen apám, se anyám*, 1929], *Пни корчуй и не скули* [*Döntsd a tőkét, ne siránkozz*, 1931], *Ночь окраины* [*Külvárosi éj*, 1932], *Медвежий танец* [*Medvetánc*, 1934], *Очень больно* [*Nagyon fáj*, 1936]. В русском переводе выходили его поэтические книжки *Стихотворения* [1958], *Стихи* [1962], *Родина моя* [1968], стихи Йожефа также публиковались в антологии *Венгерская поэзия. XX век* [1982] и других сборниках. Его стихи также печатались в *ИЛ* [1955, № 6; 1958, № 4; 1962, № 12].
Публикуемые стихи взяты из разных сборников.

Вячеслав Тимофеевич Середа
[р. 1951]. Литературовед и переводчик.

Автор статей о современной венгерской литературе. В его переводах издавались повести венгерских писателей П. Надаша, Ш. Раффаи, М. Мункачи, пьесы Д. Шпиро. В *ИЛ* в его переводе печатались фрагменты романов П. Эстерхази *Harmonia cælestis* [2002, № 10] и *Исправленное издание. Приложение к роману Harmonia cælestis* [2003, № 11], а также его новеллы и эссе [1992, № 4; 1995, № 6; 1996, № 7; 1997, № 8].

Аманда Лир
Amanda Lear
Английская топ-модель, художница, певица.

Главы из книги печатаются по изданию *Le Dali d'Amanda* [Lausanne, Éditions Pierre-Marcel Favre, 1984].

Джозеф Майкл Кутзее
Joseph Michael Coetzee
[р. 1940]. Южноафриканский писатель, критик,

Автор повести *Сумрачная земля* [*Dusklands*, 1974], романов *В ожидании варваров* [*Waiting for the Barbarians*, 1980; рус. перев. 1989; премия Джеффри Фабера и Мемориальная премия Дж. Т. Блэка], *Жизнь и время Михаэла К.* [*The Life and Times of Michael K.*, 1983; рус. перев. 1989; Букеровская премия и французская премия *Prix Étranger*

лингвист. Лауреат Нобелевской премии по литературе [2003].

Fémina], *Железный век* [*Age of Iron*, 1990; премия *Книга года* еженедельника *Sunday Express*], сборника критических статей *Белое письмо* [*White Writing*, 1988], посвященных литературе ЮАР. В *ИЛ* были опубликованы романы *Осень в Петербурге* [*The Master of Petersburg*, 1999, № 1] и *Бесчестье* [*Disgrace*, 2001, № 1; вторая Букеровская премия].

Лев Александрович Аннинский [р. 1934]. Литературный критик, публицист.

Автор книг *Ядро ореха* [1965], *Обрученный с идеей* [1971], *Зеркало экрана* [1977], *Тридцатые – семидесятые* [1977], *Охота на Льва (Лев Толстой и кинематограф)* [1980], *Михаил Луконин* [1982], *Контакты* [1982], *Солнце в ветвях. Очерки литовской фотографии* [1984], *Лесковское ожерелье* [1986], *Три еретика* [1986], *Билет в рай* [1989], *Локти и крылья* [1989], *Отлетающий занавес* [1990], *Шестидесятники и мы* [1991], *Серебро и чернь* [1997], *Барды* [1999], *Русские плюс...* [2001], *Крепости и плацдармы Георгия Владимова* [2001], а также многих статей о литературе и кино. В *ИЛ* публиковались его статья *Лев Толстой на зарубежном экране* [1978, № 7] и др.

Константин Аркадьевич Мильчин [р. 1980]. Литературный критик, журналист.

Автор рецензий, обзоров, статей, публикуемых в различных периодических изданиях; ведущий ежедневной передачи *Книга назавтра* [Радио России].

Переводчики

Сергей Аркадьевич Торопцев [р. 1940]. Переводчик с китайского.

Переводит современную китайскую прозу и классическую поэзию. Составил два сборника повестей и рассказов Ван Мэна: *Избранное* [1988] и *Следы на склоне, ведущие вверх* [в печати]. В его переводах публиковались рассказы и повести Ван Мэна, Цань Сюэ, Бай Хуа, Те Нин и др., а также стихи в сборнике новелл эпохи Сун *Нефритовая Гуаньинь* [1972], "арии" XIII—XIV вв. в сборнике *Китайская пейзажная лирика* [1984], стихи в сборнике *Книги о Великой Белизне. Ли Бо — Поэзия и Жизнь* [2002]. В *ИЛ* публиковались его переводы стихов Ван Мина [1979, № 4], рассказов Ван Мэна [1986, № 9] и Цань Сюэ [1993, № 8].

Инна Львовна Лиснянская
Поэт. Лауреат Государственной премии [1998] и премии Солженицына [1999].

Автор многих поэтических сборников, в том числе: *Дожди и зеркала* [1984], *Стихотворения* [1985], *Из первых уст* [1996], *Музыка и берег* [1999], *При свете снега* [2001], *В пригороде Содома* [2002], *Одинокий дар* [2003].

Натэлла Всеволодовна Горская
Поэт-переводчик.

В ее переводе публиковались стихи А. Мачадо, Х. Р. Хименеса, Х. Л. Пачеко, Х. А. Гойтисоло, Р. Богранда, Ш. Каняди, Фаиза Ахмада Фаиза, Р. Тагора, И. Арифа, Я. Пилински, К. Ковича и др.
Ее переводы неоднократно публиковались в *ИЛ*.

Марина Яковлевна Бородицкая
Поэт, переводчик поэзии с английского и французского языков.

Автор сборников стихов *Одиночное катание* [1999], *Год лошади* [2002], а также книг для детей. Переводила поэзию Дж. Чосера, Дж. Донна, Дж. Китса, Р. Киплинга, Г. Честертона, Г. Лонгфелло, Р. Бернса, П. Ронсара, П. Верлена, Э. Фарджен, А. Милна и др. В *ИЛ* в ее переводах печатались стихи Г. К. Честертона, Дж. Чосера, Д. Паркер, В. Набокова, К. Ковича и др.

Константин Иванович Ситников
[р. 1971]. Поэт, прозаик, литературный критик.

Публиковался в российских и украинских журналах и альманахах, сборнике современной российской поэзии *Сотовый мед* [2000], антологии малой прозы республики Марий Эл *Короткие встречи* [2001]. Главный редактор газеты *Вирджиния* и сайта *Провинциальная фантастика*.

Максим Валерьевич Калинин
[р. 1972]. Поэт, переводчик с английского. Лауреат премии журнала *Москва* [2002 г.].

В его переводах изданы стихотворения Д. Томаса [2001]. В *ИЛ* в его переводе публиковались произведения Д. Китса, У. Блейка, В. Набокова, Э. Моушена, М. Пика.

Дарья Юрьевна Анисимова
Аспирантка филфака МГУ.

Это ее первая публикация.

Михаил Михайлович Липкин
[р. 1966]. Преподаватель иврита.

Это его первая публикация.

Ольга Владимировна Захарова
Переводчик с французского и английского языков, кандидат экономических наук.

В ее переводе публиковались романы М. Дюрас, *Мемуары шулера и другое* Саши Гитри, *Дневник одного гения* С. Дали и др.

Сергей Борисович Ильин
[р. 1948]. Переводчик с английского, лауреат премии *ИЛ-люминатор* [1999].

В его переводе издавались романы и рассказы В. Набокова, произведения Дж. П. Донливи, Т. Уайлдера, Н. Марш, Ф. Рота, Дж. Хеллера, М. Кутзее и др. Его переводы неоднократно публиковались в *ИЛ*.

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО:

- **оптимальные условия подключения,**
- **бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам**

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ← В ЦЕНТРЕ ГОРОДА → В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.
адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.
подробности:
WWW.RINET.RU

В формлении обложки использован фрагмент картины испанского художника Сальвадора Дали [1904–1989] *Вид Дали сзади, пищущего Галу, увековеченный в шести фактических роговых оболочках глаза, отраженных в шести настоящих зеркалах* [1972–1973].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.

Компьютерный набор Евгения Ушакова, Расимя Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

119017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
E-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции.

По вопросам оптовых закупок обращаться в отдел распространения и рекламы:
тел. 8–926–528–51–48,
факс (095) 953–50–61,
e-mail: inostranka@lenta.ru.

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 20.4.2004
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 1079.
Тираж 8600 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

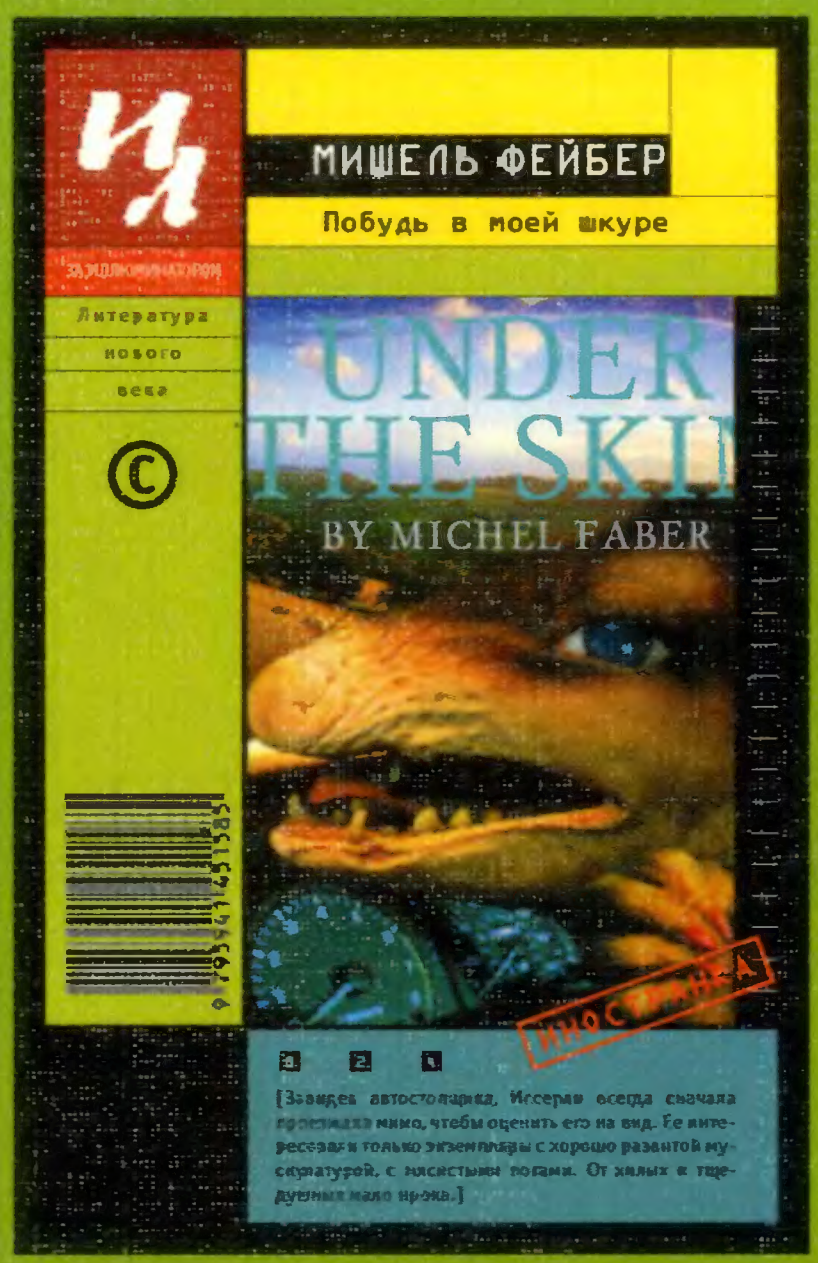
[6] 2004

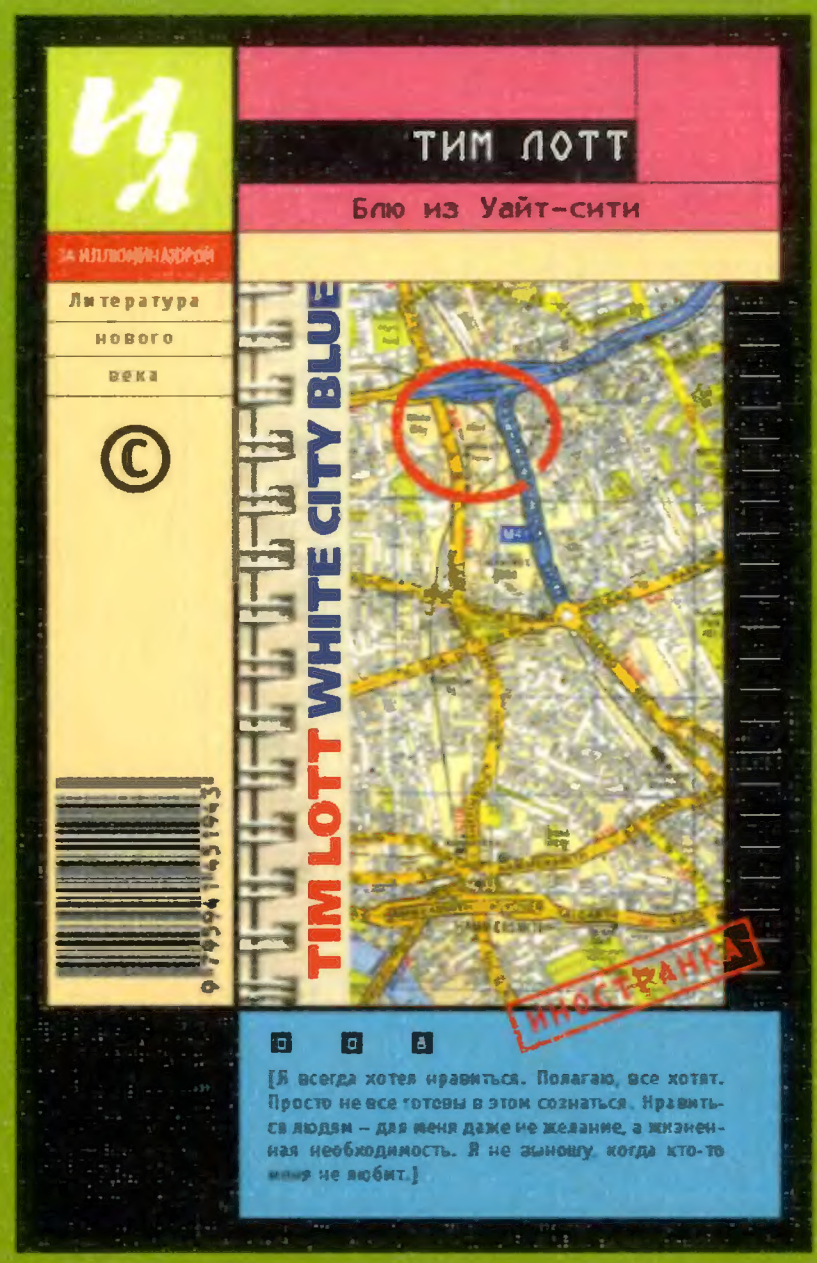
РОМАН ВИРДЖИНИИ ВУЛФ “МЕЖДУ АКТОВ” В РУБРИКЕ “КЛАССИКА XX ВЕКА” / ФРАГМЕНТЫ КНИГИ ОЛЬГИ ТОКАРЧУК “ДОМ ДНЕВНОЙ, ДОМ НОЧНОЙ” / РАССКАЗЫ УИЛЬЯМА ТРЕВОРА / ПЬЕСА ЭРИКА-ЭММАНЮЭЛЯ ШМИТТА “ГОСТЬ” / СТИХИ КОНСТАНТИНА АБЭЛУЦЭ / “ТРИ ЭТЮДА О ДЕНДИ” ОЛЬГИ ВАЙНШТЕЙН В РУБРИКЕ “ИЗ БУДУЩЕЙ КНИГИ”

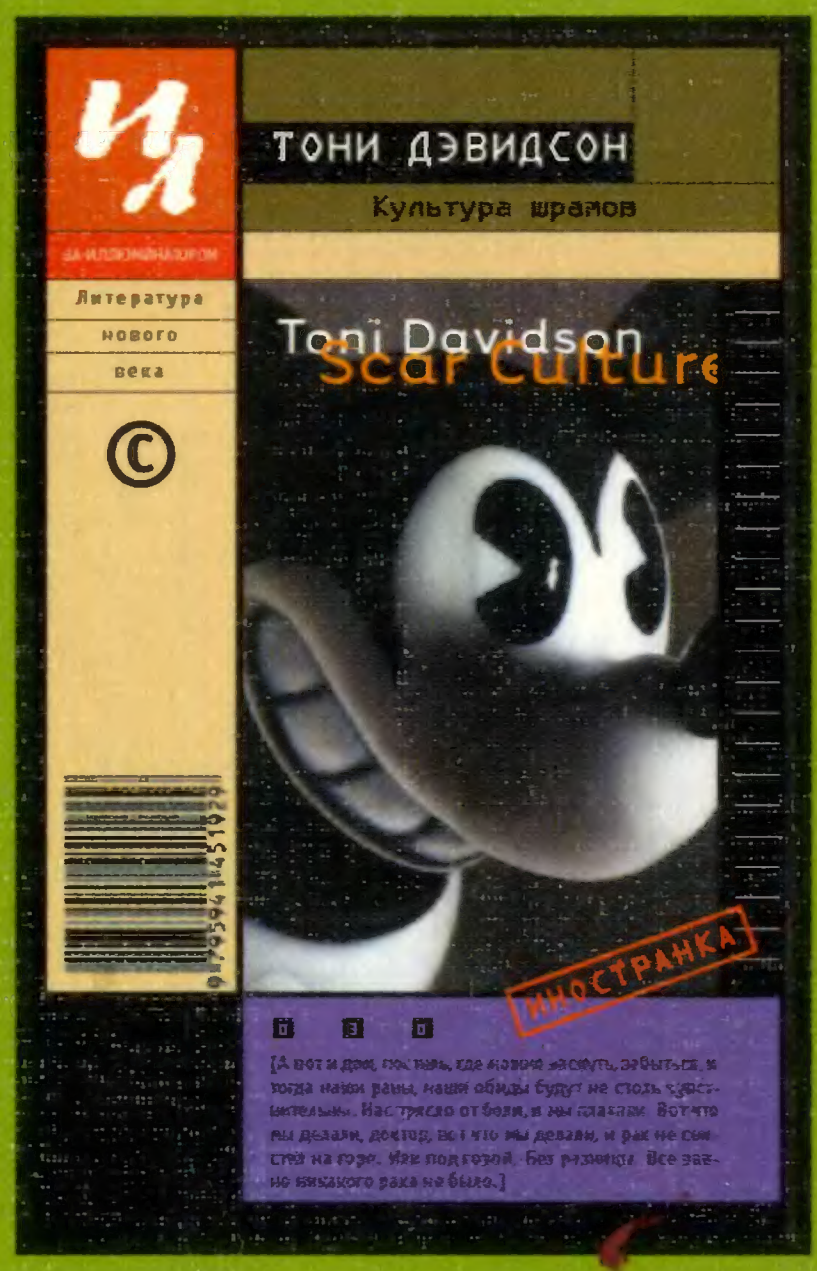
Новая серия издательства "Иностранка"

"За иллюминатором"

"ИЛЛЮМИНАТОР" нового века







По вопросам оптовых закупок обращаться в издательство "Иностранка"
тел/факс: (095) 953 8814, e-mail: inostranka@rinet.ru
или по телефонам: в Москве (095) 289 0284;
в Екатеринбурге (3432) 74 4423

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2004, №5, 1-288